1 р. 90 к.

Индекс 70331

В КОНЦЕ 1991 — в 1992 гг. В «ЗНАМЕНИ» ЧИТАЙТЕ:

Василь БЫКОВ. Блиндаж. Повесть
Георгий ВЛАДИМОВ. Генерал и его армия. Роман
Владимир ДУДИНЦЕВ. Дитя. Роман
Фазиль ИСКАНДЕР. Ловчий ястреб. Повесть
Вячеслав КОНДРАТЬЕВ. Искупить кровью. Повесть
Булат ОКУДЖАВА. Упраздненный театр. Роман
Вячеслав ПЬЕЦУХ. Заколдованная страна. Повесть
Эрих-Мария РЕМАРК. Искра жизни. Роман
Артур ХЕЙЛИ. Вечерние новости. Роман

Елена РЖЕВСКАЯ. Доктор Геббельс и его «Дневник»
Андрей САХАРОВ. Горький, Москва, далее везде

Подробнее об основных публикациях во второй половине 1991 и 1992 г. см. стр. 239—240.

ISSN 0130-1616. Знамя. 1991. № 8. 1—240.

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

1991

Август

ЗА НАШУ И ВАШУ СВОБОДУ:

несколько эпизодов из летописи журнала «Знамя»

28 августа 1990 г. — в строгом соответствии с Законом о печати СССР журнал «Знамя» зарегистрирован в Министерстве печати и средств массовой информации РСФСР как независимое литературно-художественное и общественно-политическое издание; учредитель — трудовой коллектив редакции.

2 октября 1990 г. — в судебную коллегию по гражданским делам Московского городского суда поступает исковое заявление от имени первого секретаря правления Союза писателей СССР В. Карпова, подписанное исполняющим обязанности секретаря С. Коловым, с просьбами:

«Признать недействительными акт регистрации в Министерстве печати и массовой информации РСФСР журнала «Знамя» и выданного на этом основании регистрационного свидетельства за № 20. Обязать Государственный комитет СССР по печати (Госкомпечать СССР) зарегистрировать журнал «Знамя», учредиталем которого является Союз писателей СССР.

Расходы по делу возложить на ответчиков.

В стадии досудебной подготовки до разрешения спора по существу наложить аресты на счета, которые открыты журналом «Знамя», после его регистрации, в Госбанке и Внешэкономбанке».

10—11 декабря 1990 г. — исковое заявление рассмотрено на заседаниях судебной коллегии по гражданским делам Мосгорсуда под председательством В. А. Емышевой. В суд вызван и опрошен первый секретарь правления СП СССР В. Карпов; заслушаны свидетельские показания секретаря правления СП СССР, члена редколлегии журнала «Знамя» Ю. Черниченко; оглашено и приобщено к делу письмо ряда секретарей правления СП СССР, которые не давали согласия на то, чтобы от их имени подавалось исковое заявление в суд. Обсудив все собранные доказательства в их совокупности, судебная коллегия «пришла к выводу о том, что исковые требования удовлетворению не подлежат». **Секретариату правления СП СССР в иске отказано, регистрация журнала «Знамя» как независимого издания признана законной.**

9 января 1991 г. — в судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда РСФСР поступает кассационная жалоба за подписью секретарей правления СП СССР Ю. Суровцева, Н. Горбачева, К. Скворцова, а также и. о. секретаря правления С. Колова с просьбой:

«Решение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 11 декабря 1990 года отменить, дело принять к своему производству по 1 инстанции».

7 июня 1991 г. — решением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РСФСР **претензии секретариата правления СП СССР вновь признаны необоснованными, кассационная жапоба отклонена, решение Мосгорсуда о законности регистрации журнапа «Знамя» как независимого издания, учредителем которого является трудовой коллектив редакции, оставлено в силе.**

Редакция «Знамени» благодарит секретарей правления Союза писателей СССР А. Ананьева, Г. Боровика, В. Быкова, Р. Гамзатова, Д. Гранина, И. Дедкова, А. Дементьева, Е. Евтушенко, В. Коротича, П. Николаева, Я. Петерса, Р. Рождественского, Е. Сидорова, Ю. Черниченко, М. Шатрова, всех юристов, писателей, журналистов, авторов и читателей журнала, поддержавших нас в борьбе за независимость и свободу.

Приказом по редакции 7 июня объявлено нерабочим днем — Днем независимости журнала «Знамя».

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с января 1931 года

8
АВГУСТ
1991

Содержание

Москва
Издательство
«Правда»

Критика

Советуем прочитать

Из почты «Знамени»

К сведению уважаемых авторов:

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Рукописи менее двух печатных листов редакция не возвращает.

При перепечатке наших материалов ссылка на «Знамя» обязательна.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Знамя».

Леонид Мартынов

БЫЛО БЫ НА ЧТО НАДЕЯТЬСЯ...

Инок

Как и когда я,
О. Время-Пространство,
Стал ощущать твой безмерный масштаб?

Чуял я
Тундр меховые шаманства,
Знал я Востоки из каменных баб,
Слушал послов из Хазарского ханства
И о Коране вещал мне араб.

Но, наконец, и приняв христианство,
Вовсе не раб патриархов и пап,
В келье склонялся я над Демокритом
И Эпикуром, не зная о том,
Что подарил их всезнаньем забытым
Некто в космическом шлеме литом,
Междупланетною пылью покрытом,
Глухо помянут в Писаньи Святом.

К.Р.

Где-то между Звенигородом и Волоколамском,
где седы каменья
И даже поленья имеют обличья еловых химер,
Было когда-то именье
К.Р.

Ночью в парке при этом именьи
Повстречался я с тенью
Человека, который сказал мне:
— О, я не Гомер,
Но слышите грай вороний сквозь листвы
шелестенье:
— К.Р.! — К.Р.! Кар, кар! Ка-Эр! —
И я понял, что это со мной говорит несомненный
Константин Романов, то есть К.Р.,
Автор песни «Умер бедняга в больнице военной»
И пьесы «Царь Иудейский», которую ставили даже и
в РСФСР!

Я сказал:
— Но теперь мир забыл о Вашем Высочестве,
старом поэте, великом князе.

— Разве? — спросил он и уставился на меня из листвы
глазами совы —
Ну, мне это понятно в связи с принадлежностью к
царской семье и ввиду этой связи,
Увы! —

Деталь

О, телевизорная сетка,
Поведай мне взамен трагедий,
Как дремлет Арктика-соседка
На шкуре белого медведя,
Как синтетические ткани,
Европу кутая, не рвутся
И безо всяких спотыканий
Танцоры Азии несутся.

Но вдруг неясно и волнисто
Становится все на экране,
В картину абстракциониста
Сливаются очертанья
Людей, машин, земли и неба,
Обрядностей, традиций наций,
Не примерещнлось во сне бы
Таких ужасных трансформаций.

Быть может, впрямь он покосился,
Небесной свод безумной дрожи?
Нет! Трансформатор износился,
Который стоит не дороже
Рубля-другого. Некий винтик
Ослаб и путаются нити.
А если так — найдите, выньте
И преспокойно замените.

Но не предвиделось заране,
Что меж деталей есть плохие,
И вот бушует на экране
Бунтующая стихия.
Быть может, что-то износилось
В довольно сложном агрегате.
Ведь вы его изобретали,
Ведь ваших рук все это дело.
...Мне верится в замен детали,
Которая перегорела.

Сердце старца

Бурно
Бьется
Сердце старца.

И с юнцами так случается,
Коль волнуются, печалятся.

И конечно, разумеется,
Дождь пройдет, гроза рассеется,
Будет небо вновь лазурно,
Было бы на что надеяться,
Чтоб не слишком горько каяться.

Сердце старца
Бьется бурно,
Физкультурно кувыркается.

Впрочем, кто не оступается!
Прегрешенья искупаются,
Сотворенные во гневе.

Сердце старца
Бьется бурно
И как будто бы брыкается,
Как младенчикн
Во чреве.

Плавучая ива

Утром
И мутной,
И очень бурливою
После ненастья казалась река.
Ива
С намокшей
Серебряной гривою
Вдруг появилась издалека.
Видимо,
Вывороченная
Туристами.
Ива катилась по речной быстрине,
Машучи ветками серебролистыми,
Будто бы сигнализнруя мне,
Может быть, даже отчасти бравируя
И потешаясь. А может быть,
И над собою иронизируя,
Что поперек реки может плыть.
— Полно, ива, плыть поперек реки,
Хоть не твоя это вовсе вина!

Но при моем сочувственном окрике
Закувыркалась все пуще она,
Либо о тихой не думая пристани
И не мечтая о лучшей судьбе,
Может быть, вывороченная туристамн,
Может быть, просто
Сама по себе!

Законы оптики

Однажды
Я не те писал слова,
Которые писать бы мне хотелось,
И дико закружилась голова,
И все кругом не то чтоб завертелось,

Но и деревья с пышною листвой,
И новый месяц с острыми рогами
Перевернулись вдруг вниз головой,
А говоря иначе — вверх ногами.
И разве только карточный король
Не изменился обликом нисколько.

И понял я, что потерял контроль
Над органами зрения, и только!
И если вы, вниманье обратив
На это, взглянете в глаза людские
И в их подобье — фотообъектив —
Поймете вы: явления такие
Естественны и истина проста,
Что сколь законы оптики ни тяжки,
Все сущее мы видим вверх тормашки
И лишь рассудком ставим на места.

Итак,
Рассудок потерять — беда!
А те, что вовсе им не обладают,
Все существующее наблюдают
Стоящим вверх тормашками всегда!

Неоседланный конь

Не вроде ли
Карусели
Свет белый? Лошадки чувств
Несутся, чтоб на веселье
Перекопытилась грусть.
О, красные, белые, синие и черные! Выбирай,
Какая из них красивее, и мчись хоть в господен рай!

Но превращаются, вижу я,
Лошадки, почуяв меня,
Во бледного, белого, рыжего и вороного коня:
Конь черный зубищами скалится,
Конь бледен и конь багрян.
Не прямо ли из Апокалипсиса
Кричит Богослов Иоанн:
— Воистину не по силушке
Такие тебе! Не тронь,
А жди, когда выпустит крылышки,
Один тебе преданный конь,
Пегас, неоседланный конь!

Публикация Г. Суховой-Мартыновой

Борис Блинов

ВИНОВЕН

ПОВЕСТЬ

Глава первая

Время, проведенное на рыбалке, Господь Бог из срока жизни исключает. Это бытовавшее среди рыбаков убеждение вспомнилось Ширяеву, когда он после долгих мытарств вышел наконец к дороге.

Оставшийся километр Ширяев решил подъехать. И не потому, что торопился или так уж устал — сам с собой не любил разговаривать, а речи человеческой уже две недели не слышал — стосковался по живому слову.

Он снял рюкзак, полный прекрасной рыбы, взял за лямки двумя руками и аккуратно поставил его, припечатал к земле, словно точку ставил на этот отведенный ему сверх жизни привесок.

На болотце, рядом с обочиной, как угли брошенные, горели ягоды морошки. Он их еще на ходу приметил и все держал в памяти. А сейчас подошел и осторожно снял с кустиков — чуть прикоснулся, и они весомо упали в подставленную ладонь. Но перезрели уже, были такими нежными, что даже от своего короткого падения слегка сплющились, развалились на ядрышки и нижние ягоды дали сок. Ширяев закинул горсть в пересохший рот и зажмурился от наслаждения.

Тяжелый военский ЗИЛ вывернул из-за сопки, со стороны гарнизона, и пошел к нему, объезжая ухабы и лужи, словно пьяный, — от одной обочины к другой. Подъехав, машина затормозила, открылась кабина, и офицер, в котором Ширяев с радостью узнал знакомого начштаба, кивнул ему и жестом предложил залезать.

— Во, повезло! — весело гаркнул Ширяев, но от долгого молчания вместо слов у него вырвались какие-то нечленораздельные звуки.

Молодой каптри чем-то озабочен был с утра, хмур. Усталый взгляд с любопытством ощупал Ширяева и погас.

Машина набрала скорость. Ширяев сосредоточился, порепетировал движения языка, губ и старательно выговорил:

— Здравствуйте!

Матрос за рулем хмыкнул себе под нос, хитровато улыбнулся, будто знал про него что-то смешное. Каптри отодвинулся от намокшей телогрейки и с мужественным прищуром стал смотреть в лобовое окно. Дворники по стеклу бегали, слизывая дождевую муть.

Ширяев временами поглядывал на каптри, но больше подать голос не решился. Напряженный чеканный профиль застыл, будто бронзовый.

«Молчит, — удивился Ширяев. — Зря я сел, будто дороги не осилил».

До КП доехали минут за пять.

Капитан Кафтанов в рассупоненной портупее вышел из-за будки, на ходу застегивая брюки. Невысокого роста, плотный, круглолицый, с крупными, чуть навыкате глазами, он остановил взгляд на кабине и, признав начальство, заспешил к машине. Пистолет у него болтался где-то на ягодице.

Начштаба бросил ему в открытое окно:

— Напортачили — сами разбирайтесь!

И, не попрощавшись, велел шоферу ехать.

Кафтанов услужливо подхватил рюкзак, крякнул, вскинул лямки на плечо и вместо приветствия растянул губы в виноватой улыбке:

— Такие вот дела!

И пошел вперед, не оглядываясь, словно видеть Ширяева ему было невмоготу.

Каким-то поверхностным зрением Ширяев отмечал странности в поведении офицеров, но радовался и согревался от встречи. Прежнее шапочное знакомство переросло в симпатию, чуть ли не родственность, и Ширяев с нетерпением ждал, как в будке пожмет ладонь Кафтанова, положит ему руку на плечо и выговорит, наконец, длинную хорошую фразу.

Кафтанов скрылся в теплушке. Ширяев постоял на высоком крыльце, потрогал перила, подивился, как широко, неэкономно расходуют они дефицитное здесь дерево, и перешагнул порог.

Сернистый запах угля неприятно шибанул в ноздри. Обостренным обонянием он различил примешанный к нему запах пота, томатных консервов и чуть ощутимый, желанный — курева. Ширяев вспомнил, что Кафтанов не курит.

Матрос Малкин, длинный, худой, с бледным, изрытым фурункулами лицом, подметал у печки высыпавшуюся золу.

— Здравствуйте, — вытянувшись, поздоровался он.

Ширяев глянул на нагрудный карман его фланки, надеясь различить под номером контуры пачки.

После купания он три дня уже как оказался без курева.

— Работай, Малкин! — прикрикнул капитан.

Матрос переломился в пояснице.

«Кафтанова зовут Юра, — вспомнил Ширяев. — А Малкина — просто Малкин. Нехорошо».

Капитан сидел за столом. Во взгляде его, устремленном в окно, была тоска и безнадежность.

Ширяев положил ему руку на плечо.

— Что, Юра, умотался? — с облегчением выговорил он.

Тот признательно ему улыбнулся и качнул головой:

— Сволочи какие! Дерьмо собачье, а не люди!

Голос у него был приятный, с хрипотцой. В нем слышалась скорбь по опустившемуся человечеству, жалость к кому-то и желание действовать.

— Да, — вспомнил Ширяев, — а собака у вас где? Была же собака?

Ему казалось, что сто лет с тех пор прошло.

— В гарнизон убежала, подхарчиться. Отощала у нас совсем.

Откуда-то снизу, от печки донеслось бурчание:

— Наивная собака.

— Ты как метешь! — прикрикнул Кафтанов. — Ты ведь к стенке метешь, зуй болотный. Кто тебя учил к стенке мести?

Верно, даже Ширяев знал, что мести надо от стенки.

— Там ноги, — не поднимая головы, произнес матрос.

— Ты наглеешь, Малкин. Ты, можно сказать, совсем оборзел, — оживился капитан.

Ширяев смотрел на свои ноги. Они словно отдельно стояли на середине комнаты, мокрые, намятые, в резиновых сапогах. В мыслях своих он уже удобно развалился на топчане и смолил вкусную сухую сигаретку.

— Я еще в тот раз заметил, при вас он наглеет. Может, ты сказать что-то хочешь?

Малкин выпрямился и испуганно замотал головой:

— Никак нет!

— То-то же, — удовлетворенно произнес Кафтанов. — А ну, марш на улицу!.. Сам же больше всех виноват. Фактически он один и виноват, — доверительно пояснил он Ширяеву.

— Ладно, Юра, — сказал Ширяев. — Все мы так или иначе в чем-то виноваты.

Непонятно почему слова его успокоили капитана.

Малкин стоял нерешительно, с веником и совком в руках.

— Не гони его, там дождь.

— Пусть остается, — милостиво разрешил Кафтанов.

Руки у Малкина были, как у Ширяева после тундры, — кожа грубая, в широких влажных трещинах и почти черная от въевшейся грязи, следа

от курева на ней не различишь, но запах, раздражающий, горьковатый, определенно в будке присутствовал.

— Простыл, что ли, Вадим Дмитрич? — спросил Кафтанов.

— По табачку грущу... Искупался на Кумужьих.

Малкин, словно фокусник, провел рукой над печкой и достал надорванную пачку «Примы».

Стянув с себя влажную телогрейку, Ширяев сел на топчан, прикрытый какой-то дерюжкой, и осторожно, чтобы не высыпался, стал разминать хрустящий табачок. Набивка была плотненькая, в самый раз, сытно, хорошо пахла. Сигарета представлялась ему ценностью, которую сравнить можно разве что с рыбой, находящейся в рюкзаке. Это были значительные, настоящие ценности, не имеющие эквивалента, они сами являлись основополагающими для определения времени, труда, усилий...

Терпкий дым ободрал гортань. Комната качнулась, налилась туманом. Тихое хмельное блаженство окутало его, и он поплыл, не чувствуя своего тела.

Когда откатилась шалая волна, до него донесся раздраженный голос Кафтанова:

— ...Два раза, шельмец, проехал туда и обратно. Сказал, что к рыбакам за наживкой. Знаю я его наживку, у него испокон веку одна снасть — квадратная.

— Браконьер? — поинтересовался Ширяев.

— Порогин-то? Первостатейный. Он мне как-то признался, что, если три дня сеть не поставит, у него на теле сыпь выступает.

— А кто он такой?

— Я же говорю, прапорщик наш, Порогин. Чувствую, его рук дело.

И стал повторять то, что Ширяев пропустил, видимо, во время кайфа: ночью, с двух до четырех, Кафтанов прикемарил. На посту Малкин находился. Когда в четыре капитан проснулся и посмотрел в окно, тогда все и увидел. Малкин за это время зафиксировал две машины — «газик» рыбнадзора и «Москвич» Порогина.

— Ну и что? — не очень напрягаясь, спросил Ширяев.

— Как что? Он это, Порогин, больше некому, в рыбнадзоре мужики надежные. А он и раньше замечен, судимость у него. И теперь проходит как свидетель по делу о полушубках — у нас тут двадцать штук испарилось, — пространно объяснял Кафтанов.

Ширяева не очень-то сейчас заботили гарнизонные дела. Машина его белела в окне размытым пятном. Пора было уже домой двигать.

— Я его вызвал. Скоро подъедет, — сказал капитан.

— А зачем? — поинтересовался Ширяев.

— Ну так, вообще, — пожал капитан плечами. — Пусть в глаза вам посмотрит. Поговорите с ним, может, подействует.

Он чего-то ждал от Ширяева, что-то ему навязывал, а тот в толк не мог взять, чего от него хотят.

— Не, Юра, как-нибудь в другой раз, — воспротивился Ширяев. — Что мне на него глядеть, он не девушка. Ехать пора, как-никак еще сто километров. Вы уж тут сами.

— Ничего, мы пока перекусим, чем Бог послал, он и подойдет. Наверное, проголодались? У нас и «шильцо» имеется, — он игриво щелкнул себя по вороту.

— Ну это можно, — согласился Ширяев.

Последний сухарь он сгрыз, когда видна стала дорога. Да и «шильца», спиртика то есть, умеренно не повредит.

Пока Кафтанов с помощью Малкина накрывал на стол, Ширяев удобно расположился на лежанке и тихо радовался теплу, покою, непривычному еще уюту оседлого дома.

Он любил бывать у военных. Его тянуло к их замкнутой, напряженной жизни, но жизнь эта всегда оставалась непознанной до конца. Ширяев давно себе уяснил, что, только приняв присягу, можно быть здесь своим, и оттого, что судьба не предоставила ему такой возможности, чувствовал некоторую ущербность.

Суровое мужское братство, крайнее напряжение сил, единство цели — как ни странно, жив еще в нем был этот идеальный образ. Даже море, которому он отдал пятнадцать лет, не могло идти в сравнение. Хотя море

тоже, конечно, казарма, серьезная мужская работа, но все же не то напряжение, не те жесткие условия. Он не тяготился казарменной жизнью, и когда однажды, по приходе из рейса, ему вручили повестку в военкомат, воспринял это как неожиданный подарок судьбы. И там какой-то странный разговор произошел. Седой майор вежливо и твердо поставил его в известность:

— Придется вам годик послужить, Вадим Дмитрич.

— Да? Когда приходить? — радостно воскликнул он и тем озадачил майора.

— У вас что, неприятности по службе?

— Все хорошо, с чего вы взяли? — удивился Ширяев.

— А дома?

— И дома хорошо.

— На здоровье не жалуетесь?

— Я же в море хожу. С медкомиссией нет проблем.

— Да, действительно,— вспомнил майор.

— А в чем, собственно, дело? — осведомился Ширяев.

— Да так, знаете, реакция у вас какая-то нетипичная.

— Служба в армии — священный долг каждого гражданина,— лихо отчеканил Ширяев.

— Так считаете? — из-под очков внимательно посмотрел на него майор.

— А как же? Конечно!

— Странно, странно,— в задумчивости произнес майор, явно чего-то не одобряя.

— Ничего странного. Я всегда хотел в армии послужить, да все как-то не получалось,— откровенно поделился Ширяев.

— Ладно, идите,— сухо сказал майор.

— А что теперь? Где сбор? Когда? — обеспокоился Ширяев.

— Идите, идите, мы вас вызовем,— успокоил его майор.

Неделю он пребывал в счастливом ожидании. Но так и не вызвали. Взяли его товарища, у которого жена недавно родила.

Тишина не означает молчания. Следя за приготовлением стола, Ширяев заметил, что настороженность проступает в излишнем усердии хозяев, словно они не доверяют друг другу в каком-то тайном, связующем их деле.

«Заединщики»,— усмехнулся он, вспомнив недавно появившееся слово.— Чего им темнить?»

Временами капитан останавливал на матросе жесткий, пытливый взгляд, недовольно фыркал, сдерживая раздражение. Малкин не поднимал головы, сутулился, будто тяжесть на него давила. Покорность ощущалась в долговязой, нескладной фигуре. Но все же упорство, с каким матрос избегал взгляда, говорило о том, что он не раздавлен. В его положении для этого требовалось определенное мужество.

— Прошу! — торжественно провозгласил Кафтанов, приглашая к столу. Положил на банку консервов толстый кус хлеба и требовательно кивнул на дверь.

Малкин взял еду и быстро вышел.

— Гоняешь его, как пса,— обиделся за матроса Ширяев,— да еще раздетого.

— Здоровей будет,— удовлетворенно произнес капитан.

В стаканах янтарно светилось питье. Чуть ощущался тонкий, благородный запах — золотой корень даже здесь считался редкостью.

— Насколько развел? — с опаской осведомился Ширяев.

— Напополам. Ну, будь! — торопливо чокнулся капитан и, широко раскрыв рот, выплеснул туда содержимое, будто в раковину.

На пятом десятке стали появляться у Ширяева разные болячки и он этим зельем не особо злоупотреблял. «Свою цистерну я уже выпил»,— объяснял он в оправдание. Да это и недалеко было от истины.

Он отпил немножко.

— Ну как она, рыбалка? — алчно блеснули глаза Кафтанова.

— О-оо, рыбалка! — восторженно выдохнул Ширяев и хотел было рассказать, как он ее, красавицу, выводил, ту кумжину на два кило, что взял на «восьмерке», но вдруг некстати вспомнил про свою находку на берегу и говорить расхотелось.

— Есть немного,— сказал он.

— А у нас что-то не очень,— проглотив зависть, отозвался Кафтанов.— Не идет рыбка.

— «У вас»,— с усмешкой обронил Ширяев.

«У них» ниже КП сеть стояла от берега до берега. При отливе капитан, облачившись в химзащиту, ходил ее проверять.

— Ты уже пять лет здесь сидишь, берешь ее с икрой и так. Она бы давно отметала, выросла, снова к тебе пришла. А ты ей путь загородил да еще жалуешься, «не идет рыбка». Ты ей, можно сказать, в самый момент интересный жизнь обрываешь. Все равно что тебе перед брачной ночью.

Кафтанов снова выпил, прочувствовал и приблизил к Ширяеву покрасневшее лицо:

— Вадим Дмитрич, я так сужу: если которой очень хочется — перепрыгнет. А которой нет — значит, не жизнестойкая, ее и берем. Мы, можно сказать, породу улучшаем.

— Селекционеры, трам-тарарам,— выругался Ширяев.— Чем рыбу гробить, лучше бы в тундре навели порядок.

— А что? — вскинул брови капитан.

— Давай карту, покажу.

То озеро напоминало восьмерку. На перемычке ее бурлила глубокая протока, в которой он вытащил красавицу-кумжу, а дальше берег круто поднимался вверх и упирался в скалу. Там на косогоре он и нашел каску. Хотел поднять ее, положить на камень, но она крепко вросла в ягель, не поддавалась. Когда он оторвал все же ее от земли, увидел в ней череп. Стал откапывать, дерн подрезал, завернул его, как матрац,— чуть не полметра наросло, а под ним целиком скелет. Одна нога согнута, руки над головой. Видимо, как бежал, так с ходу и срезало, упал и не шевелился больше. Кости легкие, выбеленные временем. Ремень кожаный истлел, пряжка позеленела. Сбоку нож штыковой лежит в распавшихся ножнах, лезвие все в язвах. А на груди, где кармашек, огрызок химического карандаша, И больше ничего — пенальчик не нашел, хоть весь песок просеял сквозь пальцы... Молодой был парень, некурящий, зубы белые блестят, словно только что почищены. Ширяев положил череп к туловищу, покрыл сверху дерном и каску на валун пристроил, нетрудно будет найти.

Там Ширяев и остался ночевать — натянул палатку из парашютного шелка, залез в спальник — так-то чего не жить! И спички у него были, и порох, который он насобирал из патронов на местах Легендарной обороны. Утро, день здесь провел, не хотелось уходить, одного его оставлять, надеялся кого-нибудь встретить, дождаться. А когда пошел потом, тяжело было на сердце, словно виноват в чем-то. И все оглядывался на холмик... Пошел рыбачить дальше, что же делать? Только маршрут изменил, чтобы выйти на курс пограничного наряда.

Капитан сидел перед пустым стаканом и раскачивался. Взгляд его был темен, тяжел. Желваки играли на скулах и слышался скрип зубов, как железо по стеклу.

— Карта полуострова есть? — снова спросил Ширяев.

Кафтанов перевел на него мутный, невидящий взгляд и продолжал раскачиваться. На виске пульсировала вена, шея была напряжена, как у борца.

— Ты что, Юра? — вскинулся Ширяев.

— Зачем тебе карта? — спросил Кафтанов, выгребая из мрачного далека.— Извини, конечно, раскачало меня.

Неверным движением он ухватил чайник, налил себе черного то ли чаю, то ли чаги, из нагрудного кармана выцарапал две крупные таблетки.

— Погоди немного, сейчас отпустит.

Сербая, обжигаясь, он прихлебывал пойло.

— Я бы этих баб...— прохрипел он агрессивно и смял в пальцах ложку.— У тебя с женой как, все в порядке?

Ширяев не был готов к такой откровенности.

— Нормально, — сказал он.

— Ну и у меня нормально! — раздельно выговорил капитан. — Это уже нормой стало, понял! Ты о чем спросил? Чего хотел-то?

— Показать тебе хотел одно место. Дай карту.

Ширяев рассказал о своей находке.

— Это еще что! — с чувством превосходства проговорил Кафтанов. — Я весной хребет переваливал — лед на сопках, а под скалой вмерзшие ботинки, наши, две пары, будто один другого прикрывал. А из ботинок кости белые в лед уходят... Еще н не то находим. Легендарная, нас там без счета положили.

Не сожаление, а укор слышался в его словах, будто Ширяев посягнул на чужую собственность.

— Говорят, и склады продовольственные, и ресторан с борделем где-то завалены. Добровольцы летом ищут, надеются. Продукты-то пропали, а шнапс — что ему сделается? Представляешь, полсотни лет выдержка! — оживился Кафтанов.

Ширяев придвинул к себе карту, вместе с рукой капитана, закрывающей гриф секретностн, и удивился:

— Стыдоба! Сейчас такнмн даже рыбаки не пользуются. Хочешь, дам тебе километровку?

Лицо Кафтанова вдруг стало чужим, неприятным, Ширяев увидел, что он все еще не трезв.

— Такого не может быть. Карта строгой секретности, — высокомерно произнес капитан.

— Не смешн, водят вас за нос, как слепых котят. Немцы еще в войну здесь все тропинки зналн.

— Немцы нам не указ! — повысил голос капитан.

— Как хочешь, — пожал плечами Ширяев.

— Я об этом доложу! — пообещал капитан. В голосе его звучала скрытая угроза.

— Кому? — усмехнулся Ширяев.

В покрасневших глазах Кафтанова вспыхнул агрессивный блеск:

— Кому надо, тому и доложу. Прошу мне не указывать!

— Успокойся, пожалуйста. Увижу командира, я сам ему скажу. Могу и карту дать срисовать, чтобы не позорились тут, следопыты.

Непредсказуемое поведение Кафтанова начинало его раздражать. Ширяев поднялся, прошел к печке, отыскал на полочке сигареты. Когда он вернулся к столу, с Кафтановым произошла странная перемена: круглые глаза смотрели обиженно, жалобная, искательная улыбка кривила полные губы, и не его, какой-то дребезжащий, поникший голос произнес:

— Вот, таблеточку возьмите, Вадим Дмитрич!

— Не надо мне твоих наркотиков, — отстранил Ширяев протянутую руку.

— За что вы меня, Вадим Дмитрич? Что я вам сделал? — заглядывал в глаза капитан. — Колеса, конечно, но ведь с каждым может случиться. Что же мне теперь, на колени? Чем хотите, отдам. Но так-то зачем? У меня послужной список... Скоро звание придет... Матросы любят, — нервно и дергано бормотал он.

— Юра, в чем дело? — строго спросил Ширяев.

— Вон, Малкина нз своих кормлю. В гарнизоне один горох жрут — вор на воре, прапорщик под следствием. А четверо с дистрофией! Вы что! Побыли бы в нашей шкуре! Один дом каменный, жена крутит, ребенок больной, начальство свербит... Я вам все, как родному... Свежий человек, душа распарилась. А вы меня под танк. За что? Эх, Вадим Дмитрич, не ожидал!

Бессвязная речь его напоминала бред сумасшедшего. От жалости к себе Кафтанов, казалось, готов был заплакать.

— Ты можешь объяснить, чем я тебя обидел? — наклоняясь, спросил Ширяев.

— Ну как же! Я к вам всей душой, сидим, как белые люди, разговариваем, пьем «шило»... Сами, можно сказать, вынудили с этой картой, а теперь заложить начштаба грозитесь.

— Успокойся. Никто тебя закладывать не собирается. Вот где я его нашел, — Ширяев рассматривал карту. — Я пограничникам сказал, может быть, они уже...

— Да ну их, этих «зеленых»! — с горячностью перебил капитан. — Носятся, как лоси, а толку чуть. Кому онн вообще здесь нужны? До границы сто километров.

Ширяев отыскал на карте знакомое озеро.

— На этой вот «восьмерке», на перемычке.

Кафтанов успокоился, хлебнул своего отвару и скосил на карту глаз.

— Так то не «восьмерка»! — радостно заголосил он. — То «Девичья жопа!»

— Пусть так, — отмахнулся Ширяев. — На косогоре валун здоровенный и на нем каска.

— Так ты его на перемычке? На этой самой, на середке? — плотоядно хохотнул капитан. — И он лежит там во мху, припухает! Ну устроился, ну окопался, зуй болотный!

Ширяев едва сдержал злость.

— Ладно, все, я поехал, — сказал он и поднялся.

Кафтанов склонил голову набок и стал его разглядывать, будто впервые увидел.

— Ты что? — спроснл Ширяев, опасаясь новой неожиданностн.

— А можно спросить, на чем вы ехать собираетесь? — вкрадчиво произнес Кафтанов.

— На машине, естественно.

— На чьей?

— На своей.

— Как же вы поедете, разве начштаба вам ничего не сказал?

— Не, не сказал. Профиль свой бронзовый выставил и молчал всю дорогу. Я думал, он обиделся.

— За что? — поинтересовался капнтан.

— Я так и не понял, — признался Ширяев.

— А почему бронзовый? — удивился Кафтанов.

— Не знаю, выбрит чисто, аж блестит и загорелый.

— Он на учениях был.

— На каких?

— На общефлотских, — Кафтанов как-то нервно дернулся, словно язык прикусил.

Ширяев стал натягивать на себя подсохшую телогрейку. Капитан приблизился к нему вплотную и прокричал громко, как глухому:

— Вы ехать не можете! С вашей машины сняты колеса!

Только тут Ширяев понял, что означали все намеки и странности, до него мгновенно дошла жуть его положения.

— Матерь божья! — простонал он. — Как же мне быть!

— Ну вот, наконец-то, — облегченно проговорил капитан. — А то я думал, что вы не врубаетесь.

— Чего ж тут не врубаться! — рассвирепел Ширяев. — Так бы и сказал — украли колеса! А то морочишь мне голову какой-то херней. Мне ехать надо! У меня дел по горло. Работа ждет. Завтра отпуск кончается!

— Ну и ладно, ну и слава богу, — не реагируя на его крик, суетился Кафтанов. — Может, еще «шильца»? Вы же теперь не за рулем.

Ширяев обложил его и вышел за порог, хлопнув дверью.

Глава вторая

Машина стояла на песчаном съезде. Ниже ее, вся в белых гребнях, тяжело катила воды река. Прилив гнал волны вверх против течения, скрывал камни, островки. Вода над ними бурлила, обозначая мели. Белая пена кружилась в водоворотах, сбитыми хлопьями отстаивалась в береговой заводи, недалеко от которой трудились матросы. Надсадные выкрики, удары кайла пробивались сквозь шум реки. Ломами, кирками, лопатами матросы вгрызались в каменистый обрыв, стирая сопку с лица земли. Какие-то странные округлые бочки ровными рядами покрывали дно карье-

ра, огражденного колючей проволокой. Капли дождя осели на ней, и издали она казалась ажурной, нежной, как паутина. Фигура часового в плащ-палатке будто висела на тонких нитях.

«Минное хранилище», — догадался Ширяев.

Свежеошкуренные столбики перебегали с сопки на сопку и, выскочив на макушку, обрывались за последней высоткой, за которой было уже море. Знакомое, исхоженное вдоль и поперек, запретное уже десяток лет.

В былые времена сотню раз проходил он на своем судне мимо этой бухты. Оттуда берег казался безлюдным, диким, девственным, бухтой этой кончалась своя земля, обрывалась связь с домом, и судно приобретало самостоятельное существование — тогда и начинался настоящий рейс — свободный, праздничный, желанный, тоска по которому до сих пор не давала ему спокойно жить.

Машина чуть завалилась на бок. В кабине синели чехлы, приемник блестел на приборной панели, валялись джинсы и свитер. Ширяев не стал подходить близко, чтобы не натоптать. «Мой дом — моя крепость», маленький, удобный дом, где он чувствовал себя уютней, чем в квартире, — привычно, знакомо. И главное — свобода! Веди свой кораблик куда хочешь, ни виз тебе, ни помполитов, ни ворчания жены. Отгородился от целого света, сам себе хозяин. Нашел ведь, кажется, рай земной, один, никого не трогаю, не задеваю, даже не разговаривал две недели — нет, достали, все испортили, испохабили.

«Защитники! Родину они охраняют, — глянул он на теплушку, — увели из-под самого носа».

Рай земной, обретенный в тундре, напоминал ему об утраченной морской жизни. Один безмятежно длинный рейс с долгожданными заходами, лазурной водой за бортом, любимой работой и спокойной душой — таким ему виделось теперь все его долгое морское существование. Было в нем то ясное состояние праздности, которое Лев Толстой называл условием блаженства первого человека до падения. Любовь к праздности в нас осталась та же, говорил он, но проклятие тяготеет над человеком, и по природным свойствам мы не можем уже быть праздны и спокойны. Если бы человек мог найти состояние, в котором он, будучи праздным, чувствовал себя полезным и выполняющим свой долг, он бы нашел одну сторону первобытного блаженства. Толстой обнаружил этих счастливцев в обыденной жизни. Он утверждал, что в таком состоянии обязательной и безупречной праздности пребывает целое сословие — сословие военных, и в этом видел главную привлекательность военной службы.

Про военных Ширяев не знал в точности. Но то, что сюда относится и еще одно сословие — морское, было для него совершенно очевидным.

В портовом городе от причалов никуда не деться. Они уже давно стали для него границей, разделяющей жизнь на ту и эту. Бывая в порту, он всем нутром своим ощущал сгустившуюся плотную преграду, возникающую перед ним, и если из залива еще мог выйти, то пересечь траверс бухты можно было только став преступником. Его забавляла мысль, что все пятнадцать лет до этого он ходил в море по недоразумению — преступную его суть не разглядели вовремя, не спохватились, не осадили.

Так бы и плавал он до сих пор, наверное, если бы дорогу ему не перебежал таракан, самый обычный усатый «стасик», которые в изобилии водились на «Российске». Койку от них Ширяев отгородил липучей лентой, но все же с потолка, переборок они прыгали на одеяло и часто будили по ночам. А в ту ночь Ширяеву приснилось, что таракан залез ему в ухо. Он в страхе проснулся, потряс головой и, успокоившись, перевернулся на другой бок. И тут вдруг произошел взрыв. Рушились переборки, подволок, раскалывалась голова. Объятый ужасом, он закричал. Голова лопалась, разрывалась от дикого, непереносимого грохота. Эпицентр взрыва находился внутри. Огромной кувалдой кто-то пытался раскроить ему череп. Сжав виски кулаками и продолжая мычать, он ворвался в каюту доктора. Док перепугался не меньше, чем он сам, трясущимися руками схватил с полки справочник и судорожно стал листать. Пока Ширяев раскачивался на стуле, обхватив голову, док вычитал, что надо делать, повозился, закапал в ухо какой-то дряни. И наступила блаженная, ни с чем не сравнимая тишина. Док вытащил брюшко паразита, а голову и лапки не смог, сказал, само вылезет со временем. Но время шло, а оставшаяся часть не

вылезала. Потом шуметь стало в ухе, и по вечерам голова, как чумная. Ухо стало болеть, потекло из него. Док капли какие-то капал, компрессы ставил, но примочки его не действовали, все хуже и хуже становилось, поднялась температура. А ловили тогда недалеко от Кейптауна. Док сказал капитану, что надо на берег везти, иначе он ни за что не отвечает. Капитан сообщил в порт и получил оттуда добро на заход.

Так Ширяев и оказался в кейптаунской больнице, в той самой, в которой профессор Бернард сделал первую пересадку сердца. Его быстро прооперировали, подлечили. В ожидании судна у него еще день свободный оставался, и он пошел в город. Редкое везенье для того времени, чтобы в чужом порту да одному погулять, и не без гроша — наш представитель выделил сколько-то от своих щедрот. Ширяев ни сувениров, ни алкоголя не стал покупать, а сразу направился в книжный магазин и набрал там русских книг на все деньги: Авторханова, Солженицына, мемуары Хрущева. На судне потом он их особо не афишировал, но и не жадничал, близким ребятам давал почитать. А перед приходом, конечно, спрятал и благополучно принес домой. Но это последний рейс был. На стоянке вызвали его в органы и показывают бумагу, лучшим другом написанную. «Почерк узнаете?» А там черным по белому: незаконно провез такие-то книги, высказывал антисоветские взгляды. Ширяев сидел как пристукнутый, только, помнится, подумал: «Зачем они его, друга этого, рассекретили?»

Долго после этого он не мог на берегу прижиться, метался, места себе не находил — и запивать начинал, и жену бросал (или уж она его?), и в какие-то бражные дурные компании влезал, — пока после одной жутко темной ночи не укатил с собутыльниками на рыбалку. Не подвернись случай, так бы и не вспомнил, что в нем такая страсть посеяна. Может, и не полностью рай, но какой-то заменитель ему нашел. Подуспокоился, ожил человек, одумался. Из компаний осталась только рыбацкая, дома все както склеилось, да и на работе пошел в гору, ну не в гору — в сопочку... В общем, стал он приличным семьянином и добропорядочным гражданином отечества. И то сказать, за тридцать давно перевалило, пора за ум браться. «Самиздат», «тамиздат» жена к тому времени весь пожгла — «сын растет», от интеллектуальных компаний он отбился, так что и по этой части к нему претезий не было. А работу он всегда любил, — вот доработался до начальника флотского конструкторского бюро...

К теплушке резво подкатил красный «Москвич», хлопнула, как выстрелила, дверка, высокий светловолосый мужик в черном кителе энергично прошествовал в теплушку и словно вытолкнул на порог Малкина.

— Вас товарищ капитан кличут, — подбегая, сказал матрос.

Серые глаза его смотрели тускло и невидяще, будто их закрывал мутный целлофан.

Ширяев кивнул на машину:

— Видишь, Малкин, какая плешь? Что ты мне посоветуешь?

— Не могу знать, — неподвижно глядя сквозь него, ответил Малкин.

В каких-то дальних, неведомых широтах он обитал. Его худая тонкая шея болезненно-знакомо напоминала Ширяеву о сыне.

— Сам-то откуда? — спросил Малкина.

— Местный, из Послякова, поселок такой под Северным.

— Ну, земляк! — обрадовался Ширяев. — Знаю Посляково, проезжал.

Взгляд Малкина пояснел, будто пленка прорвалась. Ширяеву показалось, что он еще что-то хочет ему сказать. Но земляк молчал.

— Как служится? — поинтересовался Ширяев.

— Нормально, — несмело улыбнулся матрос.

— Ты легко одет. Смотри простудишься.

— Матросы не простужаются! — бойко отозвался Малкин.

В теплушке капитан и прапорщик сидели за столом и как ни в чем не бывало мирно беседовали. Увидев Ширяева, Кафтанов вдруг вскочил и произнес нервно, зло, с наигранным сарказмом:

— Вот полюбуйтесь, сидит, наша доблесть, прапорщик Порогин. Видали таких красавцев?.. Ты чего сидишь-то? Встань, когда к тебе обращаются, расскажи человеку, как ты машину курочил.

Порогин от удивления вскинул брови и, как бы по частям раскладываясь, стал разгибаться, расправил плечи, подтянул живот, вздернул подбородок. Голубые глаза смотрели твердо и доброжелательно. Он был ровесник Кафтанова, лет тридцати, но выглядел не в пример значительней — больше достоинства, уверенности в себе, мужественной красоты.

Он ослабил стойку, с чуть заметной иронией спросил:

— Могу садиться? — и, не дожидаясь ответа, сел.

Кафтанов обошел его вокруг, рассматривая, прицокивая языком, покачал головой:

— Нет, каков, а? Любимец женщин, спортсмен, скромняга. Ты что молчишь? Тебе сказать нечего? Где, так говорун, душа компании.

— Я вам уже все сказал,— Порогин отмахнулся от него, как от зудящего комара.

Капитан сверлил Порогина взглядом, но силы проломить спокойное терпение прапорщика ему явно не хватало.

— Ты не мне, зуй болотный, ты вот товарищу депутату скажи, уважаемому человеку, да в глаза его посмотри бесстыжие!

— Что? — поперхнулся Ширяев.

— То есть в свои бесстыжие... Нет, своими бесстыжими — в его, в ваши, то есть, не бесстыжие, а хорошие, честные глаза уважаемого человека.— Он взглянул на Ширяева — понятно ли излагает — и прикрикнул на прапорщика: — Говори!

— Опять за рыбу деньги, товарищ капитан,— устало произнес Порогин, и в голубых глазах его отразилась тоска.— Я что, их в кармане унес? Вы же на посту стояли, видели? Или, может, Малкин видел?

— Никак нет,— поспешно донеслось от двери.

— А не видели, как можно обвинять? Я в равной степени могу на вас сказать... Проехал, не отрицаю, туда и обратно. И не один — у меня свидетели есть, Руденко и Лапотенко, и егеря на базе, хоть их спросите, креветок взяли для наживки, и обратно. «Жигуль» стоял в целости и сохранности, подтверждаю.

Кафтанов в недоумении переспросил:

— Постой, постой, ты на что намекаешь-то? Значит, это мог и я?

— Отчего ж нет? Если мог я, то и вы могли. У нас положения равные,— как само собой разумеющееся выложил Порогин.

У Кафтанова перехватило дыхание:

— Нахалюга! Так это я?! Значит, я?

У дверей раскашлялся Малкин, хрипло, надсадно, чуть не до рвоты.

— Ты что здесь торчишь! — рыкнул капитан.— Марш отсюда!

Малкина как ветром сдуло.

— Куда же он раздетый! — запоздало возмутился Ширяев.— Хоть бы куртку дал накинуть.

— Да он взять постеснялся, вы на ней сидите,— пояснил Кафтанов.

— Черт знает что! — выругался Ширяев и вытащил из-под себя грязный засаленный бушлат.

Порогин обдумал что-то и сказал твердо и определенно:

— Товарищ капитан, я не буду с вами разговаривать. Мы с товарищем один на один.

— Видал таких! — воскликнул капитан, но в голосе его прозвучало облегчение. С подозрительной быстротой он схватил куртку и, ободряюще кивнув Ширяеву, выскочил за дверь.

— Нервный, дерганый, когда поддатый,— с пониманием произнес Порогин.

Доверительный тон прапорщика подкупал. Ширяев чувствовал к Порогину расположение, и давить на него, вынуждать в чем-то признаться, казалось противоестественным.

— Если взял — отдай. Никакого шуму не будет,— сказал Ширяев.

— Господи! Да я бы свои поставил, только бы меня не кантовали,— взмолился Порогин.— Жаль, не подойдут, у меня москвичевские.

— Капитан-то прямо на тебя показывает,— гнул свое Ширяев.

— Что же ему остается? — Порогин вскинул голову.— На его вахте ЧП, командир с него стружку снимет. Вот он и старается, чтобы разом за все рассчитаться.

— За все? — переспросил Ширяев.

— Да так, за разное,— помрачнел прапорщик, и желваки заиграли на крутых скулах.— Отношения у нас в тугом узле — не развязать. Только рубить можно. Вот он и жмет, при поддержке начальства. Тому я тоже поперек горла. Вскрыл месяц назад хищение полушубков, сообщил куда следует, и сразу же командирский рык: «Ату его!» Вот и гонят все скопом. А тут еще колеса ваши... Как там говорится: «Если колес нет, их надо придумать». Хотя не исключено, что и в самом деле нарочно: увидели, как я проезжал ночью, и сняли, чтобы меня подставить.

«Ну и нравы!» — подивился Ширяев.

— Куда же они могли деться? В три, говоришь, проезжал, стояли на месте, а в четыре — не было. Их же, действительно, в карман не положишь, до гарнизона на себе не потащишь. Ну представь себе!

И сам представил: ночь, разбитая дорога, огражденная «колючкой». Дождь хлещет как из ведра, а в центре, согнувшись, бредет фигура с колесами через плечо. И внизу подпись: «В энском гарнизоне».

— Ну, народ здесь шустрый,— усмехнулся Порогин.— В соседнем гарнизоне прокурорскую «Волгу» год назад разули — до сих пор ищут.

— Волговские-то зачем? — спросил Ширяев.— На них спрос не тот.

— А просто так, проучить — больно важный был. Приехал и думает, что он тут хозяин.

— Так, может, и меня — проучить? — вслух подумал Ширяев.

— Не, вы доверчивый, даже слишком,— откровенно признался Порогин.— Бросили на самом виду и пропали. Вот кто-то и соблазнился.

— Кто же? — посмотрел на него Ширяев. Ему показалось, что в покрасневших, не промытых после бессонной ночи глазах промелькнула тревога.

— Я ни на кого конкретно не говорю,— пожал плечами Порогин.— Но если теоретически — кто угодно мог. Хотя бы и Малкин с Кафтановым, не выдержали в последний день. Могли и часовые с объектов. Или вообще рыбаки с той стороны подъехали, скрутили быстренько — и привет. Раз так стоит, что же еще ждать.

Бесплодность дальнейшего разговора тяготила Ширяева.

— Ладно, иди,— сказал он,— досыпай.

Порогин охотно поднялся:

— И что надумали?

— Что тут думать? Поеду в Кону, в милицию. Пусть разбираются по горячим следам.

— Правильно,— поддержал Порогин.— Пора на них управу найти.

Крепко стиснув протянутую руку, Порогин вышел.

В теплушке потемнело. Низкая туча надвинулась со стороны моря и плотно закрыла небо. Крупные мокрые снежинки шлепками лепились к оконному стеклу и медленно сползали вниз, превращались в капли. Ширяев собрал свою амуницию и открыл дверь.

Около красного «Москвича» Порогин что-то рассказывал капитану. Тот с улыбкой слушал, согласно кивал головой, будто не он только что прапорщика материл. Малкин с отрешенным видом подпирал столбик шлагбаума. Был он в одной фланке, без головного убора. Снег хлестал по его тощей фигуре, фланка промокла насквозь, но он не двигался, не сжимался, будто йог, умеющий не чувствовать холода.

Увидев Ширяева, Порогин словно оттолкнулся от капитана, впрыгнул в машину и лихо рванул, разметая грязь по сторонам. След протектора на глазах забивался снегом, расползался, исчезал.

— Да нет, я смотрел, его колеса, москвичевские,— приблизившись, сказал Кафтанов.

— Ты что же, отец командир, совсем Малкина заморозил,— укорил его Ширяев.

Матрос услышал свою фамилию, подошел на деревянных ногах. На бледном лице выделялись багрово-сизые следы фурункулов. Ширяев увидел, что его бьет мелкая дрожь.

— Пошел! — раздраженно бросил Кафтанов и повернул к Ширяеву недовольное лицо: — Беда с этими «карасями»! Такие дохлые, будто их не мама родила.

— Да, посмотрела бы его мама, тебе бы мало не было.

— Что он, первый, что ли? — удивился Кафтанов.— Злее будет.

— Ему к врачу надо, — сказал Ширяев.

— «Матросы не простужаются!» — первая заповедь морпеха. На том стоим. Чай, на службе, не у тещи на блинах, иначе не получается, — свысока проговорил капитан и покачал головой, осуждая: — А вы жалостливый.

Ширяев промолчал.

— Жалостливый, добренький, я заметил. Вон и Порогина простили.

— Я простил? За что?

— Не поверили мне, его послушались, ну теперь глядите! Не видать вам колес как своих ушей.

— За что простил? — недоумевал Ширяев.

— За все! — обрубил капитан и крепко, с удовольствием выматерился. — Таких гадов давить надо, в зародыше.

— Почему? — спросил Ширяев.

Ответа он не услышал.

Ширяеву показалось, что он приблизился к какой-то территории, вход на которую закрыт неведомой преградой, более надежной, чем колючая проволока.

Ширяев стоял рядом с Кафтановым на крыльце. Мокрый снег падал почти отвесно, не попадая под крышу. Карьер, река, сопки вдали теряли свои очертания, становились бесцветными, блеклыми. Только они вдвоем тут находились в ясности, около тепла, словно объединенные общей крышей над головой, общим смыслом и общей жизнью.

— Останови мне машину, я поеду, — сказал Ширяев.

Капитан с видимым облегчением одобрил его решение.

Глава третья

Водитель КрАЗа, мрачный, огрузневший сверхсрочник лет сорока, сосредоточенно крутил баранку, не желая его замечать. Дорога была, как стиральная доска. КрАЗ жался к обочине, правыми колесами подбирал под себя брусничник, ягель, скреб бортом кустарник. Перед большими ухабами шофер резко тормозил, по кузову прокатывался нарастающий грохот, и что-то мощно ударялось в борт, отдаваясь в спине. Казалось, что груз проломит борт, разнесет кабину вместе с пассажирами.

— Закрепил бы груз, машину гробишь, — сказал Ширяев.

Прапорщик вырулил на ровный участок, переключил скорость и взглянул на Ширяева тяжело, презрительно. Он не одобрял пассажира. Даже не лично его, а всякого штатского, которого помимо воли подсунули ему в машину. Он видел в этом посягательство на свой авторитет. Знал Ширяев таких непробиваемых, задубелых сверхсрочников, которых распирало от собственной значимости и правоты. Малые звезды и большие возможности застывали на их лицах печатью тяжелого, подавляющего высокомерия. Перед ними и офицеры пасовали.

«Оплот и надега флота, — неприязненно подумал Ширяев. — Тоже, наверное, где-нибудь свидетелем проходит».

Машина переваливалась на колдобинах, смачно оседала в ямы, брызги разлетались из-под колес, как от взрыва. Грохот в кузове прекратился, что-то визжало там, скрежетало с напряжением, будто судовые кранцы между бортов. Ширяев любил смотреть, как их мотало на плаву при «хорошей» погоде, примерно так же, как его сейчас по кабине. Пружинистое сиденье подкидывало до подволока с шершавой, как наждак, обивкой, дверная ручка мяла бок где-то на уровне почек, и камушки там уже начинали шевелиться, напоминая о себе тупой, ноющей болью. Проходила эйфория тундры. В каких бы условиях он там ни находился, мокрый, голодный, холодный, — ни одна из болячек, которыми он уже обзавелся, не вылезала на свет божий.

Какая-то неведомая сила будто забавлялась с ним, подбрасывала, толкала, ставила синяки. На прапорщика качка не действовала. Монолитная фигура надежно восседала на кресле, не смещаясь, не напрягаясь, без видимых неудобств. Могучие руки широко и свободно лежали на руле. Массивная голова срослась с туловищем и отдельно от него не шевелилась. Он представлялся каким-то идолом, материальным воплощением силы, надежности и порядка. Ширяев вынужден был признать, что такому водителю можно без опаски доверить свою жизнь — если едешь с ним в одну сторону. Только не дай бог ему навстречу попасться — пройдет, расплющит, как бэтээр, и даже не оглянется, что там на дороге осталось.

До асфальта, до КП пограничников Ширяев так и не услышал его голоса. На ширяевское «спасибо» он тоже не ответил, презрительно хмыкнул и ногой пододвинул рюкзак.

Высокий забор из колючей проволоки разделял землю на вольную и пропускную. В восприятии жителя области этот кордон не столько границу охранял, до которой еще добрая сотня километров, сколько делил сферы влияния между рыбаками: до КП ловили городские, после КП — военные или те, кому удавалось достать пропуск, считалось, что там лучше...

Пограничники о нем уже знали, проверили документы, посочувствовали, предложили зайти в дом. Тренированные, крепкие ребята в ладно пригнанной форме, с живыми глазами, грамотной речью, они отличались от матросов, да и вообще от всех прочих родов войск, как лососевые рыбы от частиковых. Горше нет унижения для «зеленого» быть причисленным к СА. Они — не Советская Армия, они — Комитет, свои права у них, свой устав, свое могучее начальство.

Ширяев прижался спиной к голландской печке, отогревал ноющие почки и с любопытством слушал, как молодой сержант за стойкой выговаривал щеголеватому майору ВВС:

— Не в первый раз, товарищ майор, не маленький, порядок для всех один. Без подписи военкома это филькина грамота, а не пропуск.

Майор, крепыш лет тридцати, возбужденный, страшно расстроенный, тянул ему через барьер бумаги и взывал:

— Есть же подпись, сержант. Ну, смотри, вот она... Мое предписание, справка, ее паспорт. Что тебе еще?.. Пропусти, будь человеком. Она же сутки не спала!

— Сами виноваты, товарищ майор, не по форме подпись. Вы же знаете, что не его, какой разговор!

— Зама, заместителя, какая разница! — кипятился майор. — Самого не мог ждать, самолет бы не встретил. Пойми ты, из Киева человек добирается, пересадка в Ленинграде, задержка рейса. Разве все учтешь? Знаешь ведь, гражданская авиация...

— Знаю и сочувствую, но помочь не могу, — не проявляя эмоций, сказал сержант и отстранил протянутые бумаги.

— Что же мне делать-то? Ты подумал? Войди в мое положение!

— Я на службе, товарищ майор. Ничем не могу помочь. Сами проезжайте, а женщина пусть остается.

— Не женщина она — жена моя! — выкрикнул майор и бросил взгляд в угол.

В этом «жена моя» слышались восторг и отчаяние.

За печкой на стуле сидела яркая, красивая женщина в дубленке и лисьей шапке. Губы ее капризно изгибались, в глазах затаилась злость.

— Пусть в город едет. Завтра встретитесь, — посоветовал сержант.

— Что творишь, сержант! Куда же ей? В городе ни родных, ни знакомых. Где она приткнется?

Пограничник пожал плечами, показывая, что разговор окончен.

— Дай позывной начальника! — рванулся к телефону майор и схватил трубку: — Кого просить? Соедините с заставой!

— Положите трубку! — повысил голос сержант. Легко, словно перелетев, он оказался у телефона, накрыл его рукой и, глядя в глаза майору, жестко произнес: — Я здесь начальник, а звонить бесполезно — она вам не жена.

Минуту они смотрели друг на друга.

— Ну, невеста, — опустил глаза майор.

Хлопнула входная дверь — женщина выскочила на улицу.

— Как смеешь, сукин сын! Я боевой офицер! У меня двадцать вылетов! Да ты знаешь, что я могу...

— Еще слово, майор, и я вызову наряд, — негромко сказал сержант.

— Ах ты, бог мой! — схватился за голову майор и выбежал вслед за женщиной.

Сержант поправил телефон и как ни в чем не бывало улыбнулся Ширяеву:

— Это у вас морпехи колеса сняли?

Ширяев кивнул, все еще находясь под впечатлением разговора. Ему казалось, что он только что стал свидетелем жизненной драмы.

— Как же вы?.. Неужели нельзя пропустить?

— Майора? Летуна этого? — удивился сержант. — Ну что вы! С Советской Армией иначе нельзя. Дай им волю — каждый с такой женой будет ездить.

Лицо у него было умное, интеллигентное даже, крепкая подтянутая фигура, хороший рост. Ширяев не мог себе объяснить, почему этот парень вызывал неприязнь.

— Чем же Советская Армия вам не угодила? — спросил он.

Пограничник не успел ответить — на стойке связи загудел зуммер.

— Сержант Волгин! — В голосе слышалась нарочитая небрежность. — Кто? Пехотный полковник?.. Ну дела! — воскликнул он и засмеялся. — Свита большая?.. Ладно, минут десять смогу, пусть догоняют. — Он отключил связь и повернулся к Ширяеву: — Видите? А вы говорите «Советская Армия»... Пьяный полковник с командой скрывается от ГАИ, от самого города догнать не могут. Просили его здесь задержать, по-дружески.

— По-дружески задержать? — переспросил Ширяев.

— Нет, по-дружески просили. Милиция, она тоже армию не жалует. Но я-то что могу, я ж не ВАИ... Поморочу ему голову минут десять, поковыряюсь в документах. Не догонят — придется пропустить... Но это — доложу я вам — будет концерт! — предвкушая удовольствие, потер он руки. — Не то что с майором, увидите, скоро подкатят... Чем больше звезд, тем больше шума... Да еще поддатый! — весело замотал он головой.

Все тем же легким, летящим шагом он пересек комнату и открыл дверь:

— Гриша!

На пороге появился пограничник, который проверял у Ширяева документы.

— Гриша, из города белая «Волга» жмет, с полковником и его командой. Пристопоришь, и документы ко мне.

— Всех?

— Ага, точно, давай всех, веселее будет.

Пограничник кивнул и обратился к Ширяеву:

— Я для вас самосвал задержал. Вы поедете или будете легковушку дожидаться?

— Нет-нет, конечно, поеду, — поспешно отозвался Ширяев.

— А то останьтесь! — предложил сержант. — Машины здесь часто ходят. Зато какой концерт увидите... У нас театра нет, мы сами себя забавляем, — игриво усмехнулся он.

— Слушай, а ты что, и генерала можешь, так вот... пристопорить? — спросил Ширяев.

— Да по мне хоть маршал! — довольный, признался сержант.

— Черт знает что! — удивился Ширяев. — Не поймешь, что у вас тут — театр или служба.

— У нас жизнь, как и всюду, товарищ депутат, — глубокомысленно произнес сержант.

Ширяев попрощался с ними и, подхватив рюкзак, пошел к ожидавшему его самосвалу. Шофер ждал, предупредительно открыв дверцу с правой стороны, хотел было подсадить, но Ширяев быстро запрыгнул на подножку и втащил за собой рюкзак.

Давно он на перекладных не ездил. С тех самых послевоенных пор, когда они с отцом ходили на озера. С детских лет у него сложилось представление о двух жизнях, которые существуют на свете. Одна — знакомая, городская, с людьми, машинами и домами; другая — далекая, влекущая. Там высокие каменистые сопки, озера с рыбами в глубине, ягодник и мох, опасные болота, в быстрых ручьях играет радужная форель и не заходит солнце. Ни людей, ни жилья там нет, бегают разные звери и облаками висят комары. Два этих берега разделяет залив — ни объехать его, ни обойти: с одной стороны — море, с другой — бурная река без моста. Залив разлегся между двух жизней, и без перевозчика его не переплыть. А перевозчиком может быть только один человек, самый родной и самый добрый, у него сильные руки, веселые глаза и посреди лба маленький продолговатый шрамчик — только отец, и больше никто. Нет уже бати...

Вдали от моря сделалось прохладнее. Легкие снежинки едва касались ветрового стекла и исчезали, не оставляя следов, словно щекотали выпуклый лоб. Слабо шумел отопитель. Навстречу изредка проносились легковушки. Их крыши мелькали где-то на уровне ног. «Татра» продолжала ехать по середине дороги, уверенная в своем превосходстве, а машины жались к обочинам, снижали скорость. Ширяев неожиданно поймал себя на том, что и в себе ощущает это самодовольное превосходство, словно возможность глядеть на них сверху в самом деле его возвышала, делала сильнее и защищенней.

«Жигуль», оставленный на песчаном съезде, молчаливым укором напомнил о себе.

Ширяев купил его исключительно для рыбалки, и дома все про это знали и не претендовали на него. Сын, десятиклассник-акселерат, ростом под метр девяносто, тот вообще не любил за город ездить: магнитофон, «видик», тяжелый рок — вполне в духе времени был ребенок. Ширяев так и не смог заразить его рыбалкой. Правда, к технике он тяготел, занимался картингом, мотор и вообще машину знал лучше его самого. После очередной рыбалки не ленился ее осмотреть, проверить и, придя домой, недовольно ворчал:

— Опять масло ниже уровня! Запорешь двигатель.

— Ладно, оставь, — отмахивался Ширяев, хотя в душе его радовало это ворчание.

— Ну что оставь, опять оставь! — горячился сын. — Брызговики оборвал, левый подфарник не горит. Дождешься, что тебя оштрафуют... Гоняешь где-то по своим проселкам.

— Мы для машины или машина для нас? — улыбался Ширяев.

— Она для тебя, а ты за ней не смотришь, — не принимал шутки сын.

«Скорее бы он права получил, — подумал Ширяев. — Привез, отвез, и колеса на месте».

Про колеса Ширяев решил дома ничего не говорить. «Скажу, в гараж поставил, а ключи буду с собой носить».

— Вы извините, конечно, но вот интересно мне знать, — услышал Ширяев вкрадчивый голос, — вы какой депутат будете?

Ширяев поморщился. Не любил он депутатство свое выпячивать. Но в пропуске написано...

— Никакой я не депутат! Понятно? — отрезал он.

— А погранцы сказали...

— Пошутили они, ясно? Я инженер-судоремонтник.

— А, инженер, — разочарованно протянул парень и замолчал, слегка обиженный.

— Ладно, друг, прости, — через минуту сказал Ширяев. — Незадача у меня, понимаешь, колеса сняли.

— Ну и чего? И куда же ты теперь едешь? — лениво поинтересовался шофер.

— Да вот, в милицию.

— А-а, ну ехай, ехай, — ухмыльнулся парень и замолчал, не стерев с лица гадкую ухмылку.

Ширяева она раздражала.

— Ты чего усмехаешься? Тебе что, анекдот рассказали? У человека несчастье, можно сказать, а ему смешно.

— Да нет, я чего? Ехай, ехай... Сколько сняли-то?

— Два.

— Ну вот, вернешься — четырех не будет. А то и мотор унесут.

— Да нет, ты что! — встрепенулся Ширяев. — Они обещали мне, я им верю... Нормальные мужики.

— А-а, ну тогда другое дело, раз обещали, — очень серьезно произнес парень и нахмурил белесые брови. — Раз обещали — ты верь. Это хорошо, когда человек доверчивый... А вот все же мне интересно, они все такие доверчивые, инженеры-судоремонтники?

— А что ты к инженерам цепляешься? — вспылил Ширяев. — Они что тебе — дорогу перебежали?

— Да нет, я ничего. Смотрю, вроде взрослый мужик, своя машина, значит, при деле. А вот мозги у тебя ей-богу, как у годовалого. Они же тебя специально спровадили, чтобы ты курочить им не мешал. Сам подумай: на хрена ты милиции спекся? Станут они с армией связываться, да и с тобой? У тебя что, там брат работает или тесть? Ты им кто такой? Инженер-судоремонтник? Ну и давай двигай, чини свой металлолом, а к ним не лезь. У них своих дел, нераскрытых — во! — черкнул он выше головы. — На кой им твои колеса себе на шею вешать? Да они и заявления от тебя не возьмут.

— Это почему?

— Простяк! Они тебя первым делом спросят: а какие номера ваших колес, дорогой товарищ? Ну, а ты ведь не шофер, ты судоремонтник, ты этого не знаешь, так?

— Ну, так.

— А не знаешь, так о чем с тобой говорить? Если допустить, что они найдут колеса, то как доказать, что они твои? Мало ли у кого в гараже лежат колеса. Ты знаешь?

Ширяев пожал плечами.

— И они не знают... Пустышку тянешь, инженер. Давай, пока не поздно, машину подловим, и кати, спасай свой тарантас. Лады?

— Нет, поеду, — уверенно сказал Ширяев.

— Чудо в перьях, они же не колеса, они пробу с тебя сняли, посмотреть, насколько ты управляемый. А ты купился... Ты хоть где ее оставил — за КП или перед?

— Вообще-то я переехал, а потом назад сдал. Наверное, прямо на уровне шлагбаума оказалась.

— Ха, на уровне! Да если шлагбаум не переехал, она вообще ничейная. Мало ли кто в лесу оставляет. Что ж им, за каждой смотреть?

— Не хочешь — не смотри, но не воруй. Защитники отечества! Окопались тут за «колючкой», всю тундру испохабили, распоясались от безнаказанности. Воровство для них — как забава, — распалял себя Ширяев.

— Куда деваться, инженер, — все воруют. Там хоть кто был-то? Подозреваешь кого-нибудь? — спросил шофер.

— Капитан на прапорщика грешит.

— Что? Прапор? — обрадовался парень. — Ну тогда хана! Прапор откуда хошь выскользнет. У них же огромадные ценности в руках, не контролируемые практически, все схвачено, куплено и чек выбит. Там сказали тебе уже, нет? Прапорам новую форму вводить будут, с одним погоном.

— Ну, вряд ли. У всех два, а у них один. Зачем же? — усомнился Ширяев.

— А чтобы таскать было удобно. На плечо перекинул и неси, погон не мешает, — сказал парень и громко заржал, обнажая крупные, как у лошади, желтые зубы.

— Пошел ты... — сказал Ширяев, отодвинувшись в угол, опустил на глаза шапку.

Через пару минут он задремал.

Когда парень тронул его за рукав, машина стояла у каменного трехэтажного здания.

— Вот приехали. Не передумал? А то я в город еду, довезу.

— Не передумал, — сказал Ширяев, достал пятерку и замешкался.

— Тогда двигай, — парень неуловимым движением слизнул деньги. — Дружба дружбой, а табачок врозь. Бывай, инженер, — хохотнул он и добавил насмешливо: — Су-до-ре-монт-ник!

— А ты — живоглот! — рассвирепел Ширяев. — И рожа у тебя наглая!

— Во дает! — удивился парень. — Это вместо спасибо.

Весь наполненный злой энергией, Ширяев резко отворил дверь, увидел за стеклянным барьером дежурного и с ходу сунул ему в лицо свое удостоверение.

— Слушаю вас, — почтительно привстал лейтенант.

Ширяев напористо, сжато изложил суть дела и, ожидая ответа, готовился учинить разнос.

— Вы не волнуйтесь, — успокаивал лейтенант. — Я сейчас следователя позову.

Бог миловал, с милицией он до сих пор дел не имел и знал об их жизни по прочитанным книгам, детективам, да еще в последнее время по разносным статьям в газетах. Оптимизма все это не добавляло.

— Давай следователя, мне все равно! Только быстро.

Когда злость на Ширяева накатывала, он становился собранным, целеустремленным и, пока завод не иссякал, готов был горы своротить.

Но ждать не пришлось. Из коридора, слегка прихрамывая, вышел невысокий белобрысый парень в потертом пиджаке и уверенно представился:

— Следователь Петрухин... Пройдемте. — И повел впереди себя.

В маленькой клетушке он усадил Ширяева напротив, задал несколько вопросов, что-то записал. Ширяев нетерпеливо раскачивался на стуле, готовясь ринуться в бой. Но Петрухин не очень торопился, уточнял детали, что-то писал, кому-то позвонил, будто неловко ему было сразу отказать.

«Давай, вперед, не тяни, — подзуживал его Ширяев. — Спроси про номера — я же их не знаю. Про машину поинтересуйся, где поставил, почему нет секреток на колесах. Про тестя узнай, про брата, про свата».

Ширяеву уже и в самом деле хотелось получить отказ. Пружина, которую он в себе закрутил, должна была разжаться и высвободить энергию. Уж тогда бы Ширяев объяснил ему, кто они такие, на чьи средства кормятся и о ком призваны радеть.

— Подпишите, — попросил Петрухин и придвинул к нему листок.

Ширяев посмотрел на канцелярский бланк, исписанный круглым, разборчивым почерком и ничего не понял.

Кто-то позвонил. Петрухин ответил: «Хорошо!» — и обратился к Ширяеву:

— Машина есть, можно ехать. Если вы согласны сейчас, я вызываю опергруппу, но лучше бы завтра с утра...

— О чем вы говорите? Машина, опергруппа... Я же и номеров не помню, и где поставил, и вообще... — недоумевал Ширяев.

— Только, знаете, у нас свои проблемы, — дружески улыбнулся Петрухин. — Топливом нас не шибко балуют. Там есть хоть где заправиться? На обратный путь может не хватить.

— Да как же вы с армией будете? У них кордон там, своя власть, — нервно вопрошал Ширяев, все еще не веря услышанному.

— Ну, советскую власть пока еще нигде не отменили, — успокоил его Петрухин. — Так значит завтра? А то сегодня, видите, уже девять...

— Да-да, конечно, — поспешно согласился Ширяев. — Не беспокойтесь, бензин достанем.

«Ну, дожили. Только и остались люди, что в милиции, а казалось, совсем наоборот», — направляясь к остановке, думал он.

Через час он открывал ключом дверь квартиры.

Жена, услышав, вышла из своей комнаты и сказала с равнодушной улыбкой:

— Надо же, явился. А мы тебя завтра ждали. Все нормально? Чего так рано?

— Нормально, — ответил Ширяев, выпутываясь из лямок рюкзака.

Сын выбежал, помог и удивился:

— Ну ты даешь, папашка! Все рыба?

— Не, камней наложил, — ответил он, польщенный. Рыбу в доме никто, кроме него, не ел и обычно ею не интересовались.

— Кушать будешь? — спросила из кухни жена. — Только у нас хлеба нет.

— Как же вы так живете? — подивился он.

— Вот так и живем, — ответила жена, гремя посудой. Он уловил в ее голосе недовольство.

— Ладно, найдем, — смирился Ширяев. Жена из гордости у соседей не одалживалась, сын стеснялся, придется самому идти.

Он стащил с себя рыбацкие доспехи, накинул халат, открыл в ванной кран.

Сын сидел на кухне перед рюкзаком, его дожидался. Длинная шея высовывалась из отложного воротничка рубашки. Худобой своей он живо

напоминал Малкина, и что-то заскребло, заныло на душе. За окном уже было темно. Вдруг представилось, как в тундре, у шлагбаума по-прежнему стоит нескладная фигура, и мокрый снег безжалостно хлещет по ней.

— Ты бы хоть спортом занялся,— сказал Ширяев сыну.

— Ладно, папашка,— поморщился сын. Он терпеть не мог подобных разговоров.

— Молодец,— похвалила жена.— Самое время заняться воспитанием.

Она энергично шуровала у плиты. Ей досаждали эти неожиданные хлопоты.

— Макароны будешь? Картошку будешь?

Почему-то каждое его возвращение кончалось размолвкой или ссорой. На этот раз Ширяев решил быть предельно терпеливым.

— Все, что есть в печи, все на стол мечи! — громогласно объявил он.

— Тут еще каша осталась с утра. Кашу будешь? Если хочешь рыбы — поджарь сам.

— Ладно, мамашка, оставь,— перебил ее сын.— Давай рассказывай. Где был? Хорошо брала?

«С чего это он заинтересовался?» — удивился Ширяев. Но внимание было приятно, и он с энтузиазмом принялся излагать перипетии двухнедельной жизни. Достал из рюкзака кумжину, красавицу на два кило, развернул живот, с наслаждением трогал нежно-розовую сочную мякоть.

Жена с недовольством следила, как рассол капал на пол.

— Машина цела? — поинтересовался сын.— Что-то я не слышал, как ты подъехал.

— Машина — зверь. Мотор работает, как часы. Всю дорогу на прямой шел, на любой подъем.

Сын встал и выглянул в окно.

— Я ее в гараж поставил. Хватит уже, каждый месяц обчищают.

— И будут обчищать, если в милицию не заявляешь,— сказала жена.

— Про что заявлять-то? Там и брать уже нечего. А инструмент я под сиденьем прячу.

— Твоя машина — твое дело,— подчеркнуто равнодушно сказала жена.

— Поставь секретки. Сопрут колеса, тогда запоешь,— сын внимательно смотрел на Ширяева.

— Ладно, все хорошо. Вы-то тут как жили?

Сын шмыгнул носом. Жена задержала на нем укоризненный взгляд и с ударением произнесла:

— Мы тут по-разному жили...

— Что на работе? — спросил Ширяев.

— О, прекрасно! — оживилась жена.— Представляешь, мою новую модель приняли.— Она принялась подробно рассказывать, как прошла выставка мод. Она любила свою работу. Глаза засветились, лицо помолодело и стало еще привлекательней. Ширяев смотрел на ее грудь и думал, придет она сегодня к нему или нет. Так сложилось, что они спали в разных комнатах, условия позволяли. Но у жены был узкий и жесткий диван. Она сама к нему приходила, когда считала нужным.

Жена могла о работе долго говорить. Ширяев воспользовался паузой:

— Знаешь, когда туда шел, мужиков встретил.— И рассказал неприличный анекдот.

Сын заржал.

— Содержательно живешь,— констатировала жена.

«Куда это меня понесло?» — поскреб в затылке Ширяев.

— А у нас тут по-разному,— со значением повторила жена.

Сын перестал смеяться и заерзал на табуретке.

Ширяев не хотел приниматься за еду, хотя от голода сводило желудок, и в ванну идти не торопился — отяжелеешь, разморишься, уже не до общения станет. Так хорошо было сидеть в тепле, смотреть на милые лица, слушать. Только б не разбрелись по своим комнатам.

Ширяев встал у раковины. Улов последнего дня надо было чистить. Он вспорол кумже живот и стал выдирать внутренности, стараясь не раздавить желчный пузырь.

— Как ты можешь? — с отвращением проговорила жена, глядя на его окровавленные пальцы.

Ширяеву обидно стало за рыбу, за свой мужественный труд.

— Не надо ханжества,— сказал он.— У коровы, что же, ни печени, ни почек нет?

Ширяев соскреб ножом перламутровую пленку с брюшины и принялся счищать с хребта черную, загустевшую кровь. Ему доставляла удовольствие эта работа.

— Ты становишься диким,— сказала жена и передернула плечами.

«Не придет, наверное»,— подумал Ширяев и подставил рыбу под кран.

— На килограмм потянет,— явно завышая, польстил ему сын.

— С кишками — побольше,— лицемерил Ширяев.— Видишь, какая красавица, а ты со мной ездить не хочешь.

— Я ездить не против, я ловить ее не люблю... Давай в следующую субботу, я согласен.

— Давай! — радостно согласился Ширяев.

— Никаких поездок! — категорично сказала жена.— Пусть занимается.

— Нет, почему же? Поедем,— возразил Ширяев.

Жена быстро поднялась и расправила плечи. Нежная грудь под кофточкой колыхнулась и замерла.

— Я чувствую, мне тут делать нечего,— она вышла из кухни.

В прихожей грохнулись удочки, и послышался раздраженный голос:

— Можно не разбрасывать все посреди квартиры?

Без нее в кухне стало неинтересно. Ширяев принялся за еду. Сын сидел рядом, не поднимая глаз.

— Иди спать, потом поговорим.

— Я тебе постель разберу! — повеселел сын.— Детективчик свеженький переписал — поставить?

— Спасибо, не хочется.

Сын ушел к себе. Ширяев принял ванну, побрился, с наслаждением растянулся на свежих, хрустящих простынях.

Жена не приходила. Он слышал, как она двигалась у себя в комнате. Включил светильник, стал листать свежий «Огонек». Жена прошла мимо двери. Он насторожился, отложил журнал. Погремев посудой, жена вернулась к себе.

— Эмансипэ хренова! — выругался он.— Жена мне или наложница? Вечные капризы, претензии. Не надо ей этого? Куда что девается! Ведь как было — ни дня без строчки!

Глава четвертая

Будильник разбудил утром, в семь часов. Времени на раскачку не было, Петрухин его ждал, машина, Малкин. Из всего богатого впечатлениями вчерашнего дня острее всего его поразила обстановка в гарнизоне: по частям разваливающийся пьяный капитан, дистрофия, воровство. У него было такое чувство, будто эта, забытая Богом воинская часть погибала заживо, подтачиваемая изнутри. Не в колесах тут дело — порядок надо наводить, хотя бы так.

Когда он вышел из кухни, жена стояла у его комнаты сонная, в открытой ночной рубашке, со своей подушкой в руках.

— Ну чего ты? Тебе же завтра на работу! — капризно произнесла она.

Чувствуя, как злая муть поднимается внутри, он резко бросил:

— Поезд ушел!

Жена была удивлена и раздосадована. Пошла готовить себе завтрак, не преминув поинтересоваться:

— Ты за хлебом так и не сходил?

На улице еще не рассвело. Холодные огни назойливо лезли в глаза, высвечивали угловатые, рубленые формы. Ненормальным казался город кирпича, стекла, облезлой штукатурки. Люди, не отягченные ношей, бод-

ро двигались прямыми курсами, на поворотах останавливались, глазели по сторонам, дожидались подкрепления и резвой ватагой штурмовали перекрестки. Машины испуганно тормозили, выстраивались рядами и, накопив сил, рыча, заражая воздух, разгоняли на время осмелевших людей.

«Чуден мир твой, Господи!» — подумал Ширяев, вспомнив, как совсем недавно ограждал ладонями желтый, плотный и горячий язычок костра.

Привокзальная площадь была запружена пыхтящими автобусами. Стараясь глубоко не вдыхать, он отыскал свой и заскочил внутрь. Штатский люд активно заполнял салон. Цепкие взгляды алчно рыскали по сиденьям, тела бросались вперед, как на амбразуру, и припечатывали свободное место.

Теснота, давка не докучали ему, скорее развлекали. Сжатые в одну плотную массу, лишенные рангов, авторитетов, каких-либо заслуг, здесь люди оказывались беззащитными. Как ни странно, именно в этой спрессованной толпе проявлялась их индивидуальная, чисто человеческая суть.

Автобус шел нижней дорогой, вдоль берега залива. За забором виднелись мачты, рубки рыболовных тральщиков, знакомые транспорты и базы. Из проходной высыпали ребята, груженные коробами, баулами, яркими пакетами. Для них, пришедших с рейса, этот короткий бросок от проходной до дома — счастливейший из жизненных моментов. Таким и остался он у Ширяева в памяти. Они-то думают, что дальше еще лучше будет: и дом, и встречи, любимые глаза; что берег — обретенный рай...

— Не спешите, родные, — сказал он им вслед.

Сейчас, отдалившись, он мог уже смотреть непредвзято на морскую жизнь и, конечно, видел, что не одними радостями вымощена эта дорога. И наверное лучше, что для него она оборвалась на середине, не добрав того срока, когда изменения, вносимые морем, становятся необратимыми. Но что-то грубое, прямолинейное он успел приобрести, потому что берег, о котором так горячо просила жена, когда реализовался, положил конец теплоте и близости их отношений. То, что въелось в него вместе с морским бытом, часто шокировало не только жену, но и его новых береговых знакомых.

Кона был городок старый, даже древний, но за жизнь Ширяева перестроенный уже полностью. От былого поморского колорита не осталось и следа. Берег залива прирос искусственной насыпью, и на свежем грунте торчал, как фаллос, многоэтажный дом.

Милиция в веселеньком голубом доме находилась. Несколько мрачных потрепанных личностей топтались у подъезда, разглядывали стенды с фотографиями.

Небритый, похмельный мужичонка тупо смотрел перед собой, вдруг лицо его озарилось радостью. Он зыркнул по сторонам, не в силах сдержаться, слегка толкнул Ширяева в бок:

— Гля, Мишка попал! — восторженно вскрикнул он и ткнул пальцем в чей-то портрет. — Это его Анька сдала, в среду.

Очень ему хотелось примазаться к чужой славе.

— Не завидуй, сам скоро попадешь, — сказал Ширяев.

— А я чего? — испугался мужичонка. — Я в среду на дежурстве был, хоть у кого спроси. Меня участковый видел.

Ширяев пошел искать Петрухина.

— Все, едем, — бодро сказал Петрухин, когда Ширяев отловил его где-то в коридоре. На ходу он заглянул в какую-то комнату и крикнул:

— Егор, он пришел, едем!

И пока спускались со второго этажа, он еще раз пять останавливался, что-то подписывал, кому-то отрывочно и быстро отвечал. Энергия в нем так и клокотала.

Только на крыльце он остановился, глубоко, облегченно вздохнул и, как рачительный хозяин, оглядел свое подворье. Мужики побросали чинарики и приосанились.

— Нискин! — зычно позвал он.

Завистливый мужичонка подбежал к нему на полусогнутых и подобострастно заглянул в глаза.

— Я, товарищ капитан, тут он весь.

— Иди, Нискин, отпускаю тебя. Но учти, в последний раз.

— Да я чего, товарищ капитан, я ей за дело приложил. Она ведь, стерва, мне задарма обещалась, а как всю бутылку-то кончили... — залопотал он.

— Все, Нискин, исчезни! — приказал Петрухин.

— Понял, понял, — согласно закивал Нискин. — Меня уже нет.

Он хитровато подмигнул Ширяеву и, довольный, потрусил рысцой.

Уже совсем рассвело. Утро было тихим и ясным. Свежий морозец покрыл лужи тонкой корочкой. Она приятно хрустела под ногами.

Петрухин, прихрамывая, обошел милицейский «газик», проверил скаты.

— Эй, шевелитесь! — крикнул он.

К машине приближались двое. Один высокий, худой, увешан был аппаратурой, как фотожурналист. Другой шел налегке, плотный, коренастый, с насупленными бровями, чуть брезгливым и твердым лицом.

— Омелин, угро, — хмуро представился крепыш, но руки не подал.

Криминалист флегматично кивнул и стал загружать аппаратуру за заднее сиденье.

Петрухин включил двигатель и для острастки поработал газом.

— Обрадовался, вырвался на свободу в кои-то веки, — ворчал Омелин, усаживаясь на переднее сиденье. — Дал бы мне руль, а то скувырнешь нас, водило.

— Ваганов, ты долго будешь свои цацки пеленать! — нетерпеливо вопрошал Петрухин.

Наблюдая за их приготовлениями, Ширяев чувствовал себя неуютно. «Не многовато ли — трое? — царапнуло его. — Серьезные, взрослые люди, наверное, помимо стоптанных колес, им тоже есть чем заняться?»

Он думал, что как-то проще все решится.

— Можно ехать! — милостиво разрешил Ваганов и, надвинув на глаза кепку с длинным козырьком, затих.

К милиции у Ширяева сложилось двойственное отношение. По натуре своей он был все же оптимист, вера в изначальную справедливость жизни не вызывала у него сомнения. Поэтому людей, на своем уровне этот смысл утверждавших, он склонен был уважать. Но уважению этому мешала давняя, известная по литературе прошлого, нравственная нечистота сыскного дела, да и близкое время в этом не разуверяло. В глубине души он сознавал, что неправ: нельзя переносить отрицание на всю профессию. Такое огульное неприятие сословия сродни шовинизму — не могут ни в чем не повинные люди обременяться чужими грехами. Но изменить мнение до сих пор не представлялось возможным, все как-то повода конкретного не было.

Ваганов спал. Омелин и Петрухин перебрасывались бойкими фразами, подсмеивались, подкалывали друг друга. Говорили о доме, бане, рыбалке, но наступательный, твердый характер Омелина проявлялся даже в этом безобидном трепе. Петрухин был спокойней, обстоятельней. Ощущалась в нем основательность, домовитость, серьезность, которая всегда нравилась Ширяеву в людях.

Обоим было лет по тридцать с небольшим — возраст, на который Ширяев смотрел теперь с легкой завистью. Свой — он не считал в чем-то ущербным, но, глядя на них, вынужден был признать, что они в лучшей поре человеческой жизни. У сорокалетних этого уже нет — ощущение предела и ограниченности земного существования все ясней и определенней проступает на торном пути. А вместе с тем нарастает тревога: из времени, раскиданного по годам, растянутого на участки, появляется желание скомпоновать что-то единое, неделимое и существенное, охватывающее жизнь целиком. Чтобы там, впереди, у последнего дневного света, кто-нибудь без труда нашел ей одно из определений: честная, нужная, правильная.

На работе он слыл правдоискателем. Без потуги он и в новое время так вошел, а когда стали оказывать ему широкое доверие, хоть и не привык к этому, — особо не противился, говорил все так же прямо, открыто и резко, только перед большей аудиторией. Слава богу, сказать было о чем.

Парни в машине о работе не вспоминали и, похоже, не думали о ней. Вырвавшись из надоевших стен, они с радостью вкушали обретенную свободу, наслаждались быстрой ездой, беззаботностью и своей властью над дорогой.

Временами Шряев вклинивался в их разговор, пытаясь направить его в профессиональное русло, но был удивлен их способностью уходить от прямых ответов.

— А вы молодцы, оперативно отозвались,— похвалил их Шряев.— Я, признаться, не ожидал...

Парни заулыбались, довольные.

— Вы всегда так?

— Да как вам сказать...— помедлил с ответом Петрухин.

— Выезжаем, когда есть необходимость,— суховато сказал Омелин.

— Ну и как результаты?

— Результаты в газете: читайте сводки УВД,— усмехнулся Омелин.

— Да у вас там какая-то статистика странная: всем известно, что преступность растет, а у вас по процентам каким-то вроде бы падает. Вы что, по всей стране самые передовые?

— Уметь надо! — отозвался Омелин.

Петрухин подумал и сказал:

— Я думаю, сама по себе она ни расти, ни падать не может. Она просто живет по своим законам.

— В чем же они, эти законы? — заинтересовался Ширяев.

— Если бы мы их знали, Вадим Дмитрич! — несколько свысока протянул Омелин.

— Егор, ты не прав,— серьезно сказал Петрухин и, посигналив, обогнал «уазик».— Преступность — как болезнь в теле: если организм слабый, ей легко развиваться. Если сильный — задавит.

— Не согласен! — решительно возразил Омелин.— Для того и существуют врачи, чтобы болезнь лечить. Ты, я, управление, министр — если бы каждый делал, что мог, мы бы этой гидре голову открутили.

— А министр не может, ему средств не дают. А чтобы средства были, надо стать богаче, а чтобы богаче стать — надо все с ног на голову перевернуть и навести общий порядок. Пока все это наступит, мы уже на пенсии будем.

— Но мы-то с тобой работаем! — запальчиво произнес Омелин.

— Работаем, куда ж деваться... Но лечить надо не болезнь, а организм, хорошие медики так считают.

— И болезнь тоже надо, как следует. А то лежим, спеленутые инструкциями, а нас по голове лупят. Волю нам дай, свободу и огради от разных инструкций! У них там только тронешь полисмена — и ты покойник. А у нас — он бьет тебя, а ты его предупреждай, пали в воздух...— возмущался Омелин.

— Ну и правильно. Ты не равняй, кто у них полисмен и кто у нас. Нашим архаровцам только дай волю — направо-налево палить начнут.

— Все равно, требовать надо, добиваться. Мы не можем ждать милостей от власти, взять их у нее — наша задача,— лихо отчеканил Омелин.

— Да ты экстремист! — засмеялся Петрухин.— Твоя задача — как раз власть охранять. Ты неформалов-то вчера разгонял?

— Ну, разгонял,— без энтузиазма ответил Омелин.

— То-то! С дубинкой легче?

— Я ее не применял,— сказал Омелин.

— Ты не применял, а мне пришлось,— повернулся к нему Петрухин.

— Да ну? — удивился Омелин.

— Куда деваться — наших били. И я тебе скажу — без дубинки было легче: по-свойски бы разобрались — и порядок. А теперь он не тебя видит, а дубинку. Какой же ты ему друг-товарищ? И с оружием так же будет, только озлобление вызовет. Я не согласен врагом выглядеть в своем доме.

— Ты врага будешь брать, преступника! — не сдавался Омелин.

— Хватит уже,— от души признался Петрухин.— Наловились уже врагов.

Машину мелко трясло на асфальте. Петрухин гнал ее по середине дороги, включал при обгоне сирену. Попутки резко сворачивали к обочине, снижали скорость. За стеклами мелькали испуганные лица водителей.

Ширяев подумал, что и тот, и другой правы по-своему. Но этого мало. Даже если вот так, с двух сторон браться за дело, даже если богаче станем и перетряхнем все с ног на голову — все равно желаемого результата не

добиться, потому что перетряхивать будем в прежней, малогабаритной квартире, и все упрется в низкий потолок, возведенный при строительстве. Но в одном Омелин прав безоговорочно — работать надо!

— Ты смотри, что делает, что вытворяет, гад! — изумленно проговорил Петрухин и гуднул сиреной.

Расхристанная лихая громадина неслась впереди, распугивая встречных. Какие-то тряпки, веревки развевались с бортов, как флаги расцвечивания. Хвост легковушек пристроился за ней, не решаясь идти на обгон.

— Нет, ты понял? Мы едем, а он не видит! — не веря себе, сказал Омелин.

Легковушки одна за другой остались позади, а грузовик пилил себе посередине, не уступая дороги.

— Останови — накажу! — крикнул Омелин и потянулся за мегафоном.

— Не надо, время поджимает,— отстранил его руку Петрухин и добавил газу.

Грузовик с воинским номером стал приближаться. В приспущенном окне показалась сытая розовощекая физиономия.

— Распоясались! — Омелин погрозил кулаком.— ВАИ на вас нет!

— Вроде трезвый,— сказал Петрухин.

Ваганов, прикрывшись кепкой, неподвижно сидел в углу.

— Что с ним? Живой? — спросил Ширяев.

— У него реакция такая на дорогу. Остановимся — проснется. Однажды перевернулись, думали, убился, а он глаза открыл, потянулся: — «Что, уже приехали?» — спрашивает.

К концу поездки последняя напряженность исчезла. Они даже на «ты» перешли незаметно, ехали, по-свойски болтали. Цель поездки будто бы стерлась, затушевалась. И только когда появилось справа глубокое русло реки, вновь недоброе, тягостное чувство навалилось на Ширяева и уже не отпускало до самого гарнизона.

Глава пятая

Гарнизон жил своей незнакомой жизнью, строевой, аскетической. Серый поселок в скалах на голой земле. Одна «хрущевка» с темными потеками на стенах, обилие бараков, мостки, грязь размятой шинами дороги — ни деревца, ни клумбы, ни вывески какой-нибудь. Остро и больно ощущалась здесь временность, необязательность жизни. Казалось, поселок возник как вынужденное приложение к основному делу, которое возложено на группу собранных здесь людей.

Сами корабли находились в бухте за сопкой, и отсюда видны не были. Только слышались временами завывание сирен, приказные голоса динамиков, и туда, к морю, уходили синие робы — строем, и черные шинели — поодиночке.

Комендатура находилась в центре поселка. Тяжелые якорные цепи крепились на черных остовах мин и ограждали несколько голых прутиков. Линялый флаг слабо шевелился на флагштоке. Тут же стояла обрезанная бочка и деревянная сырая скамья.

Омелин чувствовал себя в комендатуре, как в родном УВД, без стука открывал любые двери, общался с офицерами, выбивал помещения для допросов, вызвал всех, кто, по его мнению, мог потребоваться.

Через окно доносились громкие голоса, хрип простуженных глоток, кашель. Человек десять уже собрались внизу, дымили сигаретами, плевались и матерились. Малкина он увидел чуть в стороне, вместе с Порогиным. Придерживая за рукав, прапорщик что-то напористо ему втолковывал. Миша сосредоточенно курил. Взгляд его был сумрачен и не выражал согласия.

Ширяев не одобрял, что потревожили столько людей.

— С размахом сеть забрасываешь,— укорил он Омелина.

Смысла в таком массированном охвате он никакого не видел и почувствовал угрызения совести, что по его милости нервничает столько народу.

Омелин раскладывал на столе какие-то бумаги, готовился к допросу.

— Ты их время не жалей, оно у них казенное.

— Время казенное, а нервы свои. Слышишь, как гудят.

— Дмитрич,— прищурясь, глянул на него Омелин,— ты прогулялся бы. Сходи за брусникой, советую. Тут много, за «колючкой».

— А вы надолго здесь собираетесь? — спросил Ширяев.

— Не бойся, на ночь нас не оставят. А там, как Бог даст.

Инспектор дипломатично его выставлял.

— У меня от брусники изжога,— сказал Ширяев.— Я ее на весь год наелся.

— А здесь и грибки попадаются. У реки они немерзлые,— настаивал Омелин.

— Там холодно. Я лучше посижу послушаю,— сопротивлялся Ширяев.

— Зачем тебе? — удивился Омелин.— Скучно, неинтересно, долго — пока еще ниточку размотаем. Да и не положено. Здесь те еще законники встречаются, со стажем.

Что-то настораживало Ширяева, какая-то небрежность слышалась. Будто не с людьми он собирался работать, а с каким-то материалом, из которого надлежит вылепить нужную форму.

Омелин ждал, когда он уйдет.

— А Петрухин? — спросил Ширяев.

— Что Петрухин? Петрухин тем более не пустит. Это он с виду такой податливый, а на деле — кремень человек, гроза уголовного мира... Иди, Дмитрич, правда, проветрись. Вон в магазине девочка хорошая, проведай.

Он подошел к открытой форточке и крикнул на улицу:

— Абдулаев!

Ширяев вышел. Коридор был длинный, полутемный. Одна лампочка светила где-то у поворота, привлекая к себе.

На стенах плотно висели плакаты, лозунги, картинки с убористым текстом. Несвежим все выглядело, линялым, припорошенным пылью. Уже непривычный иконостас контрастно выделялся черно-белыми снимками. Пыль не оседала на глянцевой бумаге. Подретушированные лица бессмысленно смотрели в пространство — ни тревоги, ни заботы. Четверых из них он бы снял — тех, кого знал и кому симпатизировал, за них было стыдно.

Из-за угла низкий голос внушал:

— Не мандражи, стой свободно, отвечай, как сказал. Они ничего не знают, будут на понт брать. Тверди свое — нужду справлял, прихватило, ничего не видел. Гляди у меня, если вякнешь!

— Зачем вякнешь? Я что — враг себе? — строптиво ответил кто-то.

«Вот же она, ниточка!» — спохватился Ширяев и поспешил на голоса.

Навстречу ему попался матрос, вниз по ступенькам удалялась квадратная фигура с погонами прапорщика. Ширяев двинулся за ней следом. Прапорщик остановился в группе ожидающих. У него были густые, свисающие, как у Тараса Бульбы, усы.

— Как ваша фамилия? — подходя спросил его Ширяев.

Тот поднял на него черные нахальные глаза, рассмотрел и с вызовом ответил:

— Допустим, Руденко.

— А, Руденко и Лапотенко! — вспомнил Ширяев напарников Порогина.

— Я Лапотенко. А что? — выдвинулся из-за спины другой прапорщик, тоже усатый и похожий на Руденко, как родной брат. Оба они были низкорослые, крепкозадые, ширины необъятной не только в плечах, но и от груди к спине, силы, должно быть, недюжинной.

Матросы встали плотным кольцом, скрестили на нем настороженные, неприязненные взгляды. Он был чужак, виновный в их непокое. От него исходила угроза их отлаженной, единой жизни, в которую доступ закрыт. Монолитная стена, спаянная низовой властью, круговой порукой, страхом самосуда, все, что угодно,— костьми лягут, к стенке встанут, но не дадут пробить брешь. Здесь, у обрезанной бочки с «бычками», решались судьбы. Ширяев понял это только сейчас — вдруг ясно стало, что ни следователям, ни офицерам, ни тем более ему они не уступят.

— Да так, ничего, покурить вышел.— Ширяев пустил пачку по кругу, поискал взглядом Малкина и не нашел.

Порогин через головы поднес ему руку с огнем.

— Что они там, Вадим Дмитрич, как успехи? — спросил он будто у давнего знакомого.

— Успех будет, когда вора поймаем,— сказал Ширяев.

— Зря вы их привезли, Вадим Дмитрич. Никто из наших не мог взять, я гарантирую.— Руденко открыто смотрел Ширяеву в глаза, искал сочувствия.— Найти — ничего не найдут, а подозрение останется, и будут потом гарнизон полоскать, позорить.

— Мы не брали... Зачем нам?.. Тут и деть их некуда...— загудели матросы.

— Раз вы не брали — нечего беспокоиться.

— Если бы разбирались по правде. А то мы Омелина не знаем! Полушубки на нас повесил ни за что, ни про что,— сказал Лапотенко.

— Это какие? Те, что Порогин раскрыл? — спросил Ширяев.

Порогин скромно потупился.

— А что Порогин? Порогин не виноват. Он как лучше хотел, по справедливости.— вступился Руденко. Хитрые, продувные глаза его блестели, как маслины. Он себя бывалым ощущал, знающим.

— Вот по справедливости и скажи,— обратился к нему Ширяев.— Чего такого Абдулаев не должен был видеть? Ты ведь его напутствовал, когда он к Омелину шел?

— Не должен был и не видел! — не смутился Руденко.— Вышка за сто метров от машины, днем и то не увидишь. Я его от Омелина остерегал. Тот так голову задурит, что и не видел, да скажешь.

— Петрухин лучше? — спросил Ширяев.

— Спокойней, не кричит... Раньше к нам никто не ездил, а теперь повадились. Будто с гражданскими нет работы,— с обидой произнес Руденко, и поглядел на окно.

У окна стоял Омелин. Он потянулся к форточке и зычно позвал:

— Пернатов!

Парень в ладно пригнанной форме вздрогнул и подтянулся.

— Видишь, как быстро, а ты недоволен,— сказал Ширяев и оглянулся. Малкин все не подходил.

— Это у него конвейер наоборот,— пояснил Руденко.

— Как это?

— Накрутит хвоста и выпустит, чтобы на воле нервничал. И так раза по три.

Руденко придвинулся к щеголеватому матросу:

— Пошли, Артем! — и повел его, дружески держа за локоть.

— Он что у вас, за разводящего? — спросил Ширяев.

— Зачем? Он опытный, помогает,— ответил кто-то.

— Что-то я Малкина не вижу,— спросил Ширяев.— Жив-здоров? Не простудился?

— Матросы не простужаются! Нам не холодно! — молодцевато отозвались голоса.

— Малкин — вон он, на рогу,— ответил Лапотенко.— Позвать?

— Не надо, пусть,— остановил Ширяев.— Пойду прогуляюсь. Что у вас тут посмотреть можно?

Матросы в недоумении переглядывались, пожимали плечами.

— Магазин! — нашелся Порогин.— Вот так идите, в финском домике. Елена Павловна только что открылась.

Магазин Ширяева не интересовал. Он обогнул пятиэтажку и сразу же за домом, в ложбинке, наткнулся на свалку: бутылки, ящики, детские коляски, разный бытовой и строительный хлам. На противоположной стороне впадины копошилась детвора. Их разноцветные, химически яркие куртки расцвечивали песчаный склон. Поверху, огибая ложбинку, опять тянулся забор.

«Тут-то от кого охранять, за двумя кордонами?» — подумал Ширяев.

«Колючка» с небольшими просветами опоясывала почти весь гарнизон. У перекрещенных проволокой ворот снова стояли часовые, а за воротами — баки с горючим, какие-то подстанции, бэтээры, могучие колесные машины уродливых форм рифленые ангары, железные плиты, закрывающие отверстия в земле. Техника была покрашена в темно-зеленый защитный цвет. На фоне серой тундры, ягеля, камней зеленые конструкции были хорошо

различимы, и этот чуждый здесь, мрачный цвет рождал ощущение тяжести и тревоги.

Ложбинка была круглая, похожая на воронку от бомбы. Трех-, пятилетние крохи работали серьезно, сосредоточенно и, что удивляло, они молчали. Одни копали грунт, утаптывали площадку, другие подносили бутылки и укладывали их ровными рядами на песок. Получалось похоже на минное хранилище при въезде. Изредка кто-нибудь из них, заметив неладное, по деловому матерился и сноровисто исправлял оплошность.

Обыденность и простота этой дикой сцены воспринималась с трудом. Казалось, он видит страшный фантастический фильм из жизни будущего, один из тех, что иногда приносил сын.

Пораженный происходящим, он не сразу заметил малыша, одиноко сидевшего на валуне. Карапуз был прелестный, большеглазый, кудрявый. Крупные слезы скатывались с тугих щек, он размазывал их по грязной мордахе и на одной ноте гудел.

— Откуда капает, когда туч нет? — попытался развеселить его Ширяев.

Переполненными глазами малыш взглянул на штатскую одежду, незнакомое лицо и зарыдал еще безысходней.

Ширяев порылся в карманах, но ничего, кроме ключей с брелком, не нашел. Он отцепил с кольца деревянную фигурку — давнишний, еще морской сувенир и протянул карапузу:

— Вот тебе птичка киви, единственная птичка на свете, которая не летает.

Малыш всхлипнул еще пару раз и заинтересовался:

— А зачем она живет? — спросил он.

— Не знаю, бегает, травку щиплет, разных мушек, комаров.

Малыш вздохнул и затих, рассматривая диковинку.

— Не потеряй, пожалуйста, — попросил Ширяев, уходя.

Мостки тянулись от бараков, от «хрущевки», от комендатуры, как ручейки теклн, и смыкались на асфальтовом пятачке у финского домика.

Он ничего покупать не собирался, да и вообще не любил по магазинам шастать, даже за границей, и сейчас для него самого было неожиданным возникшее желание.

Навстречу ему, раскачиваясь, как уточка, шла полная женщина в модном плаще, в простых резиновых сапогах. Когда различимо стало лицо, он почувствовал на себе ее пристальный, недобрый взгляд. Заготовленная улыбка застыла, он прижался к краю, освобождая дорогу, но женщина шла прямо, широко, даже чуть сместилась в его сторону. Пожалев начищенные полуботинки, он ступил в грязь. Холодная жижа лениво поползла внутрь. Мощно двигая бедрами, женщина прошла мимо.

Обычно женщины в гарнизонах всегда приветливы бывали, охотно здоровались, вступали в разговор, и такая явная агрессивность неприятно его удивила. Он посмотрел ей вслед. Женщина тоже обернулась, и на ее лице он успел заметить злое удовлетворение.

«Одичаешь тут»... — с сочувствием вздохнул он.

У него было достаточно ясное представление о жизни офицерских жен, чтобы не осуждать их.

Филологини, музыкантши, учительницы — почему-то женственные гуманитарные девушки выбирают себе мужей-офицеров. Год, два еще как-то живут, питаясь прежними запасами, не гнутся, романтически смотрят на сопки, на любимых мужей. Вечера, книги, журналы, офицерские собрания — оживить, воскресить тлеющую жизнь, поездки на материк в подвижническом ореоле — еще остались прежние друзья. А потом — уходит романтика, вянет, пропадает любовь, задвигаются книги на полку, и опостылевший быт застит весь белый свет. Нет работы, нет радости, нет простора для чувств и ума. Гаснут глаза, полнеет фигура от однообразной и сытной еды. Магазин, паек, кухонный чад и болеющие дети. А муж, чужой, усталый, опростившийся, возвращается с дежурства и валится, не раздеваясь, на кушетку. Зачем училась? Кому нужна? И одно желание, навязчивое и неотступное, как болезнь: скорей бы все это кончилось! Еще год, два, пять... Растут звездочки у мужа, прибавляется заработок — не подведи, родной военторг! Ковры, мебель — впрок, дорогая одежда, в которую можно нарядиться и пройтись в праздник от комендатуры до «хрущевки», оценивая, кто чего стоит. Сирая, убогая радость, гарнизонные пьянки, случайный минутный флирт, у которого нет здесь продолжения. Склоки изматывают нервы, портится характер, от былых устремлений остаются лишь высокомерные амбиции. Одиночество и тоска разъедают душу — стиснуть зубы и ждать, не давать волю слезам. Ждать заветные сорок пять для мужа, когда он сможет наконец уйти на пенсию, и еще хоть чуточку сохранить себя к этому сроку, чтобы пожить по-настоящему — при деньгах, при огнях, в благоустроенной квартире. Сбудется ли? Бог весть... Бедные, бедные жены.

«Чья она?» — Ширяев еще раз оглянулся, но женщина уже скрылась. — Нет, не случайно она на меня так смотрела, — почувствовал он.

У магазина трое матросов о чем-то совещались, звенели мелочью. Плечистый, светловолосый старшина протянул ему горсточку меди:

— Вы нам сигарет не возьмете? «Примы»?

— Конечно, — подставил ладонь Ширяев. — А что вы сами? Нельзя?

— Не дает.

— Почему? — удивился Ширяев.

Старшина вместо ответа повел широким плечом.

Магазинчик был совсем маленький. Весь заставленный ящиками, мешками, завешанный товарами, он напоминал лас-пальмасскую лавочку.

Дверь в подсобку он сразу не заметил, а когда перевел взгляд, то обомлел — в проеме как в картинной раме застыло дивное видение.

— А я вас ждала! — услышал он звонкий смеющийся голос.

— Странно!

«Может быть, раньше встречались, в другом гарнизоне, на полуострове? Нет, такую бы не забыл».

— Почему же странно — вы пришли! — словно радость великую ей доставил.

Неслышное появление ее в этой комнате, заваленной рогожными мешками, грубым житейским скарбом казалось удивительным и необъяснимым.

— Вы — Елена Павловна? — У Ширяева вдруг пересохло горло.

— Оставьте, какая там Павловна, — смеясь, запротестовала красавица. — С этим отчеством сама забудешь, что тебе еще двадцать пять и что родилась не продавщицей.

Давно уже ни одна женщина так не обжигала. Он уж было печалиться начал — не старость ли подступает. Нет, еще живой!

Она не просто была красива, от нее исходило обаяние, которое обычными словами и выразить трудно. «Гений чистой красоты» — единственно, что было бы справедливо, если б не слишком явно в ней чувствовалась страстная женщина.

Забытая, бодрящая собранность обострила чувства. В таком взведенном состоянии он становился находчив, цепок, словоохотлив — знал это за собой. В прежние времена редкая женщина могла устоять перед его напором.

Крепким мужским взглядом он прошелся по ее фигуре — всюду идеальная симметрия, округлая полнота форм. Грудь, пожалуй, тяжеловата, но это уж как-нибудь...

«Кто же ваш муж?» — хотел затеять он непринужденный разговор. Но не выговаривалось, и тон фривольный не обретался, легкости не было. Только сердце радостно стучало: жив, жив!

Он вдруг посмотрел на себя ее глазами: солидный, чуть лысеющий папашка вырвался из дому, расшалился, баловник.

«Куда лезешь! — осадил он себя. — Пора уже о душе думать».

С трудом высвобождаясь от наваждения, Ширяев услышал, что она говорит:

— Кто это откажется — приехать в такую глушь, да в лавку не заглянуть! Здесь ведь военторг, свое снабжение. А по серости-то нашей что мы в стоящих вещах смыслим? Товар лежит, а брать некому. Да и где нам красоваться, гарнизонным клушам, — медведя, что ли, очаровывать? Вот в

кои-то веки забредет достойный человек, глянет, оценит — перед ним и чистишь перышки.

Что-то не то она говорила, не так. Ширяеву странно было видеть, как изгибаются мягкие губы в едкой, какой-то кусачей улыбке.

— Вы ведь по делу здесь? По делу, я знаю, как не знать — весь гарнизон в страхе: дети плачут, нервничают жены, командиры разносы чинят. И дело это не простое, Вадим Дмитрич, а уголовное. С вами следователь Петрухин и инспектор Омелин, доблестные знатоки, наши старые знакомые. Вчерне уже и подозреваемый есть — прапорщик Порогин. Остается только свидетелей найти, чтобы прижать его к стенке. Знатоки найдут, они умелые, опыта не занимать. Еще чуть-чуть — и зло будет наказано, справедливость восторжествует, и вы с чистой совестью вернетесь к уютной жизни.

«А девочка не так проста!» — улыбнулся Ширяев, не отводя взгляда от возбужденного лица.

— Забавно, да? — быстро отреагировала она.— Когда друзей будете забавлять нашей жизнью, не забудьте помянуть свои мужественные усилия в походе за браконьерской рыбой.

Ширяев все что угодно мог перенести, но не такое обвинение.

— Никакой браконьерской рыбы нет и не было! — решительно воспротивился он.

— Полноте, Вадим Дмитрич! Если вы не наказаны, это еще ровно ни о чем не говорит. Вы не можете не знать, что ловля рыбы в озерах, соединенных с морем, запрещена. Здесь практически других нет, и если рыбнадзор за это не привлекает, то это вовсе не значит, что вы поступаете порядочно, нарушая закон. Значит, от того, кто украл ваши колеса, вы по сути ничем не отличаетесь. Только вы залезли в государственный карман, а он в частный. Ущерб, который вы понесли, оценивается рублей в сто. Я вам могу его возместить.

«Смотри ты, какая грамотная! — удивился Ширяев.— Уже и деньги подсчитала».

Ширяеву приятно было на нее смотреть, но это уже не было главным. Он слушал ее с нарастающим интересом.

— Будет вам, Лена. О чем вы?

— Я о том говорю, Вадим Дмитрич, о чем вы думать и знать не хотите. Вы приехали, посмотрели, посочувствовали нам, бедняжкам, и отправились к себе домой, в городскую квартиру. А здесь, среди людей и так Богом обиженных, останутся искалеченные судьбы. Дело это, по моему слабому разумению, групповое, а значит, останутся их жены, которых даже здесь никто кормить не будет, останутся дети, которые неизвестно как без отцов вырастут. А виновны отцы, невиновны — до этого ведь никому дела нет.

Легко поднявшись, она прошла между наваленными товарами и оказалась рядом. Ширяев вдохнул незнакомый пряный аромат.

— Да вы садитесь, не стесняйтесь, вот, на полушубок,— она надавила пальчиком ему на грудь и сама села напротив, на какие-то мягкие мешки. Дорогие джинсы туго натянулись на круглых коленках.

Все, к чему она приближалась, облагораживалось удивительным образом. Ширяеву стало казаться, что он попал на восточный базар, где радушный хозяин широко и щедро представляет свои богатства. И вкус, и мера, и удобство проявлялись в этом продуманном беспорядке.

— А предыстория этого дела такова,— продолжила она, не отводя от него ясных глаз.— Жил на свете чистый юноша, благородный и сильный. И прогуливался как-то он по парку вечерней порой, собираясь встретиться со своей девушкой,— бывает же такое не только в книжках. Парк был темный, провинциальный и девственный, как он сам. Услышал он в кустах какой-то шум, крики, возню и поспешил на помощь. А когда раздвинул кусты — увидел, что трое подонков насилуют его любимую. Он хоть и был юноша, но по силе — мужчина. Он не думал, что ему делать, и всех троих уложил. Девушку спас, а себя не смог и получил год за превышение пределов самообороны. Год он отсидел, но принципов своих не утратил. И потому, когда увидел в гарнизоне махинации с полушубками, покрывать их не стал, и командир вынужден был возбудить уголовное дело. А парень, естественно, попал в немилость. Вы не знаете, что это такое в армии. И вот теперь представился случай свести счеты. Их сводят, и, думаю, сведут — с вашей помощью, если вы не положите этому конец... Вот, дорогой Вадим Дмитрич, почему я вас с таким нетерпением ждала и что хотела поведать. Вы уж извиняйте, как говорится, если что не так.

Привстав, она отвесила ему грациозный поклон и снова откинулась на мешки, беззастенчиво выставив налитые груди.

Он не был равнодушен к ее прелестям, но что-то подсказывало ему, что идет игра, причем не совсем чистая.

Выговорившись, Елена успокоилась и сказала иным, искренним и доверительным тоном:

— Знаете, он как чувствовал,— машину вашу старался в упор не замечать. Ехали мы с ним на «Москвиче»,— она досадливо махнула рукой,— на машине ехали за продуктами, он вызвался мне помочь... А с сопки видно: стоит у КП ваша машина, будь она неладна. Он голову от нее отворотил и говорит: «Не дай Бог с ней что-то случится — сразу подозрения на меня. Тогда уж они постараются, обуют на обе ноги»... Как в воду глядел: одна уже в колодках.

Ширяеву неожиданно почудилось, что они не вдвоем тут разговаривают, а еще кто-то присутствует, будто чертик какой-то выглядывает из-за мешков.

— Лена, зря вы тревожитесь,— успокоил он.— Я познакомился с опергруппой. Уверяю вас, они честные и глубоко порядочные люди. Разберутся, невиновного не тронут.

— Вадим Дмитрич, я что-то вас не понимаю,— жесткие нотки послышались в ее голосе.— Вы что, в самом деле такой наивный или разыгрываете меня? Мне хоть и двадцать пять, но все же не пятнадцать, и в эти сказочки про добрых следователей я давно уже не верю.

— Я говорю не о добрых, а о честных и справедливых.

— Оставьте это для доклада. Поймите, здесь жизнь поставлена на карту. Если вы не прекратите этот сыскной эксперимент, судьба человека будет на вашей совести, и не одна.

— Вы против, а Порогин не возражал...

— Ах, причем здесь Порогин! — нервно перебила она.— Порогин открытый, прямой человек, если и сказал что-то под воздействием минуты... Но сами-то вы должны понимать, чем это может кончиться!

Она волновалась. Нежный румянец окрасил высокие скулы, в глазах появился неровный бегающий свет.

— Я против Порогина ничего не имею. Если потребуется, в обиду его не дам,— заверил Ширяев.

— Он прекрасный человек,— с горячностью произнесла она.— Вот уж кто действительно порядочный и принципиальный. А как его матросы любят! Это, между прочим, истинная цена здесь, не какой-то дутый авторитет или звание, а по самому высокому счету.

— Я вас понимаю,— сказал Ширяев.

— Да, у нас любовь! — вдруг с вызовом бросила она.— Но чистая, без блуда! Мы просто любим друг друга, с этим ничего не сделать.

Глаза ее сверкали, как раскаленные угли. Казалось, посмей Ширяев что-то возразить, и она испепелит его на месте.

— Собственно, один Кафтанов его подозревает,— вслух подумал он.

— Да, Кафтанов заинтересован, очень заинтересован,— двусмысленно произнесла она.

— Разве нет?

— Что такое Кафтанов? — приподняла она плечико.— Кафтанова нет, Кафтанов спился. Был когда-то, подавал надежды, но... Ему от себя надо дело отвести, вот он и нашел стрелочника. Удачно выбрал — начальство его поддержит и повлияет на следствие.

— Трудно вам жить? — покачал головой Ширяев.

— А кто вам сказал, что она вообще-то легкая, эта жизнь? Я думаю, она изначально трудная, такой и задумана.

— Уж кому, как не вам, быть счастливой.

— Как говорится в одной пьесе, за счастье надо бороться руками, ногами и зубами.

— С вашей-то красотой? Не знаю, как мир, но вас, думаю, она спасет.

— Или погубит,— не согласилась она.— Никому не жаль красивых женщин. Все думают, что красота — это богатство. А это тяжесть, груз, такой же, как уродство.

Будто подтверждая слова, она ссутулила плечи, сжалась, опустила глаза. Ширяев подумал: так, наверное, выглядит актриса, которая выложилась до конца.

— Разве можно так — никому, ничему не верить?

— Верю! — встрепенулась она.— Я верю только одному человеку — только себе!

— И даже мужу не верите?

— Верила, раз потащилась за ним в эту ссылку, все терпела, надеялась, университет бросила... Что от него толку,— брезгливо дернулись рельефные губы.— Даже ребенка не смог сделать!

— Ну, какие ваши годы, все впереди,— сказал Ширяев.

— А вы бы ему верили? — она остановила на Ширяеве острый взгляд.— Вы бы верили ему, если бы знали, что мой муж — Кафтанов?

Ширяев молчал, оглушенный.

Дверь медленно приоткрылась, и бочком, осторожно вошел старшина. Ширяев с опозданием вспомнил, что его ждут и деньги их, может быть, последние, все еще у него в кармане. Он кивнул старшине и поднялся с ящика.

— Пошел вон, мерзавец! — услышал он визгливый, бабий крик и не сразу понял, что это кричит она.— Пока не вернете — ничего вам не будет!

Старшина исчез. Елена Павловна гневно сверкала очами:

— Матросня чертова! Украли ящик тушенки и наглость имеют заявляться!

— Кто украл — этот старшина?

— А я почем знаю, этот или другой! Все они одинаковы! — кипела от возмущения Елена.

Ширяев подошел к прилавку, взял еды, сигарет.

Елена заметила перемену в его состоянии.

— Хлеба еще возьмите, он у нас ситный, своей выпечки. Привезете жене подарок,— кокетливо и будто бы ревниво посоветовала она.

— Хорошо. И пакет дайте.

Взял, упаковал все и вышел.

— Прости, друг, задержался,— сказал он старшине.

Другие ребята уже ушли.

— Ничего, я понимаю. Она такая, она это может, если самой надо,— хмуро ответил тот.

— Что надо? — спросил Ширяев.

— Извините, товарищ депутат, у нас тут свое, вам не разобраться.

— Ты что, знаешь что-нибудь?

— Ничего не знаю,— торопливо ответил старшина, быстро развернулся и побежал по своим делам.

Погода стала меняться. Небо покрыла высокая сплошная облачность. Солнце не проглядывало сквозь нее, а дымчатым, рассеянным светом выбеливало облака. Казалось, зимнее озеро, неохватное, как Имандра, разлеглось над головой. В финском календаре для рыбаков такую погоду называют «манной кашей», считают, что это самая клевая для кумжи пора.

Сопка за рекой слегка подернулась туманом. Ручеек на склоне взбитой пеной обозначал свой путь, и там, на срезанной вершине, откуда он вытекал, должно было находиться озеро.

Они пешком не рыбачат, подумал Ширяев о военных. Гоняют свои «трактора» по тундре: что пять, что пятьдесят километров — им все равно. Никто не говорил ему про ближние озера, значит, там не ловят теперь. И за это время рыбы, может быть, расплодилось видимо-невидимо, и вовсе не надо шагать двадцать километров, чтобы ее добыть. Как удобно — утречком выбежал налегке, отвел душеньку — и обратно. Можно там и лодку оставлять, в захоронке, а можно и землянку выкопать для комфорта, подальше от озера, чтобы никто не нашел и не спалил. Он любил раньше озера с жильем. Как-то сидели они с напарником вдвоем и вот размечтались ненастной ночью: землянка, конечно, хорошо, но сыро, низко, лучше бы избушка — просторней, теплей, в полный рост можно стоять... А еще лучше, если домик — окошечко, дверь пригнанная, а чтобы зимой не наметало снега — тамбур пристроить, рюкзаки в нем хранить, запасец дров... А вообще-то не мог умерить аппетит товарищ, если бы еще дизелек свой со станцией, тогда и без дров можно обогреваться... Точно, поддержал его Ширяев, стены можно оштукатурить, оклеить обоями — для тепла и уюта... И баньку срубить, подсказал товарищ. Ну, с банькой возни много, не согласился Ширяев. Если всерьез о комфорте думать — лучше котелок поставить, пару труб от дизеля загнул — и гони тепло, никакой печки не надо... Хорошо! И было бы тогда н а ш е озеро, шиш бы кто сунулся!.. Хорошо, подтвердил Ширяев, пребывая в блаженных мечтах... Слушай, вдруг вскочил с нар товарищ,— а на хрена мне тогда сюда ехать? Рыбы не будет, а все остальное у меня и дома есть! Да, выходит, что так, призадумался тогда Ширяев. Все ведь для этого делается — для удобства, для комфорта: и машины, и заводы, и города. Шли, шли и пришли... И армия, чтобы все это охранять.

За перевалом, где он теперь рыбачил, сетями не ловят, соляром не травят — чистые берега, хрустальная водица, леса, чтобы избушки ставить, нет. Могучая армейская техника туда не проходит, а без техники они не согласны, не так воспитаны. Вот и держит до сих пор Легендарная оборона свои рубежи. Кто с кем теперь воюет? Где свои, где чужие?

Ширяев обошел поселок по периметру, тропкой, проложенной вдоль колючей проволоки, и снова вышел к ложбине. «Минное хранилище» было заброшено и слегка присыпано песком. Дети перебрались к самой свалке. Карапуза, которому он подарил киви, среди них не было. Ширяев сел на его камень, закурил, поглядывая на ребятню.

Естество брало свое. Пестрый мирок звенел ясными голосами, на мордочках отражались все мимолетные чувства, глазенки жили, возбужденные игрой.

Малыши заспорили, загомонили, нападая на хрупкую бледную девочку с тонкой косой. Присутствие Ширяева их не смущало, и только когда он встал и подошел, они присмирели. Перламутровые жирные мухи ползали по ярким курточкам. Девочка подошла к нему вплотную и благодарно заглянула в глаза.

— Где же ваш товарищ? — спросил у нее Ширяев.— Тот, который плакал?

— Он плохой. Мы с ним больше не играем. Евонная мама пришла и ругалась,— осуждающе произнесла малыха.

Цепочка сложилась неожиданно и определенно, предчувствие его не обмануло. Малыш — это сын Порогина. И плакал он, обиженный детьми, из-за отца, которого заподозрили в краже. Та женщина, которая столкнула его на мостках в грязь,— жена Порогина. Она пришла и забрала сына с собой. И сейчас, пока она стоит у кухонной плиты, малыш сидит, наверное, с ногами на диване, в кругу надоевших игрушек, и горюет, продолжает выплакивать свою несказанную обиду.

За время своих скитаний Ширяеву приходилось бывать в офицерских семьях, даже жить по нескольку дней, если с погодой припекало. Временное жилье, заваленное вещами, загроможденное лишней мебелью, свернутыми коврами, нераспечатанными ящиками... Малышу только на диване и остается место для игры. А если гость приходит, да еще проявит к нему внимание, малыш из себя готов выпрыгнуть, чтобы вовлечь его в свои забавы.

Недалеко от комендатуры его догнал Порогин.

— А я вас ищу. Сказали, что вы на свалке сидите. Вам же колеса нужны. Найдут ли, нет, а ехать надо. Пойдемте, у ребят в гаражах поспрошаем.

Порогин выглядел усталым, подавленным, но переживания придавали лицу зрелость, облагораживали несколько простоватую красоту.

Они снова шли по тем же мосточкам, на которых Ширяев встретил его жену, и место, где он ступил в грязь, еще хранило оплывший отпечаток.

Гараж был просторный, с телевизором, мягким диваном, баром в углу. Толщина его стен напоминала бомбоубежище.

— Присаживайтесь. Кофе хотите? Или, может, выпить? У меня есть «шило», — предложил Порогин.

Ширяев отказался.

— А я всю ночь на кофе, с машины вашей глаз не спускал.

— Теперь-то зачем?

— Ну как, еще осталось два, да и мало ли — аккумулятор, запаска. У нас такие ухари, что пальца в рот не клади.

— Ну тогда спасибо, — сказал Ширяев.

— Да я не к тому... Главное — начать трудно, а куроченную, ее в момент разнесут. И вам лишние заботы, и нам неприятности... Все же о людях тоже надо думать. У меня жена вчера весь день валидол глотала, за сердце держится. Сын пришел с улицы весь в слезах, дразнят его, играть не хотят. В гарнизоне ведь заняться нечем, бабам только дай повод лясы поточить... А я не виновен, да перед ними виноват, не могу их защитить.

Глаза его напряженно щурились, крупный кадык прошел вверх-вниз по мускулистой шее.

— Не расстраивайся, раз не виноват, ничего тебе не грозит.

— Виноват — не виноват! Кого здесь интересует? Главное — что я не свой, потому что в их игры не играю, честно хочу служить, ни перед кем не заискивать — а кому это понравится?

Он замолчал, нервными, быстрыми затяжками докурил сигарету и щелкнул «бычок» к дверям.

— Ну, было у меня, не отказываюсь! Так что же теперь, всех собак на меня вешать?

— Что было-то?

— Отсидел год за драку. Так они ведь слух пустили, что по ней, по сорок четвертой, за воровство. А у меня двести шестая, хоть документы посмотрите. Гадят, где могут! Кафтанов своих подговорил, и все на меня теперь валят.

— С чего ты взял? Там объективно разбираются.

— Да вы что! Я как зашел, он сразу меня за горло взял: «Старый знакомый! Давай, выкладывай!» Я Омелина знаю, он и полушубки хотел на меня повесить, да сорвалось.

— А что, с полушубками тоже они разбираются?

— Да, там через гражданских сбыт шел, запутанное дело.

— Что же ты от меня-то хочешь? — спросил Ширяев.

Порогин почти вплотную приблизил к нему вспотевшее лицо:

— Вадим Дмитрич, скажите им... закройте дело, возьмите свое заявление обратно, иначе они не уймутся!

— Я могу обещать: если почувствую, что подставляют тебя, я этого не допущу.

— Вы их не знаете, они так сделают...

— Не сделают, я не дам, — заверил Ширяев.

— Да сможете ли, Вадим Дмитрич? — спросил Порогин и в голосе его звучала боль.

— Не горюй, все уладится. Идем.

— Вы идите, я потом — колеса вам к машине подвезу, возьму тут у ребят старые, — сказал Порогин и вытер лицо рукой.

«Бог знает, что они без меня там наворочают? — подумал Ширяев, направляясь к комендатуре. — Зря не настоял, надо было остаться».

Муторно, неспокойно было у него на душе, будто он клубок напастей разворошил, и они зашевелились, поползли по гарнизону и жалят теперь направо и налево. До кого там еще доберутся.

«На кой черт я все это затеял?» — болезненно сморщился Ширяев. Он никогда не причинял зла преднамеренно, наоборот, зло было раздражителем, побуждающим к действию. В этом и смысл жизни видел — уменьшать зло по мере возможности. И вот теперь от него самого исходит... Из-за каких-то стоптанных колес...

«Все, хватит», — решил он и ускорил шаг.

Поселок был безлюден, пуст, зеленел стенами крашеных бараков. Мостки упирались в асфальтовый пятачок, на котором стоял милицейский «газик». Две грязные собаки лежали у входа, вывалив языки.

— Вот дьявольщина! — выругался Ширяев. — И собаки здесь как ненормальные лежат!

К мужикам он подоспел в тот момент, когда они вышли из кабинетов. По их невеселым лицам, озабоченным голосам он понял, что особых успехов они не достигли.

Он выбрал Омелина и вклинился в разговор:

— Егор, все, я закрываю дело. Порогин не виноват.

— Подожди, Дмитрич, с Порогиным, — отмахнулся от него Омелин и обратился к Петрухину:

— Считаешь, что Габышев тоже?

— Как же не до него? — удивился Ширяев. — Он первый подозреваемый?

— Уже не первый.

— Обязательно, — ответил Петрухин. — Так же, как Абдулаев и Пернатов — минимум, один из них.

— Значит, Габышева надо работать. Крепкий парень, прикинулся шлангом и взятки гладки, — подтвердил Омелин.

— Ничего, на втором витке расколется. Можно его с Пернатовым свести.

— Ладно, попробуем... Но Пернатов хитрит, убежден, — припечатал Омелин.

«Все же далеко они продвинулись», — подумал Ширяев, не понимая, о чем они говорят, и потянул Омелина за рукав:

— Егор, ты слышишь? — Порогин или кто другой, не важно. Я закрываю дело. Давайте мое заявление обратно.

— Брось ты нас веселить, — усмехнулся Омелин. — Выискался, понимаешь, массовик-затейник. Ты свое дело сделал, дай нам — свое. Одна к тебе просьба — не мешай.

— Поздно, Дмитрич, раньше надо было соображать, — поддержал его Петрухин и, помолчав, добавил: — И вообще — думать.

Ширяев скрепя сердце с ним согласился.

— Кого же вы подозреваете? — спросил он.

— Дмитрич, ты нас на служебное преступление толкаешь.

— Я же потерпевший.

— Вот и терпи, пока закончим.

— Ладно, не томи мужика, — вступился за него Петрухин.

— Томи, не томи, — проворчал Омелин. — В общем, клубок у нас в руках, но ниточку пока не найдем...

— Клубок напастей, — сказал Ширяев, но Омелин продолжал:

— Сейчас работаем по двум версиям: во-первых часовые с объектов, им все было видно, и они знают, если сами не участвовали. Во-вторых, — Малкин.

— Ну, Малкин — это вы зря! — с досадой протянул Ширяев. — Как говорил один шофер: «Пустышку тянешь, инспектор!»

Петрухин улыбнулся.

— Образовываешься, молодец, — похвалил Омелин. — Так вот, слухай сюды: они показали, что у Малкина недалеко отсюда живет брат. У брата есть «Жигули». Мы проверили, все точно. На завтра его вызываем.

— Вы что же, до завтра здесь сидеть собираетесь?

— Эк ты, какой шустрый! Ты хоть ел?

— Я тут взял на всех.

— Запасливый, — одобрил Омелин. — Но потом, сейчас нас в столовую приглашают. Надо оказать уважение хозяевам, иначе товарищи нас не поймут.

Столовая находилась в одном из бараков. Зал был светлый, низкий и длинный, как вагон. За двумя сплошными «банкетными» столами сидели матросы и энергично жевали. Запах пота, немытых тел, какой-то ворвани густо заполнял салон.

— Мне что-то расхотелось, — сказал Ширяев. — Думаю, что товарищи поймут меня правильно.

— Он привередлив, — покачал головой Петрухин. — Он нам не подойдет.

— Да, это тебе не спецпаек, — поддержал его Омелин.

— А что, разве в милиции не отменили? — наивно удивился Ширяев.

Увидев их, быстро подошел дневальный, белобрысый угреватый парень в почти белой куртке.

— Вам в офицерский салон, — указал он на проход справа и, обогнув Ширяева, пошел рядом с Омелиным, притирая его боком. Отгородившись от зала, он что-то сунул ему в карман и, не поворачивая головы, произнес:

— Просили передать.

На столе в общей миске лежал черный хлеб, по куску белого, что-то бледно-зеленое налито в глубокую тарелку, вязкий, как глина, ком — в мелкой.

— Ого, запахло жареным! — Омелин, не поднося к глазам, читал мятую бумажку. — Вы как хотите, а мне надо уйти.

Ширяев подумал, что он нашел удобный предлог.

Чуть выждав, Петрухин поднялся.

— Товарищи нас поймут, — сказал он. — Товарищи офицеры вряд ли сами здесь питаются.

С облегчением Ширяев последовал за ним.

Омелин сидел за рулем «газика». Мотор уже работал. Он показал записку:

«Отвезите меня в тундру, чтобы никто не знал. Я вам скажу важное. Буду ждать за углом. Малкин».

Парни обменялись взглядами.

— Что и требовалось доказать, — сказал Петрухин.

— Вперед! Мы на верном пути! — окрыленный, воскликнул Омелин, дал газ и умчался.

— Это совсем не значит, что Малкин виноват, — сказал Ширяев.

Петрухин промолчал.

Жилистые, костистые матросы группами вываливались из дверей. Одинаковым поведением, одеждой, выражениями лиц они напоминали Ширяеву китайских моряков, которых доводилось ему встречать за границей. В них поражала отъединенность от всего окружающего мира. Даже идя по улице незнакомой страны, они не позволяли себе смотреть по сторонам, все чувства свои, взгляды, мысли направляли внутрь себя. Бесполезно снисходить до разговора, объяснений, даже здороваться — заблудший мир не в силах понять их правды.

— Колеса достал? На чем поедешь? — спросил Петрухин.

Был он задумчив, сосредоточен, не радовал его «верный путь» почему-то.

— Порогин обещал поставить. Там и болтов-то нет.

— Догадается, свернет с соседних.

Прогуливаясь, они не спеша шли по тропинке, пока не уткнулись в перекрещенные проволокой ворота. Нарытый холм за ними напоминал гигантских размеров сельский погреб, двери саженной толщины были раздвинуты, оттуда доносились голоса.

— Постоим, покурим? — попросил сигаретку Петрухин.

— Ты же бросил, говоришь? — полез в карман Ширяев.

— Да так, захотелось. Насмотрелся тут всякого, старое вспомнил. — Петрухин прислушался, обернулся в сторону моря.

За таинственным овалом сопки сгущалось небо. Звуки усилились, что-то громыхало там, перекатывалось, как горное эхо, аукались корабельные сирены, отыскивая своих, мощные динамики гулко разносили слова команд. Казалось, за сопкой, в неведомой близости бряцал оружием грозный враг, готовый идти на приступ.

В пачке осталась одна мятая сигарета.

— Парни все разобрали, голодные, — сказал Ширяев.

— Ладно, сойдет и эта.

Из «погреба» вышел крупный, осанистый каплей в окружении матросов и махнул кому-то рукой. Двери медленно стали съезжаться.

— «Не жалею, не зову, не плачу», — с какой-то грустной иронией произнес Петрухин и шумно, глубоко затянулся, будто забытый родной воздух пробовал на вкус.

— Что это — бункер? — спросил Ширяев.

Петрухин не ответил. Взгляд блуждал по объекту, узнавая, отмечая, радуясь.

— И кому все это надо? — проникновенно произнес он.

— Щит Родины, — сказал Ширяев. — Опора наша и надега.

— Я этот щит десять лет в руках держал, — признался Петрухин. — Ушел со скандалом — закосил, иначе не мог.

— Уйти не мог?

— Служить не мог, Вадим Дмитрич, — прямо в глаза посмотрел Петрухин. — Как там у Есенина: «Другую явил я отвагу, был первый в стране дезертир»... До ума ведь не сразу доходит, а никто вовремя не подсказал. С малолетства мечтал о ней, любил службу, пахал, как каторжный, и все в масть — и техника, и люди, и уклад — ну все для меня! Грех признаться, но мне эта пахота нравилась... как девушка любимая, не смейся. Чем больше делал, тем больше любил — редкое везенье. Ну и знаешь, как деньги к деньгам: начальство хвалит, а я еще поддаю, они хвалят, а я еще... Звездочки, должности летели, только плечи подставляй. Уже и об академии речь зашла, а как же — способный, молодой, горизонты светлые. И с женой повезло. Только вот стариков забросил, был такой грех, на все времени не хватало. Заедешь на недельку — и дальше, на юга, к жарким берегам. Отец вообще-то скуп на слова, а тут, перед академией, к нему залетел, вижу, совсем неласков. Внуков гладит, а ко мне с осторожностью, даже когда на верандочке сядем прохладиться вечерком. А потом и спрашивает: «Расскажи мне, сын, что ты делаешь и зачем?» Я, конечно, со знанием дела — умею, радуюсь. «Нет, говорит, ты мне на простой вопрос ответь: кого ты защищать собираешься и как?» Я, естественно: жену, детей, отечество родное, вас, стариков. Он головой согласно кивает, а из-под руки достает наставление по гражданской обороне и показывает мне ногтем отчеркнутое: «В случае объявления тревоги гражданскому населению, не перегружаясь вещами, следовать к пункту «В»... А пункт «В» — это у них заводская база отдыха, она в тридцати километрах от города. И такое там еще разъяснение для слаборазвитых: «Двигаться малыми группами вдоль дорог, не мешая военной технике». «Что же нам делать, спрашивает, если ни матери, ни мне и половину не пройти?» Я примолк, задумался, вышел в город прогуляться. А лето на дворе, тепло, женщины в легких платьицах, с колясками, с детишками, старички, старушки не спеша прогуливаются... А я как пришибленный. Что же с ними-то будет? Сами мы в бункерах скроемся, в бэтээрах, в подводных лодках — хоть какая-то есть возможность уцелеть. А им-то?

Вернулся в часть и написал вместо рапорта об академии: «Прошу уволить из рядов...» Потряс весь околоток. Прорабатывали и вразумляли на всех возможных уровнях.

Понял я, что добром никто не отпустит, очень ценный для армии кадр, и решил косить. Нашел дом хороший и упал с третьего этажа. Переломался сильно, попал в госпиталь. Почти полгода лечили, все срастили, кроме ноги: начнет срастаться, я ее в спинку кровати зажму и падаю. Два раза так проделал. Врач понял. Хватит, говорит, третьего не надо, раз так хочешь — гуляй, казак!.. Ну и гуляю с тех пор, ищу разные колеса, — засмеялся Петрухин и прихлопнул ногой чадящий фильтр.

— Не жалеешь? — поинтересовался Ширяев.

— А о чем жалеть? У тебя есть что мне возразить?

— По-твоему, армии — совсем не надо? — спросил Ширяев.

— Надо. Но мне надо, чтобы старик на меня не обижался.

«Газик» вернулся минут через десять.

Ширяев молча шагал за парнями, стараясь не отстать, не упустить свежую информацию.

Омелин медлил, дождался, пока поднялись в кабинет, прошелся, поглядел в окно и, потянувшись, сказал с ленцой:

— Пора, пожалуй, на сегодня завязывать. Кафтанова еще вызовем — и шабаш.

— Еще не вызывали? — удивился Ширяев.

— Дмитрич, ты машины видел? — не удостоил ответом Омелин.

— Какие машины? — не понял Ширяев.

— Он позднее пришел,— за него ответил Петрухин и пояснил: — В ту ночь подъезжали две машины. Пернатов показал и Абдулаев тоже — легковушки, голубая и бежевая.

— Про них и речь. Малкин признался, что видел, как колеса снимали мужики с тех машин,— известил Омелин.

— Ну что ж, можно будет прокрутить,— сказал Петрухин без особой уверенности.— А остановить их Малкин, конечно, не мог.

— Не мог, естественно, ты же понимаешь.

Этого как раз Ширяев не понимал.

— Но думаю, что распадется,— усомнился Петрухин.

— Как знать, как знать,— бодро проговорил Омелин, собирая в папку бумаги.— Все, заметано! Остался один Кафтанов. Малкина берем с собой — и в дорогу. Дмитрич, иди к машине, через четверть часа выезжаем.

— Почему Малкин? Зачем еще Малкин! — вскинулся Ширяев.

— Это здесь они крепкие, сплоченные, друг за друга горой,— стал объяснять Петрухин.— «Колючкой» загородились и думают, что не достанут. А как только выдернешь — сразу поплыли.

— Я, признаться, не думал, что так быстро справимся,— весело проговорил Омелин.

— Но ведь еще не справились,— заметил Ширяев.

— Ничего, справимся,— уверил Омелин.— Посидит ночку в холодной камере, сроком припугнем — расколется, как орешек. Родные стены ведь всем помогают — и им, и нам.

— Да уж, ваши стены...— сказал Ширяев.

— Наши, наши, не плюй в колодец.

— Ну, допустим, Малкин все расскажет. А вы подумали, что с ним дальше будет? — задал вопрос Ширяев.

— Дмитрич, а ты не думаешь, что ты слишком много от нас хочешь? Каждый должен своим делом заниматься. Наше дело сейчас — найти колеса. Об остальном пусть другие думают. Те, кто для этого выбран.— Петрухин смотрел на него взыскательно и твердо.

Ширяев выдержал взгляд, собрал еду в пакет и вышел.

Навстречу ему, бодрый, веселый, с револьвером на боку, попался Кафтанов. Круглые глаза его широко и радостно отражали свет. Он поднял в приветствии руку и, замедлив шаг, осведомился:

— Дела идут?

— Идут,— ответил Ширяев.

— Там ворюга этот тебе колеса поставил, совсем лысые. Не мог, паразит, получше найти.

— Ничего, доеду.

— Ну, будь! — резво отсалютовал Кафтанов и пошел, окрыленный. Кобура у него приплясывала в такт шагам.

«Чему радуется?» — подумал Ширяев.

У шлагбаума взяли Ваганова. Малкин и Ширяев сели в «Жигули», и поехали двумя машинами.

Малкин был в парадной форме, умытый, посвежевший, ладный такой морячок, словно на побывку собрался. Он сощелкивал с формы невидимые пылинки, оттягивал стрелки на клешах, расправлял, укладывал наглаженный гюйс. Голова его почти упиралась в потолок. Сын, когда с ним ездил, обычно откатывал кресло назад до упора и сидел, развалясь, как в шезлонге.

— Курить будешь? — предложил Ширяев и достал из «бардачка» сигареты.

Миша охотно закурил, сел пониже, подняв коленки к самой панели.

Разговор не завязывался. Ширяев спрашивал о том, о сем, но Миша отвечал односложно, был скован, заторможен, будто перед начальством. Пару раз он повернул голову назад, но как-то с трудом, будто через силу.

— Девочка-то есть у тебя? — не оставлял попыток Ширяев.

На исхудалом лице проступила смущенная улыбка.

— Не парная,— потупился он.

— Что значит не парная?

— Ну, мы еще не пара,— объяснил Миша.— Дома не замечал ее, почти не разговаривали, хоть и рядом жили, а тут чуть ни с первого дня она мне стала сниться. И днем из головы не выходит. Ну, я ей честно про все написал. И Катюха сразу же ответила. Ты, пишет, потому и вспоминаешь меня, что я о тебе все время думаю и жду письма. Неужели, мол, ты такой дурной, что дома ничего не замечал? Теперь переписываемся,— сказал Миша.— Не знаю, как это — считается?

Он спросил и ждал ответа. И ответ этот, понял Ширяев, очень для него важен.

— Считается,— заверил он.— Раз так пишет, значит, считается.

— А я замечал только, что за ней Ванька Головенков ухлестывает,— откровенно поделился Миша.— Все считали, что они пара — никого к ней не подпускал. Его теперь посадили. Такой дуролом был! Напьется, оглоблю в руки и давай парней гонять. Его уже столько раз учили, а все без толку... Вот, посидит теперь, подумает.

Он замолчал, втянул носом воздух, и голову его, как магнитом, повело назад.

Ширяев поглядел в зеркальце. В забрызганном окне проступала дорога. Пройденная, она выглядела неузнаваемой, чужой. Туманные сопки, сдвинувшись, загораживали обзор, и, казалось, туда пути нет.

«Гарнизон его притягивает,— подумал Ширяев.— Там теперь его дом».

«Газик» с ребятами прыгал впереди, высоко вскидывая задок, оправдывая давнее, еще с войны, название — «козел». Ширяев давал ему оторваться, зная, что на асфальте без труда догонит.

— Говорят, брат тебя навещает,— вспомнил Ширяев.— Хорошо, когда дом рядом.

Миша отрицательно помотал головой.

— Раз на присягу приехал вместо мамани. Что толку-то? Еще хуже, если рядом. Как ушиб — ноет и ноет, а до него, как до Владивостока.

— Зато к тебе могут приехать.

— Кому приезжать-то? Брату не до того, Катюху сюда не пустят, маманя лежит.— Он помолчал и добавил, словно оправдываясь: — Так бы ничего, да маманю жалко.

— Болеет?

— Не знаю, врачи говорят, кровь плохая. На улицу уже не выходит, похудела, пожелтела, стала, как морошка осенью, сама уже и писать не может, через Катюху просит, чтобы приехал, а то, говорит, не доживу, помирать собралась.

— А отпуск — никак? Поговори с командиром.

— Не положено... Вот, может, на ноябрьские сговорюсь, отпустят на день, я бы за день обернулся. Мне прапорщик Порогин обещал помочь, он у командира в авторитете.

— А с Кафтановым говорил? — спросил Ширяев.

— Капитан-то знает. Когда добрый — обещает, а когда злой, еще и попрекнет, «служить не хочешь, у всех матери болеют». Теперь уж, после ЧП, точно не пустит... Вся надежда на прапорщика.

— Ладишь с ним?

Малкин снисходительно улыбнулся:

— Служба она служба и есть.

— Тяжело тебе, наверное?

— Не сказал бы,— бодро отозвался Миша.— Вы не смотрите, что я худой, я жилистый, у меня руки сильные, особенно правая. Двухпудовку кидаю — только так!

Достоинство, которое прозвучало в его словах, обрадовало Ширяева.

— Скоро «стариком» станешь,— проявил он осведомленность.

— Нет, что вы — «стариком»! — будто испугался Миша.— К приказу — только «борзым», потом — «полторашником», вот тогда и отпуск можно просить... Боюсь только, маманя не дождется.

— Может, брат поговорит? — посоветовал Ширяев.

— От него дождешься! Тот еще поддавальщик. Он маманю не жалеет, кричит по-всякому, ругается, что жить ему не дает. При мне еще теток водил, дружки пьяные приходят. Я-то их гонял, а теперь что там делается, даже не представляю. Лежит одна — и защитить некому. Ему все до лампочки, денег много, девать некуда. Катюха пишет, что гуляет, чуть не каждый день косой.

— Послал бы хоть тебе посылку.

— Он мне на присяге еще сказал: «Я, говорит, порядки знаю, сам служил, тебе все равно не перепадет, а весь батальон я кормить не собираюсь».

Миша докурил сигарету, выбросил окурок в окно и, закрывая его, снова медленно, с трудом обернулся.

— Вадим Дмитрич! — сказал он решительно и словно вытянулся по стойке «смирно». — Разрешите обратиться с просьбой?

— Конечно, чудак-человек. Что тебя там смущает?

— Вадим Дмитрич, у вас хлебца не найдется?

Ширяева тряхнуло, будто он на камень наскочил.

— О чем разговор! Конечно!

Сзади на сиденье лежал пакет с едой, и сырный дух из него распространялся по салону.

Ширяев перегнулся и положил пакет ему на колени.

— Возьми в «бардачке» нож.

— А то я сегодня на обед не успел, — оправдываясь, сказал Миша. — Был занят делом.

— Знаю, знаю я это дело, — сказал Ширяев, заметив, как нетерпеливым, жадным блеском вспыхнули Мишины глаза. Он старался не смотреть в его сторону, но все время ощущал его быстрые, резкие движения.

Проселок кончался. Впереди острым лезвием блеснул асфальт.

— Готовь документы, — предупредил Ширяев. — Скоро погранцы.

«Газик» вырулил на асфальт и пошел ровно, как по ниточке, демонстрируя свой профиль.

У шлагбаума, разминая ноги прохаживался Омелин. Ширяев вылез из машины.

— У сворота на Северный притормози, — попросил Омелин. — Мы с Вагановым к тебе пересядем.

Резво пробежал знакомый пограничник, приветливо поздоровался.

— Поймали? — крикнул на ходу и поспешил к Малкину.

— А Петрухин? — чувствуя недоброе, спросил Ширяев.

— Валя к брату его решил сгонять, чтобы не откладывать в долгий ящик. Дело верное — надо статистику поднимать, скоро день милиции.

— Да вы что! Нельзя туда! У него мать еле дышит, — старался не кричать Ширяев. — Пойдем к Петрухину, поговорим!

— Нечего разговаривать, — сухо сказал Омелин. — Мы не в салочки играем.

— Слушай, Малкин здесь ни при чем!

— Разберемся, Вадим Дмитрич, — успокаивая, произнес Омелин. — Не боись, невиновного мы не тронем.

— «Не тронем», «не тронем»... Уже тронули!

— Ему же лучше, прокатился.

Ширяев подошел к Петрухину.

— Валя, так нельзя! — он рассказал ему ситуацию.

Петрухин посмотрел на него с дружеской улыбкой.

— Дмитрич, я что-то не пойму, ты о чем печешься? О правде или о спокойствии?

— Это одно и то же, — запальчиво выкрикнул Ширяев.

— Видишь — не получается. Я выбираю правду, извини.

— По коням! — зычно скомандовал Омелин.

Ширяев открыл дверь «Жигулей».

— Сейчас поедем.

Взял термос, набрал из придорожного ручейка чистой воды.

— О чем вы говорили? — насторожился Миша.

— Совещались, как день милиции встречать, — ответил Ширяев.

Ширяев жал на газ, наращивая скорость. Гул, рокот, свист обтекали салон упругим потоком. За бортом мелькали камни, кусты, ветлы, уже приготовленные к снежным заносам. Встречные грузовики, пугая грохотом, подкидывали машину на воздушной волне.

— Ну вы и жмете! — восхищенно проговорил Малкин. — Прямо как братан.

«Как же он пьяный ездит?» — мелькнуло у Ширяева.

Красиво, на вираже он обошел «газик». Ребята посигналили ему фарами, над крышей зажглась мигалка.

— Чиркнули, как молодых, — заулыбался Миша.

«Газик» уменьшался в размерах, исчезал из обзора.

Век бы их не видеть!

Крепкие, развитые ребята, выбирающие правду. Как бы хотелось от них отстраниться, вырвать Малкина из цепких рук, увести, спрятать, защитить! Нет, он сам вез его. И милицейский «газик», и гарнизон, и ловкие, нахальные погранцы — в одной упряжке, по одну сторону справедливости, противоположной той, где находится голодный мальчик. Кто виновен — в конце концов не так и важно, они все вместе, взрослые, сытые, зрелые, волокли сейчас Малкина на праведный суд. На их стороне и сила, и справедливость, и закон. А он, покорный, молчаливый, ни в чем не повинный, сидел рядом и, икая, дожевывал хлеб.

— Попей водички.

Ширяев сбросил газ. Его мягко прижало к рулю. Шум в салоне стал стихать, медленно и плавно, словно удалялась электричка. Ширяев ловил в окне пробегающие километры, которых оставалось все меньше, и скорый конец впереди — это он ясно видел — был для Малкина началом нового серьезного пути.

Далеко внизу блеснула излучина залива. При подъезде к нему должен быть сворот на Северный.

— Вот почему так, Вадим Дмитрич? — собрав крошки в горсть, спросил Миша. — Второй раз я с милицией встречаюсь, второй раз говорю правду, а мне опять не верят? Или люди там какие-то особенные?

— Не все, наверное, говоришь? — сказал Ширяев, взглядом поощряя его к рассказу.

— Но вы же верите! Если не верить, зачем спрашивать?

— Верю, конечно. Расскажи!

— Это еще дома, после выпускного, — приободрился Миша. — Мы долго гуляли — солнце не заходит, можно хоть до утра. Костры жгли, песни горланили, ну и поддавали, конечно, тоже. Я уже под утро домой возвращался, довольный, поддатый, шел по мосткам через речку и вдруг слышу, будто хлопушку на берегу разрядили. И тут меня кто-то по руке — вжик! — как ожог. Ничего вначале не понял, а потом вижу — клок ваты из куртки торчит и кровью наливается. Я побежал скорей в поселковый медпункт, фельдшерицу вызвал. А у меня уже с пальцев капает. Она перевязала, велела ждать, а сама в милицию сообщила. Я им честно, как на духу, все рассказываю, а они не верят, все пытают, с кем поссорился, да кто на меня зуб имел. Целый день в кутузке продержали, пока маманя не пришла, не навела там шороху... И вот теперь опять не верят.

«Да, теперь мать не поможет», — подумал Ширяев.

— Ты, правда, видел, как колеса снимали? — спросил он.

— Видел, те, с машины. Подошли двое и стали откручивать, — уверенно ответил Миша.

— Почему же ты их не остановил? — удивился Ширяев.

— Не мог, — просто, естественно сказал Миша.

— Вот видишь, а говоришь — как на духу.

— Я честно говорю — не мог.

— Почему — не мог-то? — недоумевал Ширяев. — Знакомые были? Начальство?

— Ну, понимаете, — не мог! — Ни раскаяния, ни хитрости не было в его голосе, одна твердая убежденность.

И Ширяев ему поверил — значит, не мог. Значит, вместо обычных человеческих понятий о чести и правде существуют для него другие — матросские, флотские, определяемые службой. И эти, внутренние, для него выше, значительней, они не могут быть поколеблены ничем. Власть извне была бессильна перед властью внутри солдатской жизни.

— Ну не мог — значит не мог, — успокаивая, сказал Ширяев.

— Знаете, я только теперь узнал, кто в меня стрелял, — охотно поделился Миша. — Катюха написала. Можете себе представить — Ванька Головенков! Она, оказывается, тогда еще ему призналась, что только со мной согласна. А он, дуролом этот, набрался до поросячьего визга и ре-

шил со мной рассчитаться. Во Отелло! Все равно сел, ему так, видно, на роду написано.

Сзади замигал фарами «газик», гуднул сиреной. На спуске виден стал сворот на Северный. Ширяев сбавил ход.

— К нам Омелин с фотографом пересядут,— сказал он.

— А третий? — обеспокоился Миша.

Ширяев медлил, не хотелось отвечать.

— А этот... Петрухин? — не отрываясь смотрел на него Малкин.

— Он тут свернет... В Северный поедет, к твоему брату.

Миша вскинул руки, будто защищаясь, и тонким сорванным голосом закричал:

— Что он? Зачем? Не надо!

— Миша, Миша, успокойся! — встревожился Ширяев.— Ну, заедет, переговорит, ничего страшного.

— Вы же знаете! Нельзя к брату! Там мать больная! — Миша вцепился ему в руку.— Задержите его, не пускайте. Я вас прошу, только не это! Пожалейте ее, пожалуйста! — умолял он.

— Родной, ну что я могу! — терзаясь от бессилия, произнес Ширяев.

Он выровнял машину и припарковал к обочине.

Сзади остановился «газик». Омелин с Вагановым шли к машине. Петрухин на ходу посигналил, прощаясь, и свернул.

— Вы, вы! Из-за вас все! Вы во всем виноваты! — с ненавистью выкрикнул Малкин и стал судорожно рвать ручку двери.

— Миша, бесполезно. Ну куда тут сбежишь? — дотронулся до него Ширяев.

— Уйдите! Не трогайте,— брезгливо передернулся он.— Я сам!

Омелин открыл заднюю дверку.

Миша затих, потянулся за сигаретой. Пальцы его дрожали.

Парни расположились сзади, пересмеивались, договаривали что-то начатое еще раньше. Ехали вдоль залива к мосту.

— А ну, не курить! — раздался зычный окрик Омелина.

Малкин сжался, будто его хлестнули. Торопливо загасил окурок.

— Ты чего раскомандовался, будто в КПЗ? — одернул инспектора Ширяев.— По вашей милости он без обеда сегодня.

— По своей, Дмитрич, исключительно по своей. А ты что, его адвокат?

— Ему не нужен адвокат. Он не виновен.

— А тебе, видать, колеса не нужны,— хохотнул Омелин.

— Не нужны,— сказал Ширяев.

— Нет уж, нужны — не нужны, а теперь мы тебе их найдем. На шею повесим, как жернова,— веселился Омелин.

— Еще посмотрим, рано радуешься,— предостерег его Ширяев.

— Нет, найдем! Так ведь, Малкин? А ну не спать! — рявкнул он.

Малкин испуганно вздернул голову.

Глава шестая

Ширяев загнал машину в гараж и решил не трогать ее до весны.

Пошла рабочая неделя. Воспоминания о закрытии сезона каждый раз портили ему настроение, и даже когда мужики на работе спрашивали об успехах, он не мог им ничего вразумительного ответить, мрачнел, обрывал разговор... Но рыбу все же на работу принес. Парни ахали, бабы восторженно щебетали, предлагали организовать по этому поводу сабантуй, как в прежние времена. Но Ширяев грубо оборвал поползновения. Вместо сабантуя устроил разнос и вычеркнул пять фамилий из списка на премию. Вообще стал раздражителен, придирчив. Кто-то предположил что у него нелады с женой, что, впрочем, недалеко было от истины.

Жена чувствовала себя несправедливо обиженной, ждала каких-то объяснений, извинений, бог весть чего. Перестала заходить в его комнату, не кормила, не разговаривала. У телефона он находил записки: «Тебе звонил такой-то», «Просили передать то-то»,— вдруг всем он понадобился. Но ожидаемого звонка не было. При всем при том она стала придирчиво следить за своей внешностью, сделала новую прическу, тщательно наводила макияж, и по дому разносился запах каких-то тонких, возбуждающих духов.

Сына, занятый делами, он почти не видел, а встретившись, смотрел на его цыплячью грудь и усиленно советовал ему делать зарядку.

— Хочешь, гирю куплю, двухпудовку? Руки станут сильными, особенно правая.

Сын старался не попадаться на глаза. Похоже, он влюбился, ходил меланхолически задумчив, отвечал невпопад, и только к телефону подбегал резво, обеспокоенно и говорил, прикрыв трубку рукой.

Ширяев допоздна сидел на работе, домой приходил, как в ночлежку. Что-нибудь жевал на кухне и забирался в свою комнату, пробовал читать, но трудно было сосредоточиться, мысли разбегались, его притягивало окно, за которым днем можно было видеть залив и сопки, уже подбитые снежком, а сейчас стояла тьма, прорезаемая редкими огнями судов, перемещавшихся по рейду. Отрада жизни — окно на залив. Взгляд проникал сквозь толщу темноты, но виделось ему там одно и то же: ночь, ненастье, закрытый шлагбаум и одинокая фигура, по которой безжалостно сечет мокрый снег.

Бедный парень! Не выдержит, столько на него навалилось.

И этот жест его, когда он кричал в машине: «Что он? Зачем? Не надо!» — будто свод уже раскололся, и он в ужасе вскинул руки, защищаясь от обломков.

Один, и некому за него вступиться. На закланье отдал, своими руками! — не мог успокоиться Ширяев.

Он собрался уже было выкроить время, ехать в Кону, но тут позвонил Петрухин.

— Извини, Дмитрич, совсем зашился. С тебя бутылка!

— Кто,— крикнул в трубку Ширяев.— Кто снял?!

— Приезжай, расскажу.

Ширяев вывел грязную «тачку» и, несмотря на гололед, погнал.

Петрухин выглядел неважно, усталый, заморенный, даже в плечах будто усох.

— Где Малкин? — с порога спросил Ширяев.

— Жив-здоров твой Малкин, службу несет. А ты сам-то? — внимательно разглядывал его Петрухин.

— Я в норме. Рассказывай, что, как?

— Что-то непохоже,— усомнился Петрухин.— Глаза у тебя какие-то смурные.

— Ты тоже не Шварценеггер.

— Гастрит, зараза. Соду жру горстями... Гастрит, бронхит и гепатит — самые армейские болячки... Ладно слушай. Должен сказать, что ты был прав, напрасно в Северный съездил. Я брата дома застал, и как увидел всю эту картину, у меня аж к горлу подступило: вонь, грязь, объедки, мать в хламье лежит, и эта опухшая от пьянства рожа.

Ширяев дернулся на стуле.

— Не бойся, говорить не стал. Я повесткой его вызвал.

— Подотрется он твоей повесткой, и правильно сделает. Убедился же, что Малкин не виноват.

— Не о Малкине, о нем самом разговор будет. Я ему обеспечу.

— Внимание к людям, молодцы.

— Не ехидничай, Дмитрич. Так получилось, кто ж знал... В общем, утром я был у себя, а Омелин все это время работал. У него свои методы, я их не одобряю, но результат налицо...

— Короче, неужели Порогин?!

— Не гони, успеешь,— поморщился Петрухин.— В общем, когда мы встретились, картина уже нарисовалась. Действительно, Малкин не спал и все видел. Вначале Порогин проехал к рыбинспекторам, взял наживку, и обратно, наживкой хвастался, здесь он не врал. Убедился, что Кафтанов спит, пригрозил Малкину и у него на глазах снял колеса. Малкин говорит, один работал, хоть Руденко и Лапотенко сидели в машине, это точно.

— Один и без домкрата? — усомнился Ширяев.

— Утверждает, что один, качнул за бампер и ногой ударил. Ну, это следственный эксперимент покажет. В противном случае — групповое дело. Ну и Малкин молчал, испугался.

— Вам только доверился. Измордовали парня...

— Что ты! Ему у нас даже понравилось — уходить не хотел.

— Тепло, уютно...

— Нет, правда. Утром подогнали машину, собрались ехать — да не тут-то было! Зовут его, а он не идет, молчит, не отзывается. Пришел Омелин, а он ему со слезой в голосе: «Товарищ инспектор, я осознал, одумался, все было не так». — «А как? — взбеленился Омелин. — Долго ты нас за нос водить будешь?» — «Я все наврал про Порогина. Это я сам снимал, решил брату подарок сделать». — «Значит, ты пойдешь под суд!» — «Пойду, я знаю, а до суда я здесь посижу, заприте меня в камере». Но Омелин ему сказал: «Нет, тогда мы поедем в часть на очную ставку и до суда там останешься. А если не пойдешь, то тебя свяжут сейчас и вынесут». И служба зовет. Орлы пришли с завязками в руках, поигрывают. Встал, потащился.

— И ты не понимаешь, почему? — нервно выкрикнул Ширяев.

— Понял прекрасно. Но все не так страшно. Я поговорил с командиром, просил приглядывать. Он меня успокоил.

— А меня нет! Он не может...

— Может. Мне-то поверь. Захочет, так сможет.

— Это больше от Порогина зависит.

— Порогин неглупый мужик, но в одном просчитался: был уверен, что если ты обратишься к нам, мы тебя отфутболим, как по идее мы и должны были сделать. Когда понял, что прокололся, стал уговаривать Малкина взять все на себя, тем более у брата есть машина. Обещал помочь, замять. Но Малкин, молодец, заартачился. Тогда Порогин и придумал эту туфту с запиской и двумя машинами, чтобы за кордон подозрение вывести. Не на тех напал. «Мы ребята хваткие, на туфту не падкие»! Соображает он быстро: мы еще только к КП подъехали, а у шлагбаума — прощу! — сам Порогин нас встречает, как гостей дорогих. Осознал, говорит, одумался, бес попутал, идемте, покажу. Скоренько, чуть не вприпрыжку повел нас на объект, который Абдулаев и Пернатов охраняли, и там, под брезентом у РЛС, — получите! Потом и болты достал. Он их не выкинул, а закопал у машины — заботливый! Говорит, о тебе думал. Так что забирай свои колеса, — кивнул он в угол. — Посмотри и распишись. Твои?

— Чужие подкинул, мерзавец!

— Ну, мало ли, так положено.

— А дальше что? — спросил Ширяев.

— Все, наше дело кончено. Передаем его в военную прокуратуру, и они дадут ход.

— Что ему будет?

— Это суд решит. Я не темню, не знаю. По-разному может быть. Он еще к тебе не приходил?.. Придет, никуда не денется.

— Зачем я ему понадобился? — удивился Ширяев.

— Он сам тебе объяснит.

Ширяев взял в углу колеса, поблагодарил и уходя все-таки спросил:

— Скажи, почему вы поехали?

Петрухин улыбнулся:

— Я тебе разные причины мог бы назвать. Во-первых — положено; во-вторых — твое депутатское удостоверение; в-третьих — надоело в конторе торчать. Но все бы они ничего не стоили, если бы не было одной: я сам служил в морпехах, захотелось родным воздухом подышать... Извини, дорогой, проявил слабость.

Порогин явился вечером, на следующий день. Смущенный, покорно-предупредительный, он долго возился в прихожей и, войдя в комнату, протянул Ширяеву целлофановый пакет:

— Вот, ребята просили передать, одна попалась, сеголетка.

В пакете лежала толстая, жирная семга, килограмма на три.

Ширяев покачал головой.

— Это ведь взятка.

Порогин будто споткнулся, опустил очи долу:

— Да нет, ребята просили, честное слово, — пробормотал он.

— Не ври. Зачем ты врешь-то все время? Не надоело?

— Еще как надоело! — с протяжным вздохом признался Порогин. — А что делать? Ведь все кругом...

— Говори, зачем пришел, и покороче, — оборвал его Ширяев.

— Повиниться хотел, Вадим Дмитрич. Прямо наваждение какое-то... День стоит, два, неделю. Сколько можно? Как будто вам машина не нужна. Народ ездит мимо, примечает, советует, можно сказать, спровоцировали. Торчит, как заноза в теле...

— Давай без лирики, — сказал Ширяев.

— Вадим Дмитрич, — не повторится, поверьте мне! Что мне сделать, чтобы вы поверили? — Порогин прижал руки к груди. — Простите меня!

— Зачем тебе надо, чтобы я поверил? Не будешь воровать — тебе же лучше... Давай по существу.

Порогин откашлялся, выпрямил спину.

— Дело у меня, в принципе, такое...

«По колесам» ему грозит от года до двух. Пользуясь ситуацией, воспрянули враги и хотят навесить на него полушубки, тогда срок удвоится. Если учесть, что это вторая судимость, то еще раз. А если им удастся доказать групповое дело, то общий срок может за десятку перевалить.

— Из-за простого соблазна вся жизнь под откос. Войдите в положение!

— Ну, предположим, вошел, а что дальше? — Ширяев тяготился разговором.

А дальше, если Ширяев напишет, что не имеет к нему претензий, дело может закончиться значительно проще. Он просит у Ширяева прощения и помощи ради их доброго знакомства, ради беременной жены и больного сына. Со своей стороны он готов и моральный, и материальный ущерб возместить, и вообще все, что Ширяев хочет...

Он вытащил заготовленную бумагу. Ширяев пробежал ее глазами и отложил.

— Видел я твою жену. Разве она беременна?

Порогин не ожидал такого вопроса.

— Почти что нет, — нетвердо произнес он. — Но разъелась — в дверь не пролазит. Я уж сколько раз ей говорил...

— Ну ты даешь! — поразился Ширяев. — Хоть бы здесь не врал.

— Я не врал, честно, у сына честно врожденный порок.

— Я ж тебя не про сына спросил.

— Так я и говорю, как есть, — голубыми ясными глазами смотрел на него Порогин.

«Может, у него что-нибудь с мозгами не того? Не понимает человек?» — недоумевал Ширяев.

— А с Кафтановым у тебя что?

— С Кафтановым — ничего, — быстро ответил Порогин, но тут же поправился: — Ревность у него. Он жену свою ко мне ревнует, без всяких оснований. Особенно, когда выпьет. Как можно в гарнизоне крутить? Да такого никогда не было.

Раньше Ширяев тоже так считал.

— Совсем без оснований? — уточнил он.

— Ну, как вам сказать... Мы уважаем друг друга...

— Разберитесь с Еленой. Добром это не кончится.

Порогин поспешно закивал.

— Когда трезвый, мы хорошо с ним ладим. Он мужик добрый, часть пайка отдает на камбуз. Там не очень-то.

— Кто у вас за камбуз отвечает?

— В том-то и дело, что никто. Тот прапор, что им ведал, теперь под следствием, за полушубки, а брать на себя никто не хочет — там на месяц вперед все истрачено. Поэтому на меня и злобятся, старый-то как-то химичил, выкручивался.

— Вот ты и возьмись, — сказал Ширяев.

— Ну что вы! У меня и так над головой висит.

— Ты возьмись и накорми ребят! — с ударением сказал Ширяев.

Порогин начал что-то понимать.

— Ну, если вы так считаете...

— И последнее, что я от тебя хочу, самое главное — Малкин!

— А что Малкин? Несет службу, борзеет.

— О службе я наслышан. Как к нему ребята относятся?

— Как относились, так и относятся. Мы ж не без понятия, с каждым может случиться. Прижали — раскололся. Кто же согласится добровольно в тюрьму идти? Каждый бы на его месте...

— Если будут издевательства — смотри!

— Да что вы, Вадим Дмитрич! Наслушались разного... У нас, если честно, годковщины вообще в батальоне нет. Было раньше, сейчас это не проходит. Сейчас даже дембеля сами стирают. Хоть кого спросите — ни-ни! Командир сумел навести порядок.

— Учти, ты за Малкина головой отвечаешь. Если с ним что-то случится — посажу, обещаю тебе. И ребятам скажи, чтобы не трогали. Вообще помоги парню, у него дома плохо. Есть возможность ему отпуск сделать?

— Да что вы, Вадим Дмитрич! — испуганно вскрикнул Порогин.— Вы службы не знаете. До полутора лет какой же отпуск! Совершенно исключено. Вот станет «полторашником», тогда можно думать, и то трудно, надо отличиться.

— Подумай, хорошо подумай, но чтобы никакой мести. Обещай мне!

— Обещаю, Вадим Дмитрич, клянусь — пальцем никто не тронет. У нас есть дальний пост на полуострове, похлопочу туда отправить.

— Там ваши стоят? — обрадовался Ширяев.

Он знал этот пост у трех озер, рядом с геологами. Пять человек там живут, как на даче.

— Это, думаю, получится. А вот с отпуском — никак, лишнего обещать не буду.

— Ладно, Порогин, я тебе верю. Вот все, о чем говорили, сделаешь, тогда приходи, подпишу любую бумагу. А пока — извини.

Ширяев первый раз увидел, как у человека отпадает челюсть.

— Вадим Дмитрич! — прорезался голос.— Да вы же меня в тюрьму, вы под нож меня, под танк! За что? Я на все согласен, обещал — сделаю. Но время, время-то какое! До суда не успеть. Зачем же я вам врать стану! Не тронем Малкина — клянусь! Поверьте! Я вам сыном присягаю — волос с головы не упадет. Буду приходить, если скажете, докладывать каждую неделю.

Ширяев отрицательно качал головой.

— Как вас еще просить, Вадим Дмитрич! Не могу я сейчас сесть, права не имею... Вы всего не знаете, поверьте мне! Хотите, на колени перед вами встану?

Подбородок его нервно дергался, на глаза наворачивались слезы.

В дверь слегка постучали, и заглянула жена:

— Что у вас тут за шекспировские страсти?

— Закрой дверь! — резко бросил Ширяев.

Дверь со стуком затворилась.

— Что же я, совсем подонок? Сына не пожалею? — тихим сдавленным шепотом произнес Порогин и, как школьник, шмыгнул носом.

«Соврешь ведь, мерзавец»,— думал Ширяев, не чувствуя к нему ни жалости, ни сострадания. Но все же и надежда слабая теплилась: он же не какой-то одинокий волк — жена есть, сына любит.

— Учти, я приеду, проверю. Давай бумагу.

Ширяев поставил свою подпись, все же чувствуя, что совершает нечистое.

Порогин поспешил к выходу.

— Семгу забери свою, браконьерскую,— окликнул его Ширяев.

Порогин не отнекивался, взял.

Жена гремела на кухне посудой. Чем громче звон, тем хуже настроение — такая установилась сигнализация.

«Чего мы делим-то? В чем причина?»

Он был уверен, что и она ее не назовет. Не сложилось как-то после рыбалки и тянется, как хронический пиелонефрит, ноет и ноет.

«Подойти бы надо, повиниться».

Ему неловко было за свою недавнюю грубость.

Повиниться, конечно, можно, думал он, но вот потом трудно вынести: начнутся упреки, унижения, полоскания прежних обид — чего только он про себя не узнавал! Перетерпеть бы эти минуты, и все наладится. Но сколько раз бывало, что он не сдерживался, и примирение заканчивалось новой, более серьезной ссорой. Тысячу раз прав был Иван Карамазов, когда говорил Алеше: «Не проси у женщин прощения. Ни одна не простит от сердца».

Но в этот раз терпение, видимо, истощилось у обоих.

— Докатился, достукался! Как ты живешь! Шляются пьяные матросы. Хамишь, орешь, одичал совсем! — Жена стояла в дверном проеме, скрестив на груди руки.

Ширяева несказанно обрадовало ее появление.

— Ты, пока в семье живешь, поинтересовался бы, что происходит,— хорошея от гнева, распалялась жена.— Хоть бы с сыном поговорил. Ты знаешь, что он попал в историю? Я все жду, жду, а между прочим, звонил следователь.

— Да знаю,— успокоил Ширяев, чувствуя, как отрадно слышать ее неравнодушный голос.— Я был вчера у него, взял колеса.

— Какие еще колеса? — отшатнулась жена.— Ты сбрендил, дорогой. Колеса — это что, наркотики? Я не понимаю твоего жаргона. Я тебе про сына говорю.

— Про какого сына?

— Нет, ты полоумный! Чему ты улыбаешься? У тебя сын, сын Антон! Ему шестнадцать лет! Он в десятом классе! — не владея собой, выкрикнула жена.

Едва он шагнул к ней, как она быстро прижалась, уткнулась лицом в его плечо и, не сдерживаясь, навзрыд, заплакала.

— Ну что ты, дурочка, ну зачем так? Я виноват, прости!

Он гладил ее мягкие волосы, что-то бормотал, чувствовал всю ее, такую знакомую, теплую, родную, что сжимало горло. Жена цеплялась за него руками, будто боялась утонуть. Последние сладкие всхлипы отозвались в покорном теле, и вздох глубокого облегчения завершил перемирие.

— Бессовестный — так меня мучить! Ты просто изверг,— вытирая слезы, улыбнулась жена.— Мог бы и первым подойти.

— Ну все, все,— проговорил Ширяев, опасаясь нового всплеска.— Что у вас произошло?

— Пусть он сам тебе расскажет. Бедный мальчик! Но больше ждать нельзя. Поднимай свои связи и действуй, иначе мы потеряем сына. Антон! — позвала она,— иди и расскажи отцу,— и добавила тихо: — Я уйду.

Из своей комнаты лениво выволокся «бедный мальчик» и встал в дверях, головой касаясь притолоки.

— Чего?

У него был такой же отсутствующий остекленевший взгляд, который помнил Ширяев у Малкина в гарнизоне.

— Я бы попросил в мои дела не вмешиваться,— нагло заявил он.

Жена без слов вышла.

Ширяев только сейчас заметил, как сын осунулся, побледнел, под глазами легли голубые тени.

— Давай, рассказывай, что случилось.

— Да так, ерунда. Она всегда преувеличивает,— нехотя ответил сын.

— Не она, а мама. Я правильно понимаю?

— Правильно,— криво улыбнулся сын.— Ну в общем, так... Мы сидели у Валерки, переписывали фильм, а они вошли и сразу...

— Постой, постой, какой фильм? Кто вошел. Кто это вообще — «мы»?

— Ну мы, одни ребята, без взрослых. Сам же говорил, новых фильмов нет, вот я и решил записать.

— А что за фильм?

— Ну этот, «Хард корт», порнуха.

— Ты что, обалдел? — опешил Ширяев.— Я же сказал тебе, чтобы этой гадости в доме не было.

— Ну пап, ну что писать-то? У всех одна порнуха.

— Ну и друзья у тебя! — возмутился Ширяев.

— Что друзья? — обиделся сын.— Нормальные друзья, ты их всех знаешь.

— А кто пришел? — спросил Ширяев.

— Откуда я знаю? Менты какие-то, без формы. Я их фамилий не спрашивал.

— Не менты, а милиционеры.

— Ну, милиционеры. Забрали пленки, сказали, что вызовут.

— Хорошенькая история!

— Милиция салон колупнула на Карла Маркса, и кто-то на нас показал, знают, что мы пишем. Но мы с салонными никакого дела не имели, честное слово! Ты не волнуйся, ничего страшного. Отец Валерки ходил уже, выяснял. Просто пришла повестка, чтобы до суда из города не отлучаться. Вот она, мама то есть, и взбеленилась.

— Как ты нехорошо о маме говоришь,— поморщился Ширяев.

— А чего она зудит и зудит, всю плешь проела,— пробурчал сын.

— Кому же и зудеть, как не нам. Мы все-таки твои родители. А дело серьезное!

— Да ладно, папа, ну чего ты! — заглядывал сын в глаза.— Подумаешь, беда большая! Мы же не торговали! Ну чего такого-то? Ты просто от жизни отстал, живешь в своей тундре. Порнуху уже никто ничем таким не считает. Просто фильм переписывали — какой здесь криминал? Еще разобраться надо, какое у них право в чужой дом врываться. «Встать! Всем к стене!» — передразнил он.— Будто мы преступники. По-моему, так это беззаконие.

Ширяев верил ему лишь наполовину. Защищенный родителями от возможных бед, сын не ведал, что его действия могут считаться уголовно наказуемыми. И Ширяеву вдруг не захотелось, чтобы он сейчас об этом узнал — беззащитное тело, хрупкая близкая, родная душа.

— Может, и беззаконие,— вздохнул Ширяев.

— Кассеты могут только не отдать, загребут себе,— пожалел Антон.

— Бог с ними, с кассетами.— Ширяев потеребил жесткие волосы сына.— Все как-нибудь образуется, не горюй,— и вспомнил запоздало, что обещал поехать с ним на рыбалку.

«Надо что-то делать, кому-то звонить,— морщился Ширяев, листая записную книжку.— Как же его зовут, того полковника из УВД, который на сессии облсовета к нему подошел, просил сына взять на работу?»

— Звонишь?—обрадовалась жена, когда он снял телефонную трубку.

— Звонить-то звоню, но звонком, наверное, не отделаться.

— Ну звони, молодец,— похвалила жена.

Рабочая неделя засосала его, как сапог в болото. Месячный план трещал, квартальный отчет — конь не валялся. Летучки, согласования, организация малого предприятия. По ходу дела — разносы: тебя сверху, тобой — вниз. К тому же сессия надвигалась, как циклон, в который входишь, тревожась, вдохновляясь и забывая обо всем на свете.

Полковник оказался помнящим добро. Откликнулся сразу же и охотно взялся помочь. Но дело это оказалось не таким простым, как виделось, так как попало на очередную волну борьбы с порнографией, и раскрутить его собирались на всю катушку.

— Помнишь, мы голосовали? — спросил полковник. Но без всякого ехидства спросил.

Жене Ширяев ничего не стал говорить. Сам медленно, но верно шел по тропинке, которую заботливо торил для него добряк-полковник. Вот-вот должно было все благополучно завершиться.

В этой суетной круговерти две недели в тундре вспоминались ему «как сон, как утренний туман». Красавица-кумжа, переходы, ночевки — словно колодец с живой водой, из которого он черпал силы. Но после первой радости в душе возникал последний день, вся эта детективно-колесная история, гарнизон и Малкин, загородившийся руками от летящих в него обломков: «Не надо!»

Судьба его не переставала Ширяева беспокоить, но ни сил, ни времени не оставалось выбраться в злосчастный гарнизон. Туго закрученные дела требовали его присутствия на работе даже по выходным.

По всему по этому появление у себя в доме молоденького цивильного лейтенанта он воспринял как подарок судьбы. Угостил его, обогрел, предложил переночевать. При ближайшем рассмотрении мальчик производил странное впечатление. Ни спасибо, ни извините — все воспринимал как должное. Погонами тяготился — «юрфак МГУ!» За словом в карман не лез, все знал, ничему не удивлялся и не радовался. Был раскован, даже развязен, но внутренне напряжен; решительный, а глаза бегают; глаз небрежно прищуривал, будто всех тут подозревал. Одет он был с иголочки, китель от классного портного — это сразу бросалось в глаза. Словно из столицы прибыл, а не из затерянного в сопках воинского поселка.

В кармане у него лежала красная впечатляющая книжечка с золотым тиснением: «Прокуратура СССР». Приехал он, чтобы везти Ширяева на следственный эксперимент. Мальчика звали Аскольд Алеутов.

Жена, выдержав совместный ужин, нашла повод отозвать Ширяева на кухню и безапелляционно заявила:

— Он мне не нравится. Он не чистый. Он стукач... Убери с полки «самиздат».

Не Бог весть, какой «самиздат» — «Три столицы» Шульгина.

— Милая, господь с тобой! Кому сейчас «самиздат» интересен?

— Ты не знаешь! Сейчас-то они как раз и собирают компромат! — иногда жена умела огорошить.

Пацан недоделанный, корчит из себя кого-то, решил Ширяев. Ему еще предстоит мужиком стать. Дай бог, чтобы не сволочью. Хотя в чем-то жена была права — таких остреньких, опасных мальчиков ему еще видеть не приходилось. Он постелил ему в своей комнате, сам пошел к жене.

А утром они поехали на ширяевской машине. Этому гаденькому мальчику даже машины служебной не предоставили.

Глава седьмая

Для следственного эксперимента только и требовалось, что найти Порогина, понятых с поста можно взять, но парень этот, как и предполагал Ширяев, совсем никчемным оказался. Он напускал на себя важность, пыжился, проницательно прищуривал глаз, однако обеспечить эксперимент за час не сподобился. Его пасовали от одного к другому, но до Порогина он так и не добрался.

Ширяев сидел внизу на лавочке, отполированной множеством матросских задниц, поглядывал на проходивших, чтобы вступить с кем-нибудь из знакомых в разговор. Но народу было не густо.

Наконец он увидел Руденко. Нагнувшись вперед, широко качая квадратными плечами, тот шел словно против штормового ветра. Сделал вид, что не узнал, а когда Ширяев остановил его, демонстративно взглянул на часы.

Кафтанов, наверное, дома. Порогин на вахте, в двенадцать смена. Малкин — в длительной командировке,— особо не распространяясь, известил он и озабоченно посмотрел на окна комендатуры.

— Иди, иди,— отпустил его Ширяев, успокоенный тем, что хоть в этом Порогин сдержал слово. На остальное он не надеялся. Но послушать Порогина все же хотелось.

— Ну порядки! Что это такое! — спустившись в очередной раз, изливал ему Алеутов свое негодование.— Такое неуважение к прокуратуре я вижу в первый раз.

— А ты давно работаешь? — спросил Ширяев.

Алеутов метнул на него настороженный взгляд и ответил с вызовом.

— Достаточно.

— Ну тогда жди еще полчаса, раньше он не придет.

— Откуда знаете? — прищурившись, осведомился Алеутов.

Его игра в великого сыщика начинала раздражать.

— Это не у тебя с «Волги» колеса сняли? — вместо ответа спросил Ширяев.

Алеутов скромно потупился:

— У шефа. Пойду сейчас ему звонить. Пусть их вздрючит.

— Если ты на него похож, то немудрено. Что ты все время дергаешься? Посиди спокойно, подожди, никто тебе ничего не должен.

— Вы на что намекаете? Вы хотите меня оскорбить? — с нарочито острой улыбочкой спросил Алеутов.— Но вы сделали мне комплимент.

— Я так и думал.

— Что вы думали?

— Я думал, что это он все время гримасничает? Не иначе как кому-то подражает.

— Ваш возраст не позволяет мне ответить хамством,— сказал мальчик учтиво.

Слава Богу, что мама с папой тебя вежливости научили. А, кстати, кто они?

— К нашей ситуации это не имеет никакого отношения,— с достоинством произнес Алеутов и, высоко вздернув голову, отправился в очередную ходку.

«Юрфак МГУ!» — с неприязнью подумал Ширяев.— Тебя бы на судно. А еще лучше в армию, гаденыш».

Но одну положительную черту Ширяев все же в нем обнаружил — незлобив: через пять минут он спустился и как ни в чем не бывало подсел на лавочку.

— Я же говорил, порядка нет, а вы мне не верили. У них еще ЧП, помимо нашего: матрос сбежал неделю назад и только сейчас нашли.

Ширяев словно поддых получил.

— Кто? Как фамилия — Малкин? — срывающимся голосом выкрикнул он.

— Нет, нет, другая, я не расслышал,— ответил Алеутов и подозрительно скосил на Ширяева прищуренный глаз.— Почему вы так реагируете? Кто такой Малкин?

— Знакомый,— переводя дух, произнес Ширяев.— Что там случилось?

— Не знаю. Я случайно услышал разговор двух офицеров. Его нашли пограничники и только что сообщили. Почему-то сказали, что голый, у потухшего костра.

— Да он хоть живой?

— Мертвый.

— Господи, одну беду отвели, другая свалилась,— качал головой Ширяев.— Будет ли конец?!

— Почему голый — странно? — недоумевал Алеутов.

— Вымок, наверное, сушился, а дров не набрать в сопках. Где его нашли?

— Не разобрал. Я стоял в предбаннике, а они в комнате. Один у телефона восклицал нервно, ну я и заинтересовался.

— Подслушивать-то нехорошо! — поддел его Ширяев.

— Да что вы, Вадим Дмитрич, все меня уколоть норовите? — с обидой произнес Алеутов.— Я ведь при исполнении, моя прямая обязанность знать все и про всех, тем более что заниматься выяснением придется мне, и эта информация по горячим следам очень пригодится. Они ведь когда еще сообщат? Вы не знаете флотской среды. Не в их интересах давать каждому делу ход. Ей-богу, напрасно вы меня в чем-то подозреваете. Я ведь не корысти ищу, а справедливости. Мне надо знать правду, одну правду и ничего, кроме правды.

Ширяев напрягся, припоминая, и произнес:

— Veritas, una veritas, nil nisi veritas.

— Ого! Я чувствовал, чувствовал, что вы не простой человек! — в восторге подскочил Алеутов.— Поэтому и позволял вам так с собой разговаривать. Кто в наше время знает латынь? Надо быть очень культурным человеком...

— Уймись,— оборвал его Ширяев.— Не знаю я латыни.

— Нет-нет, вы просто скромный человек. Это редкость в наше время: скромный и прямой, что думаете, то и говорите. Я таким завидую.

— Я тебе русским языком сказал — не знаю! Кроме правды, я ничего не знаю. Но моя правда и твоя, как говорят в Одессе, это две большие разницы. Я хоть жизни немножко хватанул и потому знаю, что в ней творится, а у тебя только юрфак да подслушивание в предбанниках.

— Вы недооцениваете образование. Специалисты нужны в каждом деле.

— В каждом деле нужна чистая совесть и желание делать добро. Я что-то не встречал, чтобы этому учили на юрфаках.

— Вы меня простите, но желание делать добро есть и у собаки, такое, как она понимает.

— Что ты этим хочешь сказать? — ощетинился Ширяев.

— Да ничего, просто добро — не биологическое понятие, а нормативно-оценочное. Так по крайней мере на юрфаке учат.

— Ладно, умник, научили тебя... Ты мне лучше про матроса расскажи. Что там еще слышал?

— Я думаю, ситуация в некотором роде типичная...

— Мне не интересно, что ты думаешь,— оборвал его Ширяев.

— Вадим Дмитрич, ну нельзя же так грубо! Вы меня все время обижаете, заставляете о вас думать хуже, чем вы есть.

Ширяев поморщился.

— Ты изъясняешься прямо как гомосек.

— О боже! Это непереносимо! Каждое мое слово вас раздражает. Я лучше буду молчать.

— Правильно,— одобрил Ширяев.— Молчи и думай. И перестань зыркать глазом, как твой шеф. Развелось тунеядцев! Кому нужна ваша контора? Парни дело раскрыли, и все, теперь суд. Нет, еще вы встряли.

Алеутов, обиженный, молчал.

Раздражение, которое чувствовал Ширяев в его присутствии, было какого-то внутреннего свойства. Не манеры, не витиеватость речи его нервировали и даже не подозрение в стукачестве... Трудно сказать, но за этим гаденьким мальчиком стояло что-то серьезное, значительное, что не только задевало непосредственное общение, но и пошатывало какие-то краеугольные камни.

— Между прочим,— сказал Алеутов и поднял на него глаза — в них была горечь и страдание,— между прочим, гомосеки — тоже люди.

«Что-то разброс слишком большой!» — почесал в затылке Ширяев и достал сигареты.

Закурил, поглядывая, как возрождается перед обедом гарнизонная жизнь.

На мостках, ведущих к магазину, показалась рослая фигура, напоминающая Порогина. Матрос шел решительно и скоро, всплескивая полами шинели, как на параде.

Ширяев докурил, бросил окурок в обрубленную бочку, полную «до фабрики» скуренных «бычков», и поднялся.

— Сиди, дожидайся. Я тут схожу недалеко.

Двери магазина были закрыты, но в окошке горел свет. Ширяев постучал в мягкую, обитую дерматином дверь. Шевельнулась шторка на окне, и вместе с клацаньем замка послышался мягкий, певучий голос:

— Какие гости! Коля, ты посмотри, кто к нам идет!

Дверь открылась. Блестящие глаза смотрели на него ласково, почти влюбленно, длинные ресницы порхали, как крылышки.

«Хороша, хороша, стерва,— снова поразился он ее красоте и по давней морской привычке добавил: — А ведь кто-то ее...»

Этот «кто-то» сидел в подсобке, в знакомом импровизированном кресле, раскрасневшийся, распаренный, уже принявший слегка коньячка, и дожевывал что-то из яркой банки.

— Вот с кем бы хотел я выпить! — радушно, но и развязно приветствовал Порогин, потирая руки.— Елена!

— Идиллия! Рай в шалаше! — усмехнулся Ширяев.

— Да, у нас с Коленькой, можно сказать, медовый месяц. И все благодаря вам!

Елена поставила еще два стакана, протиснулась к креслу, обняла Порогина за крепкую шею и так постояла, позируя.

— Какая пара! — восхитился Ширяев.— Жаль, Кафтанов не видит.

— Хо-хо, тю-тю! — рассмеялись оба.— Кафтанова теперь нет. Воспользовавшись вашим советом, я подала на развод... Мы вам очень благодарны за все,— добавила она, обласкав его взглядом.

— Для медового месяца, как я понимаю, нужны два свободных человека,— предположил Ширяев.

— Ну и что! — бойко отозвалась Елена.— А у нас пока один. И вообще, вы не современны, Вадим Дмитрич. Теперь все намного проще, даже в армии. Правда, Коленька?

— Само собой,— прогудел Порогин, обгрызая спичку.

— Мы еще Коленьке манеры поправим, и он будет у нас самый лучший,— стрельнув в Ширяева, лукаво улыбнулась она.

— Нас ждут,— сказал Ширяев.— Нужен следственный эксперимент.

Порогин покачал в стакане коньяк:

— Согласен, только с одним условием: эксперимент закончим здесь.

— Боюсь, что условия не ты будешь ставить,— осадил его Ширяев.

— Ну, будет вам, к чему этот тон, все уже позади. Смешные люди, не верят, что колеса может снять один человек... Маяковский ошибся,— бесцеремонно произнес Порогин,— один человек — это очень много. Один человек этот долбанный «жигуль» может даже перевернуть.

— Да, Коля может, он на спор переворачивал,— в голосе Елены звучала уверенность, что ее Коля может все.

— Что с Малкиным? — спросил Ширяев.

— А что с Малкиным? — Порогин выдержал паузу, разглядывая стакан на свет.— Все в порядке с Малкиным.

— Сказали, что он в дальней командировке. Это что, тот самый пост?

— Не тот, другой, но тоже в тундре,— быстро проговорил Порогин и посмотрел на Елену.

— Его бы и здесь не тронули,— подтвердила она.— Но уж раз обещали...

— Ладно, пошли,— успокоился Ширяев.— Мне сказали, что ты на вахте, а она вон у тебя где, оказывается, идет.

— И хорошо идет! — засмеялась Елена.

— Да я только что сменился. Не спеши, Дмитрич, подождут, я дольше ждал. Я хочу,— будто по частям раскладываясь, Порогин встал и поднял стакан.— Я хочу, чтобы все, что было,— забылось! Чтобы Дмитрич, когда будет здесь, с пути сворачивал и заруливал к нам. Мы тебе всегда рады. Я могу сказать честно: я на твердой дороге и с нее не сверну.

— Вот как мы торжественно умеем. Молодец, Коленька,— усмехнулась Елена.— Мы с ним вместе горы своротим. Выпейте за наше счастье.

— Нет, не буду,— отодвинул стакан Ширяев.

— Да брось ты эти обиды, простил ведь уже, все позади, твои заветы выполняем, сам видишь.

Это «ты» скребло Ширяева, как рашпилем.

— Нет, не приставай,— сказал он.

— А я выпью. За такой тост грех не пить.

— Выпей, выпей, Коленька. Он за рулем, не пьет, а ты выпей, тебе не помешает перед экспериментом,— глядя на Ширяева, сказала Елена.

— На своей приехал? — удивился Порогин.— Что же прокуратор «волжанку» жмет или не доверяет? С кем ты?

— С Алеутовым.

— А, с этим, дерганым? — засмеялся он, очень похоже прищурив глаз.— Ладно, поехали, сейчас мы его экспериментнем пару раз.

...Эксперимент обставлялся серьезно. Понятыми взяли двух матросов с КП. Они мерзли, маялись около машины, не зная, чем заняться. Алеутов долго писал протокол, щелкал фотоаппаратом, уточнял у Порогина детали. Тот отвечал ему спокойно, с улыбочкой, в которой сквозило пренебрежение. Лейтенант распалялся, покрикивал, прищуривал глаз.

Ширяеву надоела эта бессмысленная возня, ненужные формальности, которые забирали драгоценное время. Все, что интересовало, он выяснил, а дома ждал еще не оконченный доклад по экологии, с которым завтра предстояло выступать на открытии сессии.

«Ох, будет заруба!» — поднималось в нем знобящее чувство успеха. Доклад был посвящен состоянию моря и мерам по его спасению. Начальник флота, уже что-то пронюхав, встречался с ним, просил не забывать интересы рыбаков, но Ширяев промолчал. Цифры, которые он с таким трудом добыл, должны были произвести впечатление разорвавшейся бомбы. Он уже представлял, какой гвалт поднимется: «Закрыть море? А он о людях подумал?» Флотскими командирскими голосами будут увещевать, опровергать, доказывать. Но все это потом, а начало, открытие сессии — о, это как праздник, как первое сентября в школе, когда все еще свежие, уверенные в себе, отзывчивые, растекаются по фойе, занимают проходы, курилки, комнаты,— местная элита, отцы города, его надежда и спасение. Самоуверенный солидный говорок: пересуды, перспективы, слухи. Как ни странно, и женщины попадаются, есть на что посмотреть.

«Только бы доклад до обеда поставили. Надо будет секретариат попросить»,— подумал Ширяев без особой уверенности на успех.

Секретариатом правила бывшая номенклатура. Блок «производственников», к которым он принадлежал, считался левым и с ней не очень-то находил общий язык.

При всем интересе, который у него всегда вызывала сессия, идти на нее надо хорошо отоспавшимся — это он знал по собственному опыту. После непривычно плотного обеда сидеть в мягком кресле и слушать нудный доклад — лучшего средства от бессонницы трудно себе представить. Забавно было наблюдать, к каким ухищрениям прибегает сановитая номенклатура — закрывается рукой, газетой, надевает очки, но все напрасно, и падают на грудь седовласые головы, сраженные Морфеем.

В любом случае надо выспаться, решил Ширяев и подошел к Алеутову:

— Аскольд, делу время! — неожиданно имя его всплыло.

Лейтенант расцвел:

— Сейчас, Вадим Дмитрич!

Окрикнул тузящих друг друга матросов, расставил у колес, Порогина отправил на дорогу.

— Чтобы все в точности, как тогда, я хронометрирую... Пошел! — крикнул он, как на старте, и включил секундомер.

Поигрывая ключом, развинченной, скучающей походкой Порогин приблизился к машине и, мигом отдав болты, присыпал их песочком. Поднял машину за бампер и длинной ногой, словно по мячу, ударил по скату. Колесо отскочило и, крутнувшись, упало на землю.

— Пятьдесят секунд! — ахнул Алеутов.

— Второе надо? — лениво спросил Порогин.

Ширяеву жалко стало диск.

— Все, как тогда,— повторил Алеутов, и Порогин снял второе. Машина, скособочившись, оперлась на диски.

— Ты мне тут край помял,— присмотревшись, посетовал Ширяев.

— Сделаем, Дмитрич. Сейчас исправим, а потом возместим,— подмигнул Порогин.

Ширяев не рад был, что заметил.

По дороге, подпрыгивая, приближался «козелок».

«Редко здесь машины ходят»,— подумал Ширяев мимоходом.

Порогин отнес колеса к теплушке, Ширяеву поставил родные и, отряхивая руки, осведомился:

— Порядок?

— Снимать-то ты умеешь,— сказал Ширяев.

— Распишитесь,— попросил Алеутов.

Порогин поставил подпись и отдал ручку.

— Убедился, лейтенант? Теперь веришь? — он ткнул в Алеутова пальцем: — Запомни — Порогин никогда не врет! — и, словно победитель, взявший приз, не торопясь пошел на дорогу, к подъезжающему «газику».

— Товарищ прапорщик! — раздался высокий, дрожащий от напряжения голос.

Порогин медленно обернулся и, не скрывая насмешки, спросил:

— Че-го?

— Смир-р-рно! — звонко крикнул лейтенант.

Порогина тряхнуло, словно он удар получил, секунду стоял, осмысливая, потом медленно, с превеликим трудом, стал распрямляться. Ширяеву показалось, что у него суставы скрипят.

— Прошу вас впредь обращаться по форме! — четко и раздельно выговорил Алеутов.

Порогин молчал, играя скулами.

— Вам понятно, что я сказал? — сверлил его взглядом Алеутов.

— Так точно,— сквозь зубы выдавил Порогин.

— Не слышу! — добивал его лейтенант.

— Так точно, товарищ лейтенант!

— Вы свободны! — Алеутов спрятал секундомер в карман.

Ширяев увидел, что лоб у него в испарине.

Что творится на белом свете! Ширяев был вне себя от удивления.

Порогин, опустив голову, потоптался на месте и повернулся спиной. Понятые злорадно усмехались.

— И вы тоже! — отпустил их Алеутов.

«Газик» не остановился у шлагбаума, клюнув носом, он съехал с насыпи и пошел прямо на Порогина. Тот отскочил из-под самых колес, смачно выругался и потряс кулаком.

Взъерошенный, в расстегнутом кителе выскочил Кафтанов и рванулся к Порогину:

— Вот ты где, скот! — тугим, сдавленным голосом произнес он.

— Не сейчас, товарищ капитан, не место, потом поговорим,— откидывая голову, отступал от него прапорщик.

Кафтанов наскакивал, норовил ухватить за грудь, но Порогин короткими быстрыми ударами сшибал руки.

— Здесь поговорим, мразь, сейчас, паскуда, при всех. Я тебя выведу на чистую воду.

Порогин перестал пятиться и поставил блок.

— В чем дело, товарищ капитан? Я вас не понимаю. Идем в теплушку, объяснимся.

— Я с тобой объяснюсь, я тебя заставлю поплясать, красавец долбанный. Ты у меня поймешь, все сейчас поймешь! — брызгая слюной, кипел Кафтанов. Рука его скользнула назад.

— Товарищ капитан, успокойтесь, здесь посторонние,— вразумлял его Порогин.

— Кто? — округлил Кафтанов красные глаза.— Где?.. Нет здесь посторонних, все участники. Ты, что ли, или депутат?

Ширяев думал, что он вообще никого не замечает.

— Я тебя сейчас! — суетился капитан,— при всех! Чтоб земля таких пидоров не носила! — Неверной рукой он вытащил пистолет и смотрел на Порогина, торжествуя.

— Давай, давай.— Порогин похлопал себя по груди.— Не промахнись.

Рука Кафтанова, гуляя, стала подниматься. Ширяев подскочил и накрыл ее своей. От капитана разило спиртом. Рука покорно опустилась.

— Сказал бы хоть за что, капитан! — небрежно обронил Порогин.

— А то не знаешь! Ты говорил, что не будут трогать?

— Обещал и делал, что мог. Они без меня решили.

— Врешь, падла! Твоя работа!

— Да на него тебе насрать! Думаешь, не понимаю, в чем дело?

Порогин пошел на Кафтанова.

— Не подходи! — истерично взвизгнул капитан и стал вырывать руку.

Ширяев стиснул крепче:

— Не глупи, Юра! В чем дело?

Капитан обмяк, сжался, привалился к Ширяеву.

— Нашли его! Понимаешь ты? Раздетый, мертвый, у потухшего костра.

— Мертвый?! — замер Порогин.

— Ты о ком? — похолодел Ширяев.

— Бедный мальчик! Кормил его, одевал, берег,— всхлипывал Кафтанов, размазывая слезы.

— Малкин?! — выдохнул Ширяев.

— Привезли на бэтээре, на техскладе положили,— мотал головой Кафтанов.

— На каком складе? Ты очумел?

— Ну а где же пока? Не на улице держать! Он и так размок, кожа вся смылилась, и росомаха...

— Что — росомаха?

— Росомаха его погрызла, руку правую, до плеча.

— О, господи! — прошептал Ширяев.

В голове мутилось, ноги стали слабыми и чужими. Из небытия донесся бодрый голос:

«Вы не смотрите, что я худой, я жилистый, руки сильные...»

Ширяев открыл дверь «Жигулей», без сил упал на сиденье.

Прямо перед ним, положив тетрадь на капот, Алеутов что-то писал.

г. Мурманск

Элла Крылова

НАД РТУТЬЮ ЛЕТЫ

* * *

На какие круги,
на кривые звериные тропы мы вышли,
вероломный Вергилий?
Глаза твои — пьяные вишни.

Где живая вода, ключевое кастальское чудо?
Только черное озеро, рыбы в колючих кольчугах.
Только лилий-утопленниц белые, белые ризы...
Откровений окраина, узкое лезвие риска.

Предпоследнего неба
упругий шагреневый парус.
Многорукие призраки
тают, срастаясь попарно,
очертания сбросив поспешно, как если бы платья,—
косоглазые сестры, вертлявые бледные братья —
над ложбинами жабьими с их первосортной икрою.
Проводник, разве мы
не из плоти и духа, и крови?
Так зачем же сюда?
Здесь панует блудливая нежить.

Невозможен ночлег.
Почему ты сказал — неизбежен?
Безопаснее места, сказал ты, не сыщешь на свете.
И зрачки — как крючки,
и ресницы — как тесные сети.
И какое-то зелье потом из бездонной бутыли...

Я не помню: спасли, умертвили меня, разбудили?
Я не помню: Иуде Исус или крест — Назарею
молвил или молчал:
«то, что делаешь,
делай скорее...»

1990

Подборка стихотворений, любезно предоставленная редакции поэтами И. Лиснянской и С. Липкиным,— первая публикация двадцатитрехлетней поэтессы, живущей в Москве.

* * *

Как себя ни дроби,
ни дари и в колодцах каких ни топи,
снова глину сомнут,
голубиною склеют слюною,
потому что ты Чашу свою не допил
и остался негодным
слугою.

Как себя ни копи,
ни учи и ни преумножай,
золотое зерно, говоря, прорастает крылами, —
все равно ты не знаешь,
какой урожай
соберет триединое Пламя.

Все равно:
отрицай, уверяй, что пусты небеса,
присягай нищете
или пурпур прими, как крещенье, —
никому,
на цветочных качаясь весах,
не избегнуть Суда
и —
Прощенья.

1991

Сонет

Вот потому и жалок твой удел,
что ты всерьез не алчешь
лучшей доли,
противясь, как насилью,
Отчей воле,
не утешенья ищешь, но —
утех,

спектаклей Зла, где гибель — в главной роли —
без устали рыбачит, — на уде
хрипишь, но рукоплещешь и т. д., —
и счастье —
тоже разновидность
боли.

Земную жизнь пройдя до середины —
в который раз! —
гордыней, как гардиной отгородясь,
отвергнула Завет.
Бунтует раб!
Но
выбрать господина
придется и пойти за ним вослед —
в подлунный
Ад
иль в запредельный
Свет.

1.02.1991

* * *

Сомнение лукавит и ликует,
подмигивает из глубин бокала
то медно-черным, то голубо-алым,
принять не соглашаясь ни в какую
ни продолженья действа, ни финала.

Неужто пустота все увенчает?

Вчера меня здесь мама пеленала.
А завтра — плен подземного пенала.

В полынных пальцах свечи иван-чая
поднимутся напоминаньем малым
о том, как щеки бледно розовели,
когда гроза по жилам пробегала...

Иль есть у света сторона другая,
но Некто, высшей волею Своею,
ее от праздных глаз оберегает?

Отчаянья смирительные сети
все крепче и — привычней. Под ногами
уже сегодня Леты берега, и
не лилий аромат разносит ветер,
но — тленья сладкий смрад и газ угарный...

1989

* * *

Маятник сбивается
с ритма в пустоте груди.
Хромотой попирает небо
хозяин бала.
Все что угодно может произойти.
Запертая дверь от вторжения не избавит.

Слишком зябко, чтобы уснуть, хоть в три
завернись одеяла, и вот так до утра вертеться,

как в гробу, в постели,
пока фонари
в окно извергают фосфор,
покуда сердце
глохнет в тревоге, тем большей, чем тишина
ночного мира объемней и безмятежней!..

Жизнь рукотворными снами
предрешена,
и она,
в деревянной всегда одежде,

потому и желанна, что нет иной.
Изнанки коснись — поднимается страх незрячий.

Но Некто,
склоняясь медленно надо мной,
кладет ледяные ладони
на лоб горячий,
и я слышу свой голос, но как бы издалека,
ровнее летейского штиля, отчетливо
нестерпимо:

— Не коса, а белые лилии у Нее в руках.
Она прилетит за тобою на белых крылах серафима.

1989

Канун

Стеклянный зимний дождь крадется вдоль
бумажных стен, раскрашенных гуашью.
Коснись любой — запачкана ладонь.
И ходуном —
берестяная башня.

На двери дунь — срываются с петель.
Вскричи,
взмолись —
папирусы проспектов,
проулков, улиц древняя кудель
совьются в свитки, колтуны
и смерчи.

Закрутит ветер
рваный серпантин,
все вывернет изнанкою наружу,
и пестрый человеческий петит
просыплется
на слюдяные лужи.
Заголосит — но Слову не бывать
под грозной сенью мраморных деревьев.

Взойдет железная разрыв-трава
сквозь протоколы
воссоединенья.
Непрочный мир чернила промакнет.

А кто
его творил — тот безутешен.
Но Он
на этот случай приберег
две-три пригоршни яшмовых черешен.

1990

* * *

Поэт есть путь в Реальность за таможней
реальности, — стрела
Зенона,
тождественная цели невозможной, —
в мозгу Всевышнего — любимая заноза,
саднящая,
торчащая — стремглав.

Он от рожденья не имеет кожи
и потому — тысячеглаз,
подспудно огранен и — перемножен
тысячекратно
внутри себя с собою — как алмаз, —
и тем болимее, чем больше в нем каратов;
слабее слабости, — взрезает тьму любую,
беспечно погибая
всякий раз.

Поэт есть мост — подвижный, звуковой, —
над ртутью Леты
цветущая черешневая ветка, —

к обоим Древам жертвенный привой
и — вдовья лепта
в пространство, где сойдутся берега.

— Фригийская униженная флейта
у вечности в руках.

Набережная

В неблизкий путь, коль ни гроша, —
товарняком да автостопом.
Вот так же, в сущности, душа
к трансцендентальному Престолу
несется на перекладных,
и плоть — ее сугубый транспорт.
Недаром, значит, нелады
у плоти с временем-пространством.

Ее свирепый ест Сатурн,
хрустя хрящами, как редиской.
Уран — чудовищный каплун, —
кривясь от страха, краем диска
за этой трапезой следит,
бо знает: рано или поздно
не пощадит его седин —
вторично — ненасытный отпрыск.

Когда желудок не болит,
и голова, и остальное,
то что же все-таки болит,
томится, мается и ноет?
Ночной схоластики утиль
в сознаньи чахлом громозится.
Идет, гудёт высокий штиль!
Раскрылись вещие зеницы!

Во мне бессмертие и смерть
до срока слиты воедино,
как в бронзе — олово и медь,
и горечь хинная сладима.
Кочуют шумные века
по Бессарабии мгновенной.
Ах, память плоти коротка!
Психеи память — потаенна.

Нашаришь ненароком код
и будешь сам не рад улову:
в мешке окажется не кот,
а Трисмегист птицеголовый*.
И — что с ним делать? Лаптем щи
хлебать, крестить его в портвейне?
Так что смирись и не ропщи:
Психеи память потаенна.

---

* Трисмегист — Трижды величайший, эпитет Гермеса в поздней античности, отождествлявшегося с египетским богом Тотом. Последний изображался с головой ибиса (отсюда — птицеголовый).

Но вдохновения микроб
все роет узкие колодцы,
и в них отравленная кровь
орлицей пойманною бьется,
насущным тестом бытия
не хочет удовлетвориться.
...Раздета мумия моя!
Моя разграблена гробница!

Александрии больше нет.
И я томлюсь в бессрочной ссылке...
Струится питьевая нефть.
Бликуют лунные обмылки.
Александрии больше нет.
Ночь, улица, фонарь, аптека.
Живи еще хоть четверть века.
Живи еще хоть тыщу лет.

1990

Исход I

Там белый камень добывали встарь;
нагруженные тяжкие телеги
ползли — и грохотали на ухабах —
к семи холмам, туда, где, чуть заметный,
торчал, как из десны молочный зуб,
новорожденный город, обреченный
имперский Рим гордыней превзойти
и миру показать такое рабство,
такую бездну лжи и произвола,
что сам владыка тьмы, лицо наморщив
от отвращенья, подожжет фитиль...

Слегка дымятся теплые руины.
На плотном небе — солнце и луна,
как мертвые на берегу медузы
среди сухих пупырчатых созвездий.

Кого великий не пожрал пожар —
неторопливая прикончит жажда.

На мраморных ступенях, что вели
недавно в пышный храм — на месте храма
обломков жалких груда, — человек,
как будто вдруг ослеп и помешался,
сидит и шарит в воздухе руками,
похожими на ветки без листвы,
то рассмеется каркающим смехом,
то звучно всхлипнет, и бубнит поспешно
какие-то нелепые слова
проклятия, а может быть, молитвы:

«Я ничего не вижу, ибо знаю
всё. Ибо день приходит вслед за ночью.
Я стану злаком, сочною травою,
и даже если некому косить,
небесный вол с небесным пастухом
сюда придут, и будет голос лиры...
Но разве древняя каменоломня

под сводом рукотворной пустоты
не сохранила сладкое зерно,
несущее в себе и цвет и облик?
Пещера там, подземный лабиринт,
причудливые извести наросты,
кристаллы драгоценные и сырость,
и голубые бродят сквозняки.
Когда б немного света... В гулком гроте,
в подвале, в погребе — на самом дне
заплаканных очей моей отчизны, —
большой кувшин пузатый, с узким горлом.
Но в нем не золото! и не вино!
Выращивали некогда злодеи
ворованных младенцев в тесных формах,
чтобы потом затейливым уродством
жестокий люд жестоко развлекать.
Беременный кувшин. О горе, горе!
Ах нет, я ошибаюсь. То, должно быть,
ничтожный мой рассудок помутился.
Нет, не кувшин там вовсе, а яйцо.

На волю кто-то рвется изнутри,
толкается, и — нежные скорлупки,
а может, глиняные черепки?! —
стряхнув с волос, божественным сияньем,
увы, земной злосчастной красоты
дремучий мрак смущая и тесня,
дочь Леды делает свой первый шаг.
И значит, скоро снова будут жертвы.
И снова бесноватая Кассандра
решит судьбу родного очага.

Но что это? Лебяжья белизна
зелеными покрылась волдырями,
троится огненная голова,
кривые лапы с длинными когтями
скребут по камню, высекая искры,
скрежещут крылья, словно из железа,
кольцом свернулся змеевидный хвост...»
Он замолчал и замер неподвижно,
прислушиваясь, может быть, к чему-то,
и ничего лицо не выражало,
лишь медленно ходили желваки
под кожей, плотно облегавшей череп.

На горизонте появилась точка,
и человек услышал скрежет крыльев,
и через миг, когда его накрыла
трехглавая чудовищная тень,
он улыбнулся, поднял палец вверх
и, рассыпаясь в прах, едва успел
промолвить: — От яйца. Что и доказ...

Дек. 1989.

Исход II

Не прочный дом, рассчитанный на жизнь,
но хрупкий храм, нацеленный на вечность,
слагали здесь, как эллины — свои
волшебные поэмы, и казалось,
что он произрастает сам собой

из сладкого укромного зерна,
несущего в себе и цвет и облик,
тогда как каждый камень поднят был
руками, что себя поднять не в силах,
из бездны отрицания и страха
на высоту доверчивой молитвы,
и каждый камень был — краеугольный,
но, уязвленный алою слезой,
он становился правильным кристаллом
живым — на уготованное место,
прозрачным — чтобы глаз не отвести,
чтоб мир великолепный, драгоценный
со дна зрачков искрился как в оправе —
как альфа проступает сквозь омегу,
душа и дух под именем одним
звучат в одном избыточном молчаньи.

Те двое зодчих знали, что творили,
и знали больше музыки, чем знали,—
он и она — но это только почва,
сестра и брат — но это только крылья.
Когда б они стремительной реке,
в ущелье падающей, повелели:
остановись,— исполнила бы тотчас.

Но высохли соблазнов пустоцветы.
И тулово истлело Самозванца.
Иссякло время, и над пепелищем
уже сновали ангелы, как пчелы,
и собирали черный мед смертей
в воскресные узорчатые чаши.
И Тот, Который — Альфа и Омега,
в раскрывшемся на озере золы
многоочитом лике Человека
Себя, как в чистом зеркале, увидел.

Дек. 1990.

Амос Оз

ДО САМОЙ СМЕРТИ

РОМАН

I

СНАЧАЛА ВЗВОЛНОВАЛИСЬ ДЕРЕВНИ. Дурные предзнаменования появлялись каждодневно в местах скудных. Дряхлый крестьянин, из старожилов Галана, увидел в облаках подобие огненной колесницы. Невежественная женщина из Саро кликушествовала на чистейшей латыни. Сказывали про железный крест на одной захудалой церквушке, который три дня пылал зеленым пламенем, не сгорая. А был еще слепой поселянин, которому явилась Матерь Божья ночью у источника; и когда напоили его святые мужи вином, он сумел описать Божественный Свет словами Священного Писания.

А еще открылось добрым христианам некое подозрительное веселье, бурлившее в эти зимние дни в жилищах проклятых евреев. Случались странные вещи. Ватаги тусклых бродяг, огромных и темных, как медведи, появлялись в разных местах в один и тот же час. Даже ученые мужи испытывали порой гложущий сердце трепет. И не стало больше покоя.

В Клермоне, в году 1095 от Рождества Господа нашего Иисуса Христа, призвал Святейший Отец папа Урбан II паству Божию выступить в военный поход, дабы освободить Святую Землю из рук неверных и страданиями на долгом пути искупить грехи, ибо венец страданий — радость духовная.

ОЗ (Клаузнер) Амос родился в Иерусалиме в 1939 году в семье выходцев из России, прибывших туда в начале 30-х годов. Его отец, крупный библиограф,— один из основателей Национальной библиотеки, а дядя (брат деда) Иосиф Гдалия Клаузнер — выдающийся историк, литературовед, лингвист, один из инициаторов возрождения национальной культуры на иврите.

В 1954 году Амос покидает Иерусалим, поселяется в кибуце «Хульда», где заканчивает среднюю школу. Вскоре кибуц посылает его в Иерусалим для работы с молодежью.

В 1961 году, завершив срочную службу в Армии обороны Израиля, Амос Оз возвращается в кибуц, работает на хлопковой плантации. В 1961—63 гг. печатает свои первые рассказы в журнале «Кешет».

В 1965 году, завершив образование в Еврейском Университете в Иерусалиме (ивритская литература и философия), куда был послан кибуцным движением, Амос вновь возвращается в кибуц, работает в поле, пишет, преподает в средней школе.

Амос Оз опубликовал четырнадцать книг; произведения его переведены на 23 языка в 28 странах, где стали бестселлерами. Самый популярный роман «Мой Михаэль» (1968) был экранизирован в Израиле, фильм имел большой успех.

Амос Оз широко известен как эссеист и публицист — он напечатал в израильской и мировой прессе около 300 статей по проблемам литературы, идеологии, политики.

Лауреат многих литературных премий, израильских и зарубежных. Избран почетным доктором ряда университетов, с 1987 года Амос Оз — полный профессор ивритской литературы в университете Бен-Гурион в Беер-Шеве.

В настоящее время Амос Оз с семьей живет в городе Араде, в Негевской пустыне на юге Израиля.

Роман «До самой смерти» был написан в 1971 году. Это первая публикация прозы Амоса Оза на русском языке.

Весь гонорар автор перечисляет детям — жертвам Чернобыля.

На следующий год, с началом осени, на четвертый день по окончании уборки винограда, выступил благородный сеньор Гийом де Торон во главе небольшого отряда вассалов, батраков и просто бродяг, направляясь из поместья своего в провинции Авиньон во Святую Землю, дабы участвовать в ее освобождении и тем обрести покой душевный.

Кроме гнили, поразившей виноградные лозы, усыхания гроздьев, непомерного денежного долга, были и иные, кровные причины, подвигшие благородного сеньора выступить в поход. Об этих кровных причинах пишет в своих записках человек молодой и странный, тоже присоединившийся к походу,— Клод по прозванию Кривое Плечо. С какой-то стороны приходился он родственником благородному сеньору и вырос в его поместье.

Клод этот — то ли приемыш-наследник бездетного сеньора, то ли нахлебник — был юноша, понаторевший в книжной премудрости, не лишенный некоторой доли деликатности, хоть и склонный к чрезмерности в печали и к преувеличенному воодушевлению. Он был переменчив, подвержен нервным потрясениям, предаваясь,— впрочем, без особого успеха,— и аскезе, и плотским наслаждениям. Была сильна в нем вера в чудеса, постоянное расположение к сумасшедшим, в которых мнил он отыскать искру Божию; истертые книжные фолианты и увядшие крестьянские женщины разжигали в нем вожделение. В людях вызывал он порою презрение своим преувеличенным религиозным рвением и склонностью к черной меланхолии, которая поразила его плоть и зажгла недобрый огонь в его глазах.

Что же до сеньора, то он обращался с Клодом — Кривое Плечо с мрачной терпимостью и трудно сдерживаемой грубостью. Чувствовалась порою некая неловкость в отношении челяди сеньора к правам и положению этого молодого человека с волосами, отливавшими серебром, который — ко всему прочему — был еще страстным собирателем женских украшений и до смешного доходил в фанатичной любви своей к кошкам.

Среди причин, побудивших сеньора выступить в поход, перечисляет Клод в своих записках ряд происшествий, случившихся в год перед походом:

«В начале весны, в году 1096 от Рождества Христова, взметнулся грех неповиновения среди вассалов. Случались в наших владениях проявления наглости и бунта: часть и без того скудного урожая была уничтожена в порыве слепой ярости; стряслось наводнение, кражи оружия, поджоги амбаров, падали звезды, распространились колдовство и распущенность. Все это случилось в подвластных нам пределах, а кроме того, и по соседству, в восточных низовьях реки, умножились преступления, так что пришлось свежим маслом смазать колесо пыток и опробовать его на некоторых строптивых холопах, дабы выжечь прорвавшееся своеволие, ибо венец страданий — Любовь. Семеро крепостных и четыре ведьмы были преданы у нас смерти. С последним дыханием вышли на свет Божий и все грехи их, ибо Светом попаляется всякая скверна.

А еще весной открылись первые признаки того, что в молодую госпожу нашу Луизу де Бомон вселился злой дух, обернувшийся падучей: той самой болезнью, которая двумя годами раньше свела в могилу прежнюю нашу госпожу.

На исходе Пасхи переусердствовал наш господин сверх всякой меры в питье вина, на сей раз не удалось ему при винопитии перебраться со ступени ожесточения на ступень веселия. Все свершившееся,— говорится в записках приглушенно,— навело затмение на нашего господина, в особенности то, что случилось в ночь исхода праздника, когда господин разбил шесть драгоценных сосудов,— наследие наших предков,— швыряя эти благородные предметы в слуг, обносивших столы в зале пиршества, дабы наказать их за некую провинность, суть которой так и не ясна нам. Швырял он метко, пролилась кровь. О, господин искупил это заблуждение усиленными молитвами, молчанием и постом, однако осколки разбитых кубков не воссоединишь, все они хранятся у меня. А что сделано — то сделано, и назад не воротишь».

И еще из записок Клода — Кривое Плечо:

«С началом летних дней, в страду, когда убирали овсы, пало подозрение на еврея, ведавшего продажей. Он был предан смерти в согласии с законом, поскольку во всем запирался со страстью. Зрелище сжигаемого еврея призвано было слегка рассеять скуку и душевное смятение, снедавшее нас с начала весны, да так обернулось дело, что успел сжигаемый еврей опоганить и поразить все вокруг: изрыгнул он из огня на голову сеньора Гийома страшное еврейское проклятие. При сем злостном деянии присутствовали все жившие в поместье: от больной госпожи до последней темной служанки. И уж, конечно, нельзя было еще раз наказать этого несчастного за его проклятье, поскольку в природе этих евреев — гореть в огне лишь однажды.

С течением лета усилилась болезнь нашей госпожи, она медленно угасала. Без милосердия и любовь ни к чему не приводит. Сколь устрашающим было это видение... Столь мучительны были ее страдания, столь часто кричала она по ночам, что в конце концов вынужден был сеньор заключить в башню этот нежнейший цветок его сада. Сладчайшим был Сын Божий, когда принял страдания Свои за нас, дабы знали мы и помнили, что самую глубокую борозду на тучной ниве Господней пролагает самый твердый лемех,— и в том подан нам знак. Ночью, днем и ночью, приказал сеньор бессменно молиться у кельи в башне, где пребывала больная наша госпожа.

Юной днями была госпожа наша, неизменно наивным было ее белое лицо. Тонкими были руки ее, и вся она казалась прозрачной, словно созданной из духа, а не из плоти греховной. Она уходила, удаляясь от нас, уносимая потоком, и глаза наши видели это. Иногда мы слышали, как она поет, иногда, тайно, подбирали ее платок, мокрый от слез, и ранним утром слышали ее взывания к Матери Божьей. После криков воцарялось молчание. Тем временем дела в поместье шли все хуже и хуже. Всадники охотились за должниками. Вассалы, даже они, покрывали тех, кто пытался бунтовать.

Умолкли беседы в наших комнатах. Столь нежна и возвышенна обликом была госпожа наша у подножия креста, что представилась нам однажды самой Божьей Матерью, а не той, что молит о Ее милосердии. Словно колеблющееся пламя, угасала она, и сеньор замкнулся в молчании и только все покупал да покупал прекрасных лошадей, замечательных коней, и число их было более того, что требовали наши сады и виноградники, и в уплату за них давал участки леса и сады, потому что деньги, взятые в долг, иссякли.

А однажды, на рассвете, услышала вдруг госпожа наша благовест колоколов сельской церкви, просунула свою золотистую головку меж решетками в амбразуре окна, а когда взошло солнце — нашли ее в объятиях Спасителя. По сей день в одной из наших комнат хранятся в ларце ее сандалии, два маленьких браслета и тот великолепный зеленый крестик с жемчугами, который носила она на шее».

По другому поводу находятся в записках этого родственника некие смутные размышления, полные противоречий, написанные латынью, нервно и порывисто. Эти философствования достаточно бестолковы, но приведем одно из них:

«Неодушевленные предметы касаются нас. Язык тихих знаков

соединяет вещи. Лист не падет на землю, если не коснется его Намерение. Досточтимый человек, подобный благородному моему господину сеньору Гийому де Торону,— если на краткий миг отрешится от дел,— неожиданно откроется и он языку знаков. И коль не удостоится он милосердия, поразят знаки внутренности его, подобно Эресу Астрофидиасу: тайный яд, уничтожающий наверняка. Например: отчаяние бескрайних равнин, прокаленных полуденным солнцем, без тени живого существа. Запахи ветров. Покой лесов. Таящаяся в них враждебность. Быть может, соблазн моря. Или нежное и горькое молчание далеких-далеких гор. И, видно, так уж устроен совершенный человек: остановиться посреди жизненного пути, ближе к вечеру, когда вдруг утихает ветер, остановиться, напрягшись, и слушать; напрягшись, вслушиваться на пределе сил; и пока вслушивается — грызет и грызет он душу свою, словно впиваясь в нее зубами.

Ввиду всех этих причин, а также ввиду причин, о которых и не скажешь словами, выступил Гийом де Торон и направил стопы свои в Святую Землю. Было в мыслях его участвовать в ее освобождении и тем испросить себе покоя душевного».

II

ПОКОЯСЬ В СЕДЛЕ, КАК УСТАЛЫЙ ОХОТНИК,— лицо — скала, череп — большой и широкий, вел сеньор свой отряд через провинции, что в верховьях Роны, направляясь в город Этьен. Там, в Этьене, намеревался он прервать свой путь и задержаться на день, на два. Клод — Кривое Плечо предполагает, что сеньор пожелал уединиться для молитвы в соборе, получить от епископа благословение на дорогу, закупить фураж и оружие. Возможно, намеревался он нанять себе в спутники нескольких вольных рыцарей, профессия которых — война. Полны опасностей дороги вне городских стен, и мечом приходится пролагать путь силам Благочестия.

Сеньор ехал верхом на лошади, которая звалась Мистраль. Пока еще не спешил. Но это была не сдержанность и даже не умиротворенность после того, как вверил душу свою,— это было медленное, по горизонтали, созревание на протяжении пути.

Кобыла Мистраль — создание массивное, широкое в кости, в точности, как и ее хозяин. С первого взгляда походила она на рабочую скотину: невозможно было довести ее до точки взрыва; некая мнимая скромность была разлита во всех ее движениях, некое начало внутренней сдержанности, спокойствия или раздумчивости, почти сродни благочестию.

Но со второго, более пристального взгляда,— например, если обратить внимание на капризные повадки этой лошади, когда седлают ее либо освобождают от сбруи,— можно было со всей очевидностью убедиться, что кобыле Мистраль никогда, никоим образом невозможно навязать абсолютную покорность, равно как невозможно и взбесить ее.

Повсюду, и на равнинах, и на холмах, ощущалось, как, улещающе подползая, осень набирала силу.

Запахи собираемого винограда сопровождали путников на протяжении пути. Это был некий постоянный напев, тихий, но пронзительный и упрямый.

Глазам открывались следы засухи и признаки болезни, поразившей виноградники. Выражение глухой злобы запечатлелось на лицах крестьян.

Провинции эти, даже в годы благоденствия и достатка, обращали к серым небесам скорбный лик свой, словно с навечно поджатыми губами: крестьяне, запорошенные пылью, крытые гниющей соломой крыши, грубые кресты, как сама вера в здешних местах — тупая и крепкая. Череда черных скирд сена. А в ночных сумерках и перед рассветом расходится кругами гул сельских колоколов, словно взывающих к Спасителю из глубины глубин.

В эти сумеречные часы можно было различить, как прочерчивали свой лет стаи сильных птиц. И внезапные крики этих птиц. Во всем можно было увидеть набирающее силу доказательство тяжелой, уплотненной реальности, или, при ином взгляде, легкое пульсирование некой отвлеченной идеи.

Все, в особенности удивленная молчаливая покорность крупнотелых крестьянских девушек, застывших на безопасном расстоянии, обозревая кавалькаду всадников,— все были вольны по-своему толковать суть явлений.

Что ж Гийом де Торон, размышлял ли он о возможностях толкования? Об этом нельзя было судить по его виду. Немногие короткие команды, отдаваемые сеньором, свидетельствовали о его внутренней отстраненности. Словно был он погружен в решение геометрической загадки либо упорно проверял вычисления, результат которых не сходился с ответом. Автор записок, Клод, часто поглядывал на молчащего своего господина и склонен был временами полагать, что сеньор погружен в философские размышления либо предается очищающей аскезе.

Короче, не раз случалось так, что сеньор оставлял без ответа обращенные к нему вопросы, отвечал, хотя его и не спрашивали. Бывало, он произносил: «Поди. Клади. Сейчас. Подай. Вперед».

Команды эти легко могли сбить с толку тех, кто должен был принять их, наводя на мысль, что приказывающий вот-вот погрузится в сон, либо, напротив, с большим трудом выберется из дремы.

При всем этом непреложно оградил себя человек холодным кольцом превосходства. Это было неоспоримое превосходство, не требующее ни подчеркивания, ни усилий: в основе его врожденное величие, даже в дреме наводящее ужас и молчание,— спружинившийся волк.

Врожденное свойство. В хронике Клода — Кривое Плечо можно найти краткое описание внешности сеньора и его манер в начале похода, а также сравнение — в присущем хронисту стиле — не без витийства:

«По правде говоря, водительство сеньора Гийома де Торона было не только необременительным и на удивление точным, но и свободным от сомнений и треволнений. Оно подобно было плавному току вод, пролагающих путь свой средь лугов, средь равнин. Без пены и наносов скользят эти воды. Ничто не вырвано с корнем и ничто не разрушено. Но все, что возложено на ток этих струй,— несомо настойчиво, в едином направлении, несомо силою нелицеприятною, хотя и не скрывающей себя вовсе: поток спокойный и непреложный».

III

НА ИСХОДЕ ТРЕТЬЕГО ДНЯ ПОХОДА ДОСТИГЛИ ВЕРУЮЩИЕ ВОРОТ ЭТЬЕНА. После того, как сдали они свое оружие офицеру у городских ворот и уплатили подать на дела святые и на нужды мирские, и проверен был стражей каждый — из опасения, не затесался ли среди них больной либо еврей,— сеньор и его люди были допущены внутрь. Участники похода — неотесанное мужичье — кусали бороды, загребая их пятерней, дивясь обилию женщин, купцов и товаров.

На площади, позади трактира «Святое Сердце», учинил де Торон смотр своим людям, приказал задать коням добрый корм, выставил караульного стеречь поклажу и скотину, выдал по две монеты сереб-

ром на каждую голову и позволил людям отлучиться в город до рассвета — «дабы смогли они восполнить свою нужду в женщинах и крепком зелье, а также молитвой очистить души».

Сам же сеньор, после легкого колебания, предпочел сперва направиться в собор. Более всего просил он покоя душевного. Как и все люди, которые жаждут н е ч т о, не ведая сущности этого «н е ч т о»,— ощущал сеньор некое смутное телесное беспокойство, будто плоть его бунтует, оскверняя душу злыми парами. Тяжел телом был сеньор, плотно сбит, кряжист, большая голова его склонена слегка вперед, словно сила земного притяжения воздействовала на него гораздо сильнее, чем на большинство верующих.

По пути в собор в мыслях его всплыли образы смерти его жен: второй, а также первой. Он созерцал те формы, которые принимала смерть, как человек зимой вглядывается в ледяные узоры. Он не жалел этих женщин, вторую и первую, ибо ни одна из них не подарила ему сына-наследника. Но видел, словно въявь, что их смерть — начало его собственной смерти. Собственная смерть виделась ему местом удаленным, до которого нужно еще дойти, быть может, взобраться либо прорваться силой: неким узлом, слепым и упрямым, связывал он слова «и з б а в и т ь», «и з б а в и т ь с я», «в о с п л а м е н и т ь», «в о с п л а м е н и т ь с я». От лета к лету, почти день ото дня кровь его становилась все холоднее, и он не знал, почему столь страстно его желание молчаливо идти к тому месту, где царят простые понятия: Свет. Тепло. Пески. Огонь. Ветер.

Тем временем спустился Клод — Кривое Плечо в одно злачное место на окраине города, нарядил дурную женщину в свои одежды, окутал ее своим плащом, дал ей в руки свой кинжал, распластался у ног, дабы она попирала его ступнями своими, и возжелал истязаний. В корчах обливался Клод потом, кричал, смеялся, рыдал, говорил без умолку. В путаных заметках, сделанных им в ту же ночь в его комнате в трактире «Святое Сердце», не вдается он в подробности греха, однако весьма сжато, но восторженно трактует о неизбывной мере милосердия, например, о солнце, которое снисходит до того, что позволяет даже луже нечистот отобразить себя, нимало не заботясь о том, чтобы изъять свое отражение.

Достопочтенный архиепископ Этьена, человек простой, маленький и округлый, сидел в кабинете неподвижно, разглядывая свои белые ладони, распластанные по столу, или, быть может, разглядывал сам стол, осторожно переваривая пищу.

Выражение лица Гийома де Торона, который внезапно появился в кабинете, затемнив своим телом дверной проем, было,— как записал впоследствии архиепископ в своем дневнике,— «мрачным до такой степени, что свидетельствовало о рассеянности либо о сосредоточенности: два душевных состояния, различие между которыми, судя по внешним признакам, намного труднее установить, чем это принято думать».

После святой мессы уселись архиепископ и его гость за трапезу. Они позволили себе по скромному глотку вина, после чего уединились в библиотеке. Свет десяти больших свечей в медных подсвечниках неторопливо вел запутанную игру на закруглениях застывших предметов, искажая очертания лиц, делая все движения преувеличенными, переводя их на язык печальных теней. Здесь архиепископ и его гость в дружеской беседе толковали о мере кротости, Граде Божьем, лошадях и охотничьих собаках, трудностях похода и его шансах на успех, о евреях, ценах на леса, о том, каким образом подаются знамения и совершаются чудеса.

Вскоре рыцарь умолк, предоставив этьенскому архиепископу говорить одному, и архиепископ — как написано в его дневнике изысканной латынью — «наслаждался весьма вежливым, разумным, хоть и необычайно сдержанным вниманием» гостя. Наконец, далеко за полночь, в свете все убывающих свечей, испросил сеньор Гийом де Торон и, разумеется, получил от этьенского архиепископа полное и абсолютное отпущение грехов. Архиепископ также одарил своего гостя некоторыми полезными сведениями о состоянии дорог, хитроумии дьявола и об уловках, способствующих это хитроумие обойти, об истоках святой реки Иордан и Галилейском море, о еврейском золоте, о мерзостях византийцев и о том, как уберечь от них душу. Был час молчания теней. Из глубины молчания — скрытно дышащий шорох, будто есть в соборе еще некто и у него — иные намерения.

Гость передал в руки служителя Бога денежное подношение на нужды церкви. Расстались. Вышел в теплую темень. И пала ночь на него.

Прежде, чем возлечь, в чистоте, на свое ложе, архиепископ, склонный к педантичности, прибавил еще несколько строк в своем дневнике. Примечание отчасти странное, даже если учесть, что запись сделана в столь поздний час.

«Я готов ныне присягнуть,— пишет в ясном сознании благочестивый клирик,— что человек этот процедил сквозь зубы не более сотни слов в течение четырех часов, проведенных со мной в этом святом месте. Удивительно, почти сверхъестественно, что мы не заметили этого величайшего молчания, разве лишь тогда, когда, откланявшись, муж сей отправился восвояси. Да и молчание его так обернулось, будто это и не молчание вовсе. Впервые с тех пор, как вступили мы на путь Святого Служения,— отмечает архиепископ в крайнем изумлении,— выдаем мы христианину отпущение грехов и даже благословение на дорогу без того, чтобы испросивший счел себя обязанным исповедаться перед нами хоть в одном малом прегрешении из того обилия грехов, которыми полон этот мир, к нашей вящей печали. Более того: весьма странная и подозрительная скрытность, с которой держался сеньор Гийом де Торон, общаясь с нами, сама по себе укрылась от взора нашего до того часа, пока не покинул нас этот человек. Конечно же, не могли мы пойти за ним и воротить его из тьмы. Итак, на нас возложена обязанность, хоть и с опозданием, исполнить всю меру закона, отметив при сем, что это возможно, возможно вполне: обмануты мы путем лукавым, который не есть, разумеется, путь христианский.

С другой же стороны, наш долг — да будет он исполнен — проявить до конца, как и подобает, всю меру милосердия, засвидетельствовав письменно, что молчание, а равно и другие доказательства страданий, которые, по нашему предположению, читались на лице де Торона, можно истолковать как признаки смиренности в страданиях и духовной аскезы. Два свойства — смирение и аскеза,— так заканчивает благочестивый архиепископ Этьена эту свою запись,— не они ли высшие христианские добродетели? И да смилуется над нами Бог».

IV

ПОХОД ВЫСТУПИЛ ИЗ ЭТЬЕНА И НАПРАВИЛСЯ НА ВОСТОК, в сторону Гренобля, пересек реку, пролагая путь среди обширных осенних лесов. А осень собиралась с силами осторожно, словно пробуя вначале, смогут ли выстоять река, холмы и лес, прежде чем навалиться на них.

На околицах деревень стояли крестьяне, немые, согбенные, недвижно взирая издали на проходящую процессию. Евреи же, словно

был им заранее подан знак, покидали свои хижины и пропадали в чаще до приближенья похода. Из тьмы лесов, казалось, наводили они чары, дабы возбудить против нас силы зла.

Сокрыты и тверды — слетаются деяния Божьи, а мы, гнойная плоть и кровь, сколь мало позволено знать нам.

Знал это Гийом де Торон и о том поведал Клоду на одной из ночных стоянок: бывает, проклятье Божье явится, как ласковая женская рука, а благословение порой придет, как разящий нож. Вид вещей и их взаимосвязь — отнюдь не суть вещей.

Например, проклятье и гнев, что обрушил Господь на голову евреев. Гляди, как проклятье Божье сделало утонченным это племя. Тонки и хитры люди эти, и даже родной язык наш, истекая из уст их, вдруг превращается в вино.

Мысль о евреях привела сеньора в некоторое внутреннее возбуждение: яростное, темное намерение, сумрачное, полное холодной радости.

Клод — Кривое Плечо, со своей стороны, размышлял о женах этих самых евреев — бархатных сучках, жарких, смуглых, влажных.

Евреи, чуял Гийом де Торон, потихоньку едят нас поедом: вода прикоснулась к железу. Это прикосновение нежное, растворяющее незаметно. И даже меч — наш меч, проходит через них, словно сквозь мутную толщу воды, медленно разъедаемый ею.

Всеблагий Боже, сжалься над паствой своей, ибо пылкое воинство скверны опутывает нас, и соблазн окольно тщится проникнуть. Но вера в сердцах наших пряма, холодна, одинока и весьма печальна. Виданное ли дело, чтобы еврей тайком прокрался в ряды наши?

Гийом де Торон был подавлен этим внезапным подозрением, но пробуждаясь, прозревал. Некое теплое таяние началось в нем, и сделалось ему хорошо. Будто подан ему знак или намек. Про себя он как бы сказал: «Здесь. Там. Теперь».

Дробился вид колонны, перевернуто отражаясь в водах речных либо в глазах наблюдающего издали. Вода и расстояния способны превратить всякое движение в сущую комедию.

Вдоль линии холмов, зеленый цвет которых все темнел и темнел, возникали сперва три конных рыцаря, обернутых в белые плащи. Грубый черный крест был вышит на плащах спереди и сзади, словно меч пронзил людей этих, и раны их уж давно почернели. Кони под ними — гнедые, рослые. Издалека казалось, что подковы коней едва касались земли.

За ними выступал сеньор со своей свитой, окруженный всадниками в шлемах и панцирях. Сеньор одет был в охотничий костюм и восседал в седле своей кобылы Мистраль так, будто езда верхом сама по себе изнуряет его. Был ли он отчасти болен уж на этой стадии похода, как пишет об этом Клод? Вопрос этот несуразен: почти всякий знает, что болезнь — это совокупность внутренних возможностей, коим нет числа.

Сам же Клод, в противовес сеньору, легко различим был издалека — и по своему увечью, и по крикливому желтому щиту, вроде из поддельного золота.

За свитой сеньора поспевало около трех дюжин пеших. В арьергарде тянулись мулы, груженные провиантом, катились кибитки на деревянных колесах, челядь и прочие, несколько женщин, приставших к походу, две коровы, по пути добытые грабежом у крестьян, козы, а в хвосте колонны — и по обеим ее сторонам — десятки беспородных собак, худых и злющих, неугомонных и плюгавых.

И вся эта пестрая процессия текла вдоль печальных осенних полей, будто влекомая в пучины неким невиданным источником силы.

Осень, набрав силу, объятьем туманов взяла все в осаду. Во всем разлилась пронизывающая сырость. Казалось, осень плетет свои злые козни в согласии с осторожным планом: густая, темная влажность в лесах, сероватый пар в долинах. Напряженный покой и его трепетные преображения у краев горизонта. А дожди пока припоздали.

Дни, ночи, часы слияния между ними — как сон — поход, в котором расстоянья обращаются в упругую материю, склонную к искажениям. Даже разнузданные клики радости беспутных людей вокруг ночных костров тотчас собирались в пространстве, отражаясь от него очищенными алхимией осени и меланхолией: звуки во много раз тише и глубже тех, что исторгали глотки этих беспутных людей.

Случалось не однажды, перед рассветом, прежде чем лагерь отряхнется от сна в лязге железа, звоне шпор и ржании коней, Клод в приливе благочестия будил своего господина к заутрене. И тогда, в часы молитвы, открывалась Вселенная, все покоряя своим невероятным покоем. То был покой скорби, печаль пустых холмов, что и не холмы уж вовсе, а сама душа холмов, томление облаков, которому навстречу выгибается земля в таком соблазне, что никакое удовлетворение никогда не уничтожит его.

И в пучине молчания казалось иногда, что само тело страстно жаждет собственного исчезновения. Прозрачный пар — так чувствовалось — суть надлежащее состояние. И снизошла благодать на молящегося.

V

НЕ ОДНАЖДЫ СЛУЧАЛОСЬ, ЧТО ТЬМА НАСТИГАЛА ИХ В ГЛУБИНЕ ЛЕСА,— тогда разводили они большой огонь посреди лагеря и окружали его плотным кольцом малых костров — в страхе пред вурдалаками, волками и дьяволом.

Поднявший взгляд мог видеть, как свет огня дробится в гуще листвы. А вокруг мечется волчий вой, угольком мерцает лисий глаз, злая птица кричит и смеется. Или ветер. Может, те, коварные, что кричат голосом птицы, лисы и ветра. И шелест листопада явственно намекал на существование некого враждебного стана, что кишит вокруг и сжимает кольцо. В осаду взяты Силы Благочестия.

Признаки близящейся борьбы первыми учуяли животные: с каждым днем собаки бесились все яростней, так что приходилось поражать их стрелой либо ударом копья. Ночью вдруг конь оборвал свои путы и умчался в дикую темень, будто решил обернуться серым волком. Одна блудница — из тех, что прибились к походному стану,— зашлась криком и, одержимая злым духом или наговором, орала два дня и три ночи. В конце концов пришлось предать ее в руки того, чей перст ее коснулся,— Сатаны. В один из дней достигли крестоносцы источника, и, томимые жаждой, испили сами, напоили коней и слуг, не зная, что злая порча коснулась воды. Вода эта ввергла в страдания и людей, и скотину. Неужто затесался скрытый еврей среди добрых христиан, с нами держит он путь и на нас его проклятье?

И деревни являли мрачный лик свой. Силой оружия приходилось крестоносцам отбирать у строптивых крестьян провизию, женщин и питье. Не раз вспыхивали в деревнях грубые стычки, и христианская кровь лилась понапрасну. Тяжела и угрюма скупость в провинциях этих. Даже для рыцарей, именем Спасителя идущих освобождать Святую Землю, не разожмут крестьяне своего кулака, пока не обрушится на них удар меча, дабы силой вырвать милостыню.

Все же в нескольких деревнях нашлись женщины, которые сами пришли, когда стемнело, и отдались в молчании. Необъятны были кре-

стьянки эти и крепки, как кони. Их молчание, каменную суровость, с которой они отдавались, толковали по-разному: гордость ли, скромность ли, тупость или бунт. В горячечном приступе фанатизма Клод, бывало, пытался наставить этих баб на путь истинный. Он становился перед ними и, в приливе благочестия, толковал им о Царстве Небесном, о скверне плоти, о грядущем счастье для тех, кто все отдает с чистым сердцем, ибо дающему воздастся, а милосердный удостоится милости.

Кто перечтет эти захудалые деревеньки, разбросанные по лесной стороне, по долинам, у которых и названий нет, по большим ущельям в пучинах тумана, по излучинам рек и протоков, позабытых людьми.

«Таково желание Господа,— сказано в путевых записках Клода,— рассеять паству свою до самого края земли, дабы в День Суда вернуть и возлюбить сердцем немногих избранных, воистину достойных».

Что же до сеньора, тот командовал людьми так, как правил своей кобылой Мистраль: не выдавая ни своих мыслей, ни чувств, но его присутствие ни на миг не могло быть забыто. Одинок он был в сердце своем. Отделен от людей. Отделен от сих мест. Чуждый лесу, холодный.

И вот, из своего уединенья, душа эта заговорила о необходимости любви. Любить, быть любимым, принадлежать — жить. Гийом де Торон ощущал дикое желание превозмочь, сокрушить некое препятствие, чья природа от него сокрыта до тех пор, пока не будет ему дано родиться вновь. В обрывках его мыслей мелькали образы смерти, отчуждения, прорыва. Как у человека, которого душит толща воды, и он напрягает последние силы, чтобы вырваться из водяных тисков, но не ведает, что это за воды, где их граница.

Со стороны казалось, что он просто глядит и молчит. Он же вслушивался на пределе сил, в надежде услышать Голос. Боялся открыть рот и молвить слово, дабы не упустить этот Голос: говорящий ведь может не услышать.

При этом наделен был Гийом де Торон необычайной властью над людьми. Несмотря на свое молчание, вознесся он и оплел все вокруг себя, подобно мощному вьющемуся растению. Обвил цепко, незаметно, охватил все вокруг. Сила его — на всем, лишь по ошибке могло показаться, что благородный сеньор де Торон,— как порою случается с иными из его сословья,— замкнут и робок, когда слуги его буйствуют, а он молчит. Пристальный глаз заметит, что стебли, которые он обвил, склоняются долу, и он, незаметно, лишь в силу своей природы, гнет их в дугу, порабощает.

Временами его внутреннему взору являлся Иерусалим, но он уничтожал эти видения, ибо не было утоления в них.

На прилавках, в часы молитв, в минуту, когда люди его утоляли жажду водой из ручья или вином, де Торон переводил угрюмый взгляд с одного на другого, вновь и вновь пытаясь распознать ряженого еврея.

Его первоначальные подозрения уже обернулись твердой уверенностью, как порою случается с человеком, воображающим, что слышится ему издалека некий напев, смутный и грозный, в реальности которого сомневаешься. Некоторое время спустя начинает мелодия вводить человека в заблуждение, возникая вдруг изнутри, из самой утробы.

Он обозревал своих людей. Каждого в отдельности, с его гримасами и ужимками — во время еды, в часы веселья, на привале, в походе. Есть вообще смысл искать, полагаясь только на свои догадки. В чем оно — это еврейское в евреях? — уж наверняка это не черты лица, не весь облик, а нечто абстрактное, неуловимое. Даже в наших душевных порывах нет различий! Или так: угрожающее, злокозненное присутствие. Вот оно, суть измены: внедриться, жить внутри. Пустить корни, произрастать из самого лона. Как любовь, как соитие. Может, растворился еврей среди нас, проник повсюду, частица тут, частица там, и зараза гнездится в каждом.

Однажды, под вечер, когда они остановились невдалеке от древних римских руин, разрушаемых мощными корнями и запустением, обратился сеньор к Клоду — Кривое Плечо:

«Писано ли в одной из твоих книг, что волк сумеет прикинуться овцой, да так, что даже охотник не узнает его?»

Ответ Клода, возможно, в улучшенном виде записан в его хронике:

«На вопрос моего господина ответил я образно, приведя простую притчу, в духе мудрости древних. Сладчайшее из яблок будет первым, которое поразят гниение и порча. Волк в овечьей шкуре, в силу природы вещей, будет больше овцой, чем сама овца. И о том подан нам знак: кто обнимал Спасителя Нашего, кто запечатлел поцелуй на ланитах Его, кто расточал чрезмерные ласки и сладкие речи — не тот ли, кто продал Его за тридцать сребреников,— предатель Иуда Искариот? Хитер, Сатана, мой господин, хитер, изворотлив, а мы, добрые христиане, люди наивные. И если не снизойдет на нас Милость Небесная — все мы, до единого пропадем в сетях, раскинутых у ног наших».

VI

БЫЛ СРЕДИ НИХ ОДИН ЧЕЛОВЕК ПО ИМЕНИ АНДРЕАС АЛЬВАРЕС, игравший на свирели. Все свое время проводил он со слугами, убогими и блудницами, веря, что сила его игры способна возвысить самые грубые души, даже души коней и собак. Он отказался от вина и мяса, навязал на шею цепь с тяжелым камнем, дабы пригнуть себя к земле, поскольку знал, что он — человек низменный. Быть может, старался он исторгнуть из плоти свой грех, который совершил, либо намеревался совершить когда-то. Он прозвал себя «Дитя Смерти» и надеялся быть убитым по пути в Иерусалим.

Однажды пало на него подозрение. Велели ему провести руку через огонь, чтобы выведать, в чем его суть. Обуян страхом, а может, одержим радостью в преддверии очищающего испытания, он пришел в сильное волнение и весь обливался потом. И когда вынул руку из огня,— была она влажна, будто из купели. Проступили лишь слабые ожоги, и мнения на его счет разделились. Но именно потому, что Андреас вопил, будто гнездится в нем скверна, и молил своего господина о смерти, его оставили в живых, чтобы испытывать дальше.

Были еще там три сводных брата, из кельтов. Братья эти проявляли гнусную склонность дико хохотать над тем, что осмеянию не подлежит, например, над трупом лисы или стволом дуба, пораженного молнией, либо над плачущей женщиной. На ночных стоянках они обычно разжигали небольшой костер, устраивались вокруг огня и вели долгие беседы на непонятном языке, полном резких созвучий.

Каждое воскресенье эти три брата совершали некий мрачный ритуал: громоздили груду камней, забивали птицу и проливали птичью кровь в огонь, разведенный в одной из впадин. Наверное, так взывали они к душе своей матери и заклинали ее.

Братья-кельты отличались сверхъестественной меткостью, и свойство это сильно раздражало их господина. Случалось, развлекались они стрельбой из лука по птицам в небе и единой стрелой поражали их влёт. Иногда швыряли они камень в кромешную тьму лишь на шорох крыл, и, сраженная, птица падала наземь.

Однажды вечером Клод — Кривое Плечо явился к ним с приказом: пусть поумерят свой смех, как подобает людям, идущим в Святой поход; пусть прекратят говорить на своем поганом наречии и позволят

досмотреть их котомки. А кроме того, желая убедиться, что нет среди братьев обрезанных, задумал Клод улучить минутку и подглядеть за каждым, когда будут справлять свою малую нужду.

Клод, надо сказать, любил исполнять подобные миссии, любил, ибо сознавал всю их унизительность. Ведь сказано: униженные возвысятся, а падшие воспрянут.

Из Гренобля неспешно продолжал отряд свой путь на восток.

Сеньор предпочел держаться поодаль от главных дорог. Жался к местам позабытым. Порою решал оставить даже тропинки, пробираясь лесом и пустошью. Выбирал глухомань, не заботясь о кратчайшем пути. В сущности, каждое утро Гийом де Торон сызнова определял направление — просто скакал навстречу восходящему солнцу до тех пор, пока лучи заката не касались тыльной стороны его шлема. Законы Вселенной объяснялись им просто: идущий за Светом движется ко Святому Граду. Всей мерой любви, отпущенной его усталой душе, любил он Иерусалим. Он верил неколебимо, что в Иерусалиме можно умереть и родиться вновь очистившимся.

Вот так, пока осень мягко, словно ласкаясь, стучит кулачком по их спинам, двигались путники вдоль горных отрогов, нащупывали дорогу сквозь туман, постепенно спускаясь со склонов в долину реки По. Не было среди них никого, кто хотя бы раз в жизни видел море, и, наверное, думали они, море возникнет перед ними, подобное безбрежной реке; но если всмотреться пристально — на бесконечно далеком берегу удастся им увидеть контуры стрельчатых башен, несокрушимые стены, минареты, нимб Света в вышине — Святое Сияние, реющее над Божественным Градом.

На всем протяжении пути питались они тем, что давали крестьяне под угрозой силы. Стороной обходили они города и поместья знати, как бы увиливая от кем-то расставленной сети.

Не раз встречались им на дорогах колонны рыцарей, также державшие путь в Святую Землю. Сеньор де Торон не пожелал соединиться с теми, кто превосходил его силой, не снизошел и до тех, которые, уступая числом, стремились примкнуть к его отряду. Каким вышел он из пределов своих, таким хотел он появиться на Святой Земле: малым, но чистым.

Однажды пришлось им чуть ли не силой оружия прокладывать себе путь. На околице деревушки Аргентерры, у колодца, неожиданно столкнулся Гийом де Торон с целым войском крестоносцев, по меньшей мере раза в три большим его собственного. Это были тевтонские рыцари и великое скопище примкнувшего к ним люда; их возглавлял юный воин, прекрасный и надменный,— Альбрехт фон Брунсвик.

Шествие их было великолепно: почтенные дамы в паланкинах, драпированных шелком, пожилые господа в пурпурных одеждах с золотыми пуговицами, молодые рыцари в островерхих железных шлемах с серебряными крестиками на шишаках, лакеи в бархатных ливреях, штандарты и флаги в руках знаменосцев с каменными лицами Было тут и немалое число священников, шутов, юных шлюх, всякой скотины и прочей живности. Вся эта несметная рать передвигалась в колымагах, доселе невиданных в наших краях. Дверцы их были украшены картинами из жития Христа и Его Апостолов. Всех их художник изобразил пылающими гневом.

Альбрехт фон Брунсвик явил свою милость, первым спешился с коня и представился сеньору, уступавшему ему в родовитости.

Витиеватые свои приветствия произнес он на изысканной латыни, и соблазн был на устах его. Очевидно было, что в его намерения входит взять этот малый отряд под свое крыло.

Гийом де Торон не пожелал выполнить заповедь христианского

единства и, когда умолкли приветствия, выказал тупое упрямство и даже повел себя так, будто принял приветственные речи за прощальные — но легко улыбнулся тевтонец и приказал свалить чужака с коня, а его отряд присоединить силой.

Не успел он договорить — забряцали мечи, извлеченные из ножен. Заржали разгоряченные кони, их шкура подернулась дрожью, будто ветер прошел по озерной воде. Все пришло в движенье, засверкали копья и шлемы. Музыканты, разом воздев свои орудия, заиграли в неистовой радости. Мигом завертелись диким пестрым водоворотом кони, флаги, доспехи, клубы пыли, раскаты труб, боевые кличи, словно огромный красочный хоровод выплеснулся на эти угрюмые равнины. И даже крики тех, кого поразил меч или копье, издали звучали, как возгласы пирующих. Казалось, что все — и в особенности умирающие— строго следуют некоему стилю, не отступая от него ни на йоту.

Но тут рыцарь Альбрехт фон Брунсвик произнес: «Стой» — и герольд вслед за ним прокричал: «Стой!» Гийом де Торон мигом поднял свой шлем. Оборвалась музыка, и бой затих. Люди стояли на своих местах, тяжело дыша, пытаясь унять возбужденных коней. Вскоре началось всеобщее пьянство, сосед поил соседа то тевтонским зельем, то авиньонским вином из мохнатых бурдюков. Музыканты без всякого приказа тотчас завели иную мелодию. Еще командиры разнимали последних из ретивых вояк — смех овладел всем вокруг, смех и проклятья оглашали поле брани.

Был среди тевтонцев врачеватель, человек святой. Обойдя с помощниками поле битвы, отделил он раненых от мертвых. Раненых перевязали, а мертвых опустили в колодец, откуда вычерпали всю воду, пошедшую на общие нужды. Убитых не набралось и дюжины, и все — самые низкорослые из обоих отрядов; смерть их не омрачила чувства братства, возникшего и окрепшего возле общих костров. Прощающим да простится.

В вечерних сумерках священники отслужили большую мессу; к ночи стали резать скот, а потом все вместе ели и пили, благословляя трапезу, к утру же — обменялись служанками.

На рассвете Клода — Кривое Плечо, измочаленного ночным пьянством, послали к рыцарю фон Брунсвику с пятьюдесятью монетами серебром: выкуп и плата за мир, так как люди де Торона оказались в меньшинстве.

Чуть позже одни христианские рыцари прощально салютовали другим христианским рыцарям, и каждый отряд, взмахнув знаменами, отправился своим путем. Коль случился грех — не искуплен ли он серебром, молитвой и кровью?

Дождь, пролившийся на исходе утра, благостный дождь, легкий и нежный, все стер своими прозрачными пальцами.

VII

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ВСТРЕТИЛСЯ ИМ НА СТОЛБОВОЙ ДОРОГЕ ЕВРЕЙ, бродячий торговец. Вел он с собой двух коз, а на спине висел мешок. Когда всадники поравнялись с ним на уклоне дороги, он и не пытался спрятаться. Сняв шапку, улыбаясь изо всех сил, отвесил он три поклона, один ниже другого. Колонна остановилась. Еврей тоже остановился и снял мешок с плеча. Молчали крестоносцы. Молчал и путник, не смея молвить слова. Так он стоял на обочине, готов и купить, и продать, и быть убитым, либо ответить вежливо на любое сказанное слово. И улыбался многозначительной улыбкой. Клод — Кривое Плечо сказал:

— Еврей.

Еврей ответил:

— Благословенны путники. Счастливой дороги.

И тут же перешел на иной говор, повторил на другом наречье, ибо не знал, каков их язык. Клод — Кривое Плечо сказал:

— Куда ты идешь, еврей?

И, не дожидаясь ответа, добавил сладким шепотом:

— Мешок. Открой-ка мешок.

Клод еще говорил, а уже трое кельтов, сводные братья, разразились тонким и резким смехом, диким, но без злого умысла, будто кто-то пощекотал их под мышками. Еврей открыл мешок и, наклонясь, черпал оттуда полными пригоршнями всякие мелкие товары, вроде игрушек для забавы грудных младенцев, произнеся с великой радостью:

— Все дешево. За медный грош. А можно и в обмен на те вещи, которые никому не нужны.

Клод спросил:

— Зачем ты ходишь, еврей, зачем тебе ходить с места на место?

Еврей ответил:

— Одиноки мы в мире, великодушный рыцарь, и может ли сам человек выбирать: идти ему или не идти?

Затем воцарилось молчание. Даже братья-кельты унялись. Будто сама по себе, кобыла Мистраль двинулась с места и вынесла сеньора в середину круга, образованного всадниками. Злой и едкий запах конского пота разлился вокруг. Молчанье сгущалось. Некий глухой ужас вселился вдруг в козочек, влекомых евреем на веревке. Быть может, конское зловоние предвещало беду, и козы всполошились, заблеяли разом, пронзительно, тонко, подобно звуку разрываемой ткани, будто огонь пожирал детскую плоть.

И тут улетучилась сдержанность. Еврей с силой пнул одну из коз, а Клод пнул еврея. Бродячий торговец вдруг затрясся мелким надсадным смехом, разинув рот от уха до уха, он весь излучал особую вежливость, которая не от мира сего, утирая рукавом слезящиеся глаза, он умолял конных рыцарей снизойти и принять из рук его все — и коз, и товары,— просто так, подарок, в знак вечной дружбы, потому что заповедано сынам всех народов любить друг друга по-братски и один Бог у всех. Так говорил он, и улыбка его, обрамленная бородой, зияла, как рана.

Мановением руки повелел сеньор Гийом де Торон принять подношение. Забрали коз, забрали мешок, и вновь наступило молчание. Клод медленно поднял глаза на своего господина. Сеньор разглядывал кроны деревьев, а может, смотрел и выше, в разрывы облаков над ними. Какой-то шепот прошел по листве, но тут же утих, будто раздумал. Вдруг еврей сунул руку в складки одежды и вытащил небольшой кошелек.

— И деньги тоже,— сказал еврей и протянул кошелек сеньору. Конный рыцарь безмерно усталым движением принял этот дар, сжал кошелек в ладони, сосредоточил на нем испытующий взгляд, словно пытаясь понять, что за намек послан ему этой истертой тканью. В эти мгновенья была во взгляде Гийома де Торона какая-то отдаленная грусть. Казалось, он отыскивал что-то в глубинах своей души, медленно погружаясь во тьму. Быть может, жалость к самому себе переполняла его. Наконец, произнес он с какой-то подавленной болью, граничащей с теплотой:

— Клод.

Клод сказал:

— Это еврей.

Бродячий торговец сказал:

— Я отдал вам все, а теперь пойду я, счастливый, вас благословив.

Клод ответил:

— Никуда ты не пойдешь и никого не благословишь.

Еврей сказал:

— Вы убьете меня.

Не с удивлением сказал и не со страхом, а как человек, безуспешно искавший сложное решение хитрой задачи, видит вдруг, что ответ прост. И Клод — Кривое Плечо ответил мягко:

— Ты сказал.

Вновь переполнился воздух молчанием. И в глубине молчания птицы поют песню. Пораженная осенью, расстилалась земля в запредельные дали, тиха и широка, холодна и покойна.

Несколько раз еврей покачал головой, вверх и вниз, сосредоточенный, задумчивый, похоже, что хотел он задать вопрос, и, наконец, спросил:

— Как?

— Ступай,— сказал Гийом де Торон.

И спустя мгновение, с сомнением в голосе, повторил с огромной усталостью:

— Ступай.

Еврей-торговец застыл, будто не слыша. Начал говорить. Раздумал. Широко воздел свои руки и разом опустил их долу. Повернулся. Медленно, будто тяжесть мешка все еще гнет его спину, пошел по уклону дороги, не оглянувшись назад. Затем, с осторожностью, постепенно ускорил свой шаг. Завидя изгиб дороги, он припустил робкой трусцой, петляя и волоча ноги, словно больной.

Но, поравнявшись с поворотом,— он вдруг подпрыгнул и удвоил свой бег, теперь он удалялся с поразительной быстротой, с умыслом выбирая извилистый путь, не прекратив петлять даже тогда, когда настигла его стрела, впившись в спину между лопаток. Потом он остановился, закинул руку за спину, выдернул стрелу из плоти, стоял, раскачиваясь, держа стрелу перед собой обеими руками, словно внимательно изучал, он вглядывался, пока не подоспела вторая стрела и, пронзив голову, не вышибла первую. Но и теперь стоял он по-прежнему на месте, со стрелой в голове, попирая ногами землю, как упрямый баран, который изготовился забодать врага. Но вот еврей, испустив вопль, не громкий и не слишком протяжный,— как будто решил, наконец, отказаться от борьбы,— переломился и рухнул на спину. И замер на месте без дрожи и судорог.

Колонна тронулась в путь. Андреас Альварес, который играл на свирели, прочертил пальцем широкий крест, осенивший и небо, и поле, и лес. Женщины, из тех, что пристали к походу, задержались на минутку рядом с холодеющим телом, а одна из них, склонившись над трупом, краем его одежды прикрыла ему лицо. Кровь прилипла к ее ладоням, и женщина эта разрыдалась. Клод — Кривое Плечо, который на этот раз спустился в хвост колонны, поддался вдруг приступу дикой жалости, он шел следом за женщиной, утешая ее благочестивым словом и ласковым голосом, и в этом каждый из них обрел некий покой. А еще в ту же ночь был открыт мешок еврея, и там, среди груды ветхого тряпья, нашлись браслеты и серьги, а также женские сандалии, доселе невиданные в провинции Авиньон, красивые необычайно, их пряжка застегивалась и расстегивалась с помощью весьма хитрой, но воистину изящной уловки.

VIII

ОСЕНЬ, ТЕРПЕЛИВАЯ СЕРАЯ МОНАХИНЯ, ПРОСТИРАЛА СВОИ СТУДЕНЫЕ ПАЛЬЦЫ, молчаливо разглаживая поверхность земли. Холодные ветры задули с севера, со стороны гор. Они проникали

под любую одежду, и коченела плоть от их прикосновения. С рассветом тонкая прозрачная корка уже покрывала кое-где поверхность вод. Пар дыхания леденел, оседал в бороде, синил потрескавшиеся губы.

Но тяжелые зимние дожди припоздали, и сеньор все надеялся достичь берега моря еще до того, как водой размоет дороги. Море сулило ему некую перемену, какую-то передышку. Ожидал он увидеть, как отражается в морских водах Святой Град, невесомый, с могучими башнями, белокаменный, как горячий лед, окруженный скалистыми горами и пустыней, промытый мощным солнечным светом, и за этим светом есть свет иной.

Но иногда охватывало сердце странное сомнение: вправду ли существует Иерусалим на этой земле, или, быть может, это лишь нематериальная, чистая идея, и каждый, кто, упорствуя, ищет Град Божий,— потеряет его.

Уныло и серо выглядело все вокруг, будто шли они низким, длинным коридором. Страшна была молчаливая печаль промерзших фруктовых садов на околицах. Казалось, будто просторы эти открыты на все четыре стороны, вплоть до краев горизонта. На самом деле, все было закрыто наглухо, путники шли и шли, но — не проникнуть, не просочиться...

Все подавлено листопадом. Случалось, долгие часы колонна вышагивала по жухлому настилу палой листвы. Как яд, поразило людей и скотину уныние, глухая, отчаянная тоска, рядом с которой сама смерть рисовалась возможностью, граничащей с милосердием. Этот топкий, грязный, зловонный ковер, сотканный из опавших яблоневых листьев и гниющего сена, отзывался на каждый шаг заунывным шорканьем, создавая изнуряющую, тупую мелодию, которая спустя несколько часов вгоняла души всадников и пеших в состояние, близкое к тихому помешательству.

Вот так, словно в дурном сне, из которого нельзя выбраться, шла молчаливая процессия день за днем по обширным пространствам мнимой пустыни, которая на каждый шаг, на каждый порыв ветра отвечала шуршаньем и шелестом. Родник души, ее жизненные силы иссохли и распадались.

Никто уже не сомневался, что еврей скрывается в лагере. На ночных привалах рыцари и слуги шпионили друг за другом, притворяясь спящими, следили за каждым шагом, прислушивались к стонам и шепоту, воплям во сне, изо всех сил старались разгадать сонные выкрики соседей. Случались кулачные стычки, люди, засыпая, сжимали в руке нож, плелись тайные сговоры, доносы, шушуканье, каждый окутал себя молчанием. Иные бежали ночью, и больше их никогда не видели. Один холоп зарезал другого, убийца был найден и забит плетьми до смерти. Андреас Альварес неистово играл на свирели, но и самая веселая мелодия лишь надрывала сердце, усиливая отчаянье.

На всем пути тянулось зловоние замшелых деревень. Сладковатый запах конской падали либо смрад людских трупов, гниющих в поле. И глядящий вверх видел низкие, плотные небеса, серый цвет которых, как бы сгущаясь, переходил в черный.

В этой тлетворной вселенной даже перезвон далеких колоколов отзывался эхом рыданий. Одинокие птицы, что пока еще здесь оставались, недвижно застыли на кончиках мокрых веток, словно мертвое царство мало-помалу поглощало их.

Пересекали поросшее травой кладбище, попирая ногами осевшие надгробные плиты, изъеденные мхом и лишаем, объятые этой тяжелой землей. В изголовьях плит стояли покосившиеся грубые кресты — две деревяшки, сбитые деревянным гвоздем. От легкого прикосновенья эти трухлые кресты разлетались в пыль.

На привале у колодцев, случалось, черпающий воду различал в глубине сруба некую стихию, которая отнюдь не вода.

Далеко-далеко, на склонах крутых гор, в разрывах тумана, можно было различить на миг размытые очертания каменных крепостей. То были монастыри еретиков, а быть может, остатки древних укреплений, павших еще до прихода в мир Живой Веры. А внизу, петляя в ущельях, река и ее притоки пенились в гневе и ярости, будто и они изо всех сил тщатся убежать отсюда в места иные.

С сумерками на всем вокруг была власть зловещего, свирепого одиночества, невероятных, необузданных сил, в зарослях выл дикий кот, кричала лесная птица. Края эти постепенно приходили в запустение, словно покрытые ржавчиной, которая, пожирая все, приближала их смертный час.

И случилось так, что Иерусалим уже не виделся желанной целью, ареной славных подвигов. Произошла перемена. Люди порою нарушали долгое молчание, чтобы сказать: «В Иерусалиме».

И был среди них человек, который, пережив внутреннее просветление, начинал понимать, что Иерусалим, столь вожделенный,— вовсе не город, а последняя связь с жизнью на грани агонии.

IX

ЭТА ГЛАВА КЛОДОВОЙ ХРОНИКИ ЯВНО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О МОЩИ губительных сил, которые, без сомнения, были следствием тайного присутствия злого начала, гнездившегося в рядах крестоносцев. Не довольствовались более наружной стражей и каждую ночь выставляли также и внутренний караул. Кое-кому из рыцарей приказано было подслушивать тайно. Другие же рыцари приставлены были к первым, чтобы следить за ними. Клод — Кривое Плечо властен был отдалить от сеньора злых, по его разумению, и приблизить угодных ему. Интриги, наговоры, лукавые замыслы плелись повсеместно. Клод, подобно болотным растениям, вздымался и цвел в этом затхлом густом облаке подозрений и мертвящего ужаса. Но и он сам был отравлен омерзительным страхом.

Клод писал:

«Чужак затесался в наш стан. Каждую ночь обращаемся все мы к Спасителю, а один среди нас взывает лживо, он-то и враг Спасителю. Однажды ночью, в третью стражу, чья-то невидимая рука загасила все костры, и во тьме закричал кто-то, да на таком наречье, что никак не походит на язык христианский. Враг Христов скрывается среди нас, волк среди Божьего стада. Рука, загасившая в ночи все костры, наводит смерть на наших коней, гибнущих один за другим в страшных мученьях от неведомой в родных краях болезни. Крестьяне, заранее предупрежденные о нашем приближении, прячут в лесах провизию, женщин и лошадей. Повсюду евреи, как по волшебству, знают о нашем приходе, и земля эта, столь враждебная к нам, укрывает их. Зло коренится среди нас. Один из нас — чужой. Он послан, дабы предать всех нас силам скверны. Смилуйся, Боже, над нами, подай нам знаменье, прежде чем все мы погибнем. И душа, и тело. Не во имя Твое ли, Господи, идем мы дорогой мук и страданий, не к Твоему ли Граду путь держим, и если не достигнем его, то где же конец пути нашего?

Люди пали духом в страхе перед кознями, гнездившимися среди нас, и в разных углах нашего стана нашлись и такие, кто хотел повернуть оставшихся коней и воротиться домой с пустыми руками. Вот и господин мой, Гийом де Торон, скачет весь день в одиночестве впереди колонны и не оглядывается назад, будто все равно ему, следуют за ним его люди или нет, будто он один идет в Иерусалим.

Три дня назад, поутру выстроил сеньор всех в один ряд — рыцарей, слуг, женщин и всяких бродяг, приставших к походу,— обошел весь строй, всматриваясь в каждого сверлящим взглядом. И вдруг приказал, чтобы еврей — кто бы он ни был — немедля пал на колени, сию же минуту, на этом месте! Потом, в полнейшем молчании, повернулся к людям спиной и медленно, словно больной, взобрался на свою кобылу. Назавтра, с рассветом, одна из женщин была найдена с перерезанным горлом, и крест, который она носила на шее, был воткнут у нее в грудь. Я сам закрыл ей глаза, извлек крест из плоти и даже не отер с него кровь. О Господи, куда ведешь Ты стадо Свое, и что станется с нами завтра и послезавтра?»

Еще из записей Клода — Кривое Плечо, сделанных в духе смирения, кротости и безоговорочного приятия строгого приговора:

«Нынче поутру призвал меня сеньор следовать за ним. Оказавшись по ту сторону холма, где никто нас не видел и не слышал, спросил меня мой господин: «Клод, ведь ты знаешь, так почему же ты молчишь?» А я поклялся именем Христа, а также именем покойной сестры моего господина, той, что была супругой отца моего, прежде чем взял он в жены мою мать,— я поклялся, что не знаю. И потому боюсь я ужасно. Тогда продолжал господин мой таким голосом, воспоминание о котором разрывает мне сердце от любви и ужаса: «Клод, разве ты Клод?»

Я заношу слова, с которыми взывал к Богу день-деньской: «Боже, узри нас, погибаем все мы во зле, пошли нам избавление. Ты, всеслышащий и всемогущий. Велики грехи наши, но превыше их милосердие Твое. Не к Тебе ли, Господи, идем мы и днем и ночью?»

Блажен, кто вложил в молитву всю душу свою, и пусть из бездны воззвал он — есть Тот, кто слышит его.

Спустя несколько дней, когда поход, обходя стены Тортоны, двигался на восток, прекратился падеж коней и даже холода отпустили. У крестьян было отобрано много лошадей,— их приспособили к верховой езде, пока не подвернутся лучшие. В одной деревне удалось кельтским братьям разнюхать большие запасы провианта: фураж, сыры, рожь,— все в одном погребе, обошлось почти без пролития крови. В дороге попались нам два погонщика мулов с поклажей вина, и несколько дней веселило вино наши души. А еще повстречался нам бродячий монах, который окропил нас святой водой и обновил благословение церкви.

Похоже, что в судьбе нашей начинались перемены к лучшему. Не жалели мы молитв и благодарственных слов. А зимние дожди не только задерживались, но даже как будто и отдалялись: четыре дня щедрое солнце изливало на нас свою благодать. Сеньор раздал всем серебряные монеты. В часы утренних переходов вновь слышалось пенье, и Андреас Альварес, играющий на свирели, извлекал из нее удивительные звуки. Тем временем приближались мы постепенно к местам, где селились евреи.

X

ПРИБЛИЖАЛИСЬ МЫ К МЕСТАМ, ГДЕ СЕЛИЛИСЬ ЕВРЕИ, и дни наши стали светлее. Иной дух царил в лагере: строже стал порядок, появились и расторопность, и изворотливость; пожары, нами же раздутые, воспламенили души, охотничья страсть всколыхнула дремавшие чувства.

На большое не замахивались. Евреев-горожан оставили отрядам посильнее нашего. Сеньор Гийом де Торон двигался по заброшенным провинциям, подчищая окраины поля — евреев глухой деревушки, трактирщиков или тех, чья мельница притаилась в низовьях реки. А также попадались ему в руки горстки евреев-беженцев или скитальцев. Но, однако, не уклонился поход от пути своего на Восток, не рыскал по сторонам в погоне за беглецами, учуя добычу. Пролагали они единую борозду, прямую и длинную, хоть и не слишком широкую. Но задерживались и назад не оглядывались — увидеть, что сделано, а что осталось. Суровую сдержанность навязал сеньор своим людям, отвергая разнузданные убийства. Нечего и говорить, что избегали разбоя, но даже радость в предвкушении грабежа запретил сеньор, и эта радость, схороненная внутри, тлела в душах.

Клод в своих записках упоминает об одной еврейской женщине, с виду — сущая волчица, которая вместе с младенцем была вытащена из стога, служившего ей укрытием. Она ощерила пасть, и клыки ее, белые и острые, не походили на человечьи зубы. Потом зашипела угрозно, будто собиралась ужалить или изрыгнуть яд. Ее грудь вздымалась и опускалась под коричневым платьем; такое бурное волнение знавал Клод и прежде, наблюдая безумье плотских наслаждений, а также женщин, которым в видениях открылся святой, повелевший им взойти на костер.

Еврейка эта и в самом деле сумела раздвинуть границы людского кольца, которым окружили ее крестоносцы. Никто не отважился приблизиться в пределы досягаемости ее когтей или клыков. Она стояла одна, посредине, и гримаса на лице ее весьма походила на зевок. Но пристальный взгляд различал, что это вовсе не зевок.

Изогнувшись, она начала медленно поворачиваться вкруг себя с младенцем в одной руке, а другую простерла перед собой, растопырив пальцы, будто когти хищной птицы. Поворот ее тела напоминал движенья краба или скорпиона.

Клоду казалось, что еврейка эта готовится к прыжку, чтобы выцарапать кому-нибудь глаза своими когтями, но не так все обернулось: вдруг она бросила орущего младенца на руки младшему из кельтских братьев, а сама рухнула наземь, распластавшись в пыли, будто она уже мертва. Все это она проделала в полнейшем молчанье, без причитаний и плача, разве что с неистовой судорожностью в движениях. Клод — Кривое Плечо изо всех сил боролся с рыданьями, подкатившими к горлу,— слепой жгучий порыв, почти заставивший и его пасть на землю, распластаться, целовать ступни ее ног и быть попираему этими ступнями. Порыв этот кипел в его жилах подобно ярости, но яростью не был. Горячие слезы скатились по Клодовой бороде, когда прикончил он эту волчицу коротким, мощным ударом милосердия и тем облегчил ей муки агонии, так что теперь не придется ей видеть гнусное зрелище, когда размозжат голову ее ребенку,— зрелище, которое, конечно же, освобождает, но и огорчает, и поражает чувствительную душу.

В тех краях еврейские поселения, как пятна, были разбросаны повсеместно. Некоторые города широко открыли двери перед евреями, будто и не тяготело над ними проклятье небес. Евреи пустили свои мерзкие корни в самое сокровенное, высасывали жизненные соки и процветали вовсю. Чудовищные силы были даны им: всасывать и процветать. В здешних деревнях развелось немало еврейских семей, которые покупали — продавали, брали в аренду. И лен, и масло они уже прибрали к рукам. Осторожно, расчетливо, неотступно захватывали они шерсть и воск, протягивали щупальца к торговле благовониями и крепким зельем, лесом и пряностями.

На первый взгляд казались они спокойными, беззаботными, но вблизи заметны были частые подергивания мускулов на их лицах, как у оленя, когда стоит он, мнимо утихший, и лишь волнение кожи выдает затаенный побег.

Мягко и нежно лилась наша речь из уст евреев. Будто сами собой стекались к ним все наши денежки, как естественно катится вниз, под уклон, всякое тело земное.

А еще удивительно было их уменье собирать, копить, обменивать товары в самый подходящий момент, а в часы опасности — схоронить одну вещь внутри другой. Были они чертовски проворны, как и вся их порода, казалось, сама земля стелется им под ноги, когда они ступают по ней, опутывая все вокруг себя какой-то прозрачной, липучей смолой. Дано им было возбуждать в христианах приязнь и доверие, ужас или веселое настроение, все — в согласье с их замыслами; они — музыканты, а мы лишь дудочка в их руках, мы — пляшущий медведь.

В тех провинциях немало крестьян возлагали надежды свои на еврея. На деньги, взятые в долг у еврея, рыцари снаряжали отряды в поход на Иерусалим. При виде всего этого вновь открылись раны Спасителя нашего, и кровь Его пролилась сызнова. Даже благородные сеньоры, даже кардинал и епископ имели обыкновение вводить евреев в свои дома и потихоньку, совсем незаметно, глядишь — и продали души свои. Нашлись и такие, что даже власть вверили в руки евреев. И случилось, что в пределах этих некоторые евреи вознеслись настолько, что достало им сил установить тайную власть и поразить христиан язвой духовной: в двух местах вышли против отряда Гийома де Торона солдаты замковой стражи и тронутые порчей священники, ни в грош не ставя Божье проклятие, подняли меч, как заслон, для защиты евреев.

Короче, эти евреи создавали тайное Иудейское царство здесь, у подножия Креста, опутывая все вокруг, утверждая власть враждебных сил над землей христианской. Если взять простую притчу, из тех, что во множестве разбросаны в текстах Клодовой хроники, то походили евреи на компанию чужаков — менестрелей, с шумом бредущих первобытным лесом. Бесспорно, была в их мелодиях некая волшебная сила, сладостная, полная одиночества,— правды не скроешь,— но у леса есть и свой собственный напев, нутряной, глубинный, и не сможет он долгое время снести иную музыку.

Однажды Гийом де Торон во главе своих людей приблизился к горстке хижин, стоявших на отшибе Ариголо, маленькой деревушки, где жили евреи. Как это часто случалось, те учуяли приближенье отряда и загодя убежали в леса. Навстречу всадникам вышел посланец, чтобы предложить выкуп и тем снискать милость. Он послан на переговоры: уберечь от огня какой-то дом, набитый старыми книгами, среди них — по его словам — есть и такие, которым тысяча лет. Еврейские книги, писанные задом наперед.

Посланец был худ и долговяз, с рыжей бородой и крепкими плечами. Его манеры не выдавали низкого происхождения, двигался он мало, как бы экономно, со спокойствием, а говорил размеренно, как человек, любящий слово и вполне владеющий им. Он вышел из дома навстречу передним всадникам и спросил, кто предводитель. Не успели конные ответить, как взгляд его остановился на сеньоре, он произнес: «Это он»,— и без колебаний двинулся широким шагом между лошадьми, почти касаясь их то правым, то левым плечом, и вот он уже стоит перед господином нашим Гийомом де Тороном и говорит:

— Я искал тебя, мой господин. Ты ведешь этих людей?

Рыцарь прищурился, смерил взглядом стоявшего перед ним, мигом ощутил источаемую им силу, а затем скривив губы, сказал:

— Ты искал меня...

— Я искал тебя, мой господин.

— Что же ты предлагаешь, еврей, и что ты хочешь взамен?

— Дом, полный священных книг, а если нужно тебе очень много денег, то возьми все остальные дома наши. Мы платим звонкой монетой.

Мрачная улыбка, столь редкая, скользнула по лицу де Торона и исчезла. На мгновенье вдруг открылось в этой улыбке некое крестьянское обличье, алчное и отвратительное, но сразу глаза его застыли. Он сказал холодно:

— Золото. Медные деньги ничего не стоят в тех местах, куда я иду.

Человек ответил:

— Очень много золота.

Гийом де Торон сказал:

— Ты, еврей, стой при доме, который пожелал ты спасти от огня, а уж огонь, по желанию Божьему, выберет, что поразить, а что оставить.

Еврей ответил:

— Хорошо. Вы подожжете с южной стороны, ветер дует с севера, по воле Божьей, есть широкий ручей посередине. И огонь, как ты говоришь, выберет по желанию Божьему, что — поразить, а что — оставить.

Сеньор задумался, сухая улыбка вновь пробежала по его лицу, еще более мрачному, чем прежде. И тогда он сказал:

— Мой еврей, ты совсем не боишься. Почему же ты не боишься меня?

Будто объятый внезапной приязнью, рассмеялся еврей коротким смешком, прозрачным и ясным, словно подсказанным внутренним голосом, и ответил:

— Я даю, а ты, мой господин, хочешь взять.

— А если я сперва возьму, а потом убью и сожгу?

— Но ведь прежде ты поклянешься вашим Спасителем. Доколе не поклянешься — не увидишь золота.

— А если я возьму силой, еврей?

— И я и ты, мой господин, во власти Силы большей, чем мы с тобой.

— Так вот,— произнес Гийом де Торон, и голос его был весьма мрачен.— Отдай мне золото. Немедля. Я слышу слишком много слов. Отдай немедля.

Едва произнес сеньор эти слова, а уж самые близкие к еврею всадники начали легонько трогать его концом копья, словно пробуя крепость древесной коры.

Еврей сказал:

— Золото схоронено в поле, а это место погребено в моем сердце.

Гийом де Торон сказал:

— Ну что ж, трогайся, иди на то место. Тотчас же.

Еврей с удивлением покачал головой, будто разочарован был грубой нетерпимостью, проявленной его собеседником, и сказал с нарочитым спокойствием, как говорят с темным крестьянином:

— Но, мой господин, ты все еще не дал своей клятвы. Время ваше коротко, а путь далек.

— Ступай,— сказал де Торон,— да приведи меня к тому дому, про который говорил.

Миловидный еврей кивнул:

— Вот он. Здесь и те книги.

Рыцарь слегка возвысил голос, подозвал Клода — Кривое Плечо и повелел:

— Клод, дом этот и все остальные дома предать огню, а еврей примет смерть, но не в спешке, а умрет медленно, неторопливо, тем временем вели пустить лошадей в поле пощипать травку, а слуг загнать в речку, пусть отмоются перед молитвой, вчера их зловоние за версту разило.

Еврея начали бичевать в подлень. В вечеру жгли каленым железом. Затем окунули в соленую воду и расспросили про Иуду Искариота, про Понтия Пилата, про Каиафу, первосвященника, а потом, вытащив из соленой воды, оскопили, как сказано в одной книге, читанной Клодом еще в юности, и, как писано в той же книге, напоили соленой водой, в которую окунали его прежде. Позже занялись они пальцами на руках, допросили еврея по поводу знамений и предсказаний о появлении Сына Божьего, которыми полон Ветхий Завет. К закату выкололи ему глаза, и тогда, наконец, еврей разомкнул уста и спросил, обещают ли ему мгновенную смерть тотчас, как откроет он, где зарыт клад, и Клод — Кривое Плечо поручился своим честным словом.

С темнотой открыли сундук — оказалось, что еврей не обманул и сундук был набит добром. Тогда сеньор повелел Клоду исполнить свое обещанье, да и час-то был поздний, не следовало дольше откладывать вечернюю молитву, поскольку огонь, спаливший всю деревню, постепенно утихал, дым затруднял дыхание и ел глаза. А посему пронзили копьем исстрадавшееся тело, ударили в спину, а из груди вышло. Но еврей, истекая кровью, продолжал сослепу ползать в разные стороны, бормоча при этом. Тогда стукнули его по голове топорищем и сказали: «Умер». Еврей, однако, не умер, он надсадно дышал, из пробитых легких вырывались большие розовые пузыри, лопаясь в воздухе. Тогда его снова ударили копьем в грудь, да, видно, промахнулись, не попав прямо в сердце. Этот изуродованный остаток человека неистово дергал ногой, поднятой к небу. Сгрудившиеся вокруг него отерли пот со лбов, посоветовались друг с другом и приказали бросить умирающего в тлеющий огонь.

Но слуги, эти темные люди, объятые суеверным ужасом, боялись колдовства и знамений, упорно не желали прикасаться к еврею.

Наконец, подошел Андреас Альварес, тот, который играл на свирели и всегда ходил с тяжелым камнем на шее, чтобы усмирить свою плоть. Андреас притащил длинную жердь и, перекатывая эти трепыхающиеся ошметки тела, столкнул их в мелкую лужу. Еврей-посланец лежал посреди лужи, пуская пузыри. Даже после вечерней молитвы не затих.

Сеньор велел отказаться от ночной стоянки и двигаться дальше при свете луны, которая выкатилась круглая, желтая, невероятных размеров. «Я дал свое слово,— размышлял Клод — Кривое Плечо,— но не сдержал его, ибо не в человеческих силах было исполнить обещанное, и коли был в том перст Божий, то кто я? Лист не падет на землю, если не коснется его Намерение. Не нам дано узнать, что есть Намерение. Лишь по Намерению Божьему Спаситель наш принял смерть на кресте, ибо в том состояло желание Бога, чтобы Иуда предал Иисуса Христа, дабы искупил Спаситель грехи наши и страдания наши Он претерпел».

Еще четыре дня Гийом де Торон и его люди, преисполненные веры, продолжали перепахивать эту дикую землю, искореняя из мира вражьи силы. А четыре дня спустя, в кулачной ярости холода, налетели и пали на землю обильные зимние дожди.

XI

ОБИЛЬНЫЕ ЗИМНИЕ ДОЖДИ ПРОЛИЛИСЬ ЯРОСТНО, ЗАКРЕПОСТИВ ЗЕМЛЮ. Небесный свод, будто рухнув наземь, рассыпал серые осколки свинца. Буря дико выла в лесах, рвала с корнем вековые деревья, сметала крыши, в бешенстве дыбила озерные воды.

Ветры дули так свирепо, что дикие утки, попавшись к ним в западню, разбивались о склоны гор. Вода — стихия податливая и послушная, вдруг сжималась в кулак и, вздымаясь, одним ударом сокрушала твердь скал. Вспененные реки в буйстве рвались из исконных русел.

И по всему горизонту, от края до края, бесновались молнии, вычерчивая во всю ширь неба ослепительные пьяные фигуры. А гром в свой черед отвечал «Аминь» раскатисто и злобно.

Как-то ветер сорвал колокольню сельской церкви, поволок ее целиком вдаль, и колокол, плывущий в воздухе, звонил на лету высоко и отчаянно, паря над холмами, рекой и лесом, пропадая где-то в просторах.

В этой крутоверти угадывался смутный намек на некое намерение или последовательность: эти глумящиеся силы стремились все искруглить, сметая и уничтожая в бешеном течении своем все заостренное, злобно мстя углу за то, что он таков, изгибая его в дугу.

Буря слизывала и закругляла земляные кучи, крутые волны на озере, спины людей, бредущих из последних сил в поисках прибежища.

Эти необузданные силы, что прорвались внезапно, подмяв под себя всю землю, были заведомо враждебны и кресту, и колокольне, и копью, и коню, и людям.

После полудня ветер переменился. Воздух наполнился крупными хлопьями снега. За снегом ударил град. И до наступления сумерек побелела земля. Всю ночь огненные зарницы полыхали на снежной корке. Иссиня-синим блеском слепил этот ужасный огонь. И наутро еще набухали и росли снега. А что не смогла скруглить буря, закруглил снег. Вся земля покорялась в молчании, меняя свой облик. Ничто не противилось враждебным силам. Новая власть утвердилась на земле.

В этом бледном сиянии исхлестанная процессия, пав на колени в снег, взывала к Спасителю. Затерявшись в белоснежной пустыне, пробираясь сквозь обрывки серых облаков, влекомых ветром, иные из них, быть может, уже различали эфемерный образ Иерусалима.

XII

ЛЮДИ ВСЕ ШЛИ И ШЛИ ДО САМЫХ СУМЕРЕК. Искали укрытия от простых стихий, что истязуют тело и рвутся внутрь — загасить чуткую душу. Низвержение вод. Лезвие ветра. Слепящая белизна. Безмолвие.

Все обнажено. Горстка истерзанных странников. Затяжной побег. Западня.

После полудня нашли путники кров, приютивший их. То был заброшенный монастырь, разоренная крепость из камня на дальнем склоне горы. Много лет тому назад, быть может, в годину мора, последние из монахов бежали отсюда, чтобы умереть в местах иных.

Постройку эту возвели по странному плану, но без налета меланхолии: круто падающая замкнутая стена, никаких строений не окружавшая, внутри которой открыто множество низких келий, сводчатых нор без счету, путаные лестничные марши, склепы, переходы, подвалы, спускающиеся в непроглядную тьму. Еще была там мрачная капелла, удлиненная сверх всякой меры, подобная узкому, искривленному коридору, никуда не ведущему, разве что к собственному концу. В самой форме капеллы крылось некое противоречие.

Все было источено запустением: и грубые каменные стены, и латинские надписи, среди выступов и впадин невнятно говорившие о воскресении из мертвых и о гнусности всякого вожделения.

А еще на монастырских воротах можно было разобрать предостережение, писанное на местном наречье, призывающее грабителей помнить о страхе Божьем, посылающее грозные проклятья и предупреждающее о чуме. Плесень и ржавчина изъели всю надпись.

Гийом де Торон и его люди взломали ворота и прошли внутрь. Здесь сеньор приказал сгрузить поклажу, развести огонь и укрыться до тех пор, пока не исправятся дороги. Сеньор был угнетен или рассеян, отдавая команды; он повелел убавить раздачу припасов, позаботиться о лошадях, начистить копья до блеска, и в его приказах проскальзывали некие смутные мысли насчет хождения по воде, о необходимости срочного посольства в Византию, о том, что глубокий сон — простая возможность расстаться с местом и временем, да еще прибавились туманные пояснения по поводу вырожденья виноградных гроздьев и загнивания земного нутра, покрытого внешней оболочкой праха.

Люди не разговаривали, но стены начали подавать голос: врываясь в слова сеньора, норы, переходы, склепы стали отвечать гулким эхом. Подозрительно звучало то или иное слово, усиленное раскатистым эхом.

Когда умолк Гийом де Торон, умножилась тишина в монастыре.

Все стены пребывали в когтях постепенного разрушения: алчно пожирая гниль, пробились в расселинах камня дикие побеги, их распухающая тучность вздымала каменные плиты, подкоп совершался с шумом, почти в полный голос, будто все строение сработано из мозговых костей, взахлеб поглощаемых растениями.

И запахи. Отвратный смрад застарелого елея, что скопился в выемках камня. Слуги рассеялись по кельям, бесцельно заметались под сводами, в удивлении сталкиваясь друг с другом на извивах переходов, пробуя эхо, раскаты которого переполняли их ужасом; они разводили огонь прямо на решетчатых окнах, и тогда низкий дым, ползя по стенам, выкуривал там и сям мерзких пресмыкающихся, ночных птиц, страшных летучих мышей. Спустя несколько дней уже невозможно было ни сосчитать всех людей, ни держать их в узде. Некоторые из них, во власти тихого помешательства, блуждали без факела по бесконечным кельям, пока не замирали их крики, и о них забывали навсегда. Даже счет дням был потерян.

И сквозь бойницы, до крайних пределов, проглядывались владенья зимы, безбрежные тихие снега, побуждаемые воем ветра наигрывать мелодию тьмы. Большая вода смыла все мосты. Стало ясно, что отсюда не выбраться до наступления перемен.

Люди резались в кости днями напролет. С темнотой разводили огонь, подкладывая сорванные с петель двери и косяки, изрубленные топорами. Потом сожгли все лежанки, все скамьи в капелле. И наконец, начали разрушать стропила крыши, чтобы большим огнем заслониться от жгучего холода, рвущегося в пролом кровли, который они расширяли своими же руками.

Стропильные балки были влажны и пропитаны плесенью. Огонь извлекал из них злобное, ядовитое шипенье, будто живую жизнь сжигали каждую ночь.

К тому же от безделья и одуряющей скуки слуги дошли до полного разложения. Безобразны были они сперва от беспробудного пьянства, а как кончилось питье, вожделение к зелью обезобразило их вдвойне. Выяснилось, что из-за отсутствия деревенских баб не хватает на всех тех немногих женщин, что примкнули к походу. Из-за них и с ними сильно дрались, некоторые из женщин были убиты, а остальные бежали в снега. Одна из них убила трех своих подруг, прежде чем поймали ее, притаившуюся в проеме между склепами, и перерезали ей горло.

Даже исчезновение тех немногих женщин не вернуло людей на путь истинный. Закопченные стены покрылись греховными, срамными рисунками. Там и сям, когда никто не видел, осквернял кто-нибудь

один из крестов, так что в конце концов пришлось довольствоваться крестами железными и сжечь оставшиеся кресты из дерева.

И лишь распорядок церковных служб соблюдался всеми ревностно, почти с одержимостью. Утром и вечером собирались изо всех убежищ и охваченные душевным смятением возносили молитвы. В те дни, которые по их неуверенным расчетам приходились на воскресенье,— со страстью молились они до полудня. Погружаясь в молитву, эти опустившиеся люди сотрясались от рыданий. Временами Гийом де Торон произносил странную, с повторами проповедь, с жаром требуя, чтобы люди любили его, любили друг друга, любили коней, погибающих от холода, любили плоть и кровь свою, ибо плоть их — не их плоть, и кровь их — не их кровь. Клод — Кривое Плечо, со своей стороны, постепенно набирал некую скрытую власть, подстрекая кое-кого из слуг, чтобы те принудили своих товарищей прийти и исповедаться перед ним в своих застарелых грехах, и все это доставляло ему особое, лунатическое наслаждение. Клодовы записки свидетельствуют о нарастании болезненного интереса к свойствам человеческого тела и его своеобразию.

Летели дни и недели. Лучшие из крестоносцев, всадники и знаменосцы, ускользнув, исчезали в снегах, ища дорогу домой. А оставшиеся сражались с вороньими стаями, которые тоже облюбовали это место, чтобы укрыться от холода. Люди сшибали птиц и стрелой, и камнем, но налетали все новые и новые, пока душа не изошла отвращеньем.

Снаружи день за днем покрывалась земля мягкими, топкими снегами, и ночи напролет испытывал ветер крепость стен, повергая наземь то непрочный камень, то хлипкую балку.

Но худшая из всех бед — с сеньором произошли перемены. Милосердие завладевало им день ото дня. Нечто странное, некое сомненье, почти утонченность вдруг проявлялись в нем.

XIII

ПРОБУЖДАЯСЬ ОТ ДОЛГОГО СНА — ОН ВЕСЬМА СКЛОНЕН БЫЛ ПОДРЕМАТЬ и днем, и ночью,— поднимался и приступал к поискам добрых дел. Прежде всего напрочь отбросил все свои старые подозрения и, казалось, гордился той горсткой людей, что идет с ним в Иерусалим. Затем выискивал обстоятельства, при которых ему пришлось бы прощать. Если видел человека опустившегося, то, положив руку ему на плечо, кратко и мягко говорил о мерзости греха. К некоторым из этих несчастных стал обращаться: «Брат мой». Временами, тревожась о своей кобыле Мистраль, поил ее из ладоней и пальцами расчесывал гриву. Однажды собрал всех в разоренной капелле, отслужил как бы мессу, усыновил Клода — Кривое Плечо в согласии с законами церкви и, не останови его Клод,— усыновил бы еще кое-кого из рыцарей. Если по виду судить — болен был, но по силе телесной превосходил всех, включая и братьев-кельтов. Пришло ему на ум возвести какой-то помост в дальнем конце капеллы, несколько дней ворочал камни, подтаскивал тяжелые плиты, устилавшие пол, но вдруг все забросил и увещевал самых темных из своих людей, чтобы те изучили латынь и начисто отказались говорить на наречьях евреев. Однажды пал на колени, снял с себя рубашку и перевязал ею ногу старшего из братьев-кельтов — поступок, который требовал объяснений, поскольку нога вовсе раненой не была, разве что, разумеется, давно не мыта.

Он нуждался в постоянной близости Клода — Кривое Плечо. Сперва упрашивал Клода рассказать ему что-нибудь из книг, где собрана мудрость древних, потом стал просыпаться в панике, требуя к себе

Клода, а затем уже не мог уснуть, если не клал свою голову на Клодовы колени. Кривое Плечо, по своему обычаю, был многословен, а поскольку удержу на него не было, многословен был еще более обычного. День ото дня переходила власть из рук сеньора в руки приемыша, и уж было в Клодовых силах морить голодом и сечь плетьми по собственному разумению да по своей охоте. В его записках сказано: «И земля, и люди, и снег, и страдания, и смерть — все это лишь притча, смысл которой — Царствие Небесное, куда иду я, не отклоняясь ни вправо, ни влево, путем праведным и с веселием духа».

А потом унялся снегопад. Вновь зарядили зимние дожди, тяжелые унылые потоки днем и ночью без перерыва. С этих пор на высоких местах начал стаивать снег. Вязкая грязь покрыла землю. Холод наполнился влагой, гнилая, ядовитая студь. Там и сям проявились очертания дороги, петляющей между холмами. Стала топью дорога. Даже в минуты отчаяния нельзя было и подумать о продолжении похода.

Меж монастырских развалин припасы все уменьшались и уменьшались. Случалось, не раз обнажались ножи в часы дележа заплесневевшей пищи. И еще вспыхнула дурная болезнь, унизительная для всех, причинявшая нестерпимые муки.

Однажды ночью прокралась внутрь стая волков, обезумевших от голода. Бесшумно пробравшись темными, извилистыми коридорами, волки проникли в подвалы, задрали последних из наших коней. И если бы не вскинулись ото сна трое братьев-кельтов, учуяв волчий дух,— не миновать и нам самого худшего. Кельты, вскочив на ноги, сражались с хищниками копьем и горящим факелом, истошным воплем, ножом и камнем. В отблесках огня и человечьи лица, казалось, щерились по-волчьи.

После этого случая учредил Клод — Кривое Плечо ночную стражу. Люди, собравшись вместе, засыпали ежевечерне, окруженные головнями догорающего костра. Часовые стали заслоном, чтобы вновь не пробраться волкам внутрь, но не смогли заслонить от ужасного воя, разносимого ночным ветром и проникавшего в самую душу. А душа сжималась и стонала в ответ.

Как-то поутру заметили они издали темную фигуру, бредущую в снежной дали. Одинокий путник, распрямившись во весь рост, медленно шел, нащупывая дорогу,— высокий человек, закутанный в черную сутану, прячущий голову в черный капюшон. Заблудившийся ли аскет или какой-то странствующий монах. Наши крики оставил он без ответа и с пути своего не свернул. Неспешно разгребая мягкий снег, прошел странник мимо нас, следуя к дальней линии горизонта. Может, глух он был или связан обетом молчания. Кроме него, не видали существа человечьего на протяжении всей зимы.

Холод усилился более обычного, напрягаясь изо всех сил своих. От мороза тела людские покрылись волдырями. Три лошади, что спаслись от волчьих клыков, пали в один день. Мясо их съедено было полусырым,— нечем было поддержать огонь.

Недовольство росло и набухало, пока еще сдержанное, но замыслившее зло. Слуги с горящими глазами секретничали по углам. И если Клод — Кривое Плечо проходил мимо них — неожиданно замолкали либо торопливо встряхивали игральные кости. В ночной темноте растекался шепот.

Однажды Андреас Альварес, рискуя жизнью, взобрался на самую маковку рушащейся колокольни. Удалось ему там, в поднебесье, поправить большие колокола и привязать к ним новые веревки. Верил он, что колоколам под силу изгнать дух скверны и обратить к добру людские сердца. Но когда Андреас, скользнув, спустился с колокольни и дернул за веревку — раздались вдруг увечные, изломанные звуки,

леденящие кровь. И во всех углах развалившегося монастыря возникло и разлилось волнами эхо, хриплое и безжалостное.

Итак, колокола оставили в покое, а Андреасу Альваресу, музыканту, повелели играть побольше, чтобы заглушить шорохи безмолвия.

Всю душу вкладывал Андреас в игру. Нежной лаской трогала мелодия слушателей. Что-то всколыхнулось в них и оттаяло. В свете костра полузатененные лица собравшихся в круг казались неотесанными, косматыми, мрачно освещенными бликами пламени. Едва раздались звуки, волнение охватило растрескавшиеся губы, будто судорога или мимолетная дрожь. Нежность переполняла их через край. Вот и камень, застывший под ледяной коркой — легчайшее прикосновение теплоты способно взорвать эти камни. Андреас Альварес разжег в них некую жажду, может, скрытую тоску. Случалось, кто-нибудь из круга слушателей вдруг начинал вопить, будто рубят его в куски. Так вопит раненый, вырываясь из забытья и внезапно познав всю боль в мгновение ока.

Просты были наигрыши, из тех, что в ходу летом в деревне, и Андреас низким теплым голосом заводил иногда песни, которые обычно напевают крестьянки, воображая, что их никто не слышит. Кое-кто присоединялся к Андреасу и пел с ним, будто в этой песне жизнь открывалась им наново. Даже у де Торона вдруг защемило сердце. Этот угасший человек уронил на грудь голову, словно последний свет покинул его. Он вспомнил женщину, жену свою, но не госпожу Луизу де Бомон, умершую этим летом от падучей болезни, а ту, первую, Анну-Марию. Девочкой привели ее и вручили ему, да и сам он тогда юношей был. Красивой и притихшей видит ее в преддверии дома, он глядит на нее, а она глядит вниз на туфельки или на половицы. Ему вспомнилось, как тогда в сумерки он взял ее за руку, повел по владеньям, по садам, виноградникам, выгону — до самого леса — по обычаю предков водить невест по приезде. Вспомнилось ее платье цвета олеандра, удивленные глаза, волны страха, пробегавшие по глади ее кожи, словно у робкого жеребенка. Вспомнил ее затянувшееся молчание, свое молчание, ликованье птиц, закатные лучи, тронувшие кроны деревьев, цветенье садов и ароматы их. Была весна, плавно текли воды, открытые запахам ночи, Анна-Мария молча шла за ним, он оставил ее руку, потому что била его дрожь. А потом, взбудораженный, вдруг он страстно захотел ее рассмешить и заржал, как лошадь, заскулил по-лисьи, упал на четвереньки, подражая медведю, который гонится за убегающей ланью, но неожиданно свалился с высокого камня прямо в реку, выбрался и стал перед нею, ежась, вымокший до нитки. Она беззвучно смеялась и кончиком пальца коснулась его головы, а он, мокрый, ластящийся пес, терся мордой об ее ладонь. И когда губы добрались до ее пальцев, тут это и случилось, Анна-Мария сказала ему: "Ты, ты, ты».

Гийом де Торон сомкнул глаза и уставился на Андреаса Альвареса, музыканта, закрытыми глазами.

Сердце подсказывало ему, что место это чужое, да и Иерусалим отнюдь не в конце похода этого, а похода иного, не похода, не Град Божий, и вполне возможно, что Андреас — затесавшийся еврей, и быть может, не Андреас, а он сам, ибо истина — она чиста, и лишь глаза слепы, а ведь огонь — вовсе не огонь, и снег — вовсе не снег, и камень — это мысль, ветер — вино, вино молчание, молитва пальцы, боль мост, и смерть это домой это касание это теплый перезвон колоколов ты ты ты.

А снаружи, наперекор мелодии, которую наигрывал Андреас, снег и отчаянье вновь опускались тихо, покрывая все невообразимо нежным поцелуем. Случилось так, что сеньор Гийом де Торон прервал мелодию и сказал:

— Клод, человек, что играет,— он не из наших.

Клод сказал:

— Отец, не ты ли знавал Андреаса еще подростком, и разве дед его не забавлял тебя в детстве твоем?

Сеньор сказал:

— Клод, почему силишься ты скрыть от глаз моих этого еврея? Он преследует нас, из-за него мы пропадаем.

Андреас сказал:

— Господин мой.

И сеньор, погруженный в раздумья, словно издалека, произнес с сожалением:

— Андреас, ты дорог мне, еврей весьма любимый ты, Андреас, и я должен тебя убить, чтобы ты умер.

Андреас Альварес не молил о пощаде, лишь скрючился, голова меж колен, недвижим. И сеньор поднялся, и взял копье, и встал рядом с Андреасом, оперся на копье, и глаза его закрыты, задумчив был либо охвачен сомненьем, уперся сильнее, стон выбился из его груди, налег со всей силой, копье пронзило его плоть, и, словно заключенный в невидимые объятья, рухнул он и затих.

После смерти сеньора случилось еще два побега в снега. Многие из слуг исчезли, унеся с собой скудные остатки припасов. Клод — Кривое Плечо, предводитель девяти крестоносцев, дрожащей рукой — глаза горят поверх измаранной слюной бороды — записывает: «Чудо запаздывает. До праха земного унижают Клода, до самого дна глубин испытывают Святого Клода, но у предела нечистот сияет Свет, и я иду неуклонно, достигаю Света, очищаясь в Нем до исчезновения бренной плоти».

Ужас последних ночей. Лица людей с гниющими зубами и губами, изъеденными стужей, выбеленные ночным светом, словно черепа мертвецов. Вопль. Смех. Оскотинившись, они зубами рвали свою же плоть, падали на костлявые колени, поклоняясь зарницам, вспыхивающим в ночи. Призрачные виденья. Прозрачное шествие проплывало низко над ними, слетаясь со всех концов застывших пространств, контуры бледных привидений.

Последней ночью явился знак. В проломах крыши забрезжило легкое просветление. Скудные звезды мерцали в разрывах мглистых облаков, и был над звездами нимб.

И вот, наконец, без лошадей, без одежды и припасов, без женщин и без вина — холод рвет ступни босых ног — встать и идти в Иерусалим. Именно так изначально надлежало им выступить в путь.

Девять спотыкающихся теней. Кривое Плечо ковылял во главе, Андреас, трое братьев, четверо слуг, что давно повредились в уме, среди белых полей, от горизонта до горизонта. Идти по белой земле у подножия белых небес, вдаль...

Не в дома свои вернуться — обитаемые края давно исторгнуты из сердец их. И не в Иерусалим, ибо он — любовь чистейшая, но отнюдь не место. Идут, отрешаясь от тел своих, идут, очищаясь, в сердцевину колокольного звона, и дальше — в пение ангелов, и еще дальше, оставляя постылую плоть, устремляясь вглубь, белый поток по белому пологу, отрешенное намерение, истаявший пар, быть может, покой.

Перевод с иврита Виктора Радуцкого

Владимир Леонович

БРАТЕЦ

Часовня в память Елизаветы Ивановны и Екатерины Игнатьевны Калининых*

До края чаша налита
и пролита — пиши.
Точу топорик на лето
чинить карандаши.

Что звоном, что закалкою
он радует меня,
а с плотницкой смекалкою
все прочие — родня.

В каноне есть особинка,
в свободе есть закон.

Растет в бору часовенка —
двадцать пять бревен.

От киля и до клотика
задорно взнесена
олонецкая готика
с развалом в три бревна.

Крыльцо, оконце, крышица
и маковка над ней.
Качнешь — она колышется
от высоты своей!

Люмпен-вымпел

Николаю Тряпкину

Видал бы Яков Деревяга,
войны японской инвалид,
как сонный агроработяга
траву поклонную валит!
...На яковлево воскресенье —
по милости стихотворенья —
мелькает грязный вымпелок,
над полем, с коего сволок
старик великие каменья.
А пожню ветром пригнело,
а градом вовсе положило.

Явленье яковлево живо,
коль дело мертвое мертво.

Однако легок на помине
и полон интереса дед,
проспавший семь десятков лет
в сухой сосновой домовине,
которую и сладил сам...

Стоит мужик на кошенине —
не верит собственным глазам!
Где на врага искать управу?
Неведомо и недосуг,

но эту поваль и потраву
нам с Деревягою сам-друг,
покуда не сгнила, косить,
покуда этот душегубец,
знать, поломал сорокозубец,
что перестал тут колесить.

Какой мне праздник нынче выпал!
И напевая «люмпен-вымпел»,
прокос иду за стариком,
а он так споро ковыляет —
теперь коса ему клюка, —
что ни единого клочка,
ни петушка не оставляет,
с наукой древнею знаком,
когда неловкого мальчонку
привязывали за мошонку
травой к стерне.
Но чем и как
безродных этих работяг
к земле истерзанной привяжем?
Увы, не знаем и не скажем.
...А как травы не разогнуть,
так ты сумей косой ширнуть
с потягом, поперек повала —

* В деревне Пелус-Озеро, Пудожского района Карелии, автор собственноручно воздвиг деревянную часовню, освящение которой состоится в ближайшее время. (Примечание редакции.)

полегче взмах, помельче шаг —
да на полутора ногах! —
воскреснув,
коль нужда позвала.

Спи, обихожен твой лужок,
спи, дедко Яков, зло не вечно.
Стоит всю зиму наш стожок
высоко и остроконечно.

Гороховецкие лагеря

Взошла роса,
Туманом тронулись озёрца.
Пульсирующей каплей солнце сползает за леса,
за гари, за болота, все выше по стволам блестит,
где шелушится, шелестит и вспыхивает позолота
и свет кровавит хвою,
объятую вечерней синевою.
Закончен труд на ниве полигона.
В ушах биение и гуд от гаубицы дивизиона.
Строй вековых стволов возносит эти волны —
стихи без слов. Они бездонны и безмолвны.
Их колокольное литье нельзя перешептать губами —
зато стоит гудящими столбами
над нашею поляной комарье.
А воздух красен, как смола, и стынет еле-еле
и хвойная земля тепла под полами шинели.
Летит комарик на костер, отбой сыграли рано.
Солдатский юмор — штык трехгранный —
убийствен, хоть и не остер.
Ого! Отъелись на треске!
— Го-го-го-го! — за лесом отдается...

И сердце ни в какой тоске не рвется,
как много-много лет спустя.
Спит Брейслер Саша, как дитя, и улыбается.
Спит мой теодолит. Спит гаубица.
До рассветного часа урочного
спит Кулёва гора развороченная.
Спят песчаные холмы.
Спят сердца. Спят умы.
И болото, и озеро Черное —
нежить мелкая, ненужная и сорная.
Спит округа, заутра взорванная...

По прошествии лет
восстает — вопиет!

Пейзаж с обглоданным пеньком

Нужна лесхозу шишка —
и срублена сосна,
которую мальчишка
извел на семена.
Как пионер старался,
сужу по виду пня:
до сердца добирался,
наверное, полдня...

Всё дико и досадно,
но хорошо, когда
достаточно наглядна
бессмысленность труда.
А там совет отряда
и барабанный бой,
всегда готов, так надо,
и головная боль.

Стою среди пейзажа
с обглоданным пеньком.
Некрасовская Саша
не плачет ни по ком.
Не нужен ей Некрасов —
или учитель слаб? —
Некрасов одноразов,
как пройденный этап.
А для поднятья духа
в худые времена
селу нужна в и д у х а —
и шлет ее казна...

Но я еще к вопросу
о срубленной сосне,
чьи семена лесхозу
понадобятся н е.
На рапортичку нашу
плевали в Районо.
И я опять про Сашу —
про Сашку в секс-порно.

Сидит она, голуба,
и глазом не моргнет.
Ломает двери клуба
взыскующий народ...

Казна давала пенки,
но это коленкор
д р у г о й — пишу Губенке
как мыслящий селькор.
В который раз натурой
поплатится бедняк —
не тронутый культурой
российский молодняк.
А летопись и повесть
потомка известит,
как изводили совесть,
как отнимают стыд.
Был замысел программный:
за стыд, за совесть — нá
кусок свободы срамной,
несчастная страна!

* * *

У излучистой Моломы
сидит Федя-дурачок
понимая, как могло бы
все текчи, а не течет.

Он содержится при ферме,
то ли вправду тронут он,
то ли кротостью безмерной
скотьей муки умудрен.

На пригорке меж излучья
и глухого рукава
речь идет, как жить, не муча
никакого естества.

Никого-то не жалеет
окаянный живорез,
невозможно как наглеет,
накажи его Велес!

— Как те спится, окаянный! —
раздается по реке.
Гневается первозданный
вечный смысл в его башке.

Слышится дурацкий братский
то ли смех, а то ли всхлип,
И ни Швейцер, ни Вернадский
в глухомани этой вятской,
в этом крике не погиб.

Стадо растеклось по лугу:
дин-тилин-тилин-дин-дин.
Есть, выходит, на округу
здравомыслящий один.

Имя прадедово

Нет ни кликов ни откликов,
течение неколебимо.
Прадед мой был Василий Облаков
из Любима.
Сиротеют потомки:
против времени кто ж пробьется?
Огонек на потёмки —
имя прадедово остается.
Так блуждаешь — долго да около —
жребий русский.
Был ты Облаков —
стал Боголюбский.
Припаду ли когда на паперти
к твоему надгробью?
Я, обязанный матери
сильной кровью,
между
мусора прусского
и родимого благосвинства
пе-ре-нял жилу русского
духовенства.
В эту жилу вбежала
и запенилась кровь отцовская:
там Мицкевичи, там Варшава —
воля польская.

Миусский собор

Красноватой окутано мглой,
полстены нависало скалой,
и чугунная бита
исторгала из монолита
совершенно немыслимый гул:
то стонала
колокольная кладка.
Помню судорогу скул,
пылевого осадка
красный иней
и прах
на зубах.
Помню темный искус:
да взорвать эту глыбу!
(Мы дети).
— Где звонят?
— У Миус,—
можно было спросить и ответить.

Не достроенный к Первой войне,
ко Второй был Собор не доломан.
Нам внушали презрение к старине,
страсть к великим разгромам.
Мы дышали с младенчества
силикозною мглой.
Мы не знали отечества,
но годились на смертный бой.

В окруженье элитных хором
у Миус нынче Дом
Пионеров (и школьников просто)
и скульптурная группа при нем.
В ней писатель, воспевший «Разгром»
и столь страшно и поздно
разглядевший в огне и дыму,
что его обманули.
Да зачтется ему
покаянная пуля.

Вот стоит он — бубновый туз —
грудь вперед — это в методе-стиле...
Не по нам ли звонили
тогда у Миус?

Братец

В первом вагоне туман-растуман.
Тащится поезд на Абакан.
Лето — не продохнуть!
Третьего класса народная масса
держит путь
в центры с окраин.
Первый — набит и задраен.
Хоть бы детей пожалели,
еле-еле уже верещат,
ножками крохотными сучат —

ведь тоже люди! —
отворачиваются от груди.
Воздух крут —
молоко скисает.
Пятки, как яблоки, с полки свисают.
Малый до нитки раздет и разут.
Видно, товарищи помогли —
всё увели.
Дед — копченый хакас —
в синем тумане махры
не понимает жары.
Третий класс,
волчья сыть,
преет в байке-сатине —
за зиму разве успеет остыть...
— Помоги сиротине,
помоги, братка. —
Спрыгнули пятки,
заместо штанов — мешок.
— Знаш стишок?
Как меня любили
все, кому не лень,
потом на десять годиков
дали билютень.
Не попадай, братишка,
ты в руки блатарям.
Бьют мягко понаруже,
больно по нутрям.
У их такая гирька
спрятана в пиму.
Не попадай, братишка,
в кузнецкую тюрьму... —
Дождик и темнота,
теплая глина.
Родиной пахнет пихта.
Спит сиротина.
Одеться успел и набраться —
малый фартовый.
Подложу под братца
лапки пихтовой.
Душно. Станция Кача —
глина-трясина.
В тишине заливается-плачет
чья-то глупая псина.

Миг оставался

— Дай закурить.
— Я не курю.
— Который час?
— Второй, наверно.
Лица не вижу. Говорю
вслепую, медленно и нервно.
— Часов не носишь?
— Не ношу.
Ты извини, но я спешу.
— К любовнице?
— Ага. Пока.
Протягивается рука...

Так. Вот оно... Озноб и жар.
Отяжелело сердце:
удар — пауза — удар...
Спасительное средство —
благоразумный паралич,
советует Владимирлич...
Параличом пренебрегал,
да и сейчас пренебрегу,
поскольку тоже хулиган,
не остававшийся в долгу
у неудачников-ханыг
таких вот мелких и ночных.

Была война и Кострома,
и плакала по мне тюрьма,
как выражался отчим,
и в точку, между прочим.
Но детство — это жизнь вчерне,
такая крепь сквозная.
Тюрьма скучала обо мне —
та или иная.

Но этот парень был непрост,
и потому не обошлось,
как раньше обходилось,
когда не находилось
часов и папирос.
Он был настолько вне систем,
что даже я опешил:
он убивал меня затем,
чтоб я на свете не жил.
И всё. И больше ничего.
Пырнуть — пылинку сдунуть.

Миг оставался, чтоб его
концепцию обдумать.

Когда вы понадобились, вы устали,

и еще пару слов
жаркими пепельными устами
произносит Володя Львов.
Прийти с войны —
захлебнуться в бассейне,
где зыблется Храм Христа —
да не Спасителя; не спасенье —
нам уготована мзда.
Книжка стихов БЕЗ ОТДЫХА
в землю врастет как дот.
Дух, взыскующий подвига,
сподвижника не найдет.
Вахту несет бессрочную
Слуцкий у гроба — как перст
и приминает обочину
тяжкий Володин крест.
И шепчет он, вечно силясь
выволакивать и вздымать:
когда вы понадобились,
вы смылись,
алиби вашу мать!

* * *

Лиле Браиловской

В рай попав — по ошибке —
за грехи и вины,
были отпетые грешники
жестоко потрясены.

Их сердца огрубелые,
оторванные от земли,
ангельского сострадания
вынести не могли.

Их сердца прокопченные,
как печные горшки,
от простого участия
раскалывались в черепки!

Наш создатель воистину
справедлив и велик:
в милосердии, в гневе
и в ошибках своих.

Но только так

Здесь нет любви,
но есть семья,
и есть в семье четвертый лишний —
друг дома, человек-змея —
но только так хотел Всевышний
и дьявол так хотел,
и я,
и ты,
ты, соль моя земная
всей крови пресной бытия!

Не мог я жить, тебя не зная.
Как мог тебя покинуть я?

На небе сумрачно и гневно.
Я повторяю ежедневно
и повторю я в День Суда:
да —
я не помешал тогда
отчаянной свободе женской,
да —
я три жизни рас-судил
как Ты, Который остудил
мне лоб прохладою вселенской.
Ты волен чудеса творить —
изволь же век мне
повторить:
увы, он будет столь же грешен.
Ее — Ты дал мне навсегда...
Как друг-соперник,
в День Суда
Ты будешь так же прав и бешен!

* * *

Цветущая жестью холмящаяся полоса
легла пустырями предместья.
Отходят леса.
И движется дюна — ползучего хлама гряда.
Не строить их трудно —
их трудно взрывать —
города...
Окутанный мглою, где бледные корни и ржа,
культурному слою последнему принадлежа,
горюю:
о Боже, прости, что во веки веков
ты нам не дороже копченых горшков-черепков.
Не храмы, а цирки несчастный народ соберут.
На идола зыркни — на всепожирающий Труд —
дурной и наемный — на мертвые наши дела...
На город огромный,
где ты на окраине жила...
И грешно, и бражно я прожил свое — как во сне.
Мне страшно
за душу поверивших мне.

«Злейше есть!»

Когда-то я в рабочую тетрадку
переписал старинную загадку.
Читаю... Как ты близок и родим,
язык могучего средневековья,
и хорошо, что непереводим:
«ЧТО ЗЛЕЙШЕ ЕСТЬ ХУЛЫ И БЛЯДОСЛОВЬЯ?»
Отгадка мелкой буквицею: лесть.
И повторяю: злейше, злейше есть.

Валериан Пидмогильный

СЫН

РАССКАЗ

Имя этого писателя еще не вполне привычно не только для русского, но и для украинского современного читателя, особенно молодого.

7 декабря 1934 года он в последний раз трудился за своим письменным столом: в разгаре была работа над повестью (которая так и осталась «Повестью без названия»), готовился очередной том переводов на украинский язык Анатоля Франса, писались письма друзьям, которых становилось все меньше и меньше. А на следующий день уже не было писателя Валериана Пидмогильного — был «враг народа», участник «террористической, контрреволюционной боротьбистской организации», якобы готовившей террористические акты против вождей Коммунистической партии и планировавшей реставрировать на Украине капиталистический строй.

С того момента дорога его пролегла через допросы и обвинения, суд выездной Военной коллегии из Москвы, смертный приговор, замененный десятилетним заключением в знаменитых Соловках. В 1937 году Особая тройка НКВД Ленинградской области пересмотрела дело В. Пидмогильного, и он снова был приговорен к расстрелу. На этот раз уже без помилования. Приговор был приведен в исполнение 3 ноября...

Реабилитация пришла в 1956-м. Однако книги не выходили и после этого. Должно было пройти еще тридцать лет, чтобы на страницах украинской периодики опять всплыло имя Валериана Пидмогильного. В 1989 и 1990 г. на Украине вышло две его книги, а журнал «Дружба народов» напечатал в прошлом году повесть В. Пидмогильного «Третья революция».

Рассказ «Сын», предлагаемый читателям «Знамени», относится к раннему периоду творчества писателя.

Голод 1921—1922 годов на Украине — не менее трагическая страница нашей истории, чем та, которая повторится через десять лет, в 1933 году. Это тот реальный фон, на котором вырастали философско-психологические раздумья автора.

Владимир МЕЛЬНИК
Киев

Васюренко слез с платформы, заваленной кирпичом, и начал отряхиваться. Его серые полотняные брюки стали грязно-красными от кирпичной пыли, и он безрезультатно колотил себя по коленям широкой исхудалой рукой.

— Придется постирать на речке,— подумал он и отошел в сторону. Ему не хотелось уходить, пока не тронется поезд. Он любил машины, особенно паровозы. Вишь, как придумано — сам себя везет, да еще и вагоны тянет. Этого поезда он так долго ждал в городе — больше полутора суток; валялся в грязи около станции, шатался, как неприкаянный, взад-вперед, пристраивался где-нибудь поспать, а потом вдруг резко вскакивал на дрожащие ноги с одним наболевшим желанием податься далеко-далеко, на край света, и заблудиться, и умереть. И опять садился на корточки с отяжелевшей головой и водил языком по губам — они потрескались и саднили. Он мог бы напиться воды, но знал, что тогда его будет рвать до тех пор, пока вся она не выльется из него.

Время от времени его тошнило и без воды; перед глазами плыли страшные красные круги, и к горлу подступала отвратительная икота. Тогда он ложился на спину, закрывал глаза и начинал медленно дышать.

Так ему удалось продержаться целый день — на съеденном утром кусочке хлеба величиною с ладонь.

И только когда миновал вечер и кончилась ночь, придребезжал этот поезд и взял его, измученного бессонницей и голодом и словно бы погруженного в глубокую задумчивость. Но в нем еще оставались какие-то силы, хотя мышцы были точно опутанные паутиной. До дома надо было идти еще пятнадцать верст. Теперь он не будет таким дураком, больше не станет есть утром. Такая глупость — мучиться потом целый день. Лучше потерпеть до обеда, а там и до вечера, может, легче будет.

Поезд загудел и тронулся. Васюренко взглядом проводил его за холм и повернулся, чтобы идти. Только теперь он заметил неподалеку от станции своего шурина Олексу Корнейчука, сидевшего в компании еще пятерых мужиков на сваленных в кучу набитых мешках. Они тоже возвратились этим поездом. Сердце его слабо затрепыхалось, замирая от безнадежности и зависти. Подойдя, он увидел, что они едят хлеб с салом.

— Здравствуйте,— поздоровался Васюренко.

Корнейчук поднял голову и засмеялся.

— И ты тут? — спросил он.— Какими ветрами?

— В городе был,— сказал Васюренко,— ездил продать кой-чего. Из последнего. Да только...— Он махнул рукой: — Лучше б и не жить! Взял материну девичью юбку, свою вышитую сорочку, взял грабли и лопату, а вот что получил.

Он показал буханку, которую держал под мышкой. Корнейчук усмехнулся всем своим бритым лицом.

— А мы аж до Полтавщины добрались... Ого-го, как там люди живут! Ты, парень, верно, и позабыл про такую жизнь. Там, брат, не собачину, а свинятину в борщ кладут и хлеб тебе не из отрубей, настоящий! Ну и наменяли, ясное дело.— Он стукнул рукой по мешку, на котором сидел.

Васюренко угрюмо смотрел на Корнейчука, на мужиков, на мешки — в них он сквозь материю видел чистое, отборное зерно. В голове промелькнула мысль: может, сестра Марийка принесет ему хоть маленький мешочек этого зерна... Да нет, что уж тут надеяться! Не такая она, не такой Олекса, чтобы дать! Он скорее удавится, но ни зернышка не отдаст.

А Корнейчук продолжал:

— Тебе бы, парень, туда податься на заработки. Там работники нужны, да еще как! Заработал бы хорошо. Чего тут пропадать?

— А мама? — понуро спросил Васюренко.

— О! — удивился Корнейчук.— Да разве она не померла?

— Еще болеют...

— Ну и живуча же старая Васюриха! А все одно два века ей не жить — как помрет, вспомяни мое слово, двигай на Полтавщину. Там и заработаешь, и девушку себе найдешь. А что за красавицы там, ни дна им, ни покрышки! Как затянет песню — и у старика сердце задергается!

Корнейчук шлепнул парня по ноге и снова принялся за сало. Васюренко стоял понурившись.

— Пойду я,— проговорил он наконец.

— Так ты скажи моему Василю, чтоб ехал. Вот и хорошо, мужики идти никому не надо. А то прямо хоть жребий бросай, кому идти.

Васюренко обошел станцию и вышел на широкую дорогу. Солнце уже поднялось высоко и начинало припекать. Желтая мертвая степь раскинулась перед ним насколько хватал глаз. Он двинулся мимо выжженных полей, просвечивавших чахлыми колосками. Их не косили даже на солому. И чем дальше он углублялся в степь, тем больше окутывало его зноем и тишиной. Даже кузнечики не стрекотали, не летала мошкара. Бескрайняя палящая желтизна резала глаза. Он шел словно бы по развалинам какого-то гигантского пожарища, где огонь уничтожил все родное и любимое, где сожжена и часть его сердца.

Пройдя версты четыре от станции, он увидел возле дороги неподвижно лежавшего связанного веревкой мужчину. Нагнувшись над ним, Васюренко узнал своего земляка Степана Безрукавого. Ножа не было, и парень зубами развязал узлы; Степан только стонал.

— Что с вами, дядька Степан? — спросил Васюренко.— Кто это вас так?

— Ох, и не спрашивай! — стонал Безрукавый, разминая ноги и руки. — Повеситься бы мне на этой веревке... Все забрали, все как есть...

Он через силу поднялся и внимательно оглядел все вокруг. В канаве у дороги лежала сухая лепешка, черная, как земля. Безрукавый схватил ее, отломил половину и стал жадно есть. У Васюренко екнуло сердце, слюна вдруг заполнила рот, и он отвернулся.

Степан молча сопел, глотая засохшие куски. Съев половину лепешки, он с сожалением посмотрел на оставшуюся часть и засунул ее за пазуху. Потом достал из кармана книжку, оторвал листок, вытряс из засаленного кисета остатки табака, поднял с земли немного сухой травы, добавил ее к табаку и свернул цигарку.

— Огня нету?

— Нет.

Васюренко сел рядом и вытер пот с шеи.

Степан вздохнул и стал рассказывать:

— Ты же знаешь, парень, у меня кроме жены еще пять ртов, да все хорошие рты, молодые, и все мальцы, точно утята, прожорливые. Съели пшеничку, съели ячмень — а просвета все нет. Дети криком кричат, жене уже хлеб мерещиться стал... Сдохла кобыла — сварили суп. Первый раз ели — рвало, второй раз — рвало, а на третий — пошло. Только надолго ли? Раскинул я мозгами — вторую кобылу резать надо, все равно качается. А тут жена заладила — забирай все барахло, поезжай куда хочешь, может, хлеба выменяешь. Одно слово — баба! Вынесли все из дома, запряг я кобылу — не тянет. Приделал сбоку постромку, накинул шлейку себе на плечи — поехали мы. Ой, парень, и намучился же я! Пылища глаза засыпает, колени подгибаются, а я тяну, только отплевываюсь. И выменял-таки пудов с десяток зерна и кобылу попас, она уже себе и хвостом шлепает, сама тянет. Ну, думаю, радость везу, а там, может, и еще расстараюсь. Дурак думой богат. Позавчера ночью едем, я на возу дремлю, кобыла сама путь правит. И не почуял, и не крикнул, как связали меня, и кто — не видал, ночь, вишь, глухая была. Бросили меня у дороги, а кто-то еще крикнул: дай, дескать, ему что-нибудь — вот эта лепешка и была. Хлестнули кобылу и потарахтели. Я стал кричать — убейте меня, но, видать, уже не услыхали. Лежал целый день, и ночь пролежал, ноги совсем затекли, теперь вот ты меня вызволил, да не знаю, благодарить ли.

— А лица их не запомнили? — спросил Васюренко.

— Какое там лица! Ночь, говорю, глухая была.

Дядька Степан молча пососал незажженную цигарку и сплюнул.

— Чего я только не передумал, тут лежа! Времени хватало, спать не хотелось. Старая Кандзюбиха говорит: от Бога это. А люди и уши развесили. А я себе гадаю — мы, что бурьян у дороги, что репейник. Растем себе, пока дождь идет, а солнце припечет — сохнем, помираем. Пустое — мы. Только гонору у нас много. А отчего бы не быть гонору, если еда есть? А сколько их по деревням шляется, с гонором, городских этих, тех, что кричали: мы! мы! Вон в Песчаном сторожем профессор служит, десять, говорят, языков, и татарский знает. А лопать нечего — и науку свою бросил. Сбило им гонор, всем: видно, что мы — так себе, тьфу — ветер подует, мы и катимся. Э-эх, ежели был бы Бог, не так бы было!

— Так, по-вашему, и жить не надо? — спросил Васюренко.

— Ясное дело! Только привычка у нас плохая. Вот хотя бы и я — привык табак употреблять. И знаю, что черт-те что, а вот нету закурить — и сосет меня. И жизнь, как табак: куришь — горько, а после ветер дым разносит.

Васюренко вдруг вскочил.

— Ой, дядька Степан, — позвал он, — пошли домой!

— Ну и печет, — проговорил Степан, медленно поднимаясь, — видал я такое стекло, что если подставить его под солнце, можно цигарку зажечь. Хорошая штука.

Снова раскинулись перед ними высохшие поля; мелкая пыль, вздымаясь из-под ног, осыпала их точно искрами, горячий воздух душил, сдавливал грудь.

— Э-эй! — позвал дядька Степан. — Помнишь, в том году агитатор приезжал. Кричал, что мы, дескать, машиной пахать будем, машиной и дождь напустим. А где он, сукин сын, теперь со своей машиной? Бога, говорят, нету, а сами в божки лезут.

Дальше они шли молча. На околице села, когда расходились, Степан печально сказал:

— Высыпалась моя цигарка. Э-эх!

Васюренко направился к своему дому, не встречая никого по дороге. Было пусто и знойно — точно так же, как в степи. Он шел мимо домов с закрытыми окнами, с завалившимися овинами, с дворами, заросшими лебедой. В воздухе висела удушливая пыль, поднявшаяся из-под ног; ни лай собак, ни хрюканье свиней, ни людской гомон не колыхали эту раскаленную пыль; а впереди, на чистом горизонте, проступало село, как нарисованная безжизненная картина.

Когда он был уже близко от дома, с поперечной улицы по направлению к толковищу медленным шагом прошла старая Кандзюбиха. Там теперь сосредоточилась жизнь деревни. С раннего утра мужчины с трубками, чаще всего пустыми, и женщины с детьми покидали свои дома, где не было ни работы, ни хлеба, где было жутко от медленного умирания, — и сходились на толковище. Там изо дня в день тянулись одни и те же разговоры о голоде, о тяжкой доле, о том, что сеять нечего и нечем, обсуждались новости, если они были, а если не было, то и без них обходились.

Кандзюбиха, которой было уже почти сто лет, каждый день наведывалась на толковище. Там она поучала женщин и мужчин, когда они ее слушали.

Васюренко вошел на свое подворье. Его хата была такой старой, что ее пришлось подпереть кольями, «взять в рамки», как шутил покойный волостной писарь. Возле хаты стоял полузавалившийся погреб, а сарай он давно продал за пуд ячменя на дрова добрым людям. В сенях было темно и прохладно, он остановился и глубоко вдохнул в себя сыроватый воздух. А в доме густой смрад — еще плотней и тяжелей, чем раскаленная уличная пыль — ударил ему в голову, и он невольно задержал дыхание. Его сразу же затошнило, спазмы сдавили горло, и перед глазами поплыли красные круги. Он прислонился к стене.

Слабый голос тихо спросил:

— Кто там?.. Ох...

Васюренко не сразу ответил; спазмы обессилили его, и тяжелое путешествие немедленно дало о себе знать. Ноги дрожали, руки повисли, и он стоял, прислонясь к стене, судорожно глотая воздух.

— Это я, мама, — наконец выговорил он.

Не было даже на что сесть. Стулья, скамья, стол, сундук были проданы за время долгой болезни хозяйки. Казалось, люди случайно попали в эту пустоту и сейчас уйдут отсюда, оставив ободранные стены, распахнутую пасть печи и обрывки бумажных украшений, беспорядочно свисавшие с потолка.

Васюренко подошел к полатям, на которых лежала мать, и сел возле нее.

— Устал я, — проговорил он, словно бы извиняясь, — ночь не спал, идти далеко... Хлеба привез. А вы как? Марийка приходила?

Мать долго не отвечала. И Васюренко подумал, что Марийка приходила, кормила маму, обихаживала ее, что она и дальше будет приходить, а может, и вообще заберет мать к себе. Но вот больная прошептала:

— Не была...

Да. Не ходила дочка к матери и на этот раз не пришла. Богачка проклятая.

— Мама, — сказал он, — я размочу хлеба, вы поедите. А потом снимете все с себя, я возьму и вместе с постельным постираю на речке. Тут душно. А заодно, может, и рыбы на уху наловлю.

Мать молчала. Уже восемь месяцев лежала она высохшая, неподвижная, в полусознании, тихо постанывая днем и ночью. Иногда она не узнавала сына; безразлично принимала пищу, когда ее вкладывали ей в рот, и никогда не просила сама. В куче тряпья ее совсем не было видно, и для всех она уже и в самом деле не существовала. Только сын испытывал на себе тяжесть ее мертвой жизни.

Васюренко направился к дому своего шурина Корнейчука. Перешел через большую дорогу, через узкую боковую улицу и оказался у дома с железной крышей и разрисованными оконницами. Хороший дом, только много хлопот было из-за него у Олексы. Кто бы ни наступал — его дом всегда брали под штаб. А за сараем было расстреляно двое гетманцев, шестеро махновцев и трое коммунистов. Долго виднелась кровь, дети ходили смотреть.

Во дворе не было никого, и Васюренко вошел в сени. Как только скрипнули двери, из-за дома выбежала Марийка.

— Это ты? — крикнула она.— О Боже мой, вот что значит, когда собаки нет! Я за домом ребенка укачиваю — в доме дышать нечем,— а тут иди себе прямехонько в дом и бери что хочешь. Ребята подались куда-то... Сирка нашего украли, я-то знаю, кто. Зинченки проклятые съели, сама видала его хвост у них за сараем. Вот голытьба, прости Господи! Вчера только отошла к погребу, смотрю — а Грицаенков Юрко уже краюху хлеба из хаты тащит. Аж за огородами нагнала его, сукиного сына, все руки искусал, пока отняла. Вернулась — а у моего Сереги детвора хлеб отобрала. Одно мученье, прости Господи!

— Вот я и пришел сообщить,— сказал Васюренко,— был я на станции, так и Олекса там. Велел выезжать на лошадях, и чтоб остальным передала.

Марийка кинулась звать парня с лошадьми:

— Василь, Василь, веди лошадей!

Васюренко сел на крыльце. Не приглашает его Марийка в дом. Боится, как бы есть не попросил.

Когда телега загромыхала со двора, Марийка якобы снова заметила брата.

— Ты еще тут? — спросила она.— Надо дом запереть, пойду ребенка укачивать, так чтоб не зашел кто.

— Марийка,— сказал Васюренко,— ходил я в город, на последнее, что было, буханку выменял. Пришел, мать накормил. Но надолго ли хватит? Все вынес — пустой дом, а я вот он — весь тут. Олекса зерно привез — одолжите пуд. Я вдвойне отработаю. Здоровый я, отощал только. Но не вечно ж голоду быть — урожай будет, оживем. Сама знаешь, какой я работник. Одолжи, Марийка! Не для себя — для матери прошу.

— Пуд зерна! — вскрикнула Марийка.— Господи помилуй, откуда ж у нас эти пуды! Четверо детей с голоду пухнут, наодалживались так, что лошадей скоро продавать придется. Да ты что, одурел — такое сказать: дайте пуд зерна! Люди понапридумывали, будто есть у нас, и ты туда же! Ну так то посторонние, им рты не позатыкаешь, а ты же свой — и туда же, такое несешь. Дождалась от брата, прости Господи!

— С матерью последним делиться надо,— сказал Васюренко, не поднимая глаз.— А ты хоть зернышко дала?

Марийка будто не расслышала последних слов, покачала головой:

— Все говорят, и я скажу: плохо ты с матерью поступаешь! Не маленький, слава Богу, двадцать три уже, а как ребенок. Маму Бог призывает, а ты ее держишь. Мучаешь только ее, грех тебе, Гриць. Не просит она есть, ты сам в нее впихиваешь. Что она, родней тебе, чем мне? А я вот вижу — тут воля Божья, великий грех против Бога идти,— Марийка вытерла слезы: — Дай ей спокойно умереть.

Васюренко усмехнулся и махнул рукой.

— Так, значит, если мать умирает, то и придушить ее? Как Володченко жену или Петриха ребенка?

Он поднялся и глянул на сестру — ишь какая гладкая, не ущипнешь!

— Ты еще про Бога вспоминаешь... Да если он видит с неба, то покарает тебя за жадность.

Марийка перекрестилась.

— Да сохранит меня Господь от твоей злобы!

Васюренко пошел прочь. Не дождется она, чтоб он еще раз попросил ее. Эх, не зря пишут про кулаков — не души у них, а железо, камень твердый.

Он медленно приближался к своему дому. Ну вот, дошел уже до края, дальше некуда. Буханка на двоих — это ненадолго. А больше нет и взять неоткуда.

Возле хаты Андрея Чоботаря он остановился и снял драный картуз. Андрей с женой несли на кладбище своих сыновей. Сплели носилки из лозы, положили их, непокрытых, и несут вдвоем.

— Когда померли? — спросил Васюренко.

— Один вчера вечером, второй сегодня утром...

— Да вот торопимся,— сказала женщина,— говорят, сегодня батюшка будет по могилкам ходить, всех погребенных разом отпускать.

— Вот так-то,— вздохнул Андрей,— несем... а нас кто понесет? Так и сгнием в хате. Пошевеливайся, Параска!

Они двинулись дальше.

Дома Васюренко сел в холодке за хатой — ох и жарища, последние силы вместе с потом уходят! А он уж и так был вконец обессилен: руки затекли, ноги отяжелели, тело вялое и какое-то противное. Было уже за полдень, и он съел немного хлеба. Его затошнило, и пришлось лечь на спину возле стены. Так он лежал долго — солнце уже склонилось к закату, а он все лежал. Глаза не закрывал, руки положил под голову — и думать не думал, и спать не спал. Было тихо, безветренно, душно даже в тени, и уличная пыль, казалось, стелилась туманом перед глазами. Было тихо. Только раз процокали лошади и затарахтело — ехали со станции Корнейчук и другие.

Когда солнце заходило, ему показалось, что он немного взбодрился. Хотел было подняться, но от одной мысли об этом заныло все тело. Он вздохнул и стал засыпать — медленно, постепенно.

Утром Васюренко проснулся поздно — солнце поднялось уже высоко. Долгий сон не укрепил, а только еще больше расслабил и разбил его тело. В голове стучало, руки дрожали. Внутри сосало, тянуло, живот словно бы подвело к самому горлу. Изо рта несло гнилью, и он икал от ощущения этого запаха. Хотел сплюнуть, но слюны не было.

Качаясь, пошел в дом. Жуткой и дикой показалась ему пустота в доме, грязь и едва слышные вздохи матери. Воздух был, как застоявшаяся вода, казалось, запах из его рта залил все помещение. Васюренко остановился и ухватился за дверной косяк; вся комната померкла и поплыла от него куда-то далеко-далеко.

— Вот и каюк мне,— подумал он, закрывая глаза.

Но у него еще оставались силы. Он подошел к полатям и сел, хотя голову разрывало на части.

— Мама,— проговорил он.

Больная с усилием повернула голову. С желтого, подернутого синевой лица на него глянули ничего не выражающие водянистые глаза; над ними свисали нечесаные, свалявшиеся в колтун седые волосы, а посреди лица безобразной дырой чернел раскрытый рот. Васюренко показалось, что мать смотрит ртом, а не глазами. Ничто в ней не напоминало ему мать, ни собственную прошедшую возле нее его жизнь, ни ее хлопоты, заботы, работу. Все было чужим в ее теперешнем облике: в морщинах, в заострившемся носе, в ниточках свисавших рук.

— Мама, будете есть? — спросил Васюренко.

Больная не шелохнулась; она лежала на спине, и глаза ее смотрели, не мигая. Тогда парень отломил немного хлеба, смочил в воде и положил ей в рот.

— Мама, глотайте,— крикнул он.

Больная медленно глотнула и беззвучно пошевелила губами.

— Мама, глотайте,— крикнул он снова.

Сначала он безучастно отламывал и вкладывал в рот матери хлеб. Но вот в спертом воздухе, заполнявшем комнату, он вдруг ощутил чистый, прекрасный запах размоченного хлеба. Этот аромат защекотал ему ноздри, и он вдохнул его во всю полноту легких, нагнулся над буханкой и понюхал — дивные, пьянящие струйки исходили из нее. Он затрясся; слюна мигом заполнила его рот, он не сплевывал, и она капала тягучими каплями с подбородка на грудь.

«Время уже и мне поесть,— восторженно думал он,— раз в день, уже пора...»

Васюренко отломил кусок, положил себе в рот и долго жевал, не гло-

тая; а потом начал глотать быстро, давясь, и с каждым глотком в него вливались покой и сила. Он успокаивался, прояснялась голова.

«Крепкий я,— думал он,— кто из парней на улице решался выйти биться со мной? Вот только ослаб немножко. Эх, если бы не мать, неужто пропадал бы? На Полтавщину или Киевщину подался бы, повсюду заработаю. Мать повязала меня — тут уж ничего не поделаешь. Я не Марийка и не Володченко, чтоб людей губить. Мать не оставлю — такое дело».

И чем дальше, тем легче становилось ему и спокойнее. Приглушенные голодом мечты вновь овладевали им. Он думал о машине, с помощью которой можно создавать дождь. Он был уверен, что такую машину можно построить. Ему представлялся огромный паровик — может быть, раз в сто больше, чем поезд, на котором он приехал, и длинная-предлинная труба, и воткнута она в самый океан. По этой трубе воду тянет сюда, взметает вверх, и она дождем падает на землю. Под ним красуются нивы, наливается зерно, клонится долу тяжелый колос... А дядька Степан говорит, что человек — чепуха, так себе, плюнь да разотри. А поезд — тоже тьфу? А эроплан? А лектричество? О, он читал,— как придет коммуна, так повсюду лектричество будет. А голод разве при коммуне будет? Он знает, что коммуна — это хорошо, так надо, да только народ — хоть кол ему на голове теши. Вот, к примеру, Тимош Удовиченко, тот, что помещика выгонял и красным платком грудь перевязывал, про свободу кричал — теперь в коммерцию подался, за хлебом ездит и говорит:

— Что ж вы, люди добрые, не соберетесь и не всыплете мне как следует за то, что я вас с панталыку сбивал?

А учитель говорит:

— Коммуна — это кукиш тебе под нос.

Глупый народ! Говорят — пусть хлеба дадут. Без коммуны, говорят, жили. И все про смерть... И малый и старый — смерть, смерть. Как будто больше и нет ничего на свете. А сами на месте сидят — ну и косит их...

— Глупые,— проговорил он вслух и почуял что-то неладное. Он испуганно встал и огляделся вокруг. Возле него вместо початой вчера буханки лежала небольшая объеденная краюшка. Он не верил собственным глазам; нагнулся, заглянул под полати — не завалился ли туда кусок. Не было, не было. Это он съел буханку и не заметил, увлеченный своими мыслями. Ужас наполнил его душу, он стоял, точно окаменев.

— Гад я,— шептал он,— гад, сволочь. Мать обокрал.

Он даже потемнел от горя, от ненависти к самому себе. На мать стыдно было взглянуть, мерзко было слышать урчание своего желудка. Он махнул рукой.

— Пропади все пропадом.

В нем словно что-то оборвалось, и стало ему все безразлично. Он осторожно вытащил из-под матери тряпье, взял удочку и накопал червей; черви были глубоко, и он долго колупал засохшую землю. Потом он пошел к реке. Жара на улице нагнала на него еще большее безразличие. Он двигался, как привидение.

Вот и река. Васюренко остановился. Вода лежала перед ним, спокойная, неподвижная, отражая на своей глади такое же замершее безоблачное небо. Песок и камень обжигали ноги.

Он разделся и принялся стирать. Безжалостно бил об камень желтое, прямо-таки рыжее от грязи тряпье, тер песком и полоскал. Потом развесил его на камнях сушить, а сам, голый, принялся ловить. Перебирался с камня на камень, закидывал удочку. Попался один ершик — он держал его в руке,— и больше не клевало. Белье высохло, приходили на водопой коровы, купались дети, Васюренко бросил пойманного ерша в воду и поплелся домой.

Дома он не мог найти себе места. Сел в тени за хатой, но вскоре перешел в сени: тут было прохладно, и он лег, но тоска и безнадежность не отступали от него. Он встал и опять вышел во двор — солнце пахну́ло ему прямо в лицо, над головой тянулось небо, подобно полыхающему буйными красками ковру, и вокруг была тишина и замершие хаты.

«И как же это я? — думал он.— Как я не заметил? Эх, точно говорится: голодный — беспамятный».

Васюренко то и дело прокручивал эту мысль, и чем дальше, тем тоскливее ему становилось, тем более тошно. Голова его поникла, руки ослабели. Он окинул взглядом завалившийся погреб, поросший бурьяном двор и свою хату «в рамках».

— Охо-хо,— произнес он громко,— конец приходит. Другие хоть хату продать могут, а мне и это нельзя.

Однако не таков он, чтоб лечь и ждать смерти. Говорят, из табака хоть и никчемную, но все же какую-то пользу можно извлечь. Муку из него какую-то делают. Пойти поспрошать.

Он надвинул кепку на лоб и пошел на толковище. Там, как обычно, все общество. Куркулей не видно — им-то что, к ним общество и само придет... Бабы отдельно, мужики сами по себе, а как сойдутся — тут и начинается крик. Сегодня как раз все собрались вместе. В центре старая Кандзюбиха, напротив нее дядька Степан, распатланный, без шапки.

— Дурная ты баба,— говорит он,— до седых волос дожила, а ума не нажила.

— А ты, проклятый! — вопила баба.— А ты, антихрист! Отойдите от него, люди добрые, в нем сатана сидит! Идите в город, сами посмотрите. Своими глазами видала: Николая-угодника икона новая стала, Божьей Матери — новая и Пришествие — новое. Народу — не протолкнуться, а большевики нагайками разгоняют. Боже мой, вот это чудо! Бог велит терпеть, милость свою являет. Приложилась я, на колени упала, Господи, спрашиваю, будет ли урожай? И слышу — шепчет кто-то: будет урожай. На куски меня режьте, если вру!

— Да станет ли Бог с такой дурой говорить? — спросил дядька Степан.— Эх, баба, вот кабы мне Бог буханку испек. Вы все про Бога, а толку с него никакого. Иконы, вишь, обновляет, а кому от этого тепло?

Мужики засмеялись.

— Бог видит — никчемными стали люди,— добавил дядька Пилип,— вот сам себе ремонт и делает.

Но женщины отвели Кандзюбиху в сторону, и она продолжала для них свой рассказ. Дядька Степан плюнул.

— Ох и вредная эта баба! Только муть наводит. Надейтесь, говорит, от Бога все. А какая там надежда, если от голода пухнем. Видим ведь, что за жисть у нас, для чего глаза-то замазывать? Подыхаем, вот и все тут.

— Подыхаем, да не все,— проговорил маленький дядька Пилип,— вон Тимош уже и роялю для дочки купил, учителя на музыку нанял. Хвастает, что к весне мотор купит для молотилки — у меня, говорит, по-европейскому будет.

— Десять домов уже купил,— мрачно добавил кто-то,— два пуда ячменя — вот и дом.

Тут, на толковище, была у них своя компания. Жены их поумирали, дети тоже либо померли, либо разбежались, хаты проданы за два пуда ячменя. На что она, хата, если нет ни жены, ни хозяйства, если один как перст остался? Вот и идут они со своими пудами на толковище; здесь и живут — большие усатые сироты, пока хватит их пудов, а как кончатся — ничего не поделаешь, придется пухнуть. Сегодня один опух, завтра — второй, а через день, глядишь, уже и помер. Отнесут его на кладбище, закопают, а на его месте — новый сирота. Не уменьшается их братство!

Не было тут жалоб, нареканий, проклятий. Смерть принимали без отчаяния, не удивлялись ей. Вчера умер Василь, сегодня Панас, завтра я. А такие, как дядька Пилип, еще и шутили.

— Скоро ли,— спрашивает,— будет мне амба?

Мучились тихо, скрытно. Тяжко тебе — уйди куда-нибудь и стони. А на людях будь веселый, не хныч. Всем тяжело, не одному тебе.

И так оно было просто: ходит, ходит человек — худой, кости друг о дружку стучат, потом, глядь, округляться начинает, будто соком наливается, сапоги с себя снять не может, так толстеет. Только серым, прямо-таки синим с лица становится — тогда уже хоть и дай ему есть, не поможет. Опух — значит конец, каюк. Поползает так немного, да и даст дуба на улице ли, под забором или возле хаты — где придется.

— А вот и мой спаситель! — крикнул дядька Степан, увидев Васюренко.— Здорово, парень! Как твои дела?

— Плохо,— ответил тот,— конец приходит. Вот спросить хотел, как это из табака хлеб пекут?

— Брось ты этот табак,— сказал дядька Пилип,— от него только быстрее смерть бывает. Разопрет живот, поползаешь немного, да на тот свет.

— Выходит, и тут не зацепишься,— проговорил Васюренко.

— А зачем цепляться? — ответил дядька Степан.— Опускайся на дно. Чуднó это мне — бьется, бьется сердечный, а все одно вытянется. Ты на меня посмотри. Пришел я домой, когда ты меня развязал, а жену мою уже к Богу отнесли. А детей пятеро, и черт их не берет. Обсыпали со всех сторон, смотрят на меня. А я как стукну кулаком по столу — убирайтесь куда хотите, чтоб духу вашего здесь не было. Испугались, разбежались, как мыши. Запер я хату и сюда. Твой зятек, Корнейчук, полтора пуда дает за хату, а я не беру, пусть подавится. Что мне с того пуда? Детей им не накормлю, а сам все одно пропаду, не спасет он меня. Подохну, поедят меня черви, вот и пожил, значит. Правда, товарищ? — Он ударил по плечу дядьку Пилипа.

Маленький дядька засмеялся:

— Такую падаль и черви есть не станут.

Женщины повели угощать Кандзюбиху — она тем и жила. Толковище затихало; сидели небольшими группками и тихо переговаривались. Но Васюренко узнал новость — американцы, о которых уже давно говорят, должны-таки завтра приехать и будут раздавать еду детям и больным. Никто в это не верил. Васюренко побежал к старосте — записал мать.

А староста говорит:

— Много уже попухло с американских обещанок.

Но американцы все же приехали. Правда, не завтра, а через три дня, и не американцы, а начальники из области. Собрали кое-кого из знатных — старосту, учителя, Тимоша и бывшего продавца, посовещались и открыли столовую. Бабы передрались, кому там куховарить, а старая Кандзюбиха сказала:

— Не ешьте, люди добрые, той еды. Она от дьявола, это жиды им возят. Тьфу на них!

Когда выдавали первую пайку, все село собралось у правления. Дали только тем, кого записал староста. Дали молочной каши, белого хлеба и по стакану какао. Осчастливленные поспешно уходили, а остальные хмуро говорили:

— Лучше бы ячменного, да всем. Такая-то она правда.

Говорили, что староста записал, кого захотел, а себя целых два раза. И родичей своих, и приятелей.

Все общество с толковища стояло тут же и молча смотрело — до тех пор, пока не кончили выдавать.

— Вот мудрация,— сказал дядька Пилип,— дают детям и больным, а мы под эту категорию не подходим.

— А где мои дети? — проговорил дядька Степан.— Развеялись, как пыль, осели где-то... Да оно и лучше — малыми помрут, горя знать не будут.

Предлагали колоть дрова для столовой, но мужики с толковища были уже не годны на это. Дядька Степан показал свою руку — она была пухлая, как у младенца, и пальцы как будто в перевязочках. Опух Степан.

Васюренко торопился домой, нес еду. Он совсем обессилел, пока стоял в очереди,— с того дня, как полакомился он той буханкой, ни зернышка не держал во рту. Три дня постился, а тот оставшийся кусочек для матери сохранял. Лицо его изменилось: борода отросла неровными клочьями, глаза запали и нос стал тоненький, как щепка. Весь он словно бы вытянулся и казался непомерно высоким. У него появилась привычка тереть рукой лоб, как будто вытирая набежавший пот.

Войдя в дом, Васюренко перевел дух и хрипло произнес:

— Мама, слышите... дали, принес вам...

Он на мгновение зажмурил глаза и потер лоб ладонью. Ему захотелось ссутулиться и так ходить.

Мать не отзывалась. Парень поставил еду на полати и наклонился над больной — она была мертва. Сын сразу ощутил мертвенный холод ее тела, однако тряс ее и звал:

— Мама, слышите! Еда есть, поешьте... каша, хлеб настоящий... Мама, слышите?

Но мать молчала. Васюренко распрямился и махнул рукой.

Эх, не выжила мама, не судьба ей. Бедовала весь свой век и померла в недобрый час. И поесть принес ей, а уже не нужно. Не спас он ее — может, если б не съел тогда ту буханку и давал бы ей побольше, додержалась бы. А так — все прахом пошло: ни ему, ни ей.

Васюренко сел на пол и уронил голову на грудь. Каждой клеточкой своего тела он ощущал усталость и боль. Саднили руки и ноги, в голове было холодно, а во рту сухо. Он явственно чувствовал, что в комнате он один.

Внезапно он вспомнил про принесенную еду. Чего ж ей пропадать? Мать умерла, ей не нужно, а он может съесть.

Васюренко взял в руки миску и с неожиданной силой сжал ее. С первого же глотка его охватило какое-то безумие: он рвал зубами хлеб, стонал, пыхтел и припадал к миске не губами, а всем лицом. В минуту он опустошил ее и вылизал. Процесс еды отнял у него последние силы; он упал около полатей и лежал, с наслаждением ощущая расслабленность своего тела, спокойствие и легкость.

Под вечер он встал и напился воды. Он был совсем слабый, но чувствовал себя бодрее. Мать умерла — эге-ей, теперь путь перед ним открыт! Везде заработает, всюду человеком будет. Пойдет на Киевщину, подастся на Полтавщину — и будет хлеб: работник-то он хороший, нужный.

Он потянулся, но руки безжизненно повисли. Нету сил... Разве годится он для работы? Разве поднимет он мешок? Кто его, такого, возьмет? А дорога далекая — притомится, да и помрет где-нибудь посреди степи. Уныние и хорошо знакомая тоска охватили его. Он вспомнил, что в доме покойник, и ему стало жутко в сгущавшихся сумерках. Он открыл дверь — на небе взошла бледная луна, и над горизонтом повысыпали звезды.

Васюренко сжал кулак. Впервые за месяцы голода в нем пробудилась злоба и сдавила ему сердце. Он насупился и нахмурил брови.

«Вот оно как,— думал он,— кормил, нянькой был, а теперь померла и меня за собой тащит. Умела мать жить и работать, а помереть не умела. Э, да что там говорить!»

Он знал, что погибает, что не выжить ему, и отчаянная жажда жизни запылала в нем диким, безумным огнем. Он хотел работать, он чувствовал, что умнее своих земляков, а если б еще немного подучиться — куда тем агитаторам, что приезжали! И вот он должен умереть в этой хате «в рамках»? Все его существо взбунтовалось, воспротивилось этому.

А что, если смолчать, не говорить, что мать умерла? Он прямо-таки остолбенел от этой мысли. Будут давать еду как бы для нее, а он будет есть. Всего три-четыре дня — и он окрепнет, наберется сил и тогда пойдет на заработки, выбьется, возьмет свое.

Эта мысль завладела Васюренко и не отпускала его. Всего три дня промолчать — и он спасен.

Да только как продержишь покойника три дня в доме да в такую жару? На три улицы запах слышно будет. Надо вынести тело... Увидят? Тогда все пропало. Что делать, что придумать?

Он стоял, задумавшись, и еще никогда в жизни он не чувствовал себя таким бессильным, никчемным и несчастным. А жить хотелось, да еще как! Три дня, три дня — и он спасен.

Васюренко думал:

«Вот была мать жива, разве ж я не ухаживал, не заботился о ней, разве не кормил до конца? А теперь уже нету ее. Это не мать там лежит».

Он стоял долго, словно окаменев. Луна проплывала посреди неба, и от речки разливалась прохлада. Он стоял неподвижно и все время повторял:

— Это уже не мать. Матери нету.

Наконец он решился. Вошел в дом твердым шагом, взял в охапку труп, вынес и бросил в заваливишйся погреб. Потом прислушался.

На другой день Васюренко принес себе еду. Вошел в дом и от ужаса едва не выпустил из рук миску: на полу лежала его мать. Он замер, и волосы зашевелились у него на голове. Потом вспомнил, что ночью сам же специально соорудил из лохмотьев чучело, чтобы если кто войдет, подумали, что лежит человек.

Он поставил миску, но страх не проходил. Осмотрел комнату — она была все такая же пустая, обшарпанная и пыльная.

Он ужасно устал. Странной была прошедшая ночь: он лежал и то ли думал о чем-то, но не мог вспомнить о чем, то ли просто дремал, то и дело просыпаясь, а настоящий сон все не приходил. Ночи летом короткие — взошло солнце, пахнуло зноем, разогрело землю; дышать нечем, голова кружится, хочется лежать и лежать.

Но он встал — нет, он вскочил. Никогда еще сердце его не колотилось так быстро; точно кнутом ударила его мысль, что он свою мать, как падаль, как дохлую собаку, вышвырнул. Первым его желанием было уйти куда-нибудь далеко-далеко, чтоб и ветер из этого края не долетал до него. Но сил было так мало, что каждое движение причиняло боль.

«Куда бежать? — с тоской думал он.— Оголодал я... Нету мне пути».

Он тер лоб рукой и хмурил брови.

Постепенно он успокаивался; вчерашнее начинало казаться не таким уж страшным. Не зарезал же он человека! Кто из сыновей сравнится с ним? Видал он и сыновей и дочек таких, как Марийка. Кто посмеет упрекнуть его за мать?

«Ой, баба я, баба,— думал он,— да еще какая».

Глупости все это. Будет жить, работать, и людям от него польза будет. Начнет учиться, книги большие читать, а книжку прочитаешь — словно солнце взойдет. Трудно шел он в науку, а все же дошел. Раньше только для господ это было, теперь не то — теперь их, горемык горьких, очередь пришла.

Он опять грезил о Киевщине и Полтавщине. Как говорил Корнейчук — не собачину, а свинятину в борщ кладут, хорошо заработаешь, парень.

Обед он взял. А пришел домой — и снова, подобно осеннему листу на ветру, был он слабый, желтый и беспомощный. Поставил еду на полати, а сам сел возле чучела. Казалось, он поднял какую-то чрезмерную тяжесть, и не было в нем ни силы, ни живой мысли — все выкошено, вытоптано, разметано ветром.

День тянулся долго; иногда казалось, что он никогда не кончится. Васюренко сидел согнувшись и чувствовал, как затекают у него ноги и слабеют руки. Вставать не хотелось. В голове было серо и раздольно, как ночью в занесенной снегом степи. Иногда откуда-то выплывала мысль, что покойник уже не человек, что человек бывает до тех пор, пока жив; иногда думал о Полтавщине, где много хлеба и можно заработать,— и все это неясно, словно что-то инородное, чужое, без остатка растворялось в серой пустоте его головы.

Неслышно пришел вечер. Васюренко заметил его, когда была уже ночь. Он через силу поднялся, выплывая из забытья, разобрал чучело и разбросал по полу лохмотья. Потом вышел и встал возле погреба.

— Совесть мучает,— подумал он,— вот оно что. Мучает, рвет на части, сушит меня. Пропал я.

Он сел на крыльцо и опустил голову на руки. Когда он поднял голову, уже светало. На востоке расцвели розовые облачка, заклубились, наливаясь пламенем, и взошло солнце.

В этот день, а может, на следующий пришла Марийка. Она обнаружила брата в доме — он неподвижно лежал на полу.

— Ты еще жив? — позвала она.

Он поднялся и смотрел на сестру, не узнавая.

— Чего глаза вытаращил? Это я, Марийка. Говорят, мать умерла, раз ты за обедом не ходишь.

— Умерла,— ответил он.

Марийка увидела на полу миску с кашей, какао и черствый белый хлеб. Мухи черной тучей роились надо всем этим.

— О! — сказала она.— Это то, что американцы дают! Ну-ка, попробую.

Васюренко двинулся на нее и закричал страшным, потрескавшимся голосом:

— Не трогай! Тебе своего мало!

— Свят, свят! — Марийка перекрестилась.— Тьфу на тебя, совсем взбесился! Да пропади она пропадом, эта еда. Ты скажи, куда мать дел? Ты похоронил ее?

Он молчал. Марийка засмеялась.

— Что-то никто не видал, как ты ее хоронил... Где она?

Он молчал. Марийка закричала:

— Проклятый! Ты съел ее!

Она побежала прочь. Васюренко сел на пол и угрюмо смотрел, как мухи пожирают американскую еду.

Через минуту народ с толковища валил к дому Васюренко. Все бежали посмотреть — такого еще не бывало, чтобы кто-то съел мать.

Впереди всех поспешала старая Кандзюбиха. Она прибежала первой и перекрестила хату:

— Спаси и сохрани нас от людоеда...

Весь двор наполнился народом. Бабы, расталкивая друг дружку, пробирались вперед. Рассказывали, будто бы кто-то видел, как Васюренко разделывал мать и ночью варил из нее суп. Высказывали предположение, что и пропавший маленький сын Савки тоже пошел на жаркое Васюренко.

Председатель сельсовета постучал палкой в дверь.

— Выходи.

Васюренко вышел и остановился на пороге, держась за дверь. Все ойкнули — он точно восстал из гроба: высохший, сгорбленный, весь какой-то скрюченный, как старая сухая ветка.

— Признавайся, ты съел мать? — крикнул председатель.

— Нет,— ответил Васюренко.— Она сама умерла, а я бросил ее в погреб.

— Брешет, брешет,— загудели вокруг.

Председатель сельсовета приказал осмотреть погреб. Там действительно лежало тело.

— Зачем ты это сделал? Ты знаешь, как строго сейчас насчет покойников? Чтоб не было заразы. Тебе что, лень было похоронить?

Женщины были не удовлетворены. Говорили, что Васюренко уже хорошенько объел мать, а сегодня вечером доконччил бы, так вот помешали.

— Чтоб погреб засыпал! Чтоб тут мне заразы не было. Слышишь?

Васюренко покачал головой.

— Нет,— произнес он,— нет уже у меня сил.

Председатель сельсовета ударил его палкой.

— Вот гад! Так это я должен делать?

Толпа расходилась. Кандзюбиха говорила, что это место надо освятить.

1923 г.

Перевод с украинского Елены Мовчан

Владимир Шемшученко

УСТАЛЫЕ ЛЮДИ

* * *

Придверный человек в роскошных галунах
С презрением глядит на выцветший пиджак.
Не впустит.
Знает, гад, что я не при деньгах,
А помню — за мой счет был выпить не дурак.

Он говорит, что мне не стоило вообще...
Но счет ведет иной — на смятые рубли.
И в три цены портвейн сует в дверную щель,
А за стеной гремит: «Всё могут короли...»

* * *

Отец, ты слышишь, как гудит земля,—
Они встают и требуют расплаты.
Но тащится страна, как остов корабля,
И вместо парусов — опять плакаты.

Бегу из царства отрывных календарей,
Где осень вечная, где листопад бумажный,
Где души обворованы на треть,
И каждый — соучастник этой кражи.

* * *

Помню, дьявольский этот соблазн:
Жизнь прожить в полный рост, без обмана,
Нашептал мне угрюмый и пьяный
Возле местной пивнушки мужик,
Выгребавший последнюю медь
Из продутого ветром кармана,
Чтобы завтра, с лихого похмелья,
Опрокинуть в кювет грузовик.

Что он смог доказать и кому?
Смерть есть смерть — и не будет иначе,

Владимир ШЕМШУЧЕНКО родился в 1956 году в Караганде, был учеником слесаря, позднее, после Киевского политехнического института, пять лет отработал на никелевом заводе в Заполярье. Сейчас — начальник цеха на карагандинском предприятии по переработке цветных металлов. Студент-заочник 4-го курса Литинститута, участник Девятого Всесоюзного совещания молодых писателей. Живет в Караганде.

Но, так хочется верить, заплачет
По нему умирающий век
И по всем, кто еще не сбежал
На крылатой заезженной кляче
За черту, где над словом не властен
Ни один на земле человек.

Уповаю на русскую речь,
В ней ищу совершенства истоки.
Я иду, распадаясь на строки,
Сквозь гранитную твердь бытия,
Чтобы где-нибудь этот мужик,
Отбывавший вселенские сроки,
Повстречался на торной дороге
И в глаза поглядел, как судья.

Семипалатинск

Прощай, забытый Богом и людьми,
Ты не заметишь моего ухода.
К лицу тебе любое время года,
И мой тебе поклон в последний миг.

Я ухожу, но помню о былом,
И мысленно, неспешными шагами,
Вхожу в знакомый двор, где жил долгами
И доминошно-карточным столом.

Прости мне эти горькие слова,
Что стынут застарелою бедою...
Обнимемся, как чахлая трава,—
С радиоактивной талою водою.

Караганда

Дождь прошел стороной, и вздохнул терриконик —
Сводный брат нильских сфинксов и сын пирамид.
Смерч подбросил листву в раскаленных ладонях,
Кинул чью-то косынку на мой подоконник,
Оборвал череду моих мыслей на миг.

Вечер сыплет крупу антрацитовой пыли
На бегущие строчки рекламных огней...
Город мой, ведь тебя никогда не любили,
Твои сказки похожи на страшные были,
И горит на закате карлаговский снег.

Отгремели литавры латунных и прочих
За народ отболевших, морщинистых лбов,
На их место сбежалось немало охочих —
Музыкантов, игравших не то чтобы очень,
Но усвоивших музыку правильных слов.

Вдавлен в жидкую грязь отпечаток подошвы,
Ночь троллейбусам уши прижала к спине...
Город кормит с ладони остатками крошек,

Прячет в темных дворах издыхающих кошек,
Но «собачники» утром отыщут их след.

На сожженную степь, на холодный рассвет
Дует северный ветер — гонец непогоды,
На дымящие трубы нанизаны годы.
В этом городе улицы в храм не приводят.
Да и храмов самих в этом городе нет.

* * *

О том, что в мир вернется красота,
Отец и мать твердили мне с пеленок.
А мне в лицо смеется мой ребенок
Морщинками у старческого рта.

Как горько, что ему смешны слова
О гордости былой великороссов...
Я сеял мысли — вырос лес вопросов,
И дальше — больше: кругом голова.

А он молчит и судит жизнь мою
Жестоким, молодым непониманьем
И провожает с пристальным вниманьем
Усталых птиц, стремящихся на юг.

* * *

Не приветствую звоном щита,
Отвергаю безумное время —
В поединок вступить не успевшим
Достаются обрывки газет.
Потускнела на башне звезда,
Вымирает бессильное племя,
И подошвами тысяч прохожих
Втоптан в грязь угасающий свет.

Истязаем, бичуем себя,
Пляшем наги и босы пред миром,
Позабыли, что битых прилюдно
Не пускает никто на порог.
И ничем мы не лучше других,
Мы всегда поклонялись кумирам.
А теперь разрываем могилы
И виним в своих бедах лишь рок.

Мне такого народа не жаль.
Пусть его — отшумит, отбуянит,
Страх и ненависть выплеснет в рёве
Кровожадной, голодной толпы,
И уже навсегда замолчит,
И уляжется в черные ямы,
И с востока ворвавшийся ветер
Унесет ядовитую пыль.

23 февраля

Последняя неделя февраля,
И, вглядываясь в сумрачные лица,
Приветствую тебя, моя столица,
Шуршаньем деревянного рубля.

Сегодня ты на диво хороша:
Большому кораблю — большая свалка...
И все бы ничего — до смерти жалко
Сожженного в Разливе шалаша...

* * *

Иссякает и гибнет родник языка,
И глаголы растут, как дурная трава.
До краев наполняю граненый стакан,
Выпиваю до дна, и светла голова.

Опускаюсь в колодец, на самое дно.
Вся душа в синяках, но об этом потом...
Бессловесному страшно в миру и темно,
Даже если себя осеняешь крестом.

Усталые люди

По следам прошлогоднего сна,
По следам недовольства на лицах,
Где словесное рукоприкладство
Отпечаталось сетью морщин,
Я прочту безучастность людей
К незатейливой песне синицы,
И к тому, что сентябрьский воздух
Ночами немножко горчит.

Я их вовсе не стану жалеть —
Это просто усталые люди,
Беззащитные перед потоком
Откровений газетных полос.
Им подарена новая жизнь
Вместо кем-то придуманных буден,
А они все глядят в телевизор
И друг друга доводят до слез.

г. Караганда

ЖЕЛТОК ЯЙЦА

РОМАН

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Похищение Европы

К Рождеству спецагент Джеймс Доллархайд достиг пика своей формы, если, конечно, не принимать во внимание плачевную разруху в его концепции Молодого мира. Совершая пробежки вдоль каньона Рок-Крик, Джим размышлял о быстро нарастающей маскулинизации своих вкусов и рефлексов. Что происходит, черт возьми? Еще недавно он вряд ли остался бы равнодушен к стройному япончику, которого он только что заметил возле доски объявлений парка отдыха. У него больше не подкруживалась голова, когда его ноздри улавливали запах чудесного мужского феромона из подмышек пробегающего мимо атлета. Вместо этого простой вид двух незначительных выпуклостей на грудной части женского тренировочного костюма или даже еще менее значительный, но, по каким-то непонятным причинам, дивный, невыразимый изгиб бедра бегущей девушки заставлял его жадно хватать ртом хорошо прогазованный вашингтонский воздух.

Эта додекафония в его столь грациозно настроенном оркестре была вызвана — он не мог не признать этого — той лиловоглазой нимфой с ледяной окружности возле Национального архива. От Алика Жукоборца, соседа Урси по клевому кооперативчику Кондо дель Мондо, он узнал, что она всеми признана как «бесовски одаренная сучка в области русистики», что она, к тому же, ненавидит русских и придерживается исключительно свободных взглядов по любому вопросу. Некоторое время он пестовал робкую надежду, что она также принадлежит к Молодому миру. Он даже нажал на Алика, чтобы выудить из нее хотя бы намек на ее лесбийские склонности, однако Алик заверил его в противоположном. «Можешь мне поверить, старик, это хищная Мессалина вашего проклятого американского поколения *йаппи...*»

Что касается его клиента, третьего члена их трио, Фила Фофаноффа, то, едва лишь Джим спросил его об Урси, тот немедленно начал петь «Песню Индийского гостя». Странная цепь ассоциаций, ей-ей, странная цепь.

Чтобы оправдать свою неутолимую жажду видеть ее как можно чаще, то есть каждый день, Джим убедил сам себя, что ее следует внести в список сомнительных персонажей Тройного Эл и поставить под мягкое, в высшей степени деликатное наблюдение. Через улицу от клевого Кондо дель Мондо он обнаружил сербский ресторан «Шибица» и сделался там, что называется, завсегдатаем. Сидя в оконном «фонаре» этого далеко не первоклассного балканского заведения, он размышлял о странностях судьбы: любой мессалинистый силуэт на мглистой улице оставлял его бездыханным.

Окончание. Начало см. «Знамя», № 7 за 1991 год.

Тем временем что-то решительно изменилось в подходе Пятого подотдела Третьего отделения ФБР к делу Филлариона Фофаноффа. Как-то раз его непосредственный начальник, старший агент д'Аваланш, в самой что ни на есть дружеской манере, то есть на пределе своих возможностей, бросил ему как бы мимоходом: «А не завязать ли тебе, Джим, со всем этим шухером, с тем трехнутым русским индивидуумом, постольку поскольку наш недавний анализ показал полное отсутствие чего-либо интересного в этом дерьмовом Яйце, если не считать всяких вшивых и молью съеденных писем от одного придурка XIX века к... ну, к другому индивидууму... Бросил бы к чертям, а?»

Задетый за живое, Джим возразил, что, хотя все подозрения к Филу Фофаноффу развеялись — он не более шпион, чем вы, Брюс, розовый фламинго,— тем не менее он полагает, что утечка из Москвы пришла недаром, что нечто таинственное и даже жуткое заключено в этом Яйце.

«Моя интуиция, сэр...» — «Простите, Джим, но наш бюджет лишает нас удовольствия следовать за вашей интуицией. Я надеюсь, что ты меня не держишь за какого-нибудь заплесневелого лаптя с 9-й улицы... (если не лапоть, кто ж ты тогда, быстро подумал Джим), и все-таки я бы предложил тебе вернуться к твоим первоначальным разработкам...»

Боже правый! Неужели они действительно хотят меня опять засадить за ловлю блох? Что за проклятье! Вместо того, чтобы вести дивные разговоры с международными учеными о предметах романтизма, о Пушкине и Роберте Эммете, вместо преследования лиловой нимфы из классических дубрав ему придется опять углубиться в скучнейшие перипетии запутанного жульничества, опять вернуться к этим снотворным и тошнотворным дискеткам и папкам?! Боже упаси!

Он отправился к шефу. Конечности Доктора Хоб-Готлиба были, как обычно, небрежно раскинуты по предметам кабинетной меблировки, за исключением одной, а именно правой руки, в которой он держал книгу. Джим заметил титул. Это были «Федон» и «Критий» Платона, карманное издание, из тех, что сейчас найдешь в любой забегаловке. Три младших сотрудника, Эплуайт, Эппс и Макфин, *молодая гвардия* Пятого подотдела, сидели за столом совещаний, держа карандаши наготове.

— Простите, братцы, за вторжение в ваш СПКУ (семинар по повышению культурного уровня),— сказал Джим.

— Всегда вам рад, Джим,— Доктор Хоб, казалось, чувствовал себя не вполне в своей тарелке.

Молодая гвардия тактично покинула помещение. Джим понял, что увертюра д'Аваланша была полностью оркестрована всем подотделом. Тогда он решил сразу взять быка за рога.

— Простите, Доктор Хоб, вам никогда не приходило в голову, что таинственное нападение на вашего покорного слугу в студии на Дикэйтор-стрит может иметь некоторое отношение к Зеро-Зет и его трем помощникам, которых вы упомянули в инструктаже пару месяцев назад? Не видится ли вам в этом некий заговор против Перестройки?

— Конечно, приходило, конечно, видится,— ответил Хоб-Готлиб серьезно, хотя и с еле заметной усмешечкой в уголке рта.— Поверьте, Джим, меньше всего я хочу смешивать вашу самоотверженную работу с приключениями вашей молодой личной жизни, но, увы, есть некоторые люди у нас в Бюро... ну... хм... наши собственные антиперестроечные силы, так сказать... которые считают, что вы слишком

лично воспринимаете всю ситуацию в Тройном Эл. Наберитесь терпения и посидите немного тихо... в стороне от Яйца... Не обижайтесь, Джим, и позвольте мне напомнить вам строку из Платона: «Слабое рождается из сильного, а быстрое из медленного»...

Два дня спустя спецагент Доллархайд сидел на вершине вирджинского холма в окрестностях города Фэрфакса. Он размышлял о своей карьере контрразведчика. Несмотря на неопытность, Джим уже понял, что в пандемониуме ФБР судьба любого человека зависит от его собственной воли и от удачи. Рисковые и удачливые могут превратить свою жизнь в захватывающее странствие. Другие, невзирая на их титулы и награды, на всю жизнь останутся жалкими правительственными чиновниками. Каков же я сам: рисковый, но неудачливый или удачливый, но не рисковый? Платон, ответь!

Это был один из тех серых теплых дней, что не так уж редки во второй половине декабря в среднеатлантических штатах. С вершины холма мягкие склоны окрестностей выглядели как огромное поле для гольфа, пересеченное там и сям белыми вирджинскими заборами. Время от времени в скучных равнодушных небесах появлялись планеры, поднимавшиеся из близлежащего авиаклуба. Бесшумные, они парили над холмами, словно призраки самолетов. Повсюду были раскиданы маленькие яркие пятнышки всадников. Вдалеке различался флаг клуба верховой езды.

По некоторым причинам именно этот клуб привлекал в настоящий момент внимание спецагента. В последние три дня разработок название клуба несколько раз выпрыгивало из компьютерных лабиринтов. Неважно, что многие сомнительные личности из его списка потенциальных мошенников и потенциальных немошенников оказались членами этого клуба. Камнем преткновения был вопрос о том, кому принадлежит заведение. Джиму удалось выудить несколько имен, которые, похоже, были подставными лицами, но настоящий владелец был неуловим.

— Как я догадываюсь, вы, Джим, сведущи в лошадях,— сказал д'Аваланш. Он сиял, как бы говоря: наконец-то ты взялся за стоящее дело, сынок.— Почему бы вам не отправиться в Фэрфакс и не записаться в члены этих гребаных конюшен?

Ну и тоскливое дело, думал Джим, пока сидел на холме неподалеку от клуба. Лошади, мошенники, подсадные утки, пасущиеся на этих, слишком уж умиротворенных холмах, какая лажа! Внезапно он услышал то, что меньше всего ожидал здесь услышать — романтический галоп. Три всадника галопировали мимо холма, и этот галоп напоминал вальс Его Величества Императорских голубых гусар или даже — почему бы и нет? — похищение Европы. О, да, он видел бешеный факел выцветшей крашеной гривы, хохочущий чувственный рот, собравшиеся в вожжи морщинки у глаз, еще один тип неотразимой женщины — если не похищенная Европа, то кто же она? Если не мистера Зевса, то кого же еще представляют двое мужчин, скачущие рядом? О, нет... Он не мог поверить своим глазам, представителями мистера Зевса были не кто иные, как достопочтенный Генри Трастайм и начальник службы охраны Тройного Эл Каспар Свингчэар. Пощелкивание груженных судьбой секунд, мгновенное восстановление лишенной всякой судьбы реальности...

Этот промельк оказался поворотным пунктом в жизни и карьере спецагента Джеймса Доллархайда: он решил отбросить все предосторожности, а также инструкции начальства и устремиться к своему предназначению.

Почти немедленно он был вознагражден за свое решение. Однажды в «Шибице», в один из очаровательных вечеров, его пронзил насмешливый взгляд. Он содрогнулся над блюдом балканского салата — «лё мини принтан», вуаля, обволакивающие испарения кустов сирени. Кандидат наук Урсула Усрис потягивала свой эспрессо в двух столах от него.

— Что сказал Пушкин Баратынскому, когда они столкнулись на ежегодном осеннем балу барона Геккерена?

Что за мистификация? Он слышал скрипки того бала, видел похотливых львиц в великосветской толпе... новый развратный танец... триумфальная контрреволюция, то есть обратное вращение...

— Только мы остались не вознагражденными в нашем отечестве, вот что сказал Алекс Юджину в ту ночь.

— Верно! — воскликнула Урсула.— Хочешь честно, Дик? Ты поколебал мою уверенность в том, что передо мной всего лишь мелкий стукач. Не будь дубарем, петушок-гребешок, и перестань сидеть день за днем в этой чертовой «Шибице». Если ты просто хочешь в темпе повальсировать, сделай соответствующее па-де-де. Для начала заплати за мой эспрессо!

Она расхохоталась, а он заморгал. Когда он кончил моргать, ее стул был пуст. Испарилась. Джим уныло собирал себя по кускам. Прощай, моя профессиональная интуиция!

Матушка Обескураж из дистрикта Колумбия

Перед тем, как перейти от сравнительного спокойствия предшествующих глав к взрыву диких событий, повествование наше, безусловно, потребует, чтобы читатели насладились видом Филлариона, стоящего на углу улиц Икс и 14-й. В задумчивости он взирал на названия улиц.

Ради небес, думал Фил, почему это живописное место было названо столь безлично, столь обескураживающе? Инкогнито, Икс, лежащее меж двух тоскливых цифр, 13 и 14! Господин мэр, почему бы нам не спустить с цепи гончую свору ассоциаций и не переименовать 13-ю в улицу Чертовой дюжины, то есть, по-английски, Дюжины пекаря. Заполучив пекаря, нам будет ничего не стоить переименовать 14-ю в улицу Круасана, поскольку цифра 14 столь живо напоминает нам о Дне Бастилии, 14 июля, то есть о национальном празднике той страны, где выпекают круасаны, эти дивные булочки-полумесяцы. Теперь, господин мэр, дело лишь за простой логикой, и она не позволит нам задержаться ни на минуту в переименовании улицы Икс в улицу Наполеона!

Итак, насладившись видом нашего стошестидесятикилограммового иноземца на углу Круасана и Наполеона, проследим его беспечную прогулку вдоль Чертовой дюжины, подмечая все его дружелюбные кивочки и экивочки по адресу элегантных жильцов и завсегдатаев этого места, подмечая также вспышки его фотоаппарата, с помощью которого он тщательно фиксировал крылечки домов и множество бумажных объявлений, трепещущих на фонарных столбах в порывах атлантического ветра. Засим он погрузился в свой громоздкий «чеккер» и направился в Горсовет, на аудиенцию к мэру Берри

Тем временем место, которое он только что оставил,— па самом

деле средоточие городских чокнутых, торчковых и кирных в сочетании с дивным букетом ночных маргариток,— нежится в лучах своего недавнего переименования. Как раз на углу Наполеона и Круасана располагается крыльцо, где матушка Обескураж дистрикта Колумбия постоянно расчесывает свои кудри. Нынче трудно себе представить, что эта тяжелая фемина когда-то осчастливила несколько поколений вашингтонцев, включая немало известных журналистов и лоббистов. Мы бы осмелились сказать, что многие красотки лучезарной современности позеленели бы от зависти, имей они хоть малый шанс увидеть неотразимую Полли Обескураж в тот момент, когда она шествовала по 14-й, то есть по улице Круасана в 195... хм, хм... году. Сейчас она жужжит, жужжит себе песенку своих лучших дней: «Дик на лодочке, на лодочке плывет, Пусси в платьице фартовеньком по бережку идет»,— и смутная улыбка, постоянно бродящая по пересеченной местности ее лица, считается своего рода фокусом этой округи, а громкое биение ее пульса действует как метроном для нашего дальнейшего повествования.

Ступенькой ниже на крыльце всегда можно видеть двух нынешних, матушки Обескураж, ухажеров, неразлучную пару стареющих бродяг, Теда и Чарльза. Как обычно, они заняты вечными поисками чего-то в бесчисленных и бездонных карманах друг у друга. Три сестренки также являются завсегдатаями этого сектора, три представительницы трех основных человеческих рас: Милиция Онто-Потоцка (кавказская, то есть белая раса), Глория Чемберлен (черная раса) и Иен Уоу (азиатка).

Иногда даже владелец местной бакалеи, господин Пу Соннн, присоединяется к компании, чтобы поделиться своими глубокими огорчениями.

Являясь странным источником гармонии, матушка Обескураж проявляет заботу о каждом и о чем угодно в своем слуховом и визуальном пространстве, но, увы, не слишком далеко: она наполовину слепа и на одну треть глуха. Впрочем, что касается самых близких к ней лиц с их делами — ну, например, если Тед и Чарльз вдруг начинают громко собачиться или господин Пу Соннн жалобно рассказывает о последнем налете на его лавку, не говоря уж о сестричках, с их обычными жалобами,— матушка Обескураж немедленно смягчает общую атмосферу на углу Наполеона и Круасана, просто бренча на своем банджо и жужжа всеми любимую «Дик на лодочке плывет, Пусси бережком идет».

В тот вечер новая личность появилась на углу, подобно буревестнику Нового Мышления. Это была высокая и стройная фемина, затянутая до пределов воображения в красный кожаный брючный костюм. Хоть и трудно было определить ее возраст, все-таки многие клиенты нашли ее безу-у-мно привлекательной. Расовая принадлежность тоже была под вопросом. Вместе с громким ее «Всем привет!» прилетело дуновение магического карибского языка «пепельяменто», хотя рыжие ее кудри выдавали ирландские корешки. Похоже было на то, что она предлагает свои услуги, и в то же время она явно не спешила ухватиться за любое приглашение. Величавой походкой, о, да, прямо сводящей с ума поступью, она прошлась по улице Наполеона, как бы мимолетом делая снимки крылечка матушки Обескураж и трепещущих на фонарных столбах объявлений своей изящнейшей мини-камерой.

— Гляньте на нее! — презрительно усмехнулся Уокер Пи Уокер, бывший игрок баскетбольного клуба «Ястребы Атланты», сорок три года, 2 и 0,3 м, 110 кг, идол всего околотка, сильный мужик и женоненавистник.— Воображает себя прынцессой со сверхзвукового

«Конкорда», но вы, народы, сейчас увидите, как я в темпе вставлю ей в кормовой отсек!

Тут все завсегдатаи Наполеон — Круасана прямо вылупились, чтобы увидеть, как Уокер Пи Уокер заходит на аристократическую телку. Сказать по правде, ничего плодотворного из этого не вышло. Аристократка крутанулась вокруг оси с ошеломляющей готовностью. Позднее некоторые свидетели этой сцены уверяли, что они увидели два коротких, но ослепительных разряда молнии, сверкнувших в ее очках, что были больше нормальных очков и темны, как карибская ночь. Мгновенно она стряхнула парижские сапожки, в следующее мгновение ее голая пятка, сверкнув как еще один разряд молнии, сокрушила легендарную челюсть Уокера Пи Уокера.

Гигант рухнул. Аристократка закурила. «Братцы! — вскричал женоненавистник в ярости и тоске.— Это она, эта гребабенная Леди Стальная Пятка!»

«Стальная Пятка!», «Стальная Пятка!» — разнеслось вокруг. Многие ребята с Наполеон — Круасана и даже из-за угла слышали и распространяли леденящие душу истории о таинственной девке, что появляется то там то сям, в модных местечках к востоку от Коннектикут-авеню, всякий раз под различной маскировкой, и преподает местным кумирам безжалостный урок своей всесокрушающей пяткой.

Последний раз, как говорят, ее видели возле автобусной станции «Серая гончая», в закусочном павильоне Роя Роджерса. Облаченная в вечернее платье кастильского стиля, непостижимая дама сокрушила пару подбородков и полдюжины ребер своими безоружными пятками. Кроме того, она проколола брюшную полость джентльмена из Спрингфилда, штат Массачусетс, кончиком своего сомнительного зонта. Согласно слухам, этот португальский денди, слишком бухой, чтобы признать поражение, продолжал ухаживать за Стальной Пяткой в том стиле, к которому он привык, пока полностью не отключился от реальности на задах Роя Роджерса, в дюнах недоеденных бургеров.

Теперь кодла быстро пришла к решению посчитаться с Леди Стальной Пяткой. Наконец-то справедливость восторжествует! Ее следует опустить в деготь и вывалять в перьях, вычистить напрочь из приличного околотка! Остановим воинствующий феминизм! Но пасаран! Не менее двух дюжин завсегдатаев Наполеон — Круасана окружили Стальную Пятку. Слегка очухавшийся, хотя еще вполне смурной Уокер Пи Уокер мудро держался во втором эшелоне. Впрочем, его стенания подстрекали других отомстить за свергнутого идола улиц. Тем временем матушка Обескураж, Милиция Онто-Потоцка, Глория Чемберлен, Иен Уоу, господин Пу Соннн, а также Тед и Чарльз быстро вскарабкались на самый верх крыльца, чтобы не пропустить ни клочка из разворачивающейся драмы.

«Бедная девчонка! — вздыхала Глория.— Парни вне себя от ярости, ей-ей, вне себя!» Милиция дрожала от экстремального возбуждения: «С ней покончено, холера, ясно!» Матушка Обескураж прекратила расчесывать свои волосы и отложила банджо. «Все будет в порядке, девчата»,— бормотала она, хотя и не была убеждена, что все будет в порядке. Ею овладели два противоречивых чувства: жажда вечной гармонии и неистребимая склонность к сексуальному хулиганству. Она уже как бы воочию видела поверженную на колени Стальную Пятку и парней, расстегивающих ширинки.

Чарльз и Тед, следует признать, не сказали ничего, поскольку были весьма заняты, грызя через целлофан внушительный круг польской колбасы, которую им только что принес господин Пу Соннн в рамках своей предрождественской благотворительной кампании. Их благодетель, между тем, просто качал головой, бормоча: «Ну, что за

мир!» Ему не нравились акты насилия, хотя он не видел никаких причин, чтобы не созерцать их, если показывают.

Леди Стальная Пятка в центре медленно сужающегося круга была неподвижна, стоя в превосходной боевой позиции. Шедевр боевого феминизма, скульптура! Подонки ядовито ухмылялись. Один из них готовился бросить лассо.

Банг! Свиш-ш-ш! Рассыпался ворох искр! С ржавых небес столицы опускался некий полузмей, полудрозд. Он остановился в воздухе над полем битвы, пульсируя зловещим сиянием, выбрасывая пронизывающие лучи света, испуская адское шипенье.

Банда женоненавистников замерла на месте. Какого фулуфуя? Пришельцы прибыли, что ли? Эй, мужик, ты что не видишь, это же нюхающая электроника! Клянусь, натренировали гаду на анашу, натаскали на *сахарок!* Давай, делай ноги, ребята! Откуда ты взял, что оно нюхает? Оно просто в воздухе висит, трещит, дешкает, выпускает свет, жужжит пчелой, вот и все... Эй, мужик, ты что, не видишь эти щупальца? Ты думаешь, это просто шикарные усики, да? Нюхающие щупальца, все кишки у нас пронюхает, гада! Вона уже топорщатся, братцы! Вы что, мазерфакерс, не видите, что это еврейская штука? Вашингтон нафарширован дикими еврейскими штучками, как та рыба, что они шамают...

В этот момент таинственный *змей-дрозд* начал шипеть громче, уподобляясь чему-то среднему между котом и огнетушителем.

Чего бы это ни было, но я от страха фсусь, мужики! Давай линяем, мальчики! Хватай девку, и рвем когти в темпе!

Внезапно стремительная персона во фраке с хвостом, в цилиндре поверх летящей паганиниевской гривы двумя мощными прыжками преодолела круг бандюганов и выросла перед Леди Стальной Пяткой, подобно дирижеру в конце бетховенской «Героической».

— Следуйте за мной, мисс! Я ваш друг!

Она расхохоталась:

— А ну, назад, дерьмовозы!

Она начала свой грозный пируэт, который, как правило, завершался сокрушительным ударом в наглую мужскую челюсть. На этот раз, однако, она не завершила ужасного приема. Летающий объект вдруг выпустил поток убийственно вонючих капель, каждая размером со спелую сливу, и все присутствующие потеряли сознание просто от брезгливости. Все, кроме мистера Паганини. Последний поступил так, как будто он принадлежал к избранному числу итальянских музыкантов, которые во время второй мировой войны посещали курсы борьбы с химическим оружием при Миланском горкоме фашистской партии. Закрыв свои ноздри и нос маленькой маской, сродни коробке из-под сардин, он искусно поволок онемевшее, хотя все еще неотразимое тело Стальной Пятки прочь от этой омерзительной сцены, и вскоре они оба растворились в ночи.

Несмотря на то что описание омерзительной сцены заняло не менее семи страниц, продолжалась она не более пяти минут. Даже команда четвертого канала Ти-ви не успела прибыть вовремя, не говоря уже о полиции и «скорой помощи». Оппозиционные группы в нашем городе потребовали от мэра Берри чистосердечного, *бона фиде*, отчета о событии, если он хочет избежать обвинения в действиях, похожих на акцию его коллеги из Филадельфии, то есть в воздушной атаке на кварталы бедноты. Круги, близкие к администрации, наотрез отвергли околичности и призвали к регистрации всех опасных летающих, шипящих, светящихся и воняющих объектов, имеющихся в распоряжении населения. Дело было закрыто.

Туннель в рай

Леди Стальная Пятка пришла в себя на верхней палубе двухэтажного вашингтонского мемориального автобуса. Она лежала вверх лицом, ртом ко рту со своим спасителем, дьявольского вида паганинистым монстром.

— Как мило,— прошептала она.— От вас совсем не несет чесноком.

Секунду спустя он испустил вопль первобытного восторга.

О, эти древние ночи, думал монстр, трепеща и ввинчиваясь, пока он все трепетал и ввинчивался. Разве я не фавн в аттической дубраве? Не Эллада ли это, колыбель поэзии? О, музы!

Автобус, свежепокрашенный ядовито-зеленой краской и декорированный лентой из букв, что читались как «Дух двух столетий», был оставлен без присмотра возле городской бухты Тайдал Бэйсин. Стояла зрелая луна, и отражение колоннады памятника Джефферсону в зыбких водах старалось изо всех сил опровергнуть научный вздор о параллельных линиях.

— Вы открыли мне другую вселенную, моя любовь,— задохнулся монстр в экстазе.

Леди Стальная Пятка исторгла хриплый хохоток:

— Такой сосунок, как вы, Ваше Сиятельство, в любом влагалище готов увидеть туннель в райские пущи!

Ночь полнолуния. Табунок панков тащился мимо. Услышав звуки классического пиршества чувств, исходящие с верхней палубы «Духа двух столетий», они заглянули в окно на нижнюю палубу и узрели там цилиндр, фрак и пару кожаных штанцов, еще сохранявших формы их обитателей, то есть стройных конечностей Леди Стальной Пятки.

— Истеблишмент коллапсирует,— сказали панки друг другу с понимающими кивками. Засим затрусили, будто табунок цирковых пони, к своим родным местам, в Джорджтаун.

— Перестаньте выдрючиваться, моя любовь. Бросьте этот ваш пепельяментовский акцент,— нежно, рот в рот, прошептал он. Схватив ее за нос, он начал медленно стягивать тонкую пластиковую маску карибской фам фаталь со славной мордахи кандидата наук Урсулы Усрис.

Нечего говорить, она последовала его примеру, и из-под демонической поверхности проявились приятственные черты Джимми Долархайда, этого нового адепта гетеросексуальности.

— Хей, это ты, стукачишко? Рада наконец-то познакомиться! Знаешь что? Я не так уж дико удивлена.

Осторожно, хотя и не без легкого отвращения, Джим стянул с нее пышный парик:

— Вы твердо стоите на том, что я шпик, моя любовь. Ну что ж, если я в шутку приму это утверждение, могу ли я — разумеется, тоже шутки ради — предположить, что и вы принадлежите к этой древней профессии?

— Конечно, можешь,— усмехнулась Урсула.— Я секретно работаю на правительство Индонезии.

— Как мило! — воскликнул он.— Довольно необычный выбор — Индонезия!

— Почему нет? Я австралийка, а у нашего соседа Индонезии очень далеко идущие планы в современном мире. А как насчет тебя, золотой петушок? Кто твой патрон?

Джим пожал плечами и пробормотал самоуничижительным тоном:

— Пока это столь незначительно, что не стоит даже и говорить...

К его удивлению, она не настаивала и не уточняла.

— Я вижу, ты еще внештатник. Я с самого начала так о тебе подумала — новичок... хотя...— она все же улыбнулась одобряюще,— пожалуй, многообещающий новичок. Знаешь что, твоя летающая вонючка... довольно впечатляющая бестия.

— Это не моя была штучка,— еле слышно прошептал он, стараясь заглянуть поглубже в сиреневые озера.— Если это не ваша была фиговина, моя любимая, значит, принадлежала она третьему лицу... а может быть, и самой себе, если можно так выразиться...

Она засмеялась:

— Посмотрите на этого карапуза! Я уже его любимая. Вы слишком слащавы даже для начинающего, сэр!

Он улыбнулся, счастливый:

— О нет, нет, мадам! После нашего волшебного бегства в древние рощи... йес, мадам, в древние рощи... нельзя ли быть не столь уж жесткой со мной? О, нет, нет, нет... конечно, больше никаких телячьих нежностей. Я знаю, что вы серьезный ученый и эмансипированная персона. Скажите, чем вы сейчас в первую голову заняты в Тройном Эл?

Она шлепнула его по руке, будто вдруг обернулась провинциальной кокеткой.

— Ты слишком все-таки любопытен для внештатника, Дик! Что бы ты сказал, если бы я тебе поведала, что интересуюсь в первую голову тремя допотопными частицами речи, суффиксом, префиксом и инфиксом, а именно частицами *кртчк, мрдк и чвск?* Долго не думай! Отвечай!

Бывший Паганини торжественно ответил:

— Отныне и навсегда становлюсь твоим четвертым суффиксом, моя любовь!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Желток

В том случае, если наш читатель все еще склонен называть вещи своими именами, то есть яйцо Яйцом, в этом случае библиотеку Либеральной лиги Линкольна, это средоточие вселенской мудрости, следует полагать Желтком Яйца.

Впрочем, и задумана-то она была как ядро, расположенное в самой сердцевине, дизайнирована в виде овала, хотя некоторые помещения выглядели ни дать ни взять как обычная библиотека. По крайней мере, на первый взгляд. Второй взгляд улавливал различные, там и сям разбросанные странности — неожиданный косой луч света, или головокружительно раскачивающийся кусок потолка, или полностью непредвиденная и в той же мере бессмысленная апертура, проходящая через несколько слоев Яйца, скорлупу, радужную оболочку, роговину и ретину, для того лишь, чтобы предложить вид на тележку торговца *хот догс,* «горячими собаками», что стоит напротив, через Ваш-мол.

В библиотеке Филларион почувствовал себя счастливым. Разумеется, еще бы, что же иное, если не библиотеки были его привычной средой обитания! Сказать по правде, наш герой всю жизнь был не кем иным, как библиотечной крысой, и только меж библиотечных полок, с их успокаивающим душком плесени, он чувствовал близость к своей сути. Даже и в разгаре дичайших эскапад его никогда не покидало виденье последнего прибежища — библиотеки! Ленинка в Москве, Публичка в Ленинграде или те, немыслимо далекие, из мира грез, западные храмы словесности — библиотека Сорбонны, библиотека Конгресса, библиотека Британского музея, непостижимый Ватикан... о, библиотеки! Всякий раз, как он тащил свои гигантские ягодицы вдоль рядов книг навстречу волнующей встрече с очередным источником мудрости или вздора, он испытывал едва ли не священное блаженство. Служащие библиотеки всегда допускали его прямо к полкам. Осенние бабочки, одинокие девы библиотек, не могли противиться его, как они выражались, Пьер-Безуховскому шарму. Выбрав книгу, он мог погрузиться в нее немедленно и оставаться часами без движения прямо в проходе; фигура истинного читателя, монумент мировой библиотеке!

О, люди библиотек, эти утонченные и бледные лица с потупленными взорами, как будто вымаливающие прощения за царящую вне стен библиотек похабщину! О, эти читальные залы, какой обманчиво мирный вид представляют там человеческие окружности, венчающие стулья и табуретки, как будто за ними не скрывается грозное поле доблестного фехтования, где тысячи мыслей сталкиваются и высекают искры, будто сабли, кинжалы и рапиры! О, эти библиотечные туалеты с примыкающими к ним курительными комнатами... есть ли более крамольные места на Земле? Никакие побочные эффекты переваривания пищи и метаболизма, равно как и беспрерывные водопады в многочисленных кабинках, никогда не могли заглушить великих ораторов туалетных, этих гранильщиков чистого разума, секущих своих оппонентов с яростью Неистового Виссариона! О, можем мы вздохнуть в конце этого библиотечного лирического отступления, о, Николай Гоголь!

Словом, едва лишь улеглось наконец огромное возбуждение, связанное с его первым путешествием в Западное полушарие, Филларион вдруг, благодаря спецслужбе, благополучно приземлился в библиотеке. Он был даже признателен полковнику Черночернову: сравнительно умеренные пытки добавили весьма впечатляющую страницу в его бурную биографию. Не каждому все же пришлось подвергнуться допросу с помощью изощренного экстрактора SQ#1,2! Шрамы и порезы затянулись быстрее, чем можно было ожидать, и в результате той незабываемой ночи он оказался в библиотеке! Тем, кто еще не ухватил суть нашего персонажа, это может показаться странным, однако удручающие мысли о вербовке КГБ очень скоро были вытеснены из сознания Филлариона вдохновением научных поисков.

Жрица храма, Филиситата Хиерарчикос, величественно холодная и сдержанная, какой она теперь всегда была с ним после его бегства из «Седьмого неба», все-таки снизошла и дала ему некоторые инструкции по пользованию библиотечным компьютером.

И вот, извольте, желанный предмет появляется на экране: записки Федора Михайловича Dostojevsky, сделанные во время одного его путешествия в Рулетенбург, то бишь Висбаден, Германия, 1864.

Сногсшибательно — попутно с расшифрованным текстом на экране можно видеть собственный почерк нашего Дости! Раньше он был уверен, что все до последнего клочка бумаги, помеченного пером русского национального сокровища, находится в неоспоримом владении Академии наук СССР; он был готов увидеть подделку, апокриф, однако самые первые же промельки на экране убедили его в полной аутентичности записок. Гляньте-ка только на это Ща, гордость и честь всей кириллицы, этот умопомрачительный боевой трезубец, яростно

нацеленный на грешников мира, кто, кроме Дости, мог выпятить его из полосы букв с такой непреклонностью?!

Однако что за течения вынесли этот бесценный дневник на здешние берега? Как случилось, что он нашел прибежище в Желтке Яйца, расположенного между невинными штатами Вирджиния и Мэриленд? Шерше ля фам, и если будешь старательно шерше ее во дворцах и хижинах Русской Литературы, неизбежно натолкнешься на мисс Аполлинарию Суслову, очаровательную нигилистку урожая 1860-х, носящую короткую стрижку, голубые очки и неизбежную папиросу в углу темно-вишневого рта.

Тщеславная жалкая Европа, ты низвела нашу славу, всероссийского *властителя душ*, до завсегдатая казино! Всего лишь три года назад одна из ярчайших барышен Санкт-Петербурга принесла ему в дар свои бесценные сокровища. Она трепетала, обожая его письмо и весь его образ сибирского узника, мученика, ставшего в ту пору героем Молодой России. И кто тогда, всего лишь три года назад, мог вообразить столь безжалостную перемену в их отношениях?

Здесь, в Европе, а точнее в Париже, а еще точнее dans la montagne de Monmartr, Аполлинария встретила молодого стремительного испанца, и все было кончено. Когда, сжигаемый страстью, ФМД прибыл в Париж, она оказалось холодна, как Семеновский плац в день фиктивной экзекуции. Она с отвращением отталкивала потные руки великого романиста, отворачивалась от его умоляющих глаз. Лучшее, что она могла ему предложить, это братские отношения (sic!). Что за женщина, думал Фофанофф, что за метания между всепожирающей чувственностью и ледяной фригидностью!

Аполлинария — это враг человечества, обычно говорил ее отец, богатый негоциант. Что ж, так или иначе, «враг человечества» был предметом страстной любви, по крайней мере, двух славнейших мужей столетия. Именно она вдохновила Дости на создание трех его ключевых женских образов, и «шелест ее платья», за которым следовали другие головокружительные агонизирующие слова, продолжает холодком проходить по позвоночникам *русских мальчиков*...

Итак, в августе 1864-го странная пара, сорокадвухлетний романист и его двадцатипятилетняя мучительница, находилась в Висбадене. Ежедневно испытывая свою удачу в казино, а ночью сражаясь с неутоленной страстью, Федор Михайлович вел раздраженный дневник. Страницы этого дневника, приплывшего, по непонятным причинам, из Аргентины, теперь светились перед Филовским картофелеобразным носом, и эта заметная часть его тела сама светилась изнутри в состоянии высшего возбуждения.

Висбаденский дневник. Август 1864-го

...Прошлым вечером все тот же назойливый еврейчик, с претенциозной бородой, подошел ко мне в буфете и сказал, что питает большую надежду на Россию.

«Собираетесь там чем-нибудь торговать, сударь?» — спросил я вежливо, только для того, чтобы как-то от него отделаться. Тут же я

подумал, не обидится ли — европейские евреи не чета нашим. Пришлось расширить вопрос: «Или учить там будете, сударь?»

Он усмехнулся: «В некотором смысле, образно говоря, я хотел бы там учить, однако боюсь, ваша страна еще не подготовлена к моему учению, и я сомневаюсь, что она когда-нибудь будет готова...»

Странный малый. Его зовут Карл Маркс. Живет он в Лондоне, в ссылке. Немецкий еврей в Лондоне? Странно. Он говорит, что в Германии он персона нон грата, поэтому ему приходится ежемесячно пробираться в Рулетенбург без законно выправленных документов. Я не очень-то все это понял, да, честно говоря, и не было никакого желания.

Оказалось, что этим утром ему повезло и он выиграл двенадцать фридрихсдорфов, играя по своей системе. Ну, знаете ли, если уж у такого жалкого субъекта система срабатывает, должен ли я отказываться от моей, великолепной? Он заказал бутылку «Вдовы Клико» и после бокала этого искристого чуда признался, что только рулетка еще как-то примиряет его с современной жизнью, то есть с капитализмом. «А как вы, Достоевский?» Я пожал плечами. Он настаивал: «Как вы относитесь к капитализму?»

Я сказал, что капитализм совсем неплох, когда ты выигрываешь несколько лишних фридрихсдорфов на рулетке. Похоже, что он немного обиделся на меня из-за моей несерьезности... Но в этот момент в буфетную вошла Аполлинария, и герр Маркс поперхнулся. Ошеломленное выражение лица различалось даже через его экстенсивную растительность.

«Кто она?»

...О, шорох ее юбок!..

Ну, кто сомневался? Карлушка попался на крючок, как глупый карп. Вуаля, они гуляют вдвоем по Английскому саду, величественная принцесса и чудаковатый господинчик с огромной волосатой головой. В своем шикарненьком хвостатом фраке он выглядит как приплясывающий, хорошо причесанный пудель. Время от времени она бросает на него взгляды поверх своих голубых очков, и от каждого такого взгляда он спотыкается. Интересно, на какую тему Аполлинария может говорить с таким человеком?

Третьего дня, после неудачной попытки заложить портсигар, я заметил эту парочку возле фонтана. Мне удалось незаметно приблизиться к ним, впрочем, они были так увлечены — они беседовали! — что, вероятно, не заметили бы меня, если даже бы я подходил, играя на трубе!

Боже, они говорили об экономике! Я слышал какие-то уродливые слова вроде — «товарный фетишизм» и «прибавочная стоимость»... Аполлинария... посмотрите на нее, она, оказывается, внедряется в концепции этой новой чуши, именуемой *марксизмом*, которой эти подонки с Монмартра развлекаются от нечего делать, спустя рукава.

Марксизм?! Ну и ну! Имя нашего нового компаньона — Маркс! Внезапно до меня дошло, что он не кто иной, как основатель новой школы, властитель дум всей мыслящей Европы. Каково? Русская барышня из Санкт-Петербурга встречает в немецком капище идола своего парижского любовника, с пружинистыми ляжками, и этот идол, к тому же, ссыльный из Лондона и скрывающийся от полиции политик! Нет, все, что угодно, может произойти в наш век железных дорог!

Когда я подошел, Аполлинария что-то записывала в свою книжечку под Карлушкину диктовку. Тем временем его рука с трепещущими пальцами парила над ее спиной, словно эротическая стрекоза. Когда она наконец опустилась на талию Полли, я кашлянул и сказал: «Слушайте, Маркс, могу я у вас одолжить пару талеров?»

Он определенно был в восторге от этой просьбы и от возможности тут же отделаться от меня в такой решающий момент их отношений. Что касается моей любви, она даже не снизошла обжечь меня своим великолепным ядовитым презрением.

...Ей-ей, я готов стать самым верным учеником этого сомнительного мудреца! С его двумя золотыми я играю всю ночь напролет, и не без... не без... тс-с-с... осторожно, только не сглазить...

На следующее утро Карл Маркс прибыл в Английский сад в чертовски возбужденном настроении, неся в протянутой руке газету, одну из этих их проклятых цайтунгов. На первой странице были статьи о стачке лионских ткачей.

«Послушай, Полин, реальность превосходит мои ожидания! Эксплуатируемые массы уже поднимают головы, и, я должен подчеркнуть особо, это не имеет никакого отношения к анархизму, дорогая Полин! Все это событие — не что иное, как классовая борьба!»

Этсэтэра, и так далее, и так далее... в сопровождении щедрой жестикуляции и капелек слюны вперемешку с крошками французской булки, летящими рикошетом с его виляющей бороды на наши лица.

Достопочтенные дамы и господа, наше потомство, ну, только посмотрите на эту П о л и н! Она тоже возбуждена! Глаза ее горят. Ничтожная газетенка трепещет в ее пиано-пальцах... девочка моя... неужели тебе к лицу образ богини классовой борьбы?

«Спасибо за добрые вести, Маркс!» — сказала она. Понятно, девица называет человека в два раза ее старше без излишних церемоний. Извольте, манеры Молодой России к вашим услугам! «Я так счастлива, Карл!» Так-так, он уже просто Карл для нее. Может быть, их отношения зашли уже слишком далеко, пока я воевал со своим драконом? Клубочки дыма из ее ангельских губ отравляют воздух Английского сада. Прохожие столбенеют в изумлении. Курящая барышня! «Ну что ж, Карл, не следует ли нам сегодня вечером отпраздновать такое живое подтверждение вашей гениальной теории?»

«Следует! Следует!» — воскликнул он. Она захлопала в ладоши, как дитя: «Выпьем шампанского за лионских ткачей! Обещаю быть самой красивой барышней в Рулетенбурге! Гиганты литературы и науки вместе с принцессой красоты празднуют зарю классовой борьбы!» Даже и ко мне она снизошла с улыбкой: «Ты тоже счастлив, Федя? Дашь мне десять талеров, чтобы выкупить мое парижское платье у процентщицы?»

«Полинино платье заложено? — Карлушка возмущенно повернул ко мне свою львиную голову.— Ее платье? В сундуке ростовщика?»

Я пожал плечами: «А что особенного? Когда воюешь с драконом рулетки...»

Аполлинария расхохоталась: «Драконам иногда жертвуют и обнаженных девиц, что уж говорить об их платьях! Что ж, Маркс, может быть, вы выступите в роли щедрого благодетеля? Все-таки вы ведь экономист!»

Маркс был ошарашен: «Простите, Полин, вам не кажется, что мы все немного заигрались в тот момент, когда лионские ткачи берегут каждый сантим, чтобы продержаться? И потом... ммм... так или иначе, но... не далее, как вчера я сделал заем в размере двух талеров вашему... ммм... другу... месье Теодору...»

Аполлинария была неотразима в этот момент полнейшего смущения: она покраснела, она бросала пристыженные взгляды из-под своих ресниц, своими пиано-пальцами она мяла и крутила носовой платочек, и все это было полнейшим притворством. Не без облегчения я осознал, что она вовсе не была посвящена в члены марксистского клана, во всяком случае, пока нет. Без всякого сомнения, она была беззастенчиво цинична в отношении нас обоих. Мы оба для нее были просто похотливыми старикашками. Она просто забавляется, разыгрывая Музу двух гигантов, двух старых зануд.

Я вынул два талера и протянул их Карлушке, выразив при этом самые красноречивые чувства благодарности и извинения, на которые я только был способен: «Надеюсь, вы простите мне, сударь, те неудобства, которые я вам причинил, мое безрассудство и — о, да! — мою русскую несуразность».

Затем я извлек десять талеров и сказал Апо почти грубо: «Выкупай свое платье!» Она подпрыгнула: «Федя, я люблю тебя!»

Нечего и говорить, празднование по поводу стачки лионских ткачей превратилось в гадкий водевиль. За ужином Карлушка не переставал атаковать Святую Русь, называя ее «чудовищем невежества и мрака», которое, без сомнения, всегда будет главным препятствием на дороге истории, другими словами, наша бедная отчизна может стать единственным отклонением от законов только что открытой науки развития цивилизации, то есть от его собственного вздора. Нецивилизованная в самой ее сокровенной сути Россия слишком велика и слишком бесчувственна, амебообразный мешок протеина, не более того.

В конце концов я сорвался: «Перестаньте дерьмо молоть, Маркс, у человеческих ушей тоже есть пределы! О каких бы паршивых протеинах вы ни говорили, вы, надеюсь, не собираетесь нас убеждать, что жизнь — это просто форма существования белковых тел и ничего больше. И, пожалуйста, забудьте хоть на время о своей привычке заносить в ваш засаленный блокнот всю ту чепуху, что мы сейчас несем после шампанского! Что касается России, то я хочу высказать одну святотатственную идею, которая сейчас пришла мне в голову. Единственной страной к западу от Урала, что примет ваш вонючий теоретический абсурд, будет Россия, с ее отсутствием логики и здравого смысла, с ее приверженностью ко всякого рода ложным пророчествам!»

Вопль сотен боевых труб, какофония гулких сибирских пустот. Аполлинария хохотала над нашим спором до икоты.

В течение нескольких дней я серьезно взвешивал возможность дуэли с этим противным геноссе Марксом. Неважно, что он еврей, а я русский дворянин; даже еврей заслуживает смерти за бесконечный поток плоских, дешевых острот.

Боже, он был просто невыносим в его попытках посмеяться надо мной перед мадмуазель Сусловой. Могу себе представить его «золотое детство» где-нибудь в Весторалии, когда бесчисленные дядюшки и тетушки восхищались Карлушиным «уникальным остроумием». Словом, он просто из кожи лез, чтобы посмеяться надо мной как над неудачником: «Посмотрите на нашего бедного сибиряка, Полин. Кажется, он далек от своей клятвы победить дракона!»

Ему, очевидно, малость везло в те дни. Я видел его в казино то с горстью жетонов, то с толстой записной книжкой, в которой, думается, идеи азартной игры перемежались с рецептами классовой борьбы, подперченной такими тошнотворными ингредиентами, как «полезный труд», «сверхпродукция», «накопление», «отчуждение собственности» и т. д., иными словами, с его схемами будущего человечества. Не говоря уж о человечестве, я был уверен, что он хочет загипнотизировать одно, хоть и модное, но чертовски простодушное существо, то есть украсть у «бедного сибиряка» его единственный стимул жить и писать.

...Прошлой ночью я видел, как они возвращались с концерта. Я заметил его победоносную улыбку и ее невинный вид (знаю по собственному опыту, что означают эти невинные виды). Вот тут я и пришел к решению вызвать его на следующее же утро! Я подготовил короткое, но неудержимо оскорбительное заявление, которое я адресую ему в ее присутствии. Оно начнется так: «Любезнейший Мукс...»

По каким-то причинам он не появился ни за завтраком, ни за дежене. В то утро меня кошмарно мучила экзема, зудело все тело... Я даже не ответствовал Аполлинарии, чей голос, необъяснимо веселый и энергичный, доносился сверху.

Позже, в казино, я натолкнулся на Маркса и уже готов был сказать ему «любезнейший Мукс», когда внезапно заметил, что он чертовски не в себе.

Он схватил меня за локоть и сжал его обеими руками, то есть всеми своими одиннадцатью пальцами. «Вы ничего не знаете, Теодор? Он — в городе!» Кто он, черт возьми?

«Он! Проклятый испанец! Сальвадор!»

«Любезнейший Мукс» был абсолютно разбит и потерян, он оглядывался вокруг в каком-то замешательстве и временами почесывался, как будто он тоже был знаком с шалостями экземы. Выуживая из его неясного бормотания кусочки смысла, я все же смог соорудить некую картину драматических событий сегодняшнего утра.

Неделю — или около того — тому назад господин Маркс (ни в коем случае не «любезнейший Мукс»!) прошпионил за своей Полин (он так и сказал «моя Полин», хотя, впрочем, тут же поправился — «наша Полин») и нашел ее на местной почте. Подглядывая через отверстие в задней двери, он увидел, что она посылает депешу в Париж.

Через пару дней она получила ответ и залилась счастьем. Сегодня утром она пошла на вокзал и встретила молодого (объективный наблюдатель должен признать — очень молодого и очень привлекательного) незнакомца иберийской внешности. Они начали целовать друг друга и занимались этим, по часам, пять минут без перерыва. Потом они начали говорить, и она называла его Сальво, а он ее — Апо. Господин Маркс был вне себя от возмущения — разве это не вполне откровенное проявление самоиндульгенции в наши суровые времена? Он выдвинулся вперед из-за фонарного столба и обратился к паре с вопросом: «Который час?» Он даже слегка их подтолкнул.

«Вообразите, Достоевский, они прервали свои поцелуи, или, лучше сказать, жевание друг друга, взглянули прямо на меня и не заметили меня! Слепыми глазами, мой бедный сибиряк, совершенно стеклянными глазами посмотрели они и сказали: „Полтретьего",— хотя большие часы прямо перед ними без всяких околичностей показывали без десяти четыре.

Со станции Сальво и Апо бросились в отель и беззастенчиво нырнули прямо в ее комнату. Они и сейчас еще там, мой бедный сибиряк!»

Вдруг меня пронзило довольно странное в таких обстоятельствах сочувствие к этому пареньку. Так или иначе, но у нас, очевидно, есть что-то общее, если уж мы испытываем те же самые (или, скажем, похожие) чувства по адресу избалованной и возмутительной персоны.

«Мой бедный палестинец,— сказал я ему и предложил понюшку табаку, фактически все, чем обладал в данный момент.— Позвольте мне откровенно вам сказать, что до сих пор я вас очень сильно недолюбливал. Вот уж не думал, что германский ученый муж, социолог и экономист, иначе говоря, изощренный самозванец может быть так одурманен страстью. Через эту муку я и сам прошел, и потому сейчас я предлагаю вам единственное утешение, которым располагаю, эту жалкую толику табаку-с. Приступайте, нюхайте и чихайте, это принесет облегчение!»

«Я знаю, мы не соперники, Достоевский,— сказал он, все еще дрожа.— Гиганты могут задирать друг друга, но в глубоких тайниках своих душ они всегда союзники. Нам нужно наказать это ничтожество, совместно мы должны дать бродяге хороший урок!»

Тут я его сурово ограничил: «Надеюсь, вы не имеете в виду мою Музу?»

«Нет! Нет и нет! — лихорадочно воскликнул он.— Говоря „бродяга" и „ничтожество", я имею в виду этого сосунка-испанца, этого клоуна Сальво, этого наглого нарушителя нашего гармонического содружества трезвых умов и вдохновенных душ...»

Мой бедный палестинец едва не плакал. Я положил ему руку на плечо. Он мне нравился.

Впрочем, вскоре слезы его высохли, и он снова пустился запускать фейерверки пламенных слов и угрожающих взглядов. Мог ли кто-нибудь предположить такой запас взрывчатых веществ в обычной затхлой библиотечной крысе?

«Мы раздавим гнездышко прелюбодеев! Вы, Достоевский, вызовите Сальво на дуэль! Я обещаю быть вашим секундантом! Вы увидите, он немедленно наложит в штаны! Она поймет, кто из нас настоящий мужчина, а кто молокосос!»

«А почему бы вам его не вызвать, Карл?» — спросил я осторожно. По причине, не понятной мне самому, мне не хотелось терять внезапную привязанность к этому чудиле, кроме того, мне вовсе не хотелось играть роль тарана в этой любовной битве.

Он чихнул однажды, дважды, трижды. «Теодор, я надеюсь, вы не подозреваете меня в желании спасти свою несуразную жизнь за счет вашей, бесценной! Однако дуэли, как отвратительное наследие старого мира, резко расходятся с моими убеждениями, а они, то есть мои убеждения, это единственное сокровище, которое неисправимый мот оставил нетронутым».

«Неисправимый мот» мне снова нравился. «Простите, Карл, но я боюсь, что Сальво отклонит мой вызов на тех же основаниях. Все-таки ведь он и сам человек самых новых убеждений. Насколько я знаю, он один из ваших последователей, марксист!»

К этому моменту мы стояли возле фонтана, увенчанного глубоководным монстром в окружении похотливых наяд. Вождь самой

дерзкой и дальнобойной европейской идеи перед образчиком безнаказанного злоупотребления бронзой... Зрелище почти невыносимое.

«А вы сами, вообще-то, марксист?» — спросил я со всей симпатией, на какую только был способен. «Конечно, я марксист». Я потрепал его по плечу: «Единственная разница между вами и Сальвадором заключается в том, что вы марксист теоретический, а он практический». Маркс рассмеялся: «Спасибо, Теодор, за урок сибирского стоицизма. Давайте-ка выпьем, а потом — играть, играть и играть!»

В этот момент он мне нравился больше всего!

Всю ночь Карлушка делился со мной секретами своей научной антирулетной системы. Весь этот подлый вздор казино, Тэдди, говорил он мне,— каково, зовет меня «Тэдди»,— так же, как и весь гнилой капитализм, основан на фетишах и стереотипах. Моя система, как в жизни, так и в игре, напротив, базируется на решительном отвержении фетишизма как такового. Освободившись от древнего обмана, мы станем непобедимы.

Честно говоря, я предпочел бы не описывать весьма ридикюльного, наполеоновского поведения моего нового друга в начале той ночи. Из разных углов зала он посылал мне какие-то необъяснимые знаки и жесты, словно Император, направляющий свою гвардию. Иногда он вдруг менял тактику и начинал околачиваться за плечами у игроков. Однажды я заметил его мохнатое лицо, искаженное хитрой гримасой, прямо над декольте баронессы Энфуа. Он был похож на диковинного зверька, только что привезенного из Австралии. Время от времени он пробивался ко мне, совал мне в карман горсть фишек или клочок бумаги с инструкциями к следующему ходу. В те моменты, когда нашим телам случалось соприкасаться и, в соответствии с законами трения, выделять дополнительный жар, я мог слышать его лихорадочный шепот.

«...Юность безжалостна, похоть непреклонна... О, Тэдди, дорогой, как я счастлив, что не остался один в эту судьбоносную ночь; ведь, невзирая на тысячи последователей, я так одинок. Мой ангел никогда не ездит со мной в Рулетенбург. Мой ангел никогда не знал игровой горячки, он всегда укоряет меня за эту слабость. Он говорит, что этот отвратительный пережиток коррумпированного мира не к лицу мне, самому решительному критику этого мира...»

К тому моменту я еще не разобрался, что, говоря «мой ангел», Карлушка имеет в виду своего ученика Фрица Энгельса. Этот недостаток сведений, надо сказать, создавал какую-то дополнительную двусмысленность.

«...Мой ангел даже не принимает во внимание такой аргумент, как необходимость нанести мощный удар по капищу чистого капитализма, экспроприировать его сокровища для правого дела!

...Теодор, мы можем построить дивную коммуну, Теодор! Это будет идеальная ячейка общества будущего: вы, Полин, мой ангел, я лично... мы можем даже пригласить этого слащавого испанца... как его зовут... этого Сальвадора... Откуда он взялся, в конце концов? Уверен, что он из мелкой буржуазии, как и большинство моих последователей, к сожалению... Тэдди, эти лавочники, без должных инструкций, могут посеять хаос в классовой борьбе, так что мы должны будем приручить наших птичек в нашей ячейке. Впрочем, если вы возражаете, Тэдди, Сальвадор не будет допущен в коммуну! Единственное, что нам нужно для будущей гармонии — эти проклятые золотые фетиши... Юность можно соблазнить только политическими

идеями или деньгами; лучше — и тем и другим. Зрелость, мудрость, гармонические концепции в экономике — все это лишь словесная шелуха для юных нарциссов нашего жалкого времени... Политика и деньги, дешевые вдохновения и дорогие подарки... эта проклятая метафизика все еще существует, несмотря на наши открытия...»

Вскоре после этого лихорадочного монолога наша *научная система* начала позорно разваливаться. Как еще могло быть, ведь колесо Фортуны — это не что иное, как модель антимарксизма. Бесконечные революции слепой удачи, перпетуум-мобиле неравенства... это может легко разрушить любую вашу систему, любезный Карлушка. Взгляните на все эти лица вокруг рулетки! Что вы прочтете на них? Корысть? Жажду прибавочной стоимости? Вы правы, майн либер герр профессор, но можете ли вы назвать что-то еще, другое нечто, могучее, симфоническое, полифоническое, если угодно, что угадывается за масками корысти? Это мечта! Все они жаждут удачи, и все они тешат себя бесконечной мечтой вскарабкаться выше других. Вот таким-то образом, мой злополучный реконструктор мира, и в этом-то и живет красота, красота несовершенства. Совершенство, увы, не предполагает более высокого уровня. Маркс застонал: «О, Тэдди, вы поете сущую серенаду капитализму!»

Глухой ночью, потеряв все наши деньги, мы опомнились на скамье в Английском саду, возле гигантского фонтана, который выглядел как настоящее буйство барокко, со всеми этими преувеличениями человеческих округлостей, что казались такими неуместными двум неудачникам, погрязшим в трясине европейского застоя. Он почесал меж пальцев. Я почесался под мышками. «Страдаю от экземы»,— признался он. «Я тоже, друг, я тоже». Мы стали вяло говорить о симптомах старения... Что еще? Да ничего особенного, небольшие непорядки в мочеиспускании, некоторое замедление, меньше звонкости у струи... ничего больше... Я пробормотал что-то туманное о своих приступах странности и последующего *видения,* ощущение *причинности...* Он сардонически усмехнулся: «Причинность? Все так просто, а вы еще говорите о причинности». Никто из нас не хотел, как англичане говорят, назвать лопату лопатой, и так мы согласились на усталости белковых тел.

Небрежными пальцами покручивая свои трости, шурша шелковыми шлейфами, смеясь, обмениваясь остротами, свита баронессы Энфуа прошла мимо фонтана, даже не заметив двух ссутулившихся банкротов. Семидесятилетняя мегера, истинная Пиковая Дама, опять рванула банк.

«Это довольно несправедливо,— прошептал Маркс.— Старая кляча сказочно богата, и она забирает банк третью ночь подряд...» После паузы он добавил: «Говорят, что она держит все выигранное богатство в номере отеля, все ассигнации и монеты в одном кожаном мешке. Случайно, Тэдди, я заметил, что в ее апартаменты можно легко проникнуть через служебный подъезд...»

Я сжал его запястье: «Карл, о чем вы говорите?» Опять я испытал знакомый момент мимолетного головокружения. Мне казалось, меня засасывает и одновременно выталкивает какая-то бездонная воронка, что я во власти и центробежных, и центростремительных сил... и тут я уловил зарождение нового романа!

Он чесался и хихикал: «Почему нет? Так или иначе, решительная, умелая революционная акция могла бы остановить бессмысленное вращение так называемой Фортуны, другими словами, ненасытное расхищение. Экспроприируя ее дикие деньги, мы просто восстановим историческую справедливость, мы вложим дивиденды ее пустой и порочной жизни в дело социального прогресса!»

«И ради этих великих целей, Карл...— начал я осторожно, как бы стараясь не спугнуть мой новый ошеломляющий замысел и в то же время не ободрить его дьявольских намерений..,— ради вашей грандиозной теории прибегли бы вы к ... нет, нет, конечно, нет, простите...»

Он засмеялся победоносно, однако с некоторой ноткой истерии: «Перестаньте, Теодор! Задавать такие вопросы после ваших сибирских злоключений... Перед лицом наступающих величественных тектонических сдвигов вас интересует судьба жалкого трутня, нахлебника трудящихся масс, этой непристойной пиявки на теле человечества? Ей-ей, я начинаю сомневаться в величии русской литературы!»

Я схватил его за жабо и свирепо тряхнул, как будто я действительно был гигантом из сибирских соляных копей: «Вы, немецкая колбаса, тухлая капуста! Плюну ли я в вашу физиономию или поцелую ваш странно благородный лоб, зависит от вашего ответа: вы говорите о баронессе теоретически или практически?»

«Конечно, теоретически,— промямлил он.— Я никогда не говорю практически».

Голос его заглушался бородой, основательно взбитой моим гуманистическим, хоть и несколько лицемерным, порывом. Он дрожал. Глаза его, полные ужаса, смотрели поверх моего плеча в направлении юго-западном от моего уха, то есть в глубины Английского сада.

Я повернулся и увидел двух имперских жандармов в шлемах с перьями и с усатыми носами. Они направлялись к нам, неся на лицах выражение непреклонной снисходительности. Дух этой снисходительности и беспристрастности распространялся все больше по мере того, как они, позвякивая шпорами, приближались.

«Герр Маркс, вы арестованы по обвинению в нелегальном проезде через границу». По аллее, покрытой аккуратным, как яички, булыжником, к фонтану подъехал тюремный фургон.

Великий Перестройщик вынул золотую монету достоинством в один фридрихсдорф и протянул ее мне с грустной улыбкой: «Я сэкономил это на завтрашний ленч, чтобы еще дальше продвинуть русско-европейские дискуссии, однако с этой ночи мои лично ленчи, увы, будут бесплатными. Воспользуйтесь этой монетой, мой бедный сибиряк, для любой цели, какую пожелаете, или просто сыграйте ею на красное...»

Он уронил голову и отдался в руки жандармов.

Остаток ночи я провел в полицейском участке, стараясь вызволить этого злополучного малого из тюрьмы. Я зашел так далеко, что даже предложил свое опекунство. К несчастью, власти не выказали никакой элегантности ни в отношении арестованного, ни в отношении возможного опекуна. Мне было просто сказано, что в моей собственной, довольно двусмысленной ситуации, учитывая печальную известность, что я снискал среди владельцев отелей и ростовщиков, мне бы было лучше держаться скромнее и не высовываться. На рассвете я получил короткую записку из-за стен узилища.

«Дорогой БС, не беспокойтесь обо мне. Мой ангел Энгельс возьмет на себя все. Он прекрасно знает, что делать при такого рода практических превратностях жизни. Могу ли я взять на себя смелость и посоветовать Вам оставить П. и С. и сконцентрировать все свое величие на Российском просвещении? Спасибо за историческую встречу. Ваш Карл Маркс, кандидат экономических наук».

Лезу из кожи вон, чтобы последовать его совету. Пишу эти строки и стараюсь не слышать голосов любовников, с идиотской оживленностью обсуждающих наверху непостижимую поездку в Аргентину. Нынче мне не до них, пора оценить истинную ценность марксизма, сопоставить его с любовью, ревностью и рулеткой...

Почти рождение почти нового мифа

В этот момент чтение с компьютера и печатание прочитанного бесценного материала были неожиданно прерваны. Филлариону вдруг показалось, что он не один в комнате, а еще точнее, он вдруг ощутил себя под внимательным и враждебным наблюдением. Он обернулся и прямо за своим плечом, на безупречно оштукатуренной стене, которая призвана была как бы вносить дух глубинки и стабильности в эту часть Тройного Эл, увидел огромную многоцветную *гусеницу*. Не имея в наличии никаких органов зрения, эта тварь (или штука?) пристально и угрожающе наблюдала за ним.

Известно, что в подобных обстоятельствах истинный библиофил подсознательно печется не о личной безопасности, а о сохранности своего печатного или рукописного материала. Профессор Фофанофф ни при каких обстоятельствах не был исключением. Как раз наоборот, собственной плотью, говоря точнее, своим гаргантюански гигантским пузом, он попытался защитить уже отпечатанные страницы великого наследия. Увы, он не располагал ни временем, ни пространством для маневра в желаемом направлении. Невероятная *гусеница*, размерами не менее французского горна, перепрыгнула через его плечо на принтер и в мгновение ока пожрала все листки дневника без остатка.

Не будет неуместным сказать тут, что это было сделано без каких-либо видимых органов жрания, не будет также преувеличением заметить, что, производя эту гнусную акцию, тварь (или устройство?) шипела, как комбинация огнетушителя и змеи-медянки, при полном опять же видимом отсутствии органов шипения. «Вот уж действительно продукт Лиги ядовитого плюща»,— пронеслось в голове Фила. В этот момент он не отдавал себе отчета в том, что смешивает два несовместимых понятия.

В следующий момент его мыслям пришлось сделать поворот в противоположном направлении, а именно в сторону его собственного незащищенного грешного тела. Сразу после совершения злодеяния в отношении бесценного текста продукт Лиги ядовитого плюща прыгнул в том же направлении, другими словами, в сторону его живота, еще точнее — на его изношенный замшевый пиджак, который пятнадцать лет назад в Кривоколенном подарен был ему с собственного плеча знаменитым кинематографистом Орсоном Уэлсом.

«Пиджак Орси должен быть спасен!» — решительно воскликнул Филларион и схватил гнусную тварь за хвост, если можно так сказать о части тела огромной *гусеницы*, которая и вся-то выглядела как чей-то хвост, хоть и существовала сама по себе, испуская дьявольски вонючую, сродни окиси железа, секрецию.

Несколько мгновений они свирепо сражались. В течение этих мгновений мысли Филлариона опять переменили направление. В этот раз они перелетели огромное пространство истории, в те времена, когда эллинские фризы существовали живьем, то есть двигались, во времена Лаокоона и битвы на Флегрейских болотах. «Вот вам, пожалуйста, происходит рождение нового мифа!» — думал профессор. Мысли агрессивной *гусеницы*, увы, находились за пределами нашего

понимания. Может быть, они вообще не являлись предметом литературы.

Вдруг вся мифология лопнула: дверь читальной комнаты распахнулась, и симпатичный аргентинский ученый Карлос Пэтси Хаммарбургéро вошел, насвистывая беспечный мотивчик. Зловещая *гусеница*, как будто смущенная неожиданным свидетелем, немедленно прекратила так успешно развивающиеся злодеяния, бросила пузо Фила, пружинисто отпрыгнула на стену и начала в этой стене быстро исчезать, часть за частью, кольцо за кольцом, со всеми своими отростками, пока стена не предстала перед нами полностью в непорочном виде.

В результате этой прерванной битвы замшевый пиджак Орсона Уэлса превратился в дымящуюся бахрому, болтающуюся на теле Фила наподобие каких-то изощренных спагетти, однако наиболее суровые повреждения были нанесены штанам нашего мифологического героя. Волосатая плоть виднелась через многочисленные дыры, и хорошо тренированный глаз, подобный тем, что находились в распоряжении спецагента Доллархайда, мог бы заметить в прорехах еще дымящуюся шахту пупковой зоны, равно как и возвышение лобка.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Как египтянин, молящийся Изиде

«Привет, Фил!» — сказал сеньор Хаммарбургéро. «Хей, Пэтси»,— ответил почти состоявшийся Лаокоон.— Ну, как вам нравится это исчадие гусеницы?» Пэтси сел и скрестил ноги в почти безупречной британско-атектинской манере. Почти безупречные легкие туфли, почти безупречные носки, почти безупречно отглаженные панталоны. Он помахал рукой, чтобы разогнать слегка раздражающий дым, а также пар и вонь, оставшиеся после битвы, и одарил русского коллегу дивной, близкой к совершенству улыбкой.

Общее впечатление от этого молодого человека обычно заключалось в коротких популярных фразах вроде «какой милый», «какой толковый» и тому подобном. Он считался красивым, хотя взятые по отдельности иные его черты являли собой полнейшую несовместимость друг с дружкой: узкое европейское лицо и косоватые азиатские глаза, веснушки и рыжий ирландский вихор и большой, смело очерченный рот «негритюда».

Елки, обычно вздыхал Пэтси, я — дитя нашего несуразного века. «Холодная война» и дуновения разных оттепелей и перестроек, международная контркультура и классический колониальный уклад, порывы спонтанной щедрости и циничные тайные операции, вдохновение и банальности, елки, все эти и бесчисленные другие феномены приняли участие в моем возникновении и развитии.

Хоть я и рос в буколической атмосфере богатого поместья на Ла-Плате, я подозревал, и не без причины, что некий дешевый отель в бассейне Тихого океана предоставил койку для того злополучного совокупления, что в конце концов привело к моим сегодняшним признаниям. В детстве, бывало, время от времени я получал какие-то странные посылки, то с эротическими книгами по-французски, то с резиновыми игрушками вроде Микки Мауса, Супермена, Человека-паука, Жестяного человека, Космического волшебника и так далее, а однажды даже пластиковый мешок с конфетками «джели-биинс».

В те дни, когда я получал эти несуразные дары, я становился диковатым, меланхоличным и одновременно агрессивным, способным к непостижимым поступкам. Однажды, например, осквернил, то есть подверг вандализму, бесценную коллекцию мраморных скульптур, принадлежащих отцу, в другой раз начал безобразно оскорблять наших крепостных, немыслимо гордое племя тамошних индейцев. Мои родители были в отчаянии из-за этих приступов иррациональности. Даже и сейчас я не знаю, были ли они на самом деле огорчены моим исчезновением.

Но уж только не говори нам, Пэтси, что ты был похищен, хихикали слушатели. Сеньор Хаммарбургéро лишь пожимал плечами и улыбался. Современный мир развращен грязным потоком беллетристики, документалистики и элементарной лжи, он невосприимчив к правде. Разумеется, я был похищен, хотя некоторые газетчики распускали слух, что я сам убежал. Меня похитили оскорбленные индейцы в сотрудничестве с израильскими охотниками на нацистов. Они продали меня бесплодной паре западногерманских миллионеров-издателей, придерживавшихся строгих коммунистических убеждений, так что все мои подростковые годы я воспитывался как юный пионер марксизма-ленинизма. Я гонял свой «порше» и распространял подстрекательские листовки среди иностранных рабочих в рурской индустриальной зоне. Ходили слухи, что я был связан с группой «Баадер — Майнхоф», с одной из их революционных ячеек... прошу вас, не верьте этому! Анархистские идеи были чужды и мне, и моим родителям, мы были действительно передовыми, хорошо подкованными революционерами. О, Роза и Вилли, надо отдать им должное, всегда приветствовали все мои самые смелые начинания, если только они были продиктованы классовым сознанием. Так, они не возражали против моего решения переехать в СССР, чтобы самому ощутить славную поступь социализма. Они даже не возражали против моего формального усыновления товарищем Швалиным, тогдашним председателем Телеграфного агентства СССР.

Великие времена колоссальных ожиданий и горького пробуждения... и нечего хихикать, господа! Приобщившись к советской элите, я сместился к ее левому флангу. Как вы, возможно, знаете, *левый* там это *правый* здесь. В конечном счете я присоединился к группе дерзких писателей, называвшейся «Метрополь». С тех пор и навсегда меня заклеймили как выродженца и провокатора. В конце концов мне пришлось бежать с Родины слонов, как беззастенчиво называли свою страну люди поколения Миши Горбачева. Позади остались ворох разбитых иллюзий, кучка внебрачных детей, несколько чемоданов личных вещей.

На Западе я нашел много изменений. За время моего отсутствия мои аргентинские родители познакомились с моими немецкими родителями и заключили соглашение об обмене супругами. В результате мой аргентинский папа женился на моей немецкой маме, а моя аргентинская мама вышла замуж за немецкого папу. Жаль, что они не сделали этого раньше, когда я был просто бедным похищенным ребенком, потому что только после этого обмена у меня появилось подлинное чувство семьи. Вот такова вкратце история моей жизни. Чертовски надуманная история, не кажется ли вам? — обычно смеялись коллеги. Си, сеньорес, кивал Пэтси, я действительно чертовски надуманный персонаж.

В течение этого невольного отступления от развития нашего сюжета главный герой не переставал ворчать по адресу назойливой тва-

ри, совершившей нападение на материалы его исследования и личную собственность. Он явно чувствовал себя оскорбленным.

— Не обращайте внимания,— посоветовал присутствующий вспомогательный персонаж, то есть Пэтси Хаммарбургéро.— Рех с ней, с этой платью! — добавил он на превосходном русском.— Не пытайтесь меня убедить, что вам раньше не встречались такие чудища в библиотеках. Я хотел с вами поговорить о другом и, похоже, более срочном деле. Не могли бы вы мне сказать, дорогой московитянин, как далеко зашли ваши отношения с мисс Урсулой Усрис?

— Что такое? — вскричал Филларион.— Что дает вам право задавать столь неуместный вопрос, сэр?

На самом деле, как и любой влюбленный, он был чертовски доволен таким неожиданным поворотом разговора от объекта отвращения (гусеница) к объекту обожания (Урси).

— Я не настаиваю на ответе,— сказал Пэтси,— хоть это и в самом деле очень важно... именно для вас, мой друг, а не для кого-нибудь другого в Яйце...

— О'кей,— сказал Фофанофф.— Давайте выпьем кофейку. Вы меня дьявольски заинтересовали.

Они наполнили свои чашки неким условным напитком, известным как кофе, текущим из постоянно циркулирующей в Тройном Эл кофеносной системы.

Фил испустил глубокий вздох, не лишенный меланхолии:

— Увы, я еще не изучил ее до желаемого уровня. У нас было всего одно свидание, вполне удовлетворившее нас обоих... Ну, знаете, может быть, я буду ближе к сути этого события, если назову его не свиданием, а искристой увертюрой типа Россини. Вы знаете, что я имею в виду.

— Разумеется,— сказал Пэтси и кивнул с неподражаемой серьезностью.

— Что касается всей оперы, то занавес еще не открылся,— Филларион снова вздохнул, на этот раз во всю силу своих перегретых альвеол, что создало впечатление открытой кузни.— Ну, а теперь, Пэтси, бросьте ваши утонченные улыбочки и скажите, почему вы спрашиваете.

Международный денди помахал рукой, пожалуй, с некоторой небрежностью:

— Мне следует подчеркнуть, Фил, что это, конечно, важно, но... но, в общем-то, не чересчур важно... Вы, возможно, знаете, что мы с Урси живем в одном кондоминиуме...

В этот момент Филларион начал вздыматься, зарокотал громоподобно, как будто стараясь оправдать свое прозвище Пробосцис-Хобот.

— А я и не знал! Значит, вы любовники, так?!

— Не судите обо мне так одноцветно, сэр,— улыбка Карлоса Пэтси Хаммарбургéро приоткрыла ну уж прямо высшую шкалу утонченности.— Мы просто соседи по модному коопу Кондо дель Мондо вместе с другими нашими коллегами, Хуссако-саном, супругами Абажур, вашим соотечественником Жукоборцем, например... Фокусируя внимание на этом простом факте, я просто хочу с вами поделиться некоторой дополнительной информацией, которую я волей-неволей заполучил. Что касается личных чувств, ни я, ни Урсула никогда не имели по отношению друг к другу ничего, кроме легкого взаимного отвращения.

— Отвращения? Отвращения к мисс Усрис?! — Филларион вздымался и опадал, стонал и вскрикивал от болезненного недоумения.

Здесь нам следует сказать, что если отдел КГБ Хранилище всерьез отобрал профессора Фофаноффа для какой-то сверхтонкой операции, если это не было просто отвлекающим маневром в игре (а эти игры, как известно, нередко выходят за пределы художественной литературы), то выбор их был явно ошибочным. Неудержимая спонтанность мешала профессору удержать за зубами даже малюсенький секрет, не говоря уже о личных эмоциях.

Так и произошло. Фил немедленно вывернулся наизнанку перед малознакомым молодым джентльменом, называя доктора наук Урсулу Усрис совершенно необычной персоной женского рода, что глаже тюленьчика и пушистее медвежонка-коала, и в то же время существом высочайшей интеллигентности и независимости, которое категорически запрещает величать ее зябликом и глупышом, но не возражает против Жемчужной Лагуны, персоной, чьи глаза, разумеется, напомнят любому кусты сирени вдоль запретных зон Балтийского побережья, цветущей сирени разгара белых ночей, которые заставят тебя почувствовать себя человеком XIX века, гуляющим вдоль таких же кустов в тех же, тогда еще не запретных зонах.

Пэтси кивал со знанием дела на все откровения Фила, а потом сказал, погасив свою вечную двусмысленную улыбочку:

— Да вы действительно влюблены, мой дорогой рыцарь Перестройки! Знаете, я весьма впечатлен этой вашей Жемчужной Лагуной, однако позвольте мне также вам сказать, что над вами нависла большая опасность, мой друг!

— Что вы имеете в виду?! — воскликнул Филларион неожиданным фальцетом.— Как может это могучее чувство, эта жажда, столь напрямую именуемая любовью, ассоциироваться с какой-либо опасностью?! Я испытывал эти благотворные вихри не менее пятисот раз, и они ни разу меня не подвели. Напротив, они всегда вдохновляли мою беллетристику и мое бельканто, не говоря уже о плавности движений, которой они всегда способствовали!

Сразу после этого смелого заявления собеседники отправились глотнуть свежего воздуха, проехались на паре эскалаторов и на паре лифтов, прошли мимо поста охраны, где можно было увидеть мрачную фигуру шефа безопасности Каспара Свингчэара, и, в конечном счете, вывалились из Яйца в прозрачный и как бы похрустывающий вечер ранней вашингтонской зимы. Известная всем сова из Флаг-башни Смитсоновского института плыла вдоль воздушных потоков, словно пожилая балерина Большого театра навстречу неизбежной отставке.

— Экие подонки и дармоеды,— проворчал позади мистер Свингчэар.— Особенно хорош советский бездельник. А какая безобразная манера одеваться — все интимные места наружу... а этот запах горелой кожи, как будто парень только что дрался с огнедышащим драконом. Хотел бы я знать, как долго общество будет терпеть нахлебников вроде этих двух, один — полный чудак, второй — трепло; и это ученые наших дней!

Не успел еще он завершить своих мрачных наблюдений, как предмет недавней дискуссии Урсула Усрис шустро выскочила из внутренних сфер Яйца. Шеф охраны, в прошлом большой знаток таких бойких молодых женщин, выделил этого доктора наук из общего числа и сделал ее счастливой реципиенткой его сумрачных улыбок. В этот раз, в ответ на ее быстрое «Куда они пошли?», он снисходительно ткнул большим пальцем в сторону обелиска Вашингтона.

Так уж развивается наш сюжет, что мы не можем оставить читателю ни малейшего сомнения в том, что УУ подслушала разговор Пэтси и Фила до последнего слова. Ее трясло от возмущения, и ее глаза в этот момент меньше всего напоминали кусты сирени на Балтийских тихих берегах, скорее уж — штормовые облака, собравшиеся

над островом Борнео. Впрочем, лиловый — это неотъемлемая часть калимантанского спектра.

— Ублюдки,— шипела Урсула, как будто была в некотором родстве с недавно описанной отвратительной гусеницей.— Осмеливаются говорить обо мне! Обсуждают меня, словно я лошадь или наложница! Все мужики и все андрогины, разгребись они на фиг, должны быть уничтожены!

Вскоре после того, как мисс Усрис вылетела из Яйца, двое других ее коллег, а именно Хуссако-сан и месье Абажур, один за другим, с интервалом не более тридцати секунд, проскользнули мимо поста охраны. Цель их была очевидна — внести еще больше беспорядка в развитие сюжета.

Нечего и говорить — ни Урсула не догнала свою цель, двух женоненавистников, ни француз, ни японец не нашли того, что они искали. Взводы потных конгрессменов и других джоггеров с Вашингтонского холма перекрыли все возможности для наблюдений.

Тем временем Пэтси и Фил мирно шествовали по направлению к большим зеленым лугам с развевающимися в прозрачном воздухе американскими флагами.

— Позвольте мне довести до конца мою мысль о докторе Усрис,— продолжил Пэтси, снова демонстрируя лучший вариант своей утонченной улыбки.

— Мисс Усри́с предпочитает, чтобы ударение в ее имени ставилось на последнем слоге,— сухо поправил его Фил.

— Хоть это и звучит слишком суперлятивно по-русски, я постараюсь впредь удовлетворять ее желание,— сказал Пэтси.— Ну что ж, дорогой Фофанофф, вы, конечно, знаете, что в этом городе каждый работает на ту или иную разведку...

— Что?! — оборвал его Филларион.— Вы действительно так считаете?

Пэтси, который был также известен в академических кругах как человек, жестикулирующий всегда неадекватно своим словам, *открыл* руки наподобие пингвина:

— Разумеется, я так считаю, и у меня есть для этого основания. Почему вы так удивлены? Каждый завязан тут по крайней мере с одной шпионской фирмой, в этом нет сомнений. Вопрос только в том, на скольких хозяев вы работаете одновременно. Вот вы, например, мой блистательный обитатель Кривоколенного переулка, на кого вы работаете, кроме КГБ?

— Ни на кого! — пронзительно вскричал Филларион и выпустил пары возмущения.— Ни на кого не работаю...— Он вдруг оборвал тираду, конечности его пали вниз, и пробормотал, как кающийся грешник: — Ни на кого, кроме КГБ, конечно...

— Это хорошо,— сказал Пэтси.— С вашей стороны это очень, очень хорошо. Если вы, живя в Вашингтоне и к тому же работая в столь сомнительном месте, как Либеральная лига Линкольна, работаете только на одну разведку, это говорит о ваших высоких человеческих характеристиках, об исключительной цельности вашего характера!

— Однако, Пэтси, вы же не будете утверждать, что все работники Яйца связаны со шпионами, вы же не будете этого говорить о моем безупречном друге Генри Трастайме.

— О нет! — воскликнул Пэтси.— Я этого не скажу. Единственное, что я скажу о Генри...— он прервался и глянул на Фила снизу,— это то, что он тоже сохранил высокую шкалу цельности...

— А вы-то сами, сэр? — Фил агрессивно выставил вперед нижнюю губу.— Наверное, вы только себя и считаете здесь единственно честным, свободным, незавербованным, не так ли?

— Я весь вымышлен и надуман,— вздохнул Пэтси не без сожаления, однако и не без определенного лицемерия.— Но даже я, невзирая на мою перекрученную фиктивную жизнь, располагаю определенной границей моральных стандартов, которую никогда не переступлю. Во всяком случае я знаю, как отличать мою секретную деятельность от моего личного мира.

Он продолжал:

— Увы, иные из нас теряют баланс, соблазненные фальшивой идеей неограниченной власти, и Урсула У. является одной, если не первой, из этих заблудших персон. Пожалуйста, Фил, перестаньте делать мне эти угрожающие гримасы. Если я правильно понял, вы еще новичок в нашем деле, однако с вашим, столь хорошо развитым воображением вы можете легко предвидеть, каким образом тренированный агент может ответить на угрожающие гримасы.

Итак, коротко говоря, пару лет назад ваша обожаемая УУ, как многообещающий специалист по русским вопросам, была завербована индонезийским ЦРУ. О'кей, это личное дело каждого — принимать предложения от других школ или отвергать их. Основной наниматель будет молчаливо и тактично соответствовать неписаным правилам игры, пока его право первой ночи не нарушается. К сожалению, наша Урси, с ее агрессивными женскими гормонами, вырвалась из системы и превратилась в своего рода фурию этого города.

Позвольте мне повторить, Фил. В мире международного шпионажа основной наниматель обычно весьма терпим к своим людям. *Ваш* или, если угодно, *наш* — не исключение. Когда вы продаете, перепродаете и снова перепродаете так называемые государственные секреты, вы просто снабжаете вкусной информацией гигантские компьютеры, и они уж ее переваривают. Так что проблем нет, полный вперед — и предавай, пока ты не предаешь наш бизнес как таковой. И вот это-то и случилось с мисс Усрис, увы, не могу в данный момент сделать ударение на ее последнем слоге.

Третьего дня в ресторане „Сплетни" я наткнулся на капитана Салтруканаджо, помощника хореографического атташе при индонезийском посольстве. Между прочим, вы еще не знакомы с этим очаровательным молодым человеком? При случае не упустите шанса, ей-ей, не пожалеете. Это просто к слову — но, дорогой Пробосцис, вы не можете даже представить, как горько Салтруканаджо жаловался на поведение объекта вашего обожания!

Она отбилась от рук, презрительно отметает все приказы, не говоря уже о дружеских рекомендациях. Должен подчеркнуть, что ребята из других школ, с ней завязанные, тоже недовольны. События закручиваются самым разрушительным для современного шпионажа образом, девица решила играть свою собственную игру! Никто пока что не может определить ее главную цель, одно ясно каждому — результаты будут деструктивными и угнетающими. Я бы, конечно, не стал бы вам рассказывать обо всех этих неприятностях, если бы не одна дьявольская штука: не кто иной, как вы, сэр, являетесь главной мишенью ее подрывных намерений!

Эй, не хотели бы вы освободить мою левую руку из своего, неоправданно болезненного, зажима? В том случае, если вам не захочется этого сделать, боюсь, мне придется употребить один из трюков, которым я был обучен для применения в подобных обстоятельствах. У-у-у-а-с! Вы в порядке, Фил? О'кей, давайте продолжим. Надеюсь, вы понимаете, что единственной целью, которую я преследую, сообщая вам всю эту информацию, является попытка предотвратить

любой потенциальный вред, грозящий нашей победоносно шагающей вперед Гласности. Ну, во-вторых, конечно, мои личные симпатии к вам, мой незадачливый исследователь жемчужных лагун. Так что постарайтесь собраться и перенести неприкрашенную правду, которую я вам сейчас скажу. Урсула Усрис решила любыми средствами удалить вас с вашингтонской арены!

— Но что за причина? — произнес Фофанофф еле слышно.— Что я ей сделал плохого, кроме одного великолепного фака?

— Причина — ваше исследование по Достоевскому,— быстро ответил Хаммарбургéро.— У нее есть утечка, черт его знает откуда, что вы собираетесь принизить нашу прекрасную западную культуру с помощью каких-то новых, то есть только что открытых материалов Достоевского. Естественно, никто не уполномочивал Урси становиться спасителем Западной цивилизации, но ее мегаломания бьет все рекорды. О нет, сэр! О, Фил, пожалуйста, не надо! Умоляю вас, Пробосцис, не надо петь!..

К тому времени, когда аргентинец понял, что русский собирается петь свое горе в публичном месте, они как раз достигли Западной плазы и медленно шли от дверей Национального театра в сторону двух шикарных отелей, «Мэрриот» и «Уиллард»; здание Горсовета высилось через улицу. Множество людей в открытых кафе, театралов и постояльцев отелей, оказались загипнотизированы видом гигантского незнакомца, который внезапно решился выпеть свое горе в публичном месте.

Он пел: НЕТ, НЕТ И НЕТ, СЕНЬОР ХАММАРБУРГÉРО КАРЛОС, ИЗВЕСТНЫЙ КАК ПЭТСИ, О НЕТ, Я НЕ ВЕРЮ ТОМУ, ЧТО ВЫ ГОВОРИТЕ О МЕЧТЕ МОЕЙ, УРСУЛЕ УСРИС, ДОКТОРЕ НАУК!
МИЛЕНЬКИЙ ПЭТСИ, КАК БЫ СИЛЬНЫ НИ БЫЛИ ВАШИ АРГУМЕНТЫ, Я НЕ ДОВЕРЮСЬ ИМ ВО ИМЯ ЛЮБВИ! ВЫПЕВАЮ МОЮ ТОСКУ ИЗ-ЗА ВАШИХ СООБЩЕНИЙ, РУЧАЮСЬ Я ВЕРИТЬ, О ВЕРИТЬ, ТОЛЬКО В ЛЮБОВЬ!
КАК ЛЮБОВНИК, Я ВЕРЮ НЕ ГРУБЫМ ФАКТАМ, НО ЛИШЬ ГРУДЯМ ЕЕ НЕЖНЫМ, ЗОНЕ ПУПКА И МЕЖНОЖЬЮ! НА ВСЕ ВАШИ ПРАВДОПОДОБИЯ НЕВЗИРАЯ, Я УБЕЖДЕН В ПРОТИВНОМ, ЕЕ НОГАМИ РАСКИНУТЫМИ И ЕЕ РУКАМИ СОМКНУТЫМИ, И Я ПОКЛОНЮСЬ ЕЙ, КАК ЕГИПТЯНИН КОГДА-ТО МОЛИЛСЯ ИЗИДЕ, О, ДА, О, ДА, КАК ЕГИПТЯНИН ИЗИДЕ, О, ДА, О, ДА, БРАТЬЯ, КАК ЕГИПТЯНИН КОГДА-ТО МОЛИЛСЯ ИЗИДЕ!

— Пожалуйста, остановитесь!,— вскричал Пэтси, простирая руки.— Это уж слишком даже для Гласности!

Публика столпилась вокруг экстраординарного певца, все были исключительно вежливы и тактичны (таков уж стиль нашей столицы), иные зеваки демонстрировали дивную щедрость, бросая монеты и купюры вокальному виртуозу, сильно пострадавшему от любви. Два джентльмена, в костюмах-тройках и с портфелями крокодиловой кожи в руках, со знанием дела говорили, что певец этот — просто вылитая копия Паворотти, увеличенная версия немаленького певца, истинное воплощение мирового искусства и литературы, другими словами, поющая душа Восточного полушария.

НЕ СЧЕСТЬ АЛМАЗОВ В КАМЕННЫХ ПЕЩЕРАХ, НЕ СЧЕСТЬ ЖЕМЧУЖИН В НЕКОТОРЫХ ЛАГУНАХ... Филларион продолжал петь, покачиваясь с носков на пятки и раскрывая руки, как будто пытаясь обнять отель, чье лобби, то есть вестибюль, полтора столетия назад родило слово «лоббист».

Успех! Каждая станса его бельканто сопровождалась взрывом аплодисментов. Его шапокляк был уже набит двадцатидолларовыми бумажками.

О, ДА, СЭР, О, ДА, ВЫ ЛЕГКО МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ, ЧТО Я ЛИШЬ ПЕШКА В ЕЕ РУКАХ, ОДНАКО КОГДА Я КАСАЮСЬ ЕЕ, КОГДА Я ТРОГАЮ ЕЕ, О, БРАТЬЯ, ПЕШКА МОЯ ПЕРЕХОДИТ В ЛАДЬЮ, И МЫ С НЕЙ, КАК КОРОЛЕВСКАЯ ПАРА, О, ДА, КАК ЦАРЬ И ЦАРИЦА, О, ДА, О, ДА, БРАТЬЯ, МЫ СЛОВНО КИНГ И КУИН!

В последовавших за этим криках приветствия и аплодисментах никто и не заметил, что прямой адресат незабываемой арии исчез из вида. Где же он? Трудна задача автора, когда он пытается уследить сюжетные извивы целиком надуманного персонажа. Все же нам следует сказать, что в то время, когда колоссальное представление Фила было в полном разгаре, внимание Пэтси внезапно отвлеклось на клочок бумаги, прикнопленный к одной из чистопородных лип перед отелем «Уиллард». Внезапно он ослабел, как будто какая-то основная струна лопнула в его стройном теле. Он еле смог подойти к дереву и прочесть послание, которое выглядело столь же неуместным в этой шикарной диспозиции, сколь майка с надписью «Босс» выглядела бы на груди профессора Джин Киркпатрик.

Клочок гласил: «Найден маленький кот. Темно-бежевый, туманные голубые глаза. Нежен, когда в хорошем настроении. Пол — под вопросом. Может быть взят своим хозяином (требуются подтверждения) в любое время. Вознаграждение по договоренности...» и т. д.

В мгновение ока ироничный, всезнающий и уверенный в себе персонаж превратился в дрожащую медузу. Трясущимися пальцами Пэтси откнопил записку, оглянулся в панике, как будто до смерти боялся, что кто-то за ним наблюдает, и бросился со всех ног прочь. Как загнанный мустанг, он пробежал несколько кварталов, пока не свалился на скамью в сквере Фаррагот. Два завсегдатая этого сквера внимательно посмотрели на него, а потом обратились с довольно вежливым вопросом: «Эй, мужик, ты в порядке? Гребена плать, о чем ты стучишь зубами? Ну-ка, дай-ка нам *есть и пить*, мужик!»

Пэтси вынул свой *есть и пить*, то есть бумажник, и протянул его одному из этих замшелых субъектов, после чего отключился от реальности в идеальном приступе летаргии.

Два бомжа — это были не кто иные, как Тед и Чарльз, с которыми мы уже познакомились при описании бурной жизни улиц Наполеона и Круасана — подсчитали наличность (51 доллар и 8020 иен), засунули пустой *есть и пить* в карман летаргическому парню и, довольные, заколебались в сторону закусочной Роя Роджерса. Хоть они ни разу не проголодались со времени прибытия в этот город, страшное видение полного коллапса западной экономической системы все еще преследовало их, и потому они всегда старались впрок набить до отказа свои бездонные багажники.

Филларион тем временем продолжал петь. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, У-У, ДАБЛ Ю, КАК ОДНА БЕЗУМНАЯ ДУША ПОЭТА ЕЩЕ ЛЮБИТЬ ОБРЕЧЕНА. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ДАБЛ Ю, МОЯ У-У, МОЯ У-У!

Аудитория смеялась и аплодировала в полном восторге. Завершив свое экспромт-представление, он надел шапокляк. Пара долларовых купюр, вырванная порывом апалачского ветра, полетела в сторону Казначейства. Одна купюра прилипла к его мокрой щеке, остальные остались внутри подобно хорошему компрессу на темени. Триумф.

Освежающие друзья

Два дня спустя телефонный звонок разбудил нашего героя в его берлоге на Дикэйтор-стрит в 3 часа 45 минут утра: «Доброе утро, Фил-беби... Держу пари, ты узнал мой неизгладимый йоркширский акцент, не так ли? Иа, иа, это твой старый Дотти! Надеюсь, не разбудил, ведь ты же всегда был довольно ранней пташкой, верно?» — «Я только что лег, Федот Ксенофонтович»,— ответил Фил мрачно.

В телефоне щелкнуло. Немедленное разъединение.

Пополудни Фофанофф остановился купить «горячую собаку», у филиппинца на углу Коннектикут-авеню и Эл-стрит (или Лореляй-стрит, в соответствии с его программой переименований). Торговец покрыл сосиску щедрой блямбой горчицы и тихо сказал: «Записка внутри». Шествуя вдоль Конн и чавкая сочным куском американского культурного наследия, профессор читал узкую полоску послания, сродни тем, что Великий Ленин обычно вытягивал из чирикающих телеграфных машин времен Русской революции. Оно гласило: «Немедленно отправляйтесь в магазин „Бёрберри", и проявите желание примерить жилетки и шарф».

Вашингтонское отделение знаменитой британской институции было расположено на тройном углу Конн, Род-айленд и Эм (Маскарадной) улицы. Недавно обновленное здание XIX века, с его довольно уродливой башенкой, напомнило Филлариону извечное пятно в его анкетах, дом на улице Карла Маркса (бывшей Проломной) в городе Казани. Когда-то в этом доме помещался филиал «Зингера и К^0», в котором брат его бабки, Петр Фомич Костанжогло, был совладельцем и членом правления. Кто знает, подумал Филларион, может быть, в ходе Перестройки это капиталистическое пятно в моем прошлом обернется фонтаном, полным торжества. Едва он выразил желание примерить жилетку и шарф, его тут же препроводили в примерочную. Хорошенькая англичанка быстренько вывернула жилетку наизнанку, и он заметил в районе подмышки штамп «Лё Шамп». Что касается вязаного шелкового шарфа, на нем был ярлычок с надписью «Уотергейт». Презентация сопровождалась очаровательной улыбкой, увы, приправленной типично британской сдержанностью: «Не угодно вам, сэр, слегка ограничить сферу деятельности ваших рук? Благодарю за дух взаимопонимания. Такси вас ждет!»

В такси Филларион не без труда произнес комбинацию двух не очень сопоставимых слов «Лё Шамп», что подразумевало, разумеется, сияние Елисейских полей, и Уотергейт, от которого за версту разило громовым всемирным скандалом. Шофер просто кивнул. По пути к круглым массивным стенам средоточения мировой скандалезности он насвистывал какую-то изысканную мелодию своей родной Нигерии, а по прибытии к месту назначения вручил пассажиру квитанцию на пять с полтиной. На обратной стороне квитанции Фил увидел симпатично выписанную фразу: «Дюжина часапикских устриц и бутылочка пива „Кирин" дружески освежат вас в следующие полчаса». Сосиска-хотдог, «Бёрберри» такси, устричный бар, думал Фил. Похоже, что я в западне какого-то коммивояжерства.

На террасе ресторана «Лё Шамп» его приветствовала пышущая здоровьем официантка Триша Декуик в майке с надписью «Футбольная команда русалок Потомака». «Как сегодня дела идут, приятель?» — спросила она без излишних церемоний. «Как тут у вас насчет освежающих друзей?» — «Ага, дюжина устриц и японское пиво? Прекрасный заказ, сэр! Сразу виден истинный джентльмен!»

После серии добродушных шуток и ошеломляющих исповедей, связанных со сложностями супружеской жизни, Триша подала «освежающих друзей». Ну, а к концу своего короткого пира Филларион получил буклет Лодочной станции Флетчера, что располагалась в двух милях вверх по Потомаку, на берегу параллельного могучей реке тихого канала Часапик-Огайо. Горячий возбуждающий шепот, направленный в заросли левой околоушной зоны, зубки слегка покусывают мочку уха: «Попросишь там эскимосский каяк. А потом давай — заходи, давай быстренько заделаем штучку, крупный папочка!»

Его снова ожидало такси, на этот раз внутри, словно моторный поршень, бухал ямайский ритм. Трудно было определить, обычная это была тачка или еще одна *из сети* — вот так он и подумал: «из сети»,— пока они не пересекли горбатый мостик над старинными шлюзами в сердце Джорджтауна, и здесь шофер сказал: «Вот тут самое трудное место для плаванья вниз по каналу на эскимосском каяке, сэр. Надо не забывать о шлюзах».

На Лодочной станции Флетчера Фил столкнулся с неожиданной проблемой — ни один спасательный жилет и не думал сходиться на его груди. Инструктор, сам довольно дюжий мужчина, вывихивал себе мозги, пока вдруг решение не было найдено. Как и все великие открытия, оно было простым. «Иисус, Мария и Иосиф,— сказал инструктор,— почему бы нам не взять два жилета и не надеть их на ваши руки, сэр? Вот, извольте, сэр, все путем!»

Два оранжевых узла на плечах усилили сходство Фила с певцом Паворотти, исполняющим «Риголетто». «Пожалуйста, не пойте, сэр,— инструктор махнул рукой на прощанье, красные паучки на носу и щеках недвусмысленно говорили о приверженности их владельца к ирландскому темному пиву.— И, пожалуйста, не раскачивайте лодку. Вам надо просто скользить вниз по каналу обратно в Джорджтаун. Постарайтесь избежать столкновения с гребанной джорджтаунской баржой, набитой этими лаптями-туристами, о'кей? А как достигнете устья Рок-Крика и войдете в Потомак, поворачивайте направо. Там вы увидите, сэр, самое уродливое строение из когда-либо возведенных на Земле, комплекс „Вашингтонская гавань". Постарайтесь преодолеть судороги отвращения, потому что вам там надо причалить. Потом вы высадитесь и все остальное увидите своими глазами. Ну, в путь! Бон вояж!»

Получив столь теплое напутствие, Филларион стартовал и мирно заскользил обратно к стильному Джорджтауну. Сегодня у него не было ни малейшего намерения петь. Скольжение вниз по водам канала, сходным с гороховым супом, настроило его на мысли о суффиксах, префиксах и других мелких частицах лингвистики.

Мы, безусловно, принижаем значение этих маленьких ублюдков. Идеологическая война, например, она ведь вся нашпигована этими суффиксами, префиксами, окончаниями. В истории были периоды, когда война идей практически превращалась в войну лингвистических частичек. Без сомнения, большевики не выиграли бы гражданской войны, если бы у них был иностранный суффикс *ист* вместо *ик*, такого родного и домашнего.

Интересен и поучителен также процесс адаптации некоторых неслыханных жаргонизмов социалистической абракадабры. «Буржуа», такой необычный и странный, быстро трансформировался в «буржуя» и сразу стал обиходным словом по созвучию с самой популярной трехбуквенной непристойностью. Буржуй — гуй, буржуй ты гуев!.. Скользя по каналу и пережевывая свои частицы, профессор Фофанофф не обращал ни малейшего внимания на встречных бегунов. Бегуны же, без различия пола, при виде невероятного гребца теряли ритм и слегка задыхались. Он также избежал столкновения с тури-

стической баржой, даже не заметив ни ее, ни ее экипажа, молодых людей в жилетках XIX века и девушек в чепчиках, ни бурлаков-мулов, влекущих баржу по каналу. Он был весь в раздумье.

А давайте-ка заглянем в коварные семантические ловушки, товарищи! Если, скажем, у гадкого слова «антисоветчина» отобрать негативный префикс *анти*, мы предположительно должны получить что-то хорошее. Однако уродство суффикса *чин* настолько очевидно, что оно придает оставшемуся слову еще большую гадость, и получается действительно мерзкая *советчина*.

Милостивые боги Балтийского моря, этой колыбели абстрактного мышления! Конечно же, он даже и не заметил, как его каяк вошел в шлюз. Делая пометки на манжетах, он не видел, как двери шлюза закрылись и вода пошла вниз. В какой-то момент ему показалось, что сверху за ним пристально, хоть и с бессмысленной насмешкой на лицах, наблюдают три частицы — *кртчк, мрдк* и *гвск*, однако он отогнал от себя это дикое предположение, и вскоре его судно покинуло заплесневелый шлюз и вышло к последнему перегону старинной транспортной системы.

Только лишь увидев перед собой широкое искрящееся пространство воды, Филларион вынырнул из пандемонизма русского лингвистического разгона. Тут только он понял, что близок к месту своего назначения. В несколько мощных ударов весла он достиг пристани, причалил и вскарабкался наверх.

Великодушные боги Волги и Каспийского моря! Странное эклектическое строение распростерло перед ним свои огромные крылья. Трехногий маяк вырастал из большого фонтана, а за ним стояли вогнутые стены, с множеством балконов, террас, галерей, патио и внутренних авеню, с козырьками в стиле Прекрасной эпохи, с изгибами барокко по железобетону и модернистскими плоскостями отражающего стекла. Все вместе это создавало страшную чужеземную атмосферу, смесь венецианских площадей, предкатастрофного Санкт-Петербурга и романа Томаса Манна «Волшебная гора». Филларион влюбился с первого взгляда.

Со второго взгляда он увидел группу туристов, глазеющую на группу скульптур. Эти последние отличались высоким качеством и неслыханной приближенностью к реальным объектам. Туристы восклицали вне себя от счастливого изумления:

— Эй, глянь, этот парень в кроссовках, ну точно наш сосед Джимми! Эй, а девчонка-то рядом, ну, просто хоть на свиданку приглашай! А старый-то, старый, может, пригласить его выпить? А что, ребята, может, они все ж-таки живые?!

Две фигуры скульптурной группы изображали юных влюбленных. Мальчик развалился на скамье, голова на коленях у девочки. Она ласкает волосы гедониста, со смешанным выражением материнских чувств и похотливости. На обоих — настоящие джинсы и клетчатые рубашки.

В полуметре от подошв юнца на скамейке располагался третий член группы, среднего возраста джентльмен в прямой, сдержанной позиции. В твидовой шляпе и зеленоватых очках «Рэй Бэн», с аккуратными пеговатыми усиками, скульптура выглядела как отставной офицер разведки, своего рода полковник Черночернов. Ну, вот извольте теперь судить сами о качестве кагэбэшной подготовки: ни одна мышца, ни одно сухожилие не дрогнуло ни на лице, ни в теле нашего Шварци. Надо отдать должное инструкторам школы в поселке Растительное Масло: прекрасно обучили своих студентов использовать ахиллову жилу в качестве задвижки для всей системы.

Глубоко впечатленный, Фил Фофанофф стоял перед старшим товарищем по оружию. Лишь только тогда, когда рассеялись туристы, Черночернов проговорил голосом многострадального чревовещателя:

— Как ты мог так поступить со мной, Фил?

Угрызения совести потрясли тело профессора, как электрический разряд. Внезапный взрыв симпатий к этому, такому старомодному, такому располагающему к доверию носителю англосаксонского здравого смысла подхватил его. Конечно, я мог нечаянно схамить, задеть чувство собственного достоинства у этого простого человека, для которого применение простого экстрактора истины — уже серьезная моральная проблема.

— Как ты мог, Фил, открыть мое имя городской телефонной системе? — Полковник снял очки и посмотрел на Филлариона жалобным, поистине умоляющим взглядом: — Прошу прощения, дорогой Фил, но, как твой крестный отец, я должен тебя предупредить, что при повторении такого ляпа ты должен будешь...— он прочистил горло,— подвергнуться дезактивации.

— Бедняжка,— вздохнул Филларион с высочайшим сочувствием и стряхнул немного перхоти со слегка траченного молью плеча полковника,— он все еще верит в такие вещи, как дезактивация...

Они провели вместе весь день, обедали в вегетарианской секции ресторана «Пища славных» и даже изображали из себя любителей наблюдения за жизнью птиц на острове Теодора Рузвельта. Полковник делился с Филларионом своим грандиозным опытом на службе у Британской короны. Иной раз это звучало столь правдоподобно, что Фил волей-неволей вспоминал недавние откровения молодого аргентинца и думал, не является ли Шварци, то есть Черно-Чернушка, полноправным членом экстравагантного клуба вашингтонских перевертышей.

В свою очередь, Фофанофф поделился с непосредственным начальством своими первыми впечатлениями от деятельности в секретных сферах. Может показаться странным, но полковник не выказал большого интереса к содержанию дневника Достоевского. В такой же степени не был он впечатлен утверждением Филлариона, что в дневнике нет ничего особенно вредного для престижа отца научного коммунизма.

— Сказать по правде, содержание нас особенно не интересует. Отметая всю демагогию — нас интересует не наш собственный интерес, а чей-нибудь еще интерес к нашему интересу, который как бы не существует, но существует в связи с потенциальным интересом других, вот в чем дело. Уже давно эти разгребанные записки нашего национального гения были под наблюдением многих школ в этом районе. Фактически они никому не нужны, но каждая школа озабочена озабоченностью другой школы. Существовало что-то вроде молчаливого согласия не делать первого шага в этом направлении. Ну, а теперь просто трудно представить, что получится, если другие узнают, что мы начали. Сорвутся с цепи! Надеюсь, что ты пока что не заметил никакого подозрительного внимания во время своих исследований, правда?

Филларион пожал плечами:

— Ничего особенно подозрительного, если не считать одной, пожалуй, слишком докучливой гусеницы.

— Докучливая гусеница?! — вскричал Черночернов. Он затрепетал, как охотничий пес в болотистой равнине, полной уток.— Ты сказал, всего лишь одна докучливая гусеница? Гусеница-наблюдатель? Шипящая и обжигающая гусеница? Проглотила весь принтаут записок Федора Михайловича? Прожевала и выжгла большую часть пиджака Орсона Уэлса? Нацеливалась на твою пупковую зону? — Он по-

тирал руки, очи его пылали: — Мать-Россия и святой Николай Второй! Произошло нечто исключительной важности! Силы, почти равные нашим, бросают нам вызов. Послушай, Фил, будь особенно осторожен сегодня. Не возвращайся домой, не ешь, не пей, никого не трахай, особенно профессоршу Усрис! Ради Орла Двуглавого, не пой на улицах! Что ты должен делать? Просто иди на площадь Лафайета, займи скамью напротив Белого дома и жди, жди, жди, пока не получишь моих дальнейших инструкций!

Сказав это, полковник Черночернов ринулся домой с такой скоростью, какой позавидовал бы рассыльный компании «Международный цветовод».

Аэробика

Трудно сказать, была ли его скорость чрезмерной или недостаточной, но так или иначе, ворвавшись в свою квартиру, он обнаружил там генерал-шеф-повара Егорова и теоретика Марту... о, нет, нет, не подумайте чего... совсем не полностью голых, но, пунктуально говоря, в подштанниках.

Как только он вошел в комнату, эта далеко не голая пара его соратников пустилась в неуклюжий, но все же синхронный цикл подскоков и приседаний. Ритмические их движения могли бы даже претендовать на некоторое приличие, если бы не две желтовато-зеленоватые молочные железы, которые явно вели себя, как два независимых и не вполне серьезных партнера. Из-за этого недостатка в координации вся сцена была исполнена духом какой-то дикости.

— Глянь, Дотти! — сказал генерал-шеф.— Марта тренирует меня в этой проклятой аэробике!

Марта пожала плечами.

— Это вовсе не аэробика! Наши советские физические упражнения не имеют ничего общего с этой вздорной американской манией!

Генерал-шеф хихикнул:

— Ну-ну, товарищ! Ты что же, не уважаешь Джейн Фонду, величайшего борца за мир?

— Тщеславная баба предала наше дело! — взвизгнула Марта.— Ее аэробика отвлекла миллионы от классовой борьбы!

Черночернов даже не заметил, как оба товарища вдруг расположились возле круглого обеденного стола, полностью, по протоколу, одетые, галстуки затянуты, пуговки застегнуты и даже государственные награды на соответствующих местах.

Марта привычно включила настольного жука — электронное устройство, которое начало ползать туда-сюда, чтобы заблокировать возможное подслушивание американскими органами. Затем она отправилась на кухню, чтобы поставить самовар: советские женщины отвергают соблазны американского мелкобуржуазного феминизма!

— Тревожные сигналы, Егор! — прошептал Черночернов.— Помнишь ту мерзкую селедку в международном аэропорту Далласа? Теперь гигантская гусеница появилась в библиотеке Тройного Эл!

— Елки-моталки! — сказал генерал, хотя и не похоже было, что удивился.— Ну что ж, теперь жди еще что-нибудь в этом роде, третьего члена трио. Я говорю „третьего", потому что надысь получил сообщение о странном летающем объекте, условно названном *дрозд*. Хоть все трое и выглядят по-разному, однако ж сдается, что одной выпечки.

— Лэнгли? — скорее выдохнул, чем произнес полковник.— Второе бюро? Моссад? Удба? Косоглазые?

— Лучше уж все они вместе взятые, чем то, что я подозреваю,— вздохнул генерал.

У полковника все конечности задергались.

— Не хочешь ли ты сказать, Егор-голуба, что проклятый этот Зеро-Зет окончательно вышел из-под контроля?

— Вот именно это я и хотел сказать, гребать-их-всех-за-пазуху,— сказал генерал.

Чекисты пожали друг другу локти и глубоко заглянули в глаза. В соответствии с заветами основателя тайного братства, монаха-расстриги польского происхождения, в трудные моменты истории они начинали «к товарищу милеть людскою лаской», а к врагу оборачиваться «железа тверже». Этот превосходный моральный кодекс все же иной раз затуманивался разными сложностями — как бы не пропустить тот момент, за которым друг превращается во врага.

— К сожалению,— продолжал генерал-шеф,— я не могу выключить эту штуку без соответствующих инструкций Хранилища. Я даже не могу и распознать ее. На все мои обращения Зеро-Зет отвечает с наглым вызовом, а Хранилище явно не торопится уничтожить своего блудного сукина сына. Значит, единственное, что нам остается на тот случай, если гнусная штука зайдет слишком далеко, это действовать на свой страх и риск, а именно — взорвать разгребанное Яйцо во время одного из их разгребанных сборищ.

Полковник Черночернов чуть не впал в столбняк. Яйцо, вместилище передовых идей, игровая площадка столь дивно очерченных индивидуумов! Подобно многим людям своей профессии, он был немного влюблен в объект исследования.

Генерал потрепал его по колену и предложил стакан водки, как будто это он был здесь хозяином, а не Черночернов.

— Спасибо, Егор-голуба,— промямлил полковник.— Водка это то, что мне сейчас нужно, чтобы переварить твою ошеломляющую идею.

Генерал прекрасно знал, где находится водка в этом доме. Он быстро выставил полгаллона «смирновской», два стакана и круг польской колбасы на обрывке эмигрантской газеты «Новое Русское слово». Потом сказал товарищу по оружию:

— Надеюсь, Дотти, ты не видишь во мне старорежимного ублюдка-головореза. Я человек Перестройки, и я не прячу ни от кого, что Достоевский оказал на меня глубокое влияние. Не менее других, ни на йоту не менее, я верю, что нельзя пожертвовать ни единой слезинкой маленькой девочки ради счастья человечества, но... ох уж эти подлые *но*... бывают в истории моменты, когда надо реально видеть неизбежность некоторых событий, иначе все слезинки испарятся совместно со всеми моральными дилеммами, в том числе и со слезинкой маленькой девочки! Давай выпьем, Федот-голуба!

Как обычно, слова генерала нашли тропу к сердцу полковника. Он поднял сосуд недрогнувшей рукой. Егоров покосился на него.

— Я знаю, Дотти, ты любишь эту птичку,— он указал на Российского Имперского двуглавого орла на этикетке «смирновской»,— и я уважаю твои непоколебимые убеждения, кореш, хоть я сам и ценю гораздо больше либеральное содержимое этой бутылки.

Они опрокинули упомянутое содержимое. Полный стакан залпом, дух Великой России жив и невредим!

— Ты еще не пришел к окончательному решению по Яйцу, Егор-голуба?

— Пока что нет, Федот-голуба. Позволь тебе напомнить, что мы все еще в процессе охоты за нашим национальным сокровищем, и поскольку кто-то еще явно выказывает к нему свой интерес, мы должны постараться, чтобы не захапали его чужие равнодушные

руки. Так что пока не поздно, бери своего тяжеловеса и извлекай из Яйца все данные по ФД — КМ, все дискеты и оригинал также. Как только покончим с этой надуманной проблемой, у нас будут руки развязаны для более серьезного дела.

Они употребили еще два стакана. Либерализм рос.

— Тебе никогда не приходило в голову, Егор-голуба, что три чахлых латинских Эл, L, если их соединить вместе, образуют наше могучее русское Ща?

Либеральный генерал-шеф-повар смутно улыбнулся:

— Я знаю, что у тебя на уме, паря. Авианосец „Кащей Бессмертный" уже на плаву. Позволь мне сказать тебе одну более-менее важную вещь. Меня давно уже тошнит от их разгребанного коммунизма...

Полковник испустил радостный визг: «И меня тоже!» — и тут же сморщился, как будто пронзенный историческим штыком Октябрьской латышской стражи.

Неся величественно пыхтящий самовар, в комнату вступала хранительница марксистско-ленинских традиций. В коммунистической общине Вашингтона, дистрикт Колумбия, эта бесплодная женщина-пехотинец считалась воплощением высшей партийности. Циничные и насмешливые вьюноши из посольской волейбольной команды даже прозвали ее Абсолютом на манер старой Большухи, Елены Стасовой, но потом, узнав, что Абсолютом также называется превосходная шведская водка, решили, что это слишком получается лестно для клячи.

— Подонки,— пробормотала Марта Арвидовна Черночернова (урожденная Нельше).— Наше правительство считает вас рыцарями без страха и упрека, а вы грязните партию своим киряньем монархической бузы из этих гигантских бутылок, болтаете грязный вздор о Кащее Бессмертном и коммунизме! Ты, Федот, что не мычит не телится уже столько пятилеток, и ты, Егор, весь пропахший аджикой, этим отвратительным афродизьяком от тех кавказских взяточников и взяткодателей, если бы вы только знали, как я вас обоих ненавижу!

Зловещее молчание воцарилось в комнате на несколько минут. Груди Марты трепетали, ее лицо наливалось неудержимой яростью.

— Ленинское учение непобедимо, потому что оно верно! — прошептала она наконец и швырнула самовар, этот проклятый жупел великодержавного шовинизма, в своих двух мужчин.

Момент тысячелетия

Вскоре после завершения странного эпизода с кипящим самоваром спецагенту Джиму Доллархайду как раз случилось небрежно пройтись по Висконсин-авеню мимо советского квартирного блока. По стечению обстоятельств, он приметил как раз двух друзей, посольского шеф-повара и советника по садовым культурам, выходящих из здания, лица их были красны, костюмы влажны. «Хотел бы я знать, кто из них этот неуловимый Пончик? Впрочем, так или иначе оба парня выглядят довольно симпатично, хоть малость и дымятся»,— так подумал наш йаппи, молодой городской профессионал. В руках у Джима в этот момент был пакет с некоторыми лакомыми кусочками, составными йаппиевской питательной системы, а именно: салат из леттуна и тунца, пара крупномолотых булочек, кувшинчик с ореховым тофу-желе и флакончик с порошком шпанской мухи. Естественно, он мечтал поделиться всеми этими прелестями с новым своим объектом обожания, Урсулой Усрис.

Джим, вообще-то, был на вершине блаженства. Позавчера вдруг фортуна, вопреки всем ожиданиям, ему улыбнулась. Глухой ночью вдруг звонок из Лас-Вегаса. Мамочка и дядя Роджер хохотали как сумасшедшие. Неисправимые представители пятидесятых, они только что сорвали банк, гигантский выигрыш в казино отеля «Цезарь». Эй, киддо, скоро получишь наш сувенирчик! Сувенирчик оказался не чем иным, как новеньким красным «порше-тарга». А что вы хотите сказать этой машиной, Джим, спросил старший агент д'Аваланш Трио Эплуайт, Эппс и Макфин повторило вопрос бровями, усами, бакенбардами и родинками. Красивое чудовище, вздохнул Доктор Хоб. Джим понял, что его дни в составе Бюро сочтены.

Ну так что, думал он, подъезжая к тротуару возле Кондо дель Мондо. С такой машиной и с таким другом, как Урси, я смогу легко свернуть на другую, более творческую дорогу Нового мышления.

Вдруг он увидел на углу Урсулу, разговаривающую с юным эфиопским велосипедистом. Похоже, что она была очень взволнована и меньше всего готова к тому, чтобы обеспечивать спецагенту дорогу к Новому мышлению. Джим немедленно вытащил шариковую ручку и заткнул ее за левое ухо. Далее следует то, что ему удалось уловить при помощи этого нехитрого снаряда.

Урсула: «Я тебе дам двадцатку... Кулдах, еще десятку за экстраскорость... отправишься на Лафайет-сквер... кулдах-тарарах... это чертовски срочно!»

Велосипедист: «Йес, мэ-э-эм!»

Урсула. «Увидишь там огромного человека... не меньше трех сотен фунтов... эдакого чудилу... вот записка для него... Понял?»

Велосипедист: «Ничего нет легче, мэ-э-э-эм!»

Урсула: «Его имя на конверте. Мистер Фофанофф».

Велосипедист вздрагивает, точнее сказать, дрожь пробирает его от макушки до скоростных подошв.

Урсула: «В чем дело?»

Велосипедист: «У нашей семьи фамилия — Фофаноффи...»

Урсула: «Мне наплевать на ваши чертовы русско-эфиопские связи, понял? Единственное, что мне от тебя надо, это скорость доставки письма этому обормоту».

Велосипедист: «Йес, мэм!»

Теперь мы можем предложить читателям простенькую загадку: кто быстрей домчится от Джордж-тауна до Лафайет-сквера — новенький, с иголочки «порше-тарга» или подошвы потомка знаменитых с древних лет эфиопских посланцев?

Тэдди Фофаноффи, едва достигнув Лафайет-сквера, тут же увидел в юго-восточном его углу, рядом с бронзовой фигурой генерала Костюшко, не менее монументальную фигуру своего адресата. Профессионализм не позволил юнцу пуститься в генеалогические изыскания: он просто передал адресату послание и растворился в предвечерней голубизне. Таким образом, уникальная встреча двух родственных кланов не состоялась, и они отодвинулись друг от друга еще на одно тысячелетие.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Вечер Ренессанса

Всякий знает площадь Лафайет как излюбленное место протестантов. Надеюсь, не будет бестактным сказать, что и бичам она нравится. Увы, иногда нелегко отличить одних от других. Политические лозунги не всегда помогают. Например, рядом с относительно небезумным требованием вывода Соединенных Штатов Америки с территории острова Манхаттан можно увидеть относительное несусветное: «Руки прочь от моей матери, Даниэля Ортеги!» У входа в парк, прямо напротив Белого дома, лежит в спальном мешке примечательный человек, профессор астрономии доктор Асторс Звездакис. Он держит не ограниченную во времени голодовку в поддержку своих собственных требований. Ну что ж, в сравнении с другими требованиями Лафайет-сквера Звездакиевские выглядят вполне умеренными: «Немедленное и полное разоружение Соединенных Штатов!» Многолетние исследования колец Юпитера привели ученого к заключению, что мир, потрясенный внезапной беззащитностью Америки, немедленно последует ее примеру и разоружится до последнего автомата Калашникова, который и будет выставлен в музее, как реликт варварской эры оружия.

Некоторые международные друзья астронома находили эти требования нереалистическими и увещевали его прекратить свое мученичество, однако другие друзья, особенно из советского Комитета защиты мира, находили требования вполне реалистическими, советовали продолжать и с завидной регулярностью выражали астроному свои симпатии и поддержку. Советник Черночернов, например, никогда не упускал возможности на ходу заткнуть мученику в слабеющий рот горсточку кубиков советского мясного бульона. Сказать по правде, он никогда не оглядывался, чтобы удостовериться, проглотил ли ученый его дотацию или нашел силы выплюнуть.

В своем, еще не залатанном пиджаке «Орсон Уэлс» и неизменном шапокляке, профессор Филларион Фофанофф уж никак не выглядел белой вороной среди завсегдатаев Лафайет-сквера. Нечего и говорить, все обитатели этого места его приветствовали, и он относся к ним как к *цветам Творца*, каждый цветок со своим неповторимым лицом, разнообразием тряпья и уникальностью вони.

Женщина с дюжиной косиц в седых волосах, одетая в эскимосскую парку и обутая в вечерние туфли на высоких каблуках, приблизилась к нему, толкая перед собой каталку из супермаркета, доверху и сверх нагруженную ее личными вещами. Она обратилась к нему по-матерински:

— Что читаешь, киска?

Он поклонился в превосходном староарбатском стиле и показал ей обложку своего постоянного спутника — «Декамерон».

— Это Ренессанс, мадам. Должен признаться, что я всегда был основательно избалован инспирациями Ренессанса, мадам.

— Это ничего,— сказала матушка Обескураж.— Больше читай, сынок, и люби книгу. Книги — источник знаний!

Она уселась на соседнюю скамью и вынула из тележки бумажный пакет с остатками изысканной еды, выданный ей в гриле аристократической гостиницы «Хей Адамс». Затем она также вытащила

банджо и стала попеременно использовать его то как обеденный стол, то как ритмический инструмент. Питание и пение, деликатное чавканье и мягкое нежное дребезжание голосовых связок задали тон всему этому позднему пополудню на Лафайет-сквере.

Ренессансный вечер, думал Филларион, наблюдая гирлянду розовых облачков над крышей Старой Конторы, где сидят все советники Президента. Вот вам послание из-за тысяч миль, из-за сотен лет.

Вскоре мы увидим, как неправильно интерпретировал он комбинацию полутонов и полузвуков этого вечера и как мало нам следует доверять воображению тяжеловесных гуманитариев в их постоянных попытках убежать от реальности.

Тем временем два бомжа, Тэд и Чарльз, с лицами, соответственно отражающими образы классической литературы и позитивно-радикальной социологии, подошли к матушке Обескураж и попросили у нее *есть и пить*, то есть чего-нибудь пожевать. Прекрасная дама немедленно разложила свои изыски на скамье. Удовлетворив себя гастрономически, Тэд и Чарльз адресовали к благодетельнице следующий, вполне натуральный вопрос:

— Ну что, Полли, решила ты наконец, кого больше любишь?

Она прервала пение и залилась своим, слегка похотливым смешком:

— Извините уж, мальчики, но вы оба получили свою долю, а тут есть и неутоленно жаждущие...

Она хитровато глянула в восточном направлении, туда, где, в тени генерала Костюшко, стоял в романтической позе владелец бакалейной лавки господин Пу Соннн. Страстный дискант, исполняющий древнюю корейскую песню «Похороны белого тигра», возносился в деловые небеса Средней Атлантики, словно высокочувствительная биологическая спираль.

Бомжи застонали и заныли.

— Мы так петь не можем, Полли, но мы любим твои пальцы, любим, как ты расчесываешь свои волосы...

— Благодарю за великолепнейший квартет,— вмешался тут Филларион.— Как Боккаччо писал: „Любовь, дай мне восторгаться во имя Твое, дай мне от счастья сгореть в пламени Твоем..."

Он уже готов был открыть и свой собственный рот, чтобы снова воспеть свою собственную влюбленность, когда неизвестно откуда выпрыгнул вдруг советник Черночернов, беспокойный, возбужденный, дымящийся, истинный представитель «обожженного поколения». Он сжал кисть Оиллариона и лихорадочно прошептал:

— Следуй за мной!

— О, да,— вздохнул профессор.— Увы, Джованни был прав, говоря, „Тот, кто бесконечен, распорядился своим непреложным законом, что все земное должно завершаться концом..."

Ренессансный вечер закончился, современная ночь вступала в свои права.

Даже и в этот решающий момент нашего романа полковник, проходя мимо еле дышащего тела Асторса Звездакиса, не преминул втолкнуть несколько кубиков советского мясного бульона в увядающий рот идеалиста. За этой гуманитарной акцией последовал испепеляющий шепот прямо в ухо Оиллариона: «Не оборачивайся!»

Ночное головокружение

Никому на свете не удалось бы выбрать менее подходящий момент для проникновения внутрь Яйца. Как только они приблизились к сфероиду, его главная апертура зазияла, и из нее в неоновом сиянии вышла кряжистая фигура шефа охраны Каспара Свингчэара.

— Привет, Касп,— промямлил Фил в замешательстве.— Я тут привел британского коллегу, чтобы обсудить некоторые проблемы суффиксов.

— Валяйте, ребята, подрочите свои суффиксы,— сказал вдруг Каспар, без своей обычной подозрительности и снисходительной мимики.

Он и сам выглядел несколько сконфуженно, однако *коллеги* этого не заметили, они были полностью погружены в свои собственные устремления.

Засим, леди и джентльмены, не откажите в любезности проверить свои часы. Итак, сейчас без двадцати пять, не так ли? Каблучки Урсулы Усрис щелкают вверх по ступеням гранитной лестницы Национальной художественной галереи, расположенной фактически через бульвар от Яйца. В этот как раз момент будет вполне уместным предать гласности записку, доставленную отпрыском мифических бегунов с Веби-Шебели отпрыску знаменитых арбатских обжор и трепачей.

«Пробосцис, без четверти пять будьте в зале Рембрандта Национальной художественной галереи, обратите внимание на „Даму с веером из страусовых перьев". Не двигайтесь, пока к вам не обратятся. Ничего нет важнее этого. Ставки очень высоки. Жем. Лаг.»

Она вошла в зал и огляделась. Если бы он знал хотя бы частичку того, что я знаю! Зал был пуст и навевал покой развешанными по стенам шедеврами фламандского гедониста — «Молодой человек в цилиндре», «Девушка со щеткой», «Старая дама, дремлющая над книгой», «Польский дворянин», «Дама с веером из страусовых перьев». Как и следовало ожидать, его здесь не было, что за возмутительная личность! Мусоля в уме какой угодно вздор, он, наверняка, просто забыл о свидании, от которого так много зависит!

Первый оглушающий звонок прошел по всем залам и переходам национального святилища — пятнадцать минут до закрытия. Филларион вошел в Рембрандтовский зал в сопровождении... О, боги Полинезии!.. в сопровождении Дамы с веером из страусовых перьев! «Фил! — выкрикнула Урсула.— Не дотрагивайся до нее! Не давай ей до тебя дотрагиваться!»

Дама с веером зловеще хихикнула и отскочила по направлению к с в о е й, так сказать, картине. Филларион протянул к Урсуле гигантские руки: «Урси, оглянись!» Его голос был как-то странно приглушен. Обнаружив себя в его нежных объятьях — что за отвратительная, старомодная, романтическая сцена! — она оглянулась и увидела всех персонажей знаменитых картин во плоти.

Болтая по-светски, то есть неразборчиво, Польский дворянин, Девушка со щеткой, Молодой человек в цилиндре и Старая дама, что обычно дремала над книгой, а теперь гримасничала над этой книгой, приближались к парочке. Ничего особенно угрожающего не было в этой скромной группе призраков, и тем не менее Урсула прошептала: «Нам конец, любимый мой!»

В следующий момент Филларион Ф. Фофанофф прыгнул к стене,

как будто упругий, хорошо тренированный доберман-пинчер был заключен в массе его громоздкого тела,— Дама с веером испустила страннейший визг,— рванул на себя картину в бесценной раме. Немедленно после этого в галерее включились все сигналы тревоги, на мраморных полах воцарился хаос. Охваченные паникой посетители бросились врассыпную. Взводы музейной охраны сталкивались друг с другом и распадались в замешательстве. Вопли сотен сирен могли бы создать блестящую возможность для кражи не только «Дамы с веером», но, по крайней мере, дюжины не менее ценных объектов, если бы они не вызывали видения Армагеддона в умах потенциального жулья.

Теперь уже Урсула, как будто пришла ее очередь действовать, вылетела в середину зала, выпустила густой многоцветный дым из своих серег и сумочки, визжа и стеная, словно ирландский дух смерти. Мгновенно все призраки или полопались, как пузыри, или ускакали с грохотом в своих заказных башмаках. В любом случае, они исчезли в густом дыму.

...Урсула пришла в себя через десять минут, в незнакомой машине, где пахло дорогой кожей. Ее голова лежала на мягких, черт побери, слишком мягких, коленях Филлариона. «Неужели ты действительно сказала ему „мой любимый"?» — произнес странно приглушенный голос. Мягкость колен раздражала ее. Она протянула руку, стараясь обнаружить что-нибудь потверже. Вместо искомого ее пальцы наткнулись на маленькую резиновую затычку на внутренней поверхности желеобразного бедра. «Где он?» — спросила она строго. «Он здесь,— сказал приглушенный голос.— Немного выше и чуть глубже. Не угодно ли?» Урсула схватила затычку: «Где Филларион Фофанофф, так же известный как Пробосцис или Хобот?!» Она вытащила затычку... мощный свистящий выдох, сопровождаемый гнусными всплесками и всхлипами... через несколько секунд огромное тело опало... поистине отталкивающее зрелище... месиво влажных морщин, под которыми не без труда различались стройные формы спецагента Джеймса Доллархайда. В пупок ему уперся индонезийский непоколебимый клинок: «Где он?!»

Тем временем генерал Егоров, совсем в недурственном виде, во всяком случае обошлось без ожогов, оставил поле самоварной битвы и отправился по делам в город: надо было прокрутить парочку немаловажных дел. Сначала он взял такси до отеля «Вашингтон Хилтон», впечатляющего здания на Коннектикут-авеню, где возле служебного подъезда произошло одно из двух важнейших событий 1981 года: фальшивый Ромео стрелял в главу дома Капулетти. Генерал не мог вспомнить то мрачное утро без судорог в левой икроножной мышце: либеральная суть его натуры категорически не одобряла подобных дикарских действий.

Пройдя в величественный туалет отеля, Егоров скрылся в третьей кабинке слева и вновь появился из второй кабинки справа. На нем была его излюбленная маскировка, облик отставного почтенного негра, то ли бывшего метрдотеля, то ли управляющего супермаркетом. Эта роль казалась ему воплощением здравого смысла и социальной гармонии.

Он вышел из отеля и проследовал к Треугольнику Калорама, где, на перекрестке с семью углами, перед магазином 7—11, ждал его среднего калибра пудель, привязанный к фонарному столбу. Не без теплого чувства генерал подумал о своем шофере Петруке: на этого парня можно положиться, хороший солдат, хотя и стоит проверить

еще раз его китайские знакомства. Завершив маскарад при помощи дружелюбного зверя, Егоров медленно двинулся вниз по Вайоминг-авеню.

Ну, можно ли вообразить себе более мирную картину — пожилой отставной дворецкий, прогуливающий среднего размера пуделя в квартале «среднего класса»? Кто может подумать, что этот человек является великим мастером шпионажа, истинная цель его прогулки — сбор угрожающей информации, суть которой может перевернуть вверх ногами этот город и даже поставить под угрозу всю человеческую цивилизацию?

«...Пропал кот... ухоженный, интеллигентный», «...убежала ручная ласка», «...прошу помощи, мой единственный собеседник, какаду Джордж, растворился в воздухе...», «Мистер Уилли Тёкер, датский дог, исключительно гордый и немного капризный (ест теннисные мячи), покинул дом после ссоры...»

Невинный зевака вряд ли нашел бы в этих посланиях что-либо большее, чем отчаянные попытки спасения тех малых душ, человеческих любимцев, о которых так проникновенно писал философ Николай Бердяев. Что же касается генерала Егорова, он расшифровывал их немедленно как неукоснительный вызов, полное отвержение субординации и недвусмысленную угрозу. Сняв четыре листка посланий с древесных стволов, генерал прикнопил свою шифровку к симпатичному каштану. Она гласила: «Найден чистопородный мопс, неуправляемый и дикий. Если в течение двух дней не будет взят хозяином (подтверждений не требуется), подлежит отправке на остров Калимантан для специальной тренировки».

Это было не чем иным, как последним предупреждением неуловимому Зеро-Зет. Отныне все переговоры посредством собачьих объявлений и пятен на ветровых стеклах машины прекращаются. Если требования генерала не будут приняты, война не на жизнь, а на смерть развернется по всему фронту.

Несмотря на напряжение, вызванное приближающейся битвой с таинственным Зеро-Зет, генерал с облегчением выдохнул скопившиеся пары аджики: по крайней мере, на сегодняшний вечер он восстановил чувство непреложности и определенности, которое обычно выражалось его любимой формулой — «Порядок в танковых войсках!» Теперь осталось только одно, вполне заурядное и скучное дело: пробуждение *крота* после сорока лет невозмутимой спячки.

Егоров не знал, кем был этот *спящий крот*, и это его не очень-то беспокоило. Он знал только место встречи и пароль. Некий индивидуум подойдет к нему (не исключено, что и на кресле-каталке подъедет) возле скульптуры динозавра, перед Музеем естественной истории, и произнесет фразу: «Говорят, Сибирский экспресс направляется к нашим берегам». Вслед за этим сукин сын (а может быть, и дочь) будет *реактивирован* еще на сорок лет спячки. Никакого смысла не видел генерал в этом паршивом деле реактивации. Елки-гребалки, после целой жизни в полном забвении эти кроты фактически превращаются в бесполезный мусор. Ему уже приходилось несколько раз реактивировать, и все без малейшей пользы. Как правило, кроты начинают ныть и умоляют оставить их в покое, а то и угрожают настучать в ФБР. А что они могут сделать для школы? Завербованные давным-давно, за мизерную сумму чистогана или пойманные на так называемой аморалке, которая, по нынешним-то стандартам, не помешает даже кандидатам в президенты, эти люди сделали свои жалкие карьеры как банковские кассиры или бакалейщики или, в лучшем случае, сторожа в Музее восковых фигур. Ни один

из них на самом деле не оправдал ожиданий школы. В течение всех своих жизней они влачили смутные воспоминания о какой-то допотопной вербовке, подавленное чувство вины, сродни скрытой венерической болезни — и уж, конечно, никаких обязательств перед школой.

Будучи исключительно преданным профессии офицера, генерал Егоров был весьма критически настроен по отношению к своему руководству в Хранилище. Уж он-то точно знал, что так называемые реактивации — это не что иное, как бюрократическая игра, просто вопрос расстановки новых галочек и перестановки покрытых пылью папок; потому-то он и отправлялся сейчас на свидание возле динозавра, за самку буйвола, даже без профессионального любопытства. Гош! Как раз в тот момент, когда он уселся на скамье, впечатляющая грушевидная фигура появилась в поле зрения; связки ключей, наручники, уоки-токи, пистолет и дубинка побрякивали на широких бедрах, мрачное выражение, как занавес провинциального театра, висело на лице — шеф охраны Каспар Свингчэар собственной персоной.

Несмотря на то, что генерал Егоров испытывал некоторое чувство родства с этим человеком своего поколения, он категорически не одобрял его манер грубияна и хама. Один-единственный раз — видит Бог! — школа попыталась взять его на крючок и была отвергнута с возмутительной, просто гомерической яростью и даже с поползновением к физическому оскорблению посланца школы, дамы, приятной во всех отношениях. Надеюсь, он не сорвет моего рандеву, подумал Егоров. Давай, Касп, вали мимо, занимайся своим разгребанным делом. Шеф охраны Тройного Эл остановился, облокотился на круглый бок динозавра, закурил дешевую сигару, посмотрел на часы и хрипло произнес, не обращаясь ни к черному джентльмену на скамье, ни к предмету, на который опирался; иначе говоря, обращаясь к просто и быстро приближающейся ночи, к Ночи головокружения: «Говорят, Сибирский экспресс направляется к нашим берегам»...

Тем временем два новообретенных товарища по оружию, Фил и Дотти, сидели в одном из кабинетов библиотеки, во внутренней сфере Яйца, то есть в самом Желтке. Никто не заметил их, когда они шли через лабиринт современного интерьера, однако как только они уселись перед компьютером, в комнату заглянула жрица храма Филиситата Хиерарчикос и осведомилась, не нужна ли джентльменам какая-нибудь помощь. Довольно холодно отворачиваясь от ненадежного Пробосциса, очаровательная дама делала глазки новичку; такой мужланище, экий дивный балканский тип! С восторгом она убедилась, что не ошиблась в догадке: мужчина представился как хорватский коллега, который приехал, чтобы подработать свою фундаментальную теорию славянских суффиксов и префиксов. Они смотрели друг на друга, красноречиво улыбаясь. Остаться ли мне с ним или уйти заинтриговав, думала Филиситата. Каким образом от нее лучше избавиться, думал полковник. Может быть, применить к ней Растительное Масло или просто по-быстрому пистончик сбросить?

— Весьма сожалею,— вздохнула она.— Я должна идти... ах, какое совпадение... у меня сегодня свидание в сербском ресторане „Шибица", но завтра, профессор, я буду счастлива возобновить наше знакомство самым вдохновляющим образом.

Затем она покинула кабинет, не подозревая о потерянных возможностях. Полковник же подумал не без горечи: видела меня по меньшей мере сто раз на разных приемах и совершенно не узнала.

Ну и людишки, ничего не могут ни вспомнить, ни распознать, если только профессионал применяет легчайшую, дурацкую маскировку.

Филларион включил «Макинтош» и углубился в бездонные, компьютеризированные анналы библиотеки Тройного Эл. Полковник косился на него с усмешкой. Какое похвальное усердие! Впервые вижу, чтобы вновь посвященный коллега работал с таким энтузиазмом.

— Дотти,— прошептал Фил.— То, что мы сейчас делаем, это что, действительно имеет отношение к международному шпионажу?

— Иес, сэр,— сухо ответил полковник.— Вряд ли можно найти лучшее определение этой работы.

— Как интересно,— сказал Фофанофф.— Предвещаю эту ночь, ночь международного шпионажа, головокружения, Ночь вертижжио...

— Вертижжио? Что ты имеешь в виду? Ночь вертижжио?

— Взгляните на экран,— по какой-то, не ясной ему самому причине Фил старался приглушить свой голос.— Мне не удается выйти ни на досье, ни даже на главное меню... Минутку... То, что я вижу там, сэр, кружит мне голову... Простите, но все мои пять конечностей немеют от ужаса...

Следующий момент, с его свирепой неотвратимостью, швырнул обоих на грань полного ступора. Однако перед тем, как погрузиться глубже в Ночь вертижжио, мы должны, пожалуй, сделать один значительный объезд, чтобы вернуть на страницы группу весьма милых персонажей, совершенно незаслуженно забытых на столь долгое время.

Ну, конечно же, повествование о знаменитом вашингтонском институте уже достаточно созрело, чтобы можно было себе позволить лирическое отступление в жизнь его президента достопочтенного Генри Трастайма. Позвольте мне напомнить вам, благородный и терпеливый читатель, что мы оставили профессора Трастайма пару месяцев, то есть сотню страниц назад, в самом разгаре его ошеломляющего побега из академической общины на Надветренные острова. Что же случилось с ним с тех пор? Вернулся ли он к своей семье, на мощеную кирпичом Думбартон-стрит в сердце тенистого Джорджтауна? Возобновил ли он свое, всегда плодотворное руководство исследованиями и мыслительным процессом Тройного Эл? Или уехал он в свой родной Массачусетс, чтобы уточнить расписание избирательной кампании?

Ничего подобного не случилось. Вместо всей этой, поистине похвальной общественной деятельности Генри снял квартирку с одной спальней на углу улиц Сесили и Грэйс, над желеобразными водами старинного канала, чтобы жить там с девушкой своей мечты, Ленкой Щевич, и, следуя советам своего друга, пустился в эксперименты с левитацией, то есть с преодолением силы земного притяжения.

Его отсутствие уже начинало беспокоить соклубников из престижного «Космоса», однако госпожа профессорша, Джоселин, не выказывала никаких признаков тревоги во время своих регулярных велосипедных прогулок под эскортом стопроцентного утонченного мистера Ясноатаманского (надеюсь, что вы еще помните чикагский прачечный автомат «Оптимистическая трагедия»). «Да куда же, черт возьми, запропал Генри? — обычно спрашивали соседи по Думбартон-стрит, которых можно было бы вполне считать тоже членами одного клуба или даже спортивной команды.— Он в порядке, или как?»

Джоселин обычно отмахивалась от вопросов и улыбалась своей неповторимой, как бы увядающей улыбкой. «Ну, что вы так выпытываете, ребята? С Генри все в порядке. Любой путник должен пересечь изрезанное плато в ходе своей жизни». Она отмахивалась немного более энергично, когда ближайшая соседка Молли Кволифакс интересовалась, не завела ли она себе любовника в лице своего постоянного спутника по велосипедным прогулкам: «Пшоу, Молли! Где твое чувство сострадания? Мистер Ясноатаманский проходит в данный момент через суровый кризис общественного статуса. Ведь он же был знаменитым драматургом московского театра, он написал нашумевшую пьесу „Ленинский Треугольник"...» Между тем пытливые соседи, прогуливаясь мимо витрин на улице Эм, то есть Матримониал-стрит, легко могли натолкнуться (и иногда наталкивались) на долговязого джентльмена неопределенного возраста, с кустистыми рыжими усами и пышными пегими бровями. Никто не узнавал в этом лохматом господине Генри Трастайма, и не только из-за его простенькой маскировки или недостатка собственной наблюдательности, свойственной вообще-то современному человечеству, но, в основном, оттого, что внимание каждого мгновенно отвлекалось от него к его компаньонке.

Ну и дева! Она была, мягко говоря, не слишком молода и не ахти как цветуща. О, да, цвет ее лица отражал следы то ли дурного питания, то ли распутства. Движения ее угловатого тела с жеманной неуклюжестью в целом выдавали низкое воспитание, но... елки, что за истома сквозила во всех этих движениях! — кого могла не покорить эта полнейшая беззащитность, сочащаяся из каждой клетки худенького создания, эта, давайте говорить прямо, вечная готовность к самоотдаче? И она самоотдавалась своему другу снова и снова, они буквально грызли друг друга все ночи напролет и добрую часть дневного времени. О, небеса, думал достопочтенный Генри Трастайм, что я делал без нее последние двадцать лет? Ну, конечно, я любил Джоселин, милую маму моих милых детей, но — о, небеса! — что я делал последние двадцать лет без этой великодушной шлюхи? Ближайший к нему член его клуба тем временем не задавал никаких вопросов о прошлом, полностью поглощенный своей ролью в этом эротическом урагане.

Как-то ночью, входя в девятый виток своей обычной спирали, они почувствовали, что потеряли чувство земного притяжения. Скрещенье рук, скрещенье ног, судеб скрещенье, невесомость, момент истины, момент признаний.

— Друг мой,— шепнула мисс Щевич,— я польский агент.

Откровение не приостановило славного воспарения. Напротив, оно добавило еще один виток, который поднял их поиск гармонии прямо к потолку. Крики экстаза привлекли внимание команды южных репортеров, которая наугад прочесывала столицу в поисках сенсации. Они остановили под окнами свой микроавтобус и погрузились в терпеливое тупое наблюдение. Падая с потолка, пара, к счастью, не промазала мимо постели. Сладкое изнеможение, пальчики, пальчики, щипок за щипком, перестройка чувств...

— Ах, лапуля, ну как ты мог предположить, что я работаю на эту противную хунту Ярузельского? Ну, разумеется, я тайный агент „Солидарности"...

— Как чудно! — Трастайм, который всегда гордился тем, что никому никогда не удавалось склонить его к сотрудничеству с какими-либо неприличными службами, сиял: его девочка, его *палома*, как он ее иной раз называл, работает на благородную инфраструктуру, а не на подлую суперструктуру! Не без очаровательной живости и с огоньком в глазах она признавалась в содеянном.

Однажды ночью в Чикаго Ленка и Ясноатаманский стали верными сторонниками дела «Солидарности», а именно — ее подпольной издательской деятельности.

— Ты можешь себе представить, Сакси,— о эта неповторимая выразительность подсобной труппы МХАТа! — этим храбрым людям самим приходилось делать себе бумагу — я имею в виду бумагу как субстанцию — самим! Они варили бумажную пульпу из всего, что было у них под рукой — учебники ли партпросвещения, чучела с частных ли огородов, предметы ли интимного использования — выброшенные трусики, порванные чулочки, сильно поврежденные лифчики, заклинившиеся ,,молнии'' и тому подобное, все, что можно использовать. Мы оба, Ясноатаманский и я, преисполнились сострадания к этим печатникам, мы не могли не откликнуться на страстный призыв их представителя стать членами их секретного подразделения...

— А нельзя ли поподробней об этом страстном посланнике? — спросил Генри подозрительно.

Она не могла чуточку не покраснеть:

— О, фактически он был типичным пророком пассивного сопротивления!

Генри задрожал от ревности. Она опустила ресницы — что за юная грешница, что за лживое раскаяние...

— Ну и что, он обладал силой убеждения?

По лицу ее скользнуло выражение благочестивого уважения:

— О да, огромная сила убеждения!

Нет сильнее афродизьяка, чем приступ ревности. Мгновенно, или по-французски, тут де суит, запущено было еще одно спиральное вознесение, вошедшее, разумеется, в славные анналы улиц Сесили и Грэйс.

— Слушайте, ребята,— сказал один южный журналист своим коллегам,— а не напоминает ли вам мужской голос сенатора Гэри Харта?

Еще раз опустившись с потолка на кровать, пара пустилась в следующий тур исповедей: теперь была очередь Генри. Ленка пришла в полный восторг от истории его вербовки на мирных берегах Женевского озера.

— Швейцария — это ядро западной цивилизации, моя морковка! Как это чудесно — быть агентами двух благороднейших служб в мире! Теперь мне легче попросить тебя о срочной помощи.

— Что за срочная помощь?

— О, ничего не может быть легче, мой сладкий бананчик! Профсоюзники Быдгощского месткома недавно обнаружили, что Либеральная лига Линкольна обладает дневником Достоевского, в котором содержатся уничтожающие замечания по поводу марксизма. Они запаслись бумагой, чтобы опубликовать это как можно быстрее, чтобы им не воспользовались и не извратили бы сути все эти Ярузельские, Чаушески, Наджибулы, Ким Ир Сены, ну, в общем, вся эта компания... Иными словами, ради нашей юной и еще нерешительной Перестройки...

— Однако как же они, Бога ради, узнали, что у тебя есть доступ ко мне, вернее, у меня есть доступ к тебе, кремовая моя карамелька?

— Я все тебе расскажу, мой папа-баклажанчик. Наша система коммуникаций, конечно, не на уровне мировых стандартов, но все-таки довольно надежна. Коротко говоря, мы используем почтовых голубей...

— Ага, значит, та эротическая птичка на нашем подоконнике прошлой ночью была не продуктом моего воображения, а, скорее, идеологическим диверсантом, не так ли? О'кей, моя цветущая агава, давай отправимся в Яйцо и возьмем текст, которого ты так скромнетько жаждешь. В соответствии с нашей общей концепцией гуманитарного либерализма, мы не засекречиваем никаких наших текстов, так что ничего не может быть проще!

О да, это была ночь головокружения, которая вполне заслуженно захватила внимание читателей южных газет на следующее утро. В тот самый момент, когда пара любовников, не вполне безукоризненно одетых (скажем лишь, что он завернул свои костлявые плечи в ее шаль, а она облачилась в его смокинг и в желтые резиновые сапоги на босу ногу), появилась на углу Сесили и Грэйс, репортеры бросились к ним, жадно щелкая камерами и крича: «Мистер Трастайм, сэр, считаете ли вы, что выбранные члены правительства имеют право на свою порцию сладкой жизни?!»

Генри, хоть и завернутый в цыганскую шаль, являл собой воплощенное достоинство: «Я не уронил ни своих личных моральных стандартов, ни основных ценностей Западной цивилизации, джентльмены!»

Полная луна. Группа голубей вперемежку с ястребами взмывает над вашингтонским Левобережьем. Парочка цапель с изяществом украшает перила моста Кей. «Водитель, быстро к Яйцу!» — «Иес, сэр!» Сквозь гусарские усы таксист насвистывал польскую песенку «Пестрые кибитки».

Вакханалия монстров среднего размера

Шепот полковника был направлен прямо в мохнатое ухо профессора:

— Мы выполним свое задание в три этапа. Во-первых, сделаем копию всего дневника, страницу за страницей. Во-вторых, сотрем это досье, то есть изымем его из памяти компьютера, чтобы единственная копия в мире осталась за нами. В-третьих, экспроприируем оригинал нашего национального сокровища из чужой библиотеки или... ну, ладно... остальное не в вашей компетенции...

Он ободряюще похлопал Фила по плечу, напоминающему скат кита:

— В случае успеха вам присвоят звание Героя Советского Союза. Понял?

В ответ послышалось дикое высоковольтное чириканье, как бы издевательски повторяющее довольно торжественные инструкции полковника. Зада-зада-зада... ицей-ицей-ицей... проприи-проприи-проприи... птени-птени-птени... Что за абракадабра?!

— Что за детская безответственность, Филларион, да еще в ходе такой деликатной операции? Чего это ты вздумал чирикать, как фантом?

— Это и есть фантом,— еле слышно проговорил профессор Фофанофф.— Посмотрите на экран, Дотти!

Из обычного «макинтошного» монитора необычное существо (или устройство?) взирало на них с бессмысленной насмешкой. Это была своего рода птица сродни дрозду, однако с осьминожьими конечностями, стрекозьими крыльями и акульим отверстием вместо клюва.

С первого взгляда было понятно, что это дьявольски сложная структура и что она — в этом-то и была наивысшая угроза! — с дьявольской скоростью калькулирует все входящие и исходящие

данные для определения лучшего способа нанести сокрушающий удар.

Здесь мы снова должны отдать должное черночерновской альма матер в поселке Растительное Масло: студенты этой школы были великолепно подготовлены к любому неожиданному изгибу капиталистической действительности. Со скоростью суперпроводника Дотти подсчитал все средства обороны, которыми обладал в данный момент — а у него, разумеется, было их немало,— и потом, на вершине вычислительного процесса, выбрал лучшее из всех возможных — упал на пол! Филларион, хоть и новичок в этом деле, почти мгновенно последовал его примеру.

В следующее мгновение непостижимый *дрозд*, испуская серию ошеломляющих вспышек, вылетел из монитора. Верхние части двух стульев были мгновенно испепелены. Проницательный читатель может легко предположить, что подобная участь постигла бы и верхние части наших героев, если бы они хоть немного замешкались. К счастью для нашего романа, который в любом случае должен быть грациозно завершен, Шварценегтер и Пробосцис благополучно выползали из комнаты, тогда как исчадие электроники (или метафизики?), это дроздовидное, среднего размера чудовище остановилось в воздухе, скрежеща чем-то от разочарования. Естественно, ни полковник, ни профессор не видели, что монстр уронил нечто, похожее на крохотный флакончик. Это могло, конечно, быть просто побочным продуктом чудовищного огорчения, хотя, с другой стороны, вполне могло содержать и отравляющую субстанцию. Нельзя, впрочем, исключить и комбинации обеих версий. В любом случае, человеческий гений вновь превзошел дикую двусмысленность электроники и обстоятельств.

Избежав фатальной конфронтации, советник Черночернов и наш буревестник Перестройки теперь катились вниз по лестницам в сторону обширной внутренней сферы Яйца. То здесь, то там сквозь разные апертуры открывались некоторые многозначительные комбинации звезд и планет, иногда полная луна мигала в шахтах, будто вспышка космического фотографа. Вдруг, непонятно почему, заработали все эскалаторы, лифты и пружинистые трамплины в здании. Помещения, еще пять минут назад преисполненные усыпляющего спокойствия, вдруг огласились множественным эхом. Неузнаваемые голоса реверберировали, отражаясь от капризно изогнутых модернистских поверхностей.

В какой-то момент перед Филларионом промелькнул его молодой друг Джим Доллархайд, в стиле Джеймса Бонда держащий пистолет обеими руками. Потом чешуйчатый продолговатый объект (или субъект?), освещенный трубочными лампами, прошел через внутреннюю сферу и исчез. Момент спустя Филларион увидел старого Каспара Свингчэара, в его обычной позе, с уоки-токи у рта, но вниз головой (или это сам Филларион катился, вопреки законам притяжения, вдоль потолка?), а сразу после этого или одновременно из-за какого-то поворота, словно с американских гор, скатился почтенный пожилой негр со странно русским — «Мама, роди меня назад!» — выражением на лице... а потом... боги!.. любовь моя незавершенная, длинноногая Урсула Усрис пролетела и вылетела, завихряясь, будто в неудержимом реактивном потоке... а потом этот таинственный японский коллега возник, повизгивая и пытаясь увильнуть от мощных охотничьих прыжков многоцветной гусеницы, а затем... Однако, простите, где же в эти моменты был Филларионовский товарищ по оружию, доблестный рыцарь Российского трона и несгибаемый борец за социализм?

Ну что ж, извольте насладиться зрелищем — полковник, лежа на спине, вращался вокруг своей оси, словно молодой чемпион на соревнованиях по танцам брэйк. Затем внезапно все остановилось, роман обрел чувство равновесия, и наши персонажи оказались стоящими вокруг овального стола. Не без удивления они смотрели друг на друга — президент Трастайм в цыганской шали; его подружка, мисс Щевич, в президентском смокинге; спецагент Джеймс Доллархайд в костюме-тройке, располосованном на пять частей; доктор Татуйя Хуссако, вернувшийся от борьбы за жизнь к состоянию своего перманентного хихиканья; невозмутимая академическая красотка Урсула Усрис в ее излюбленной позиции фехтовальщицы, проверяющей кончик невидимой шпаги; молодой космополит Карлос Пэтси Хаммарбургéро, полирующий свои ноготки и беззаботно насвистывающий «Подмосковные вечера»; облаченные в вельвет социофилософ Ипполит Абажур и его левобережная супруга, предположительно женского пола; наш гигантский посланец доброй воли Фил Фофанофф, который выглядел бы точь-в-точь как Пьер Безухов после Бородинской битвы, если бы не оранжевый спасательный жилет с Лодочной станции Флетчера, все еще притороченный к его левому плечу; присутствовал советник Черночернов, чьей первой реакцией после восстановления равновесия была проверка запаса визитных карточек, а также добродушный черный джентльмен, со всепонимающей улыбкой на красиво очерченных губах,— дипломат? знаток кухни Старого мира? Ну, и наконец, шеф охраны всей окружающей среды Каспар Квентин Свингчэар, чье брюхо после победоносной борьбы с поясом и пуговицами лежало на краю стола.

— Привет, ребята! Что вас всех привело сюда, в этот, предположительно пустой, храм позитивного знания в неслужебное время? — мягко спросил достопочтенный ГТТ.

Свингчэар ударил кулаком по столу и гулко сказал:

— Во имя всеобщего благосостояния требую, чтобы каждый вывернул карманы наизнанку!

Может показаться странным, но все немедленно выполнили его требование. С вывернутыми карманами они обменивались смутными улыбками и светскими комплиментами: «...Рад вас видеть... Хорошо выглядите... С удовольствием прочел вашу статью»... и т. д.

Мадмуазель Хиерарчикос, которая вроде бы в это время должна была быть на свидании, вошла в комнату (если так можно сказать о внутренней сфере Яйца), толкая перед собой тележку, загруженную бутылками шерри и порта. Вскоре импровизированная вечеринка потекла веселее. Президент Трастайм представил коллегам своего нового ассистента, мисс Ленку Ясноатаманскую-Щевич, с помощью которой он надеялся продвинуть вперед слегка увязший проект по исследованию скрытых ресурсов творческого начала. Касп Свингчэар подвинул вперед скромного черного джентльмена, сказав, что вот, внезапно натолкнулся на кореша по траншеям Корейской войны, где они выбили порядочно дерьма из *комисов* и *г-ков*. Урула Усрис сделала выпад невидимой рапирой и запустила неясное высказывание, напоминающее фехтовальную атаку в неопределенном направлении: «Иные особы постоянно переживают значение ценностей Ренессанса, а между тем не могут даже приобщиться к наследию Рембрандта!» Спецагент Доллархайд задохнулся от любви и горько пожалел, что атака пошла не в его сторону. Моменты, летящие над овальным столом для шерри, были заряжены огромным количеством электричества. Под тонкой пленкой светской учтивости шипело варево эмоций: неудовлетворенная страсть и неудержимая ревность, чувство долга и дерзкое пренебрежение им, даже отчасти и коварство, не говоря уже о злокозненности.

Опустошив бутыль «Бристольских сливок» в лучшем стиле Кривоколенного переулка, то есть из горла, Филларион уже готовился сделать коллеге Усрис предложение прокатиться на Дикэйтор-стрит для дальнейшего гуманитарного сотрудничества, когда поток его мыслей и эмоций (или наоборот) был прерван взрывом горького театрального хохота неподалеку.

Все обернулись к источнику этого драматического излияния в стиле старорусского Серьезного театра: это был Карлос Пэтси Хаммарбургеро. Бледный и напряженный молодой человек стоял со стаканом шерри в вытянутой руке. Лихорадочным взором он впивался в лицо-маску мадам Абажур. Отхохотавшись, он возгласил:

— Дамы и господа, давайте выпьем за матерей! За тех женщин, что зачали своих детей в ночи дебоша, в гнусных дешевых мотелях, чтобы бросить их потом, как и кошка не поступает со своим пометом! Давайте выпьем за тех зародышей, которые, благодаря небрежности своих матерей, избежали аборта, чтобы стать затоваренным излишком человечества! И еще раз поднимем бокалы за тех матерей, что забыли о своем природном долге ради погони за современным тщеславием.

— О, мой бедный беби! — вскричал тут пронзительно женский голос, однако никто из присутствующих не успел определить, был ли это на самом деле голос мадам Абажур, потому что вопль был заглушен адским, теперь уже отнюдь не театральным хохотом сверху.

Три чудовища среднего размера висели в воздухе прямо над головами людей, *гусеница, селедка* и *дрозд*. Не имея никаких органов хохота, они хохотали. Бессмысленная насмешка и безотчетная злоба слышались в полуметаллических, хотя и явно плотоядных голосах этого трио, появившегося наконец в полном составе в Желтке Яйца.

Минуту или две все присутствующие пребывали в ступоре. Потом один из наиболее тренированных индивидуумов, а именно генерал Егоров, он же ветеран Тимоти Инглиш, закурил сигару.

— Ваши птички, генерал? — тихо спросил его другой хорошо тренированный индивидуум, а именно спецагент Доллархайд.

— Хотел бы я, чтоб они были мои, спецагент,— Егоров несколько устало улыбнулся.— К несчастью, на данный момент у меня нет ни малейшего представления о том, как избавиться от проклятых тварей. Так что, Джим, если переживем эту ночь...

Монстры внезапно оборвали хохот и начали молчаливое угрожающее вращенье над столом. Похоже было, что приближается неизбежное злодеяние. В течение следующих нескольких секунд слышалось только биение сердец. Отдавая должное участникам мужского пола, мы должны сказать, что иные из них сделали импульсивные движения, направленные к защите участников женского пола. Предоставляем читателю догадаться, кто защищал кого, а также, в каких случаях эти благородные попытки завершились мощными ударами защищаемых персон по животам защитников. Внезапно, не причинив никакого вреда, монстры прекратили вращение и со скоростью телевизионных мультяшек просвистели через овал внутренней сферы в главную апертуру библиотеки. Грозный голос прогрохотал:

— Не допущу никаких нарушений в системе безопасности!

Это был, разумеется, старый Касп. В момент наивысшего кощунства, когда монстры среднего размера, эти злые духи, решили посягнуть на святая святых, он отшвырнул в сторону свое сомнительное, мягко говоря, прошлое и все тайнички своей жизни и вернулся к берегам своей сути, а именно к обеспечению безопасности «этого тухлого Яйца». В мгновение ока он вытащил из своего, всегда внушительного, арсенала два атакующих объекта и бросился к библиотеке — дубинка в левой руке, пистолет в правой. Он исчез на мгновение, а в следующее мгновение его бездыханное и изуродованное тело было выброшено обратно и грохнулось на тот уровень, где наши персонажи стояли неподвижно с открытыми ртами. Впрочем, минутой позже неуклюжая эта и, пожалуй, пародийная трагедия вызвала абсолютно необъяснимый взрыв эмоций. Молодой Пэтси и старая мадам Абажур вскричали в острой тоске, упали на колени и соединили свои руки над мертвым телом, профузно рыдая и слегка корчась в конвульсиях.

Позже, во время обследования, патологоанатом секретной службы США, майор Нэвэрно, выразил убеждение, что урон, причиненный бренному телу Каспара Свингчэара, был результатом детально разработанных садистических пыток и уж никак не в течение одной секунды. Два или три часа, джентльмены, не менее того. Это заключение привело некоторых экспертов к предположению, что монстры среднего размера явились из другого измерения, где время не считается.

Вскоре после совершения злодеяния (было ли это на самом деле *вскоре после?)* сатанинский хохот возобновился во внутренней сфере Яйца. Трио вылетело из библиотеки. На этот раз все три твари, похоже, находились в состоянии полного экстаза: они производили шутливые сальто-мортале, рывки вибрации и даже некие чопорные взлеты, сродни тем, чем славятся голуби мира над стадионом Ленина в Москве во время интернациональных шествий.

Какого черта им понадобилось в библиотеке, думал Джим Доллархайд. Его глаза следили за своенравными трионами, правая его рука, просто на всякий случай, располагалась под левой под мышкой. И почему они сейчас-то так радуются? Вряд ли бедняга Касп был их главной мишенью. И, наконец, кроме всего прочего, с какого фера вся эта чудная компания тут собралась среди ночи?

В этом пункте нам следует добавить к нашему рассказу еще одну торжественную нотку: третьего дня электронная охота привела Джима к удивительному открытию — истинным владельцем клуба верховой езды в Вирджинии оказался не кто иной, как Каспар Свингчэар.

— Ни в коем случае не пользуйтесь огнестрельным оружием, спецагент,— шепнул ему прямо в ухо фальшивый Тимоти Инглиш.

Джим пожал плечами:

— Как же еще мы сможем защититься от этой чертовщины?

Генерал усмехнулся:

— Мой опыт подсказывает мне, что надо полагаться исключительно на силу мускулов.

Немедленно после того, как эта фраза была произнесена, монстры среднего размера, как будто подслушивавшие ее и по каким-то причинам испуганные возможным применением мускульной силы, в плотном строю, один за другим высвистелись вон из Яйца в неизвестном направлении.

Ночь головокружения завершалась, хотя равновесие было далеко еще не полностью восстановлено. Контур городских крыш все еще подрагивал в тот час, когда молодой Доллархайд и ветеран Егоров вышли вдвоем на пустынную Пенсильвания-авеню.

— Все-таки любопытно, кого следовало бы привлечь к ответственности за спуск с поводка этих, ей-ей, не очень-то приятных штучек,— сказал Джим, вовсю демонстрируя англосаксонскую сдержанность.

Егоров покосился на своего собеседника не без симпатии и одобрения. Молодой специалист напомнил ему его собственный дебют в качестве канадского служащего на сельскохозяйственном предприятии в Шри Ланке.

— Ну, Джим, вообще-то это, конечно, частично наша вина, и мы в некотором смысле отвечаем за то, что потеряли контроль над одной проклятой штукой, которая оснащена этими фантомами. Вы, возможно, знаете, что мы сейчас находимся в процессе переосмысливания всей системы, ну и разведка — не исключение. Наша служба должна быть решительно очищена от застоя, формализма, небрежности, бахвальства, от принятия желаемого за действительность. Так что мы охотно признаем наши огрехи, наши несовершенства, хотя в данном отдельном случае мы не можем исключить, что и кто-то еще виноват, не только мы. Это не Чернобыль, мой друг, хотя осадки могут быть еще и хуже.

Проблема состоит в том, что одна суперструктура, которая должна была работать на нас (вы, конечно, понимаете, что я не могу на этот счет распространяться), вышла в свет с серьезным дефектом в самой сути своей задумки, и однажды эту штуку (верьте не верьте, но я не имею понятия о ее внешней форме) охватило что-то вроде наполеоновского комплекса.

С тех пор она отказывается принимать команды, по собственной прихоти заводит странные контакты с другими школами, расположенными в Вашингтоне, и выкидывает непредсказуемые и временами дикие трюки без какой-либо определенной цели... Хочу вам сказать, приятель, одну вещь, которая дико прозвучит в устах хорошо подкованного коммуниста-материалиста... Мне кажется, что суперструктура имеет доступ к иным, эзотерическим измерениям...

К моменту этого признания они остановились на углу Пенсильвании и 10-й, у подножия гигантского чудища штаб-квартиры ФБР, этого шедевра антиутопических декораций размером с целый квартал. Егоров ухватил Доллархайда за жилетную пуговицу: неисправимая привычка старороссийской интеллигенции — откручивать у собеседника жилетную пуговицу.

— Короче, мой мальчик, мы снова оказались в одной лодке. Я вижу, ты ухмыляешься, но иногда бывает так, что старый вздор, насчет одной лодки, оказывается реальностью. Я хочу посоветовать вашему руководству, особенно Доктору Хоб-Готлибу и старшему агенту д'Аваланшу, чтобы вам было разрешено сотрудничать напрямую со мной для выявления и изоляции опасной суперструктуры...

Джим почувствовал себя почти убаюканным мягким умиротворяющим голосом человека, чье самообладание, очевидно, не возникло вследствие англосаксонских генов, но было выработано тщательной подготовкой и годами преданной службы. Ну что за приятный пожилой малый! Уж не собирается ли он пригласить меня на шикарный ужин с последующим завтраком? Славный хлопчик, думал Егоров. Ну почему мы не можем просто стать друзьями или... хм... любовниками? Уж эта говенная война двух миров! Почему я неизбежно взвешиваю шанс, как бы его вербануть, вместо того, чтобы просто приготовить хороший густой борщ?

Он хорошо, по-солдатски пожал Джиму руку: товарищи по оружию!

— Позвольте, старина, мне сказать, что я чрезвычайно впечатлен стилем вашей работы!

— Не могу не вернуть вам этот комплимент, генерал,— сказал Джим.— Вам даже знакомы имена моих непосредственных руководителей. Это удивительно, тем более что оба джентльмена на днях вышли в отставку.

— Кончайте эту лажу, спецагент,— усмехнулся Егоров.— Ведь мы профессионалы.

Они расстались улыбаясь.

Пять минут спустя на пустынных плоскостях Пенсильвания-авеню появилось живописное трио: Тед, Чарльз и матушка Обескураж, мечтательная Полли.

Они медленно двигались, толкая перед собой три «тележки покупателя», явно позаимствованные в каком-нибудь супермаркете вашингтонской зоны. Тележки были доверху загружены их пожитками, то есть ржавыми канделябрами, мешками садовых фертилизаторов, мятыми плюшевыми игрушками, пластиковыми утками и фламинго, гипсовыми амурами и другими, такими же необходимыми вещами.

Вдруг пронеслось три последовательных свистящих звука — как будто стальные птицы пролетели на небольшой высоте со сверхзвуковой скоростью; три друга подняли свои сонные лица к бледным небесам. Кочующая братия не заметила, как три летающих чудовища среднего размера сбросили им под ноги некий небольшой предмет, однако как только матушка Обескураж споткнулась об этот предмет, она немедленно его подняла и перекинула, чтоб не пропал, в свою тележку, где он пристроился рядом с картонной русалкой и двенадцатифунтовой головой сыра, пожертвованнной Объединенной методистской церковью, в Чеви-Чэйсе, штат Мэриленд.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Колесо продолжает закручиваться

Вот уж неделя, или более того, прошла после тех головокружительных событий, и все шло по-прежнему, никаких признаков нерегулярности не наблюдалось. Комиссия, назначенная Советом попечителей, после тщательно организованной инспекции не обнаружила в Тройном Эл, и, в частности, в библиотеке никаких внешних или внутренних повреждений. Вдумчивое и тщательное рассмотрение всех обстоятельств (сродни знаменитой Комиссии Уоррена) пришло к следующему заключению: «Как стало ясно, некоторые излишне централизованные компьютеры при некоторых, еще несколько неясных, ситуациях производят внутри своих структур определенную, хотя все же весьма туманную, тенденцию к частично ненормальным и необязательно логически обоснованным акциям...»

Почти тот же уровень ясности был продемонстрирован на похоронах доблестного рыцаря охраны. Приглашенный неизвестно откуда оратор, с необъяснимыми повадками игрока в поло, в частности, сказал: «Трагический случай оборвал жизнь человека исключительных, хотя внешне и вполне скромных, качеств...» Лицо мадам Абажур было воплощением японской маски Но. Пэтси сжимал свои элегантные кулаки. Хуссако рыдал. Царило всеобщее смущение. Никто не говорил о странном сборище в ночном пространстве Яйца.

После возобновления регулярных занятий в научном центре Филларион Ф. Фофанофф лишь однажды сделал попытку вызвать Данные Дневника Достоевского (ДДД) на свой компьютер. Увы, единственный ответ на этот вызов был весьма лаконичен: «Больше в наличии не имеется».

Он был чертовски удручен. Из-за этого, никому не нужного,

разгребанного шпионского бизнеса мы просто-напросто потеряли бесценный объект гениального наследия. Будучи многие годы безупречным членом мировой гуманитарной общины, Фил понимал, что нужно отложить все дела, включая и разгребанную греблю с Ее Высокомерием Урсулой Усрис, чтобы попытаться, невзирая ни на какой риск, спасти шедевр.

Как только идея самоотверженного служения мировой гуманитарной общине откристаллизовалась, Филларион известил советника Черночернова, что он покидает сферу тайных операций в связи с неотложным позывом послужить мировой филантропии и экологическому движению.

Реакция полковника на это заявление была, мягко говоря, не совсем обычной. После Ночи головокружения Двойная Чернуха так и не смогла восстановить своего самообладания на сто процентов. Он часто бормотал что-то невнятное об угасании основных человеческих ценностей в современном мире, о неспособности масс, охваченных дешевым гедонизмом, оценить смысл власти и субординации в ранних, столь гармонически развитых формах государственности. «Ну что ж, Фил, если хочешь завязать, твое дело. Гласность учит нас не быть слишком навязчивыми в секретных операциях. Следуя последним инструкциям, мы решительно порвали с варварскими методами убеждения».— «Как хорошо, что у вас не было этих инструкций перед нашей встречей у меня дома, на Дикэйтор»,— искренне сказал Фил.

На следующее утро, производя несколько отвлекающих маневров в лабиринте Яйца, Фил в нарушение всех правил умудрился пробраться — если так можно сказать о человеке его пропорций — внутрь святая святых, в кладовую рукописей, где его чувствительные ноздри немедленно уловили остаток странной вони, задержавшейся здесь после недавней электронной вакханалии.

Там — какой приятный сюрприз! — он налетел на своего дружка, досточтенного Генри Трастайма, и его нового помощника, тоже довольно хорошо знакомую, Ленку Щевич. Пара в бесконечном поцелуе покачивалась на носках и каблуках между двух рядов полок, отмеченных буквой «Д». За ними на соответствующей полке под ярлыком «Дневник Достоевского, *DWDR* 793» он увидел драматическое зияние.

Он попытался переключить внимание любовников с их мускусных мембран на величайшую неудачу Мирового Гуманитаризма — потерю классического манускрипта, который должен, невзирая ни на что, быть возвращен, даже хоть и из адских сфер. В ответ он увидел две пары глаз, качающихся, как катамараны, в гормональном урагане, и услышал звуки, похожие скорее на иканье, чем на вразумительную речь.

Что за-за-за курш-ш-шлюзы, Ф-фил? Ты на самом деле имеешь дневник Достоевского? Для чего он тебе понадобился? Для гармонии, ты говоришь, для бессмертия? Не для любви? Не для гормонов? Не для безнравственности? Не для КГБ, в конце концов? Что за куршлюзы!?

Другие сотрудники Тройного Эл только пожимали плечами да поглядывали искоса в ответ на его призывы звонить во все колокола для спасения «брильянта Западной цивилизации».

— Держитесь подальше от Западной цивилизации! — сказала

Урсула Усрис, когда он подошел к ней со своей колокольной идеей. Она нагло чиркнула молнией на его штанах, вниз и вверх (о, да, и вверх!), и сухо сказала, что ни одна из его попыток подчинить ее физически или духовно не увенчается успехом, что он только выиграет, если займется своими разгребанными русскими суффиксами и префиксами и не будет посягать на грандиозную идею Западной цивилизации.

Что же касается русских грамматических частиц, незаслуженно одаренных доктором УУ таким сильным русским прилагательным, то и они, как жаловался доктор Жукоборец, стали частенько отказываться от сотрудничества, в том смысле, что его любимые *кртчк, мрдк* и *чвск* стали проявлять склонность к длительным исчезновениям. Что уж тут говорить, любой призыв к раздраженному исследователю от имени мировой гуманитарной общины пропал бы втуне. Карлос же Пэтси Хаммарбургéро тем временем, с меланхолическим выражением приятно очерченного лица, сказал, что смерть шефа охраны Каспара Свингчэара разрушила его последние иллюзии по поводу способностей человеческой расы — даже в таких простых делах, как профессиональное сотрудничество.

Таким образом, впервые со времени своего прибытия на дружелюбные поля вашингтонской академии Филларион почувствовал себя брошенным и одиноким. Оглядываясь вокруг, во время часов шерри, он находил только рассеянные взгляды, двусмысленные ухмылки, он слышал только заурядную тягомотину. Почему, удивлялся он, никто из участников Ночи головокружения никогда не говорит о тех летающих монстрах, от которых кровь свертывается в жилах? Эта тема как будто намеренно обходится, как будто простое упоминание наглых исчадий может приоткрыть какие-то личные, постыдные тайники. Он и сам себя спрашивал с недоумением: «Почему я так неуклюж и затруднен в попытках поднять интерес общественности к пропавшему дневнику? Почему я веду себя так, будто мне стыдно оказаться частью чего-то трухлявo-вульгарного, будто то была не реальная ночь в реальном здании Яйца, а кошмарный сон, своего рода духовная трясина, которую хотелось бы забыть?..»

Пару раз в течение недели после той ночи он наталкивался на Джима Доллархайда, но несмотря на то, что, как он смутно припоминал, Джим тоже был там в ту ночь, он все-таки не поднял темы. Ему казалось, что было бы смехотворным втягивать легкого, славного знатока Романтического периода в это отягощенное подсознанием дело. Вместо этого они ублажали друг друга разговорами о павловских гвардейцах, петербургском моросящем дожде, статуях Фальконé и т. д.

В свою очередь Джима, отчаянно пытавшегося определить истинный смысл той ночи, ни разу не посетила идея поговорить начистоту с этим советским: ведь все-таки еще не было доказано, что Филларион не шпион. Кроме того, Джим тоже был как-то странно стеснен в разговорах о монстрах среднего размера. Таким образом, первый не смог найти реальной помощи в поисках пропавшего сокровища, в то время как последний попросту перескочил через человека, который мог бы дать ему настоящий ключ ко всему делу. Порочный круг этой кви про кво трагикомедии продолжал крутиться, и поезд событий приближался к тому пункту, где Филиситата Хиерарчикос, не без грации, взлетает на сцену и объявляет о своей блестящей идее организовать «Вечер лягушачьих ножек» под сенью жилищного коопа Кондо дель Мондо.

Трехцветное жаркое из лягушачьих ножек

Кто знает, почему эта поистине блестящая идея пришла в голову Филиситаты? Может быть, мамзель была озабочена центробежными силами, бушующими в ее любимой общине, и жаждала воссоединить коллег в стиле утонченного парижского суарэ, а может быть, у нее были совершенно иные, гораздо дальше идущие планы?

Так или иначе, однажды вечером в начале декабря обширная гостиная на первом этаже Кондо дель Мондо была залита ярким светом и заполнена уютно жужжащими голосами почти всех наших персонажей. В тот вечер каждый хотел отбросить заботы и насладиться легкой светской болтовней, перемежаемой изысканным похрустыванием слегка пережаренных лапок амфибии.

В соответствии с новым духом Гласности, советник Черночернов был также приглашен с супругой, и — вот так чудо! — оба приняли приглашение и явились на это, несколько фривольное сборище. Довольно шикарная парочка в полном блеске Москвы-87 — блейзер с двуглавым орлом на пуговицах, глубокое декольте, открывающее ключицы, похожие на оборонительные сооружения долговременного использования.

На левой руке товарища Черночернова Алик Жукоборец заметил толстое золотое кольцо с выгравированным на нем профилем Императора Николая Второго.

— Что это у вас такое, господин Черночернов? — невинно спросил Алик по-русски.— Неужели Его Величество, наш последний Император?

Советник подозрительно взглянул на ученого. Ох, уж эти бывшие соотечественники из этой дерьмовой Третьей волны, вот болячка! То и дело ставят в неловкое положение наш дипломатический персонал эти выскочки и всезнайки нерусской нации! Перекрывают дорогу к плодотворным контактам с туземной интеллигенцией. Хуже всего, что их не сразу различишь! Ну кто бы, например, догадался, что этот долговязый приятель в галстуке-бабочке и с подстриженными усиками окажется одним из тех сионистов, что добровольно (добровольно — sic!) покинули Родину, тем самым совершив ошибку на грани преступления! ...Хм-хм-хм... немного устаревшая терминология в свете капризных выкрутасов Перестройки, однако...

— Вы знаете, я как-то слушал вашу лекцию,— сказал Жукоборец,— ваше примечательное представление марксистского подхода к садовокультурному наследию Российской государственности...

Брови советника превратились из одной сурово сжатой галочки в пару пушистых пчелок. Эта лекция была его сокровенным триумфом, поскольку ему удалось в ней сделать несколько намеков на последовательность... сечете, дамы и господа, последовательность!.. садовокультурного наследия России.

— Да вы, наверное, молодой человек, подозреваете меня в монархических взглядах? — Его «о» в этот вечер были округлы и подчеркнуты, как вся «деревенская литература».— А все-таки, молодой человек, этот кусочек золота на самом деле — сувенир нашей героической революции!

Ну, что за волшебное слово! Едва услышав слово «революция», гости стали собираться вокруг полковника: мадам Абажур, профессор Хуссако, достопочтенный Генри Тоусенд Трастайм, эсквайр, со своей новой помощницей... Какое возбуждающее, ей-ей, афродизьякохальное слово!

— Это кольцо — память моей матери, которая прятала красных бойцов во время гражданской войны, а сделано оно из монеты, данной моей матери раненым буденновцем, а происходило это в глубоком тылу Белой армии...

Всегда, когда скрытый монархист повествовал эту полностью фальшивую и несколько похабную историю, он чувствовал себя, как тяжелый налим, выскользающий из сети. С другой стороны, всякий раз, как история завершалась, он испытывал странное удовлетворение, некое сладкое бодрое пощипыванье: уте-е-ек, опять у-у-тек! Подлый грязный лгун, думала Марта, стоя неподалеку, с превосходной дипломатической улыбкой на устах, бледных, словно листья колхозной кукурузы.

Все зааплодировали дивному советскому джентльмену, все, включая трио новых приятельниц Жукоборца, то есть трех сестер из трех разных человеческих рас, Милиции Онто-Потоцки, Глории Чемберлен и Иэн Уоу, которых он представил коллегам как членов вашингтонской интеллектуальной богемы, немного в стиле Бертольта Брехта; или, так сказать, Старый Стокгольм. Штатное трио Тройного Эл — Пинки, Рози и Монти Блю — было в восторге: О, Брехт! О, да!

Теперь у нас есть время для риторического вопроса? Кто когда-либо превзошел Либеральную лигу в ее приверженности к принципам терпимости? Гордо и триумфально мы можем ответить утвердительным отрицанием: Никто!

Появление, рука об руку, Джима Доллархайда и Урсулы Усрис на лягушачьем вечере в Кондо дель Мондо оказалось немедленным подтверждением приведенного выше молниеносного лирического отступления. Никто из гостей не был шокирован некомплектностью их туалетов, то есть обрывками странных одеяний, болтающихся на великолепных телах. Наоборот, все были в восторге от изобретательности и оригинальности молодых людей, а птица Гласности Филларион Фофанофф открыл объятия и сказал, что он просто умирает от желания слиться с ними, с двумя его ближайшими душами в мире, раствориться в них и вознестись к чистому экстазу, без всяких осадков.

Камнями по воронам, подумала Урсула, похоже, что проклятые русские начисто лишены чувства ревности!

Что касается спецагента Доллархайда, то он был просто захлестнут чувством цельности и причинности (состояние ума и души, известное под кодовым именем *счастье*). Ну, как вам это нравится, сама позвонила, сказала, что жаждет повторить встречу — Леди Стальная Пятка и Маэстро Паганини! Ему казалось, что он танцует вальсы и мазурки в духе Русской Романтической Поэзии, он готов был уже бряцать воображаемыми гусарскими шпорами, выпивать до дна бутылки вина «Комета», мчаться опрометью то к одной, то к другой группе дискутирующих лягушатников... спорить до зари о чем угодно... почему бы не о Достоевском, братцы?.. Почему бы не о Марксе, сестренки?.. Почему бы не о потерянных рукописях, дамы и господа? Вдруг, внезапно, как гром среди ясного неба, его позвали к телефону.

— Кель кьюн ву телефоне, месье,— сказала Филиситата Хиерарчикос, держа трубку в своих длинных пальцах арфистки.— Же круа кё вуз алле инвите вотр ами а нотр петит суарэ, не-с-па? Уверена, что вы пригласите вашего друга на нашу маленькую вечеринку, не так ли?

Русский Императорский гусар быстро исчез в побрякивающих шпорами па-де-де мазурки, тогда как контрразведчик ФБР ощетинился по тревоге. Кто мог сегодня вечером выследить его в Кондо

дель Мондо? Старший агент д'Аваланш? Какой-нибудь тип из привидений? Фантомы литературы, истории, археологии? Валькирии, наконец?

Густой бархатный голос, спокойный, но не без некоторых драматических извивов, принадлежал человеку, которого Джим решительно исключал из своего списка предположений. «Ради всей цивилизации умоляю вас, мистер Доллархайд, покинуть на минуту вашу вечеринку»,— произнес генерал Егоров.

Они встретились на углу улиц Эм (Метрополь) и 23-й (улицы 23-го залпа). Этот перекресток недавно трансформировался из затхлой параши южного захолустья в деловой район мировой столицы, с тремя величественными отелями в чисто постмодернистском стиле, с толпой, жужжащей в космополитической абракадабре, а также с лимузинами, постоянно разгружающими очаровательный груз длинноногих и мини-юбочных посетительниц дорогих нумеров-с.

В этот раз наш корифей гастрономии был одет в белый комбинезон и твердую пластмассовую каску, что делало его похожим на подлинного члена того класса, чье счастье было главной заботой его организации.

Он пригласил Джима в маленький фургончик с надписью на борту «Маляры по радуге и К^0». Они сели на скамейки напротив друг друга, между ними оказалось три ведра краски. Синяя, красная и белая, заметил Джим. Есть в этом какой-то смысл?

Мясистая рука легла на костлявое колено спецагента.

— Подошел решающий момент истории, мой друг!

Интересно, все они так склонны к дешевой театральщине?

— Без ложной высокопарности, сынок, скажу тебе: перед нами момент истории!

Извольте, я уже его сынок!

— Мы должны действовать быстро и решительно, иначе история плюнет в рожи двух слабаков, двух соскососов, которые не смогли для нее пошевелить и пальцем!

Нельзя не оценить этот мастерский оксюморон, сопровождаемый усмешкой, хотя нельзя и не поставить под вопрос уместность пребывания мародерской лапы на молодежном колене.

Егоров продолжал:

— Дело в том, что я на девяносто процентов убежден, что суперструктура, о которой мы говорили пару недель назад, в настоящее время находится здесь, в Кондо дель Мондо. Мои многомесячные попытки напасть на ее след вдруг привели к неожиданным результатам. Мы не можем себе позволить упустить такой шанс! Главная проблема состоит в том, как выделить суперструктуру из тридцати пяти любителей лягушачьих ножек. В чьем теле она путешествует?

— В чьем теле путешествует суперструктура? — пробормотал Джим.— Да вы впадаете в мистицизм, генерал.

— А как мне этого избежать, спецагент? — горячечно прошептал Егоров.— Оглянитесь! Разве вы не видите вокруг взрыва мистицизма? Хотел бы я послать на большой фулуфуй все школы позитивной мысли, в том числе разгребанный Институт марксизма-ленинизма, с теми фактами, что я недавно собрал в пользу негативной мысли. Ты только подумай, Джим-лапуля, обычное дело внедрения агента в столицу потенциального противника превращается в череду кошмаров, в вакханалию монстров среднего размера! А чего мы можем ждать завтра? Позволь мне сказать тебе, Джим, как мужчина мужчине, что

последствия нашей халатности могут превзойти самое дикое воображение, перепахать тут все поперек борозды. Прошу прощения за прямой перевод...

— Что нам нужно делать? — спросил Джим.

Егоров вздохнул с облегчением:

— Слава Богу, что есть такой парень, как ты, Джим. Слушай, ты возвращаешься на вечеринку и плотно наблюдаешь всех присутствующих. Тем временем я буду давить на суперструктуру средствами, которые я сейчас имею в своем распоряжении. Как только ты заметишь, что кому-то стало не по себе, что кого-то затрясло или законвульсировало, ты немедленно сообщаешь мне об этом по уоки-токи...

— Простите, генерал, но почему вы выбрали меня для такой деликатной операции? Насколько я знаю, у вас есть свои люди в Кондо дель Мондо,— невинно спросил Джим.

— Ненадежны,— проворчал Егоров.— Один погряз во вздорном монархизме, другая — старомодная коммунистическая халява, третий — просто дурацкий просчет нашего руководства, и я не собираюсь держать в секрете своего отношения к такому небрежному отбору наших заокеанских оперативников! Что касается четвертого... хм... думаю, что хватит... в общем, не на кого положиться...

— Значит, я здесь — единственный человек нашей профессии и сторонник либеральной цивилизации, которому вы можете доверять, и мы, стало быть, коллеги, да? — улыбнулся Джим.

— Ну разумеется,— серьезно кивнул Егоров.

Джим усмехнулся. Что за миражи тут развешивает этот дюжий, хитрый мужик? О'кей, в соответствии с традициями наших праотцов, тех всадников пустыни, что всегда скакали к неведомым горизонтам, пойдем на риск сотрудничества, однако прежде всего проверим товарища генерала нашим личным сверхсекретным испытательным устройством, то есть левым мизинцем. Он осторожно удалил мясистую жабу генеральской руки со своего колена, а затем вонзил сверлящий палец в генеральское пузо.

— Ну и пальчик у вас, Джим! — скрипел генерал.— Жалит как черт, дико убедительный мерзавчик!

Джим продолжал сверление. Он мог уже пальпировать край генеральской печени и изгиб дуоденум.

— Чего ты хочешь, Джим? — стонал генерал.— Положи повестку на стол переговоров!

Держа свой испытательный мизинец в зоне генеральской селезенки, спецагент провел *тест Кью.*

— Какими средствами вы располагаете, Ваше Превосходительство, для воздействия на вашу мистическую суперструктуру?

— О'кей скажу,— кивнул Егоров. Он испустил вздох облегчения, когда маленький разведчик покинул его кишки.— Хотел бы я иметь такого изобретательного парня, как ты, в моем аппарате.— Потом показал подбородком вниз: — Видишь эту субстанцию в трех ведрах, красную, синюю и белую? Когда я помешиваю ее в определенной последовательности моим указательным — а этот старый грешник все-таки еще на что-то способен,— суперструктура, по моим предположениям, должна страдать, как мышь в ловушке, по крайней мере до тех пор, пока она не выработает какой-нибудь защиты. А теперь, спецагент, умоляю, давай отложим в сторону отдельные интересы наших школ ради общей универсальной ответственности!

Кртчк, мрдк, чвск

В Кондо дель Мондо царил вальс! Амурские волны, завихренья Амура! Резвое циркулярное шарканье подошв по паркетному полу... быстрый и жадный обмен мнениями на тему о рукописях-апокрифах по ходу кружения...

Гляньте-ка на этих танцоров! Мужественный Жукоборец с отрядом чопорных девиц, ведомых мамзелью чистого совершенства, Филиситатой Хиерарчикос; декадентная лилия, мадам Абажур, с прической в виде древнеегипетского шлема, в вельветовых объятиях своего суперинтеллектуального мужа; счастливый Фил Фофанофф, зажавший в своих медвежьих объятиях гладкую, как тюлень, хоть и пушистую, как коала, и, как всегда, весьма самоуверенную профессоршу Урсулу, которая умудрилась уже сменить обрывки воинственного туалета на взбитые сливки бального платья Наташи Ростовой; советник Черночернов, вращающийся в твердых руках латышского красного стрелка,— иной раз слабый дискант полковника был различим в волнах музыки и взрывах дискуссий: «А как насчет смены партнеров, дорогие товарищи?»; ну и также кучка мало кому известных друзей вечно таинственного и аккуратно одетого представителя Страны восходящего солнца с хрупкой косточкой амфибии в углу улыбающегося рта...

«Какая непосредственность! — воскликнул глубоко тронутый президент Генри Трастайм.— Посмотри-ка, мой морской конек, как естественны наш Пробосцис и доктор Усрис, когда они, вальсируя, обсуждают аутентичность «Слова о полку Игореве»! И как славно они на полной скорости обмениваются шиболетами, то есть вербальными символами нашего плана, с нашими с тобой любимыми супругами — Джоселин и Ясноатаманским. А теперь наблюдай, моя канарейка, как небрежно я адресуюсь к нашему Хуссако, этому улыбчивому гению острова Хоккайдо. Эй, Хуссако-сан, вам никогда не приходило в голову, что многие японские мифы первично возникли в Китае... у-у-уж, порыв вальса относит нас в сторону, но я могу уже представить, какую бамбуковую дубину готовит он мне в ответ. Мне кажется, что такого типа ассамблеи могут быть более плодотворными, чем наши обычные шерри-коктейли. Отныне мы должны внедрить подобные спонтанные кружения в нашу академическую практику». «Или даже еще более спонтанные кружения»,— шепнула мисс Щевич еле слышно. Ее пальцы в легком стаккато прогулялись вдоль позвоночника достопочтенного ГТТ, от шеи до копчика. «Ах, моя карамелька, ты опять заходишь слишком далеко»,— вздохнул он.

Амурские волны, волны Амура!

Хуссако был о'кей, все были вполне о'кей. Небрежно насвистывая мелодию распада Российской Империи, Джим Доллархайд проскользнул в соседний холл, откуда несколько лестниц вели в частные квартиры. Откатывающаяся дверь толстого стекла закрылась за ним и приглушила музыку, и вот тогда, в тишине, Джим и услышал доносящиеся сверху стоны. С живостью, что считалась непревзойденной среди его коллег, Джим определил, из-за какой двери они доносятся. Используя свое самое изощренное приспособление, а именно правое ухо, Джим стал прислушиваться к стонам, которые перемежались со взрывами сквернословия на многих языках, с немалой долей русского матюга. Попросту толкнув дверь коленом, он вошел внутрь (нечего и говорить, что его правая рука в этот момент была в районе его левой подмышки) и увидел на диване стройное тело, корчащееся в конвульсиях. Это был Карлос Пэтси Хаммарбургéро.

Джим взял стул и сел напротив аргентинца. Последний, очевидно, его не видел, хотя его лицо с немыслимо выпученными глазами было повернуто к гостю.

Джим не отрывал от Пэтси взгляда. Впервые в жизни он наблюдал муки человека в состоянии какой-то дикой летаргии, вызванной перемешиванием трех цветов краски в трех разных ведрах.

Итак, вот она, Эс-Эс, Супер Структура, самый зловредный возмутитель спокойствия в вашингтонской разведывательной общине. Жаль, что им оказался именно этот малый, подкидыш международной аристократии, многократная жертва похищений, безупречный денди и просто приветливый, приятный феллоу, с которым спецагент даже не исключал возможности небольшого романчика перед своим гордым переходом в племя мужланов.

Джиму казалось, что каждый всплеск изящных конечностей был непосредственно вызван безжалостными движениями пальца генерала Егорова. То там, то здесь на обнаженных частях кожи Пэтси, а именно в пупковой зоне и вокруг ключиц, появлялись и начинали пульсировать пятна трехцветной сыпи.

Потом внезапно Пэтси прекратил стонать и ругаться, руки и ноги, как будто устав дергаться, мирно и даже не без грации легли вдоль тела — летаргия овладевала сеньором Хаммарбургéро, этим далеко не худшим представителем человеческой расы.

— Бедный мальчик! — произнес женский голос за спиной Джима.— Бедное мое многострадальное дитя!

Будучи хорошо тренированным агентом, что, разумеется, уже замечено читателем, Джим внешне не выказал никаких признаков удивления. Он спокойно поднял взгляд к зеркалу над постелью и увидел в нем отражения продолговатых декадентских лиц месье и мадам Абажур.

— А вы, должно быть, друг моего бедного Пэтси? — спросила мадам Абажур.

— Да, мадам, я его близкий друг.

Сухая и довольно крупная рука легла на плечо молодого человека, словно талисман от всех смертных грехов.

— Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду, мой хорошенький Парис, сын Приама и Гекубы! Поверьте, как мать и как человек современных убеждений, я действительно ценю вашу близость и преданность моему сыну. Пожалуйста, не беспокойтесь о нем: мой муж и я позаботимся обо всем. Просто дайте мне ваш телефон, и я буду держать вас в курсе.

— Ни в коем случае, мадам,— ответил Джим вежливо.— Разумеется, я высоко ценю ваше благородное желание опекать этого злополучного индивидуума, однако я просто не могу оставить тело на произвол судьбы, иными словами, вверить его незнакомцам, несмотря на то, что они объявляют себя его ближайшими родственниками. Разумеется, мадам, любое подтверждение ваших претензий на материнство приветствовалось бы без всяких оговорок.

После этого заявления страннейшие изменения трансформировали черты утонченной дамы, которая когда-то считалась властительницей дум Левого берега Сены, включая правую набережную острова Сан-Луи. В мгновение ока она подбоченилась, задрала подбородок выше носа, с высочайшим пренебрежением посмотрела на Джима и обратилась к нему в манере торговки копченой салакой с Одесского колхозного рынка, что опровергает оппонента резкой репликой: «Сами вы дурак, сэр!»

— А где у вас у самого-то подтверждение ваших близких отношений с моим сыном, сэр?

Джим не только не ответил, он не произнес ни слова во время череды ошеломляющих моментов, последовавших за наглым вопросом. Он остолбенел, глядя поверх голов супругов Абажур на книжные полки, а именно на полку, где стояло полное собрание опусов Габриеля Гарсии Маркеса. Именно там, у подножия роскошных, переплетенных кожей томов, он увидел тройку самодельных бумажных игрушек, одну в форме странного дрозда, другую в отталкивающем виде гадкой гусеницы и третью, напоминающую чешуйчатую сельдь.

Неужели это были те самые, наводящие ужас монстры, только в состоянии отдыха после работы?

Момент, последовавший за чередой ошеломляющих моментов, не принес облегчения. Внезапно в странной пустоте Джим услышал голос своего непосредственного старшего.

— Спецагент Доллархайд, мы благодарим вас за вашу блестящую работу!

Затем какой-то набор плохо смазанных голосовых связок продуцировал голос старшего агента д'Аваланша:

— Рад вас видеть, приятель!

Французская чета, между тем, стояла перед ним недвижно и молчаливо.

— Браво, мадам! Браво, месье! — усмехнулся Джим, напоминая себе главную заповедь своей профессии — всегда ожидать неожиданное.— Где это вы так прекрасно натренировались в чревовещании?

Вместо ответа на вопрос месье Абажур начал стягивать кожу с кончика своего носа. Следуя его примеру, мадам Абажур схватила и потянула вниз свое хорошенькое, хотя и немного искусственное на вид ухо. Одновременно пара свободными руками расстегивалась, стараясь как можно быстрее стащить одежды. Может показаться странным, однако размеры двух хамелеонов увеличивались по мере быстрого раздевания и самосвежевания, и вот через минуту или две худенькие интеллектуалы превратились в дюжих федеральных агентов. Доктор Мэлвин Хоб-Готлиб и Брюс д'Аваланш к вашим услугам, дорогой читатель! Эта метаморфоза лишний раз предупреждает нас: не надо бросаться опрометчиво к леволиберальным критиканам, нападающим на рвение и мастерство наших правительственных служащих.

— Пуф! — сказал Доктор Хоб.— Задание почти выполнено!

Д'Аваланш защелкнул пару наручников на запястьях летаргика.

— Мое бедное дитя! — вздохнул он комично.— Мой дорогой подкидыш!

Спецагент Доллархайд, хотя и охваченный восхищением перед высшей степени профессионализмом своих старших коллег, все же поспешил предупредить их против преждевременного триумфа.

— Осторожнее, ребята! Разве не узнаете вот этих! — и он показал на бумажные игрушки на книжной полке.

Автомобильный сигнал, похожий на три первых ноты увертюры Россини, долетел с улицы. Доктор Хоб поднял шторы с видимым удовлетворением.

— Теперь-то уж дело действительно сделано! — Он повернулся к спецагенту: — Ну-ка, гляньте, Джим!

Белый фургон с надписью «Маляры по радуге и К^0» медленно вкатывался на стоянку Кондо дель Мондо. На передних сиденьях видны были два агента ФБР в штатском. Как только фургон остановился, три машины ФБР, то есть трио Эплуайт, Эппс и Макфин, окружили его. Кто-то помог выйти из кузова человеку в белом комбинезоне. За мгновение до того, как наручники защелкнулись на его запястьях, он пожал плечами и меланхолично улыбнулся, как бы говоря: «Что еще я могу сделать?» Даже мысли Джима, по вполне объяснимым причинам, отставали от развития событий, однако когда он увидел, что руки генерала схвачены безжалостной сталью и перекрещены на копчике, он сразу понял, что помешивание краски в трех ведрах прекратилось и теперь...

— Вы не должны были этого делать, ребята! — вскричал он.— Последствия задержания Пончика могут быть ужасны! Дайте мне объяснить...

Но было уже поздно. Зловещее чириканье донеслось откуда-то, то ли из летаргического тела, то ли с полки Г. Г. Маркеса. Критчи, Мрди, Чвси, Критчи, Мрди, Чвси, Критчи, Мрди, Чвси, Критчи, Мрди, Чвси, Критчи, Мрди, Чвси, Критчи, Мрди, Чвси, Критчи, Мрди, Чвси...— слышалось в комнате. Громкость чириканья нарастала. Три полноразмерных монстра среднего размера взирали на офицеров с бессмысленной насмешкой.

Наручники на летаргическом теле вдруг лопнули, точно шелковые струны. В мгновение ока Карлос Пэтси Хаммарбургéро, он же Суперструктура, он же Зеро-Зет, вздыбился в середине комнаты, руки воздеты к потолку. Грозный вид сродни некоему карающему демону. Голос, поднимаясь постепенно из глубин его галактики (мы, разумеется, имеем в виду галактику его структурных клеток), возрастал угрожающе, пока не достиг громовых высот. Во имя моего обманутого поколения, я уничтожаю... Мгновенно комната наполнилась почти невыносимым запахом серы. Черт побери, Джим содрогнулся от макушки до своих ахилловых сухожилий, мы сами себя затащили в ловушку! Три монстра соскочили с книжной полки и теперь висели в воздухе перед лицами трех федеральных агентов.

— Не стреляйте, братцы! — выкрикнул Джим.— Их надо брать руками, только...

Он снова опоздал. Д'Аваланш выстрелил по крайней мере три раза из-под своей левой подмышки. Адский грохот поднимался из ниоткуда. Он был столь неотвратим и могуч, что казался вещественным и ощутимым, словно извержение вулкана. Мгновенно все предметы были поглощены его сатанинскими децибелами. У Джима еще было время догадаться: этот шум идет из другого измерения! Вот почему он воняет и кажется видимым и ощутимым, а потому...

В следующее мгновение все здание модного кондоминиума коллапсировало, к полнейшему восхищению завсегдатаев ближайшего бара, которым случилось остановить свои вдумчивые взгляды в правильном месте в верное время. Когда же шум и вонь улеглись над развалинами, в баре возобновилось употребление напитков. Лишняя изюминка, ей-ей, не испортит пирога.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ

Ночь Серебряного века

Автор прекрасно понимает, что его авторитет может быть подорван, заяви он сейчас, что никто из танцоров не пострадал при крушении Кондо дель Мондо, и все-таки он идет на этот риск, больше того, он даже осмеливается заявить, что это не имеет никакого отношения к околичностям современной прозы. Народ просто вышел из здания за три минуты до звуковых извержений.

Дело в том, что один из танцоров (упоминание в этой связи имени Филлариона не было бы слишком большой натяжкой) запустил идею

отправиться в таинственный лабиринт среднеатлантической ночи, другими словами, пошлепать куда-нибудь в Джорджтаун, а точнее в кафе «Au Pied de Cochon» («У Свиной Ножки»), скандально известное с той поры, когда бравый полковник разведки Юрченко прочимчиковал оттуда до советского посольства, что дюжину кварталов вверх по авеню Висконсин.

Вся компания отправилась из Кондо дель Мондо пешком.

— Это будет не просто ночь, а заззи-зинг-зови-зэззл-ночь! — прошептала Урсула прямо в гущу Филларионова уха.— Сечешь?

— Ну, разумеется, моя дорогая Жемчужная Лагуна!

— Это что-то сродни этому вашему до разгребанности раздутому Серебряному веку, Белая ночь Дикой Мечты...

Она испустила захватывающий и нежный и вместе с тем реактивный вихрь мечты, о котором он только мог мечтать в своих староарбатских грезах; что это было, духи «Бродячей собаки»?

— Подожди! — она скользнула в скромно освещенную дверь «Бродячей собаки».

Неважно, что это было, бутик, кафе или бордель, через десять минут она вернулась в новом ослепительном, сверкающем образе Коломбины Петербург-1913. Ее суть, так долго замаскированная — хотя далеко не всегда удачно, мы должны признать,— под сбруей академической зануды, теперь вознеслась к своей истинной вершине: это была жрица любви, блистательная распутница, Леди Нежность собственной персоной. И без малейшего намека на сдержанность она упала в жаждущие руки Фила Фофаноффа:

— Я люблю тебя, мой бедный толстяк! Я не дам изуродовать твою душу фламинго! Я люблю твою грязную Россию, мой ублюдок! Я не позволю ей погибнуть!

Это было то, что она хотела произнести вместо того, чтобы проборматывать какой-то чувственный вздор, держа в зубах кружева своей юбки, в то время, как Фил Фофанофф браво углублялся все глубже в таинства Серебряного века. Оргия чувственности на бурлацкой тропе старого канала Часапик-Огайо, пир на покинутых в ночи кормушках бурлаков-мулов!

Потом они прогуливались вдоль узкой набережной, стараясь изобразить из себя вполне приличную парочку привидений. Будто декорации под раскинувшимися ветвями граба, их окружал мир старины. Тут были маленькие окошечки и полуоткрытые двери старого миниатюрного капитализма; можно было увидеть лавку, торгующую шотландскими горнами с мехами, или часовую мастерскую, представленную почему-то на витрине чучелом ощетинившегося дикобраза, или колониальную фармацию, откуда пахло чебрецом и которая выставила в окошке желтоватые чаши с порошком из растертых слепней, различные грибообразные растения, листья, коренья, кувшинчики, содержащие хрупкие остовы мореных коньков, молотый жень-шень, пимоли, сделанные из рогов пятнистого оленя, рыбий клей, змеиную желчь, порошок ороговевшего носа, тигриную кость и другие чудотворные субстанции.

Они проходили мимо, как прототипы извращенной версии романов Теодора Драйзера.

— Знаешь что, дорогая моя Филадельфия? — произнесла она, кладя розовую щеку на крутой склон его плеча.— Иногда мне хочется хорошенько запастись афродизьяками, схватить тебя за какую-нибудь твою самую ухватистую часть, да и драпануть от всей этой ярмарки тщеславия в Южную Тихоокеанию.

— Для меня лучшее убежище — это ты, моя Жемчужная Лагуна,— Фил меланхолически вдохнул мокрый воздух Средней Атлантики.— Но, конечно же, я желаю тебе удачи в буксировке меня к Южным островам.

Она улыбнулась и мило шлепнула его по одному из двух его пушечных ядер.

— О, мой зяблик,— простонал он, снова заводясь внутренним мотором.

— Мечты,— усмехнулась Коломбина Петербург-1913.— Увы, может быть, мы уже опоздали, мой Хобот, потому что сегодня не просто ночь, а заззи-зинг-зови-зэззл-ночь!

— О да! — и он выдохнул сухой и горячий воздух Пелопоннесского полуострова.

«У Свиной Ножки»

По Висконсин-авеню вверх и вниз катили автомобили, кинотеатры приглашали на сомнительные фильмы, бродячий саксофонист раздувал ностальгию, торговец фиалками скользил с чашей своего товара, который порой может быть опаснее, чем кокаин, двери «Au Pied de Cochon» раскачивались на петлях, представляя обществу то панка, то студента, то ночной цветочек с клиентом. Первое, что они увидели, когда вошли, была большая отвратительная картина, изображающая тройку поваров с ножами, преследующую свинтуса, который явно не выражал ни малейшего желания идти в готовку: ужаснейшая эта картина, очевидно, должна была сразу задавать тут истинно французский стиль. Не знаю, как насчет людей из разведки, но нашей компании это не очень-то понравилось.

Посетители сидели за шаткими столиками внутри шатких лож. Официанты, все французы, с мопассановскими усами, в длинных и существенно заляпанных фартуках, хороводились вокруг кофейной машины в непосредственной близости к единственному, унисекс, туалету.

Половой Жако в непринужденной манере чеховского буфетчика рассказал нашей компании свою версию истории полковника Юрченко, которая когда-то потрясла эту круглосуточную забегаловку:

— Врать не буду, как только эти два мусью вошли в кафе, я сразу подумал: ну, вот и шпиёны заявились! Пар дессус тут, ну прежде всего, конечно, помню парня с длинными усами, ходил вперевалочку, неуклюжий малый, сказать по чести, малость смахивал, месьедам, на пана Валенсу. Ну, второй, врать не буду, не очень примечательный, не очень, вообще-то, запоминающаяся личность...

Ну, тогда этот первый парень начинает выговаривать второму, то есть сопровождающему. Куда, дескать, вы меня привели? Мне здесь не нравится! Такой, вишь ли, разборчивый, я вам скажу. Стильное французское заведение ему не подходит!

О чем они говорили? Ну, врать не буду, месье-дам, толковали они о любви. Вот именно любовь была у них на повестке дня. Не обязательно, дескать, быть верным в любви, но вот измена требует верности, вот об этом как раз сопровождающий и говорил усатому. Мы, вообще-то, привыкли к таким разговорам промеж мужчин. Потом сопровождающий извинился и пошел в ле туалет почистить зубы, как он сказал. Из гальона он передал свою кредитную карточку нашему буфетчику, а нотр Жерар, и тут же слинял, испарился на месте, тут де суит!

Усатый, то есть полковник Юрченко, как мы позже-то узнали, сидел один почти что два часа, пел еле слышно чтой-то грустное (Жако воспроизвел мелодию «Шумел камыш», любимую тему советских вытрезвителей), потом глубоко вздохнул, махнул рукой в безнадежности и вышел. Я вот как раз здесь стоял, народы, и видел, как он прошел мимо окна по улице. Развернул зонтик с надписью «Столичная»... В общем и целом, не вижу ничего особенного в этой истории: нынче, знаете ли, очень сложная ситуация внутри мужского пола...

Those Foolish Things

Тем временем президент Либеральной лиги Линкольна играл на саксофоне, а все наши уцелевшие персонажи наслаждались его игрой. Давно уже достопочтенный ГТТ смирил свою ренессансную натуру, чтобы подниматься вверх по социальной лестнице, и только недавно, а именно после встречи с мисс Щевич, он спустил с поводка свои многочисленные таланты. В частности, он продолжил разработку проекта геликоптера с задним ходом, впервые предложенного Леонардо да Винчи. Больше того, он даже, как видим, возобновил игру на саксофоне.

— Знаешь, милая,— сказал господин Ясноатаманский Джоселин Трастайм,— твой муж мне представляется истинным предвозвестником вашего беби-бум поколения. Он родился слишком поздно, чтобы стать одним из производителей этого поколения, и слишком рано, чтобы быть одним из них, однако этот тип человеческих индивидуальностей всегда является предвозвестником различных бумов.

— Как глубоко! — воскликнула сидящая с ними за одним столиком Ленка.— Вот так я люблю вас обоих: ты размышляешь, а он играет!

— Некоторые полагали его занудой,— сказала Джоселин.— Но это неверно. В спальне он всегда играл как человек Ренессанса. Все было так просто, так свежо, так убедительно...

— Крошка моя,— сказала Ленка и поцеловала мочку Джоселининого уха.

Достопочтенный ГТТ играл «Those Foolish Things», эти старые глупости. У него был неотразимый свинг, и его старый друг Фил Ф. Фофанофф, также известный как Пробосцис, присоединился к нему со своим энергичным стаккато по толстым струнам контрабаса. В цилиндре и с сигарой, зажатой меж его корпулентных губ, этот буревестник Перестройки был похож на образ классического капиталиста, вечный жупел классовой борьбы.

Those Foolish Things...

Внезапно и дико стаккато заспотыкалось. Фофанoффский взгляд непроизвольно упал на трио, что сидело в полумраке слева от него вокруг столика на двоих. Три существа среднего возраста выглядели несколько старомодно в слегка траченных молью бархатных одеяниях. Одна из них, фемина на вид, в туалете болотного цвета, пользовалась лорнетом, чтобы посматривать на того своего компаньона, который яростно, будто охваченный внезапно нахлынувшим вдохновением, строчил что-то в блокноте. Тем временем третий нервно барабанил по стулу кончиками пальцев. Нужно было обладать определенной наблюдательностью или — что касается наших читателей — определенной читательской смекалистостью, чтобы распознать в этих довольно приличных людях двух заборзевших бомжей Теда и Чарльза (или, если угодно, Федю и Карла) и королеву местных шалашовок матушку Обескураж, интимно известную как Полли. Нечего и говорить, Филларион не принадлежал к числу смекалистых наблюдателей. Потрясло его то, что человек с объемистой лохматой бородой делал свои заметки рядом с неповторимым почерком русского гения, величайшего медведя русского пера. Другими словами, объект всеобщей жажды, маленький, переплетенный в марокканскую кожу альбомчик, находился сейчас в трех ярдах от Филлариона! Он приглушил соло, и вот что он услышал сквозь мягкие звуки, творимые его пальцами...

— Ну, как вам это нравится, милостидари и милостидарыни? — сказал Тед, повторяя коронный жест кандидата в президенты Майка Дукакиса.

— Полли, благородная дева, как бы ни относилось к тебе всеядное потомство, ты все еще принадлежишь к моему внутреннему миру, к сфере моей Вселенной, не так ли? Как же ты можешь терпеть тот возмутительный факт, что третье лицо, пусть даже близкое к нам, но третье лицо, использует вещь, которую ты мне дала как подтверждение нашей внутренней близости, эту старинную красивую вещицу, пусть и бывшую в употреблении и частично замазанную неразборчивыми варварскими записями, для записывания побочных продуктов его вполне посредственных псевдонаучных наблюдений, как ты можешь?

— Да ну, Тедди,— матушка Обескураж шаловливо и с некоторой даже похотливостью ему улыбнулась и помахала веером, ну, прямо, в стиле кружка Блумеберри.— Не ссорьтесь, мальчики! Эту пухлую штучку вполне можно использовать на двоих, равно как и некоторые другие вещи, что в нашем общем владении.

В этот момент Чарльз прервал свои лихорадочные записи и ударил кулаком по шаткому столику. Три тарелочки с крем-карамелью покрылись трещинами, как отражения трех лун в озере при землетрясении.

— Подожди, Полли! Я не могу допустить этого наглого вторжения в мой частный мир! Вы зашли слишком далеко, монсеньор, в своем свинском воображении! Уверен, что граждане этого города, невзирая на свои убеждения и классовую принадлежность, не останутся равнодушны, сэр, если я разоблачу некоторые аспекты вашего бесстыдного поведения! Быть вам вымазанным дегтем и вываляным в перьях, кабальеро! А ты, Полли! Постыдись, падший мой ангел!..

— Ни шагу дальше! — возопил Тед.— Требую немедленного удовлетворения!

Перчатка была сорвала с руки, энное количество пудры упало на дрожащие поверхности внизу.

— Дуэль? — взвизгнул Чарльз.— Вот и чудесно!

Движением, резкости которого до зелени в лицах позавидовали бы бейсболисты «Кардиналов Сан-Луиса», он схватил ржавую перчатку, брошенную ему прямо в лицо.

Двое мужчин стояли друг перед другом, охваченные ураганом эмоций: любовь и ненависть, привязанность и тщеславие, ревность и чувство исторической непреложности.

Перед лицом драматической сцены матушка Обескураж лишь производила какую-то странную серию неадекватных жестов, похожих на хлопанье крыльев у дикого гуся в конце далекого перелета.

Этот взрыв внутри как бы вполне приличного, хоть и потусторонне странного трио привлек всеобщее внимание. Пауза. Немая сцена. И только достопочтенный Генри Тоусенд Трастайм, держа саксофон наподобие эмбриона внутри выгнутости своего длинного тела, умолял соперников успокоиться, смягчая их сердца главной темой

пьесы «Эти старые глупости». Тем временем объект соперничества, пухлая, крытая марокканской кожей книжка, спокойно лежал между тремя блюдцами крем-карамели.

Следующий пролетающий момент. Кто-то, некая женская фурия, производит гигантский прыжок над перегородками едальных лож. Мисс Филиситата Хиерарчикос, разумеется! Все признаки ее утонченно заморского воспитания улетучились в одну минуту! Кого или что можно обвинить за ввержение нежной мамзели в состояние полной бесноватости? Вопрос, боюсь, будет оставлен для ответа критиками сего фривольного сочинения, столь неуместного в наш суровый век.

С рвением и искусством чемпиона женской борьбы Филиситата расшвыряла завсегдатаев «Свиной Ножки», из тех, кто попался ей под руку, схватила предмет соперничества, то есть зеленый альбомчик, спрятала его в одной из своих сокровенных зон и выклокотала что-то не очень-то вразумительное: «Вууки-вау-333-иииххххррр!»

Люди, что решили остаться в этом скандальном ресторане в течении получаса, потребного для прочтения нашей книги до последней страницы, будут, разумеется, живо обсуждать тот дикий, первобытный и утробный, крик утонченной дамы. Иные будут клясться, что уловили в этом, до сих пор неслыханном голосе некие пронизывающие спазмы угнетенной женствености, другие заявят, что им послышалось некое влечение к преувеличенному чувству долга, сродни сублимации врожденного эксгибиционизма... Никто, однако, не предложит объяснений к ошеломляющему виду приличной женской особи, летящей верхом на кажанской метле над столиками к окну и покидающей «Свиную Ножку» с влачащимся за ней шлейфом стеклянных частиц. Если это не явилось прямой манифестацией социалистического реализма, что же тогда это было? Не дурачьте нас, пожалуйста, разговорами о булгаковских ведьмах!

У-уж как вокруг все заварилось, закипело и забулькало после эскапад Филиситаты! Урсула Усрис кинула контрабас в невинную задницу: «Хватить производить эти вечные глупости своими дурацкими сосисками, Фил! Неужели ты не понимаешь, что история дает нам еще один шанс, чтобы спасти нашу тему?!»

Саксофон Генри взвыл, как сирена тревоги, после чего замолчал, будто упав на поле брани. Урси и Фил бросились вон, держась за руки, не замечая, что и все другие бросились вон, не замечая других,— достопочтенный ГТТ и Ленка Щевич, Джоселин и мистер Ясноатаманский, Жукоборец и Хуссако-сан, Тед, Чарльз и Полли, три сестры Милиция Онто-Потоцка, Глория Чемберлен, Иен Уоу, а также все *кто-такие*, и среди них Рози, Пинки, Монти Блю, а также советские лейтенанты Котомкин, Жмуркин и Лассо.

Не обращая внимания на уличное движение, они помчались вниз по Висконсин-авеню, как будто по взлетной полосе, и некоторые из них уже отрывались от земли. Вслед за ними все шапки из магазина «Шляпы с колокольни» завернулись хвостом, будто торнадо, все часы в компании «Белл» зазвонили и забухали, все чучела на витрине «Коммандер-Саламандер» растворились в экстазе.

Они перелетели улицу Ле (Мастер и Маргарита) и пролетели под эстакадой Уайтхерст-фривэй по направлению к реке — толпа возле дискотеки «Буй» повернулась и подняла руки в прощальном салюте,— потом над неспокойным пегим Потомаком и над Центром Кеннеди — прощальные трубы и фаготы из симфонии «Героика» мистера Бетховена, и т. д., и т. д., и т. д., пока гигантское Яйцо не встало перед ними, все склоны и макушка залиты лунным светом.

К сведению: среди всей этой суеты, увы, никто не заметил плачевного завершения блистательной карьеры советника Черночернова. Кто знает, что — революционный ли шухер вокруг или что-то другое — заставило его супругу Марту вытащить из деревянной кобуры свой заветный, 1917 года, маузер и, испустив дикий крик «Долой монархию!», нацелиться в широкую лояльную грудь своего супруга и попутчика. До самого последнего момента он все не верил, что она всерьез...

Дальнейших объяснений, похоже, не требуется.

Urbi et orbi

Яйцо вдруг пустилось в медленное и молчаливое вращение вокруг своей воображаемой оси. В зловещей тишине внезапно хихикнул Хуссако-сан: «Архитектор, хи-хи, во всем виноват!» «Неуместная ремарка!» — прорычал в ответ Жукоборец. Бесшумно открылась апертура главного входа. Нарастающий гул вперемешку с вызывающим, хоть и неразборчивым хохотом долетели до ушей нашей компании. Почти невыносимое, никому доселе неизвестное чувство, которое, может быть, превосходило «Арзамасскую тоску» графа Толстого, сковало конечности.

— Я люблю тебя, Фил! — сказала Урсула.

— Я тоже тебя люблю, Урсула! — гулко резонировал Филларион Ф. Фофанофф.

Они взялись за руки и двинулись вперед. И вся толпа, над которой возвышалась задумчивая голова достопочтенного Генри Тоусенда Трастайма, последовала за ним.

В главной внутренней сфере они увидели дюжую фигуру генерала Егорова, его руки в наручниках лежали на копчике.

— Умоляю, братцы, не стреляйте! — воскликнул он.— Товарищи, братья, леди и джентльмены! — он был готов упасть на колени.

— Огряньте взор на охват истории! — почти по-солженицынски взывал он.— Никогда никакие проблемы не решались порохом! Не стреляйте!

Куда стрелять? В кого стрелять? Какого рода артиллерия у него на уме? Взгляд Фоллариона последовал за Егоровским пальцем, который от копчика показывал на купол Яйца. Там, оказывается, закручивался пандемониум летающих тел и предметов. Определенно присутствовали миловидный исследователь романтизма Джим Долхархайд, элегантный аристократический подкидыш Карлос Пэтси Хаммарбургéро, два незнакомых человека с лицами федеральных агентов, хотя и в обрывках парижской одежды, а также Филиситата Хиерарчикос в дерзком бальном платье. Все они двигались с медлительностью жертв кораблекрушения, повисших в глубоких толстых слоях океана.

Некоторые неодушевленные предметы также висели в воздухе, а именно: пара пистолетов, две или три пачки презервативов, один экземпляр «Ста лет одиночества», гребешок, напоминающий космический корабль в галактике перхоти; небольшая бутылочка витамина «джеритол»; три разрозненные штуки обуви; плоская фляжка с предположительно добрым содержимым, если судить по янтарного цвета капле, повисшей рядом. Среди всего этого беспорядка наблюда-

тельный глаз легко мог бы заметить скандальный предмет русского национального наследия: дневник Дости с засушенной хризантемой, недвижно выпадающей из открытых страниц.

В резком контрасте с томным, несколько даже чопорным, хоть и не лишенным грации, движением упомянутых тел и предметов,три чудовища среднего размера просвистывали туда и обратно с заметно бессмысленной энергией.

Предполагаю, что наши читатели не будут слишком удивлены, увидев на следующей ступени нашей быстро завершающейся драмы тело только что скончавшегося полковника Черночернова-Шварценеггера. Оно вплыло торжественно, держа вверх лицо и носки хороших советских ботинок, его галстук трепетал в вертикальном положении: ни дать ни взять, флагман Перестройки!

Почти одновременно вбежали Чарльз, Тед и Полли Обескураж, прыгнули вверх с резвостью циркового трио и расположились под куполом, словно небесные акробаты.

Скованные силой притяжения пока еще превосходили числом плавающих в воздухе, когда Филларион увидел генерала Егорова, в непостижимом сальто протягивающем скованные руки навстречу идущей в наступление ленинистке Марте Арвидовне, с ее революционным маузером. Марта! Умоляю! Не стреляй!

Долой буржуазный либерализм!.. Выстрел из грозного оружия показался Филлариону лопнувшим мыльным пузырем, и почти немедленно перед ним начала разворачиваться панорама Бородинской битвы 1812 года. Панорама, хоть и дико раскачивалась, как будто ее наблюдали с качелей, все же была полна движения и дыма — сражение в полном разгаре.

Потом поле битвы стало быстро закрываться густеющими облаками, сквозь которые он иногда ловил летящие виды псовой охоты (борзая, борзая, борзая, заяц!) или несколько щебечущих жеманниц в очаровательных шляпках... Потом все исчезло в тучах, и тучи сами исчезли в тучах. Ему показалось, что он мощно вздымается и в то же время стремительно низвергается, не говоря уже о том, что улепетывает во всех возможных направлениях.

Единственное чувство, которое еще поддерживало его целостность, было сострадание. Сострадание было столь же мощным и всеохватывающим, сколь и морозящим, сверлящим, пронизывающим, выворачивающим наизнанку, толкающим к рыданию и сиянию, ослепляющее и оглушающее чувство сострадания ко всем, кого оставил позади.

Урси, Усри, Урби и Орби, Ю-Эс-Эс-Ар, Ю-Эс, США, Эс-Эс-Эс-Эр...

Потом и сострадание пропало в тучах, и пропадающие тучи пропали в пропадании.

Отражение и слияние

Он очнулся в стране тихо дрейфующих льдин, глетчеров, скромно очерченных утесов, кристальных вод и бледно-голубых небес с хвостиками кудрявых и полупрозрачных облаков.

Погода казалась довольно устойчивой, имелась и растительность, хотя не совсем обычная. Вот, например, он заметил исключительную чувствительность вечнозеленого кустарника, агав и диковинных карликовых пальм с мясистыми короткими ветвями: они слегка, хотя вполне отчетливо меняли цвета в зависимости от колебаний его настроения. Впрочем, настроение было довольно стабильное: ему здесь нравилось. Единственное, что его беспокоило, было отсутствие отражения. То и дело он склонялся над прозрачными водными пустотами и взирал на поверхность, гримасничая и жестикулируя без всякого толку. Никакого отражения не возникало в ответ, даже и тени собственной он ни разу не заметил. Однажды ему показалось, что он поймал свое отражение между двумя скалами, на одной из которых сидел, пережевывая свои мысли (мы забыли добавить, что он привык так же пожевывать ломтики листьев агавы). Увы, его отражение на поверку оказалось всплывшим дюгонем. Он (или она — определение пола всегда сущая проблема с дюгонями) вынырнул из глубин, выпустил розовые пузыри и струи воды и спросил: «Привет, как дела?»

Не дожидаясь ответа, дюгонь мощно всплеснулся и исчез.

С этого момента довольно многие обитатели этой отдаленной территории стали появляться то тут, то там, капризные лемуры, чопорные павлины, забавные медведи-коала, жеманные кенгуру, некоторые, довольно объемные тритоны... Однажды приблизилась благородных кровей, хоть и несколько застенчивая гагара. Она села рядом с ним на краю утеса, покачивая крылом и избегая его взгляда, будто юная девушка впервые в опере.

Не без спазма тоски он заметил, что птица тоже не отбрасывает тени и не отражается в воде. Взглянув на ее миражно подрагивающий плюмаж, он внезапно почувствовал острое желание амальгамации.

— Позвольте мне сказать, сэр,— произнесла гагара голосом, дрожащим от эмоций.— Позвольте мне только сказать вам, что я влюблена в вашу длинную шею!

— В мою длинную шею? — удивился он.

— Да-да... а также и в ваши крылья, и в ваш клюв, радость моя! Если бы вы только знали, как я жажду... ох, как стыдно... амальгамации... слияния с вами, сэр...

Донельзя пристыженная гагара спрятала грациозную головку под левое крыло. Фламинго, то есть предмет гагариной страсти, потянулся всеми своими длинными конечностями, предвкушая высшее наслаждение.

— Перед тем, как мы сольемся,— прошептал он,— вы должны знать, что я обожаю ваши перья!

— Мои перья? — удивленное круглое око выглянуло из-под крыла гагары.

око... око... око... око... око... око... о, неземные восторги, фузия соков и чувств!

Впоследствии фламинго случалось амальгамировать свои соки и чувства с другими обитателями страны дрейфующих льдин, то с лемуром, то с коала... даже иные объемистые тритоны не обделены были его вниманием, однако он никогда не испытывал с другими того состояния полной завершенности, то есть почти полного саморастворения, какое он испытывал с гагарой.

Рано или поздно большинство обитателей перезнакомились друг с другом. Доминировали чувство взаимной вежливости и несколько прохладные утонченные манеры. Они много говорили о разных абстрактных вопросах, но тема отражения или, вернее, отсутствия отражения была их главной заботой.

Однажды через поле зрения всех обитателей прошел авианосец «Кащей Бессмертный». Он тоже был лишен отражения, однако антен-

ны радаров грозно вращались. Все проводили боевую единицу задумчивыми взглядами, понимая, что это уходит, не желая сдаваться, Эпоха Торжеств.

В другой раз все они, или по крайней мере персон тридцать, собрались на одной из многих льдин, что циркулировали в этой части мира. Уплотнившись на малой льдине, они напоминали экзотическую фруктовую нашлепку на порции мороженого «хаген-датц».

— Ну что ж,— произнес один,— значит, можно рассматривать вопрос отражения как самый смысл существования?

— Надо уметь отличать фальшивое отражение от подлинного,— сказал другой.— В то время, как первое не имеет никакого отношения к целям вечного искусства, последнее прокладывает путь к сияющим вершинам духовной революции.

— Должен признаться,— вздохнула третья персона,— что моя тяга к слияниям порой производит препятствия перед моим стремлением к отражению...

Внезапно ярчайший луч, ярчайший за все времена луч опустился на них из облака, и они увидели свои отражения на поверхности вечных вод. Мгновение или больше, то есть всегда, они могли видеть себя как Филлариона Ф. Фофаноффа, Урсулу Усрис, Джима Долллархайда, Генри Трастайма, Джоселин Трастайм и Ленку Щевич, Каспара Свингчэара, полковника Черночернова и генерала Егорова. Марту Арвидовну, Филиситату Хиерарчикос, Карлоса Хаммарбургéро, Алика Жукоборца, Доктора Хоба и старагента Брюса д'Аваланша, и прочая, и прочая, вы, конечно, можете их всех назвать, дорогой читатель, не говоря уже о живописном трио — Чарльз, Тед и матушка Обескураж,— а затем они вдруг увидели отражение своего далекого дома, города Вашингтона-Нашингтона, дистрикт Коломбины.

— Из-за чего, вообще-то, был весь этот шухер? — спросил голос с японским акцентом.— Еще год назад я опубликовал эти записки Достоевского в журнале „Рыболов Хоккайдо"...

— Экая опять неуместность! — прогудел голос с петербургским акцентом.

Картинка исчезла, и со вздохом огромного облегчения они приступили к своей финальной и всеобщей амальгамации.

Конец романа

Писался с 1986-го по 1989-й в городе Вашингтоне, на островах Шолта и Корфу, в крепости Дубровник и снова в городе Вашингтоне.

Лев Шестов

ЖАР-ПТИЦЫ.

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ РУССКОЙ ИДЕОЛОГИИ

«У нас, русских, вобще говоря, никогда не бывало глупых надзвездных немецких и особенно французских романтиков, на которых ничто не действует, хоть земля под ними трещи, хоть погибай вся Франция на баррикадах — они все те же, даже для приличия не изменяются, и всё будут петь свои надзвездные песни, так сказать по гроб своей жизни, потому что они дураки. У нас же в русской земле нет дураков; тем-то мы и отличаемся от прочих немецкнх земель. Следовательно, и надзвездных натур не водится у нас в чистом их состоянии» (Достоевский. Записки из подполья. Гл. II) [1].

В последнее время очень много читают и перечитывают «Бесов» Достоевского. Хотят видеть и видят в этом романе великое пророчество. Давно уже, двенадцать лет тому назад, мне пришлось высказаться по поводу пророческого дара Достоевского [2]. Я сказал тогда, что Достоевский не был и не мог быть политическим пророком, что он в политике очень мало смыслит. И что это хорошо. Великий художник не должен быть политиком, ибо кто будет политиком, тот потеряет дар художественного прозрения. Я думаю, что Достоевский именно потому так мало понимал в политической жизни, что его устремления были направлены в ту сторону, где политики, сколько ни ищи, все равно не найдешь. Политиками хорошими бывают Бисмарки. Их философская близорукость есть источник их силы. Они не видят того, что подальше и поглубже, и потому, как все близорукие, отлично разглядывают то, что поближе и на поверхности. И, если нужны новые доказательства того, что Достоевский был плохим политиком, если «Дневник писателя», в котором так много пророчествуется на тему о том, что Россия, в противуположность Европе, разрешит мирным путем, без всяких столкновений, все сложные и запутанные вопросы социального порядка, еще не всех убедил, как мало умел он понимать, что ждет нашу страну в очень близком будущем, то, пожалуй, приведенные выше слова его из «Дневника писателя» [3] даже без всяких комментариев покажут и наиболее упрямым поклонникам пророческого дара Достоевского, что у него менее, чем у кого-либо другого из великих русских писателей, можно искать и находить поучения и разъяснения на тему о текущих событиях.

«У нас в русской земле нет дураков: тем-то мы и отличаемся от прочих немецких земель». Если бы кто хотел придумать самое злое слово о нас, едва ли бы выдумал он что-либо более язвительное. В Германии и Франции, хоть земля трещи под ногами, хоть погибай вся Франция на баррикадах, их романтики будут продолжать напевать свои надзвездные песни и не успокоются, а у нас надзвездных натур в чистом их состоянии совсем и не водится. Да, злая и язвительная насмешка. Но что самое поразительное — это то, что до настоящей минуты, хотя вот уже 15 месяцев земля трещит у нас под ногами и трещины грозят превратиться в бездонные пропасти и заживо поглотить всех нас — мы все, как и в начале революции и в начале войны, продолжаем распевать надзвездные песни и воображать, что мы что-то перестраиваем и что-то переделываем, хотя, на самом деле, не мы перестраиваем и не мы переделываем, а нас перестраивают и направляют невидимые силы, куда им вздумается. Нас ведут, и мы воображаем, что мы идем и что мы все ясно и определенно наперед учли и подготовили. «Свойства нашего романтика,— продолжает Достоевский и подчеркивает в той же главе,— это — всё понимать, **все видеть и видеть чаще несравненно яснее, чем видят са-**

мые положительные наши умы» (подчерк. Достоевским). Несомненно, что свойство наших романтиков это — уверенность в том, что они все видят необычайно ясно и отчетливо, хоть самого Декарта зови. С первых дней революции обнаружилась эта способность видеть и понимать. Наши отечественные империалисты «видели», что революция сделана воинственно настроенным народом, который жаждал войны до победного конца и свергнул правительство Протопопова, мирволившего немцам[4]. И они выступили с «революционным» лозунгом «война до полной победы» и возвещали его по всем собраниям, нимало не думая о том, что этот лозунг имеет прямо обратное действие на те аудитории, которые он должен был вдохновлять. Но какое дело было нашим империалистическим романтикам до того, приведет ли провозглашаемый ими лозунг к желательным результатам или не приведет? Это там, на разных французских и немецких землях, прежде, чем что-нибудь сказать и сделать, думают о том, что из этого выйдет.

У немцев империалистом считает себя и такой человек, который полагает, что его страна может создать сильную и крепкую армию, способную разбить армии врагов. У нас же империалисту достаточно любить завоевания и военную славу. А что касается армии, железных дорог, организации хозяйственной и т. д. — разве наш империалист станет об этом думать? Для него важна идея империализма и, раз она у него есть, он думает, что у него уже есть все, что нужно. Он будет вам рассказывать о великих подвигах Наполеона и Александра Македонского, стараясь жечь глаголом сердца людей и глубоко веруя, что глаголом можно зажечь и сердца, и весь мир. Ему мало даже, в конце концов, ссылки на Александра и Наполеона. Он прямо на небо пойдет и оттуда принесет нам весть, что России суждено в великой международной борьбе сыграть роль освободительницы. И даже больше того: он первым взлетит на небо, чтобы оттуда набраться вещей силы и потом проповедовать новое слово. Так делал Достоевский в «Дневнике писателя», так делали почти все современные нам империалисты. Мне пришлось слышать, как один очень выдающийся деятель в августе прошлого года, когда всем было уже ясно, что уже земля разверзлась под ногами нашими и что армии у нас нет, вдохновенно говорил о том, что он был и всегда останется империалистом, и, очевидно, не видел в этом ничего странного. Была бы у него идея — все остальное само собой придет. Таковыми же были и наши монархисты. Они свою идею получали непосредственно с неба и считали себя монархистами даже тогда, когда Протопопов был сделан министром внутренних дел, т. е. когда Николай II подрубил тот сук, на котором он и его династия держались. Ведь Николая II и монархию погубили не революционеры, а монархисты: я думаю, теперь с этим едва ли кто-нибудь станет спорить...

Итак у нас империалист — это человек, у которого есть идея империализма, монархист, у которого есть идея монархизма. Что же такое русский социалист? Опять, конечно, он не похож ни на немецкого, ни на французского социалиста. Он такой же надзвездный романтик. Главное для него — петь песни о социализме. Кто не был у нас социалистом? Теперь, когда по поводу смерти Г. В. Плеханова пишутся статьи, в которых припоминается история его политической деятельности, странно как будто встречать наряду с его именем имена Струве, Бердяева и Булгакова, как его соратников и товарищей. Они действовали вместе с ним и заодно с ним и славили социализм, как они в настоящее время славят другие «имена», с той же страстью, с той же верой и с тем же искренним увлечением. Когда они были социалистами, они также верили в «идею» социализма, как теперь они верят в идеи империализма и другие им подобные. Казалось бы, что даже за 20 лет трудно проделать «эволюцию» от марксизма к империализму, и это было бы действительно трудно, пожалуй даже невозможно, если бы эта эволюция не носила чисто идейного характера, т. е., иными словами, если бы для эволюции требовались реальные изменения в руке человека. Но, когда русский романтик провозглашает себя империалистом, он тот же, каким он был, когда провозглашал себя социалистом. Чтобы «быть» империалистом, с него достаточно получившей благословение свыше «воли» к империализму, чтобы быть социалистом — достаточно «воли» к социализму, тоже, разумеется, с благословения неба. У нас, повторяю, момент благословения неба всегда играл наи-

более решающую роль, пожалуй даже единственно решающую роль. Подобно тому, как русский империалист нимало не думал о том, подготовлена ли Россия политически, экономически, технически, морально к огромной и трудной задаче империализма, так и русский социалист меньше всего озабочен изучением реальных условий, в которых живет и борется русский народ. Изучение кажется нам тошнотворнейшим занятием. Нам хочется творить, как творил библейский Бог, творить «словом», все из ничего. Или — и это сравнение, пожалуй, ближе выражает нашу сущность, — мы все еще недалеко ушли от психологии Иванушки, приказывающего печке, на которой он валяется, по щучьему веленью и по его прошенью мчаться к королю. Щучье веленье — наша тайная вера, которая, конечно, в интеллигентских кругах получила много более пышные облачения. Так же, как по декрету мы задумали превратить Россию в могущественнейшую военную державу, не сделав ничего, что было необходимо, чтобы у нас было войско и мощь, так теперь мы стремимся декретами же создать у нас социалистический рай. С самого начала революции у нас пошли декреты. И, как широковещательны они ни были, нам казалось, что все мало. Партии пустились взапуски, щеголяя одна перед другой своей решительностью, щедростью и смелостью. И публика была довольна. Всем казалось, что, чем больше возвестят, тем будет лучше, и те, редкие вначале, скептики, которые уже по поводу декретов Временного правительства вспоминали сказку о рыбаке и рыбке и то разбитое корыто, которым сказка оканчивается, казались отсталыми и неспособными подняться до высоты событий людьми. Огромное большинство продолжало требовать и требовать и петь надзвездные, большей частью, правда, довольно банальные песни, даже уже тогда, когда был подписан брестский мир и стало очевидным, что нас ждут большие беды. Но грядущие беды никого из наших романтиков не смущали. Если они чего-либо боялись, то отнюдь не бед, а возможных благополучий. Страшнее всего казалось, что того и гляди в России наступит устроение и, вдруг, вопреки библейским пророчествам, осуществится на земле Царство Божие, как говорили одни, или мещанский идеал, как говорили другие. Это казалось страшнее и неприемлемее всего Что угодно — только не устроение и не благополучие. Люди должны жить для высшей идеи: это вы могли услышать и в стане идеологов социализма, и в стане идеологов империализма. Произошло нечто поразительное: даже социалисты стали пользоваться словарем св. Писания. Конечно, более правые элементы оспаривают у них это право, считая, что св. Писание принадлежит по праву им одним. Но этот вопрос о праве едва ли может быть, по существу, разрешен. И как его разрешить? Факт же остается неизменным: идеологи русской революции пользуются теми же аргументами, что и идеологи русского империализма. Сходство в аргументации до такой степени разительно, что нельзя не допустить сходства и даже тождества в задачах. И, что еще вернее, кровной близости между теми, которые считают себя самыми непримиримыми врагами. Они все потомки единых предков, тех, которые уже не одно столетие производили в керженских лесах и других тайных местах свои страшные опыты самосжигания.

Теперь то, что было тайным, стало явным. И те опыты, которые производились в скромных и ограниченных размерах, в недоступных взору лабораториях, лесной чаще, производятся на глазах у всех и в размерах, доселе казавшихся невозможными. Колоссальная война, колоссальная революция — и разбитые корыта в стане всех наших надзвездных романтиков, тех романтиков, о которых Достоевский писал, что в русской земле их нет, а бывают они только в землях французских и немецких.

Я не хочу здесь касаться реальных причин всех бесчисленных неудач, постигших нас в последние годы. Этих причин множество, и, быть может, будущему историку когда-нибудь удастся выяснить их. Меня сейчас занимает лишь идеология русской интеллигенции. Прислушайтесь ко всем многочисленным и горячим спорам, которые у нас ведутся с самого начала войны по настоящий день. Говорят только об одном: «что благороднее, что лучше». И сейчас, повидимому, в интеллигентских кругах не то, что ничему не научились и ничего не забыли, а попросту не хотят ничему научиться, не хотят ничего забывать. И это

не случайность. Русские люди презирают в глубине души всякую науку и всякое знание и в этом презрении черпают свои силы и вдохновение. Толстой в «Войне и мире», говоря об источниках самоуверенности представителей различных национальностей, очень тонко подметил, чем отличаются русские от французов, немцев и англичан. Француз самоуверен потому, что он считает себя очаровательным человеком и убежден, что его очарованию никто не в силах противиться. Англичанин считает себя членом самого благоустроенного в мире государства — и это дает ему веру в себя. Немец думает, что он все знает, так как у него есть лучшая наука, которая ему все выяснит. Русский же ничего не знает и знать не хочет — и отсюда вытекает его «вера в себя». И это правильно: мы ничего не хотим знать. Мы хотим диктовать законы самой природе и, если природа нас не слушается, то мы «не принимаем мира» и почтительно возвращаем свой билет на вход в этот мир. И, нужно признать открыто, в этом и источник русской силы и русской слабости. Мы согласны отдать Богу то, что принадлежит Богу, но о кесаре мы и думать не хотим. Все, что принадлежит к этому миру, вызывает в нас только чувство глубочайшего презрения. Несмотря на весь наш прославленный позитивизм и материализм, мы всегда готовы повторять вслед за отцами ватиканского собора: «Si quis mundum ad Dei gloriam conditum esse neguaverit anathema sit», т. е. если кто станет отрицать, что мир создан для прославления Бога, да будет проклят. И этой задачи, кроме прославления Бога, кроме непрерывных надзвездных песен, русский человек, и даже те не русские по крови, но воспитавшиеся и выросшие в условиях русской жизни инородцы, уже и представить себе не могут. Все «декреты», такие широковещательные и многообещающие, изданные нашим новым правительством за 15 месяцев революции,— разве они были законодательными актами, предназначенными к осуществлению в жизни? Декреты довлели себе, они нужны были русским людям, не как дань кесарю,— кесарь, повторяю, у нас лишен всех прав, в этом смысле наши идеологи опередили даже христианство,— а как дань Богу; это были все те же «песни и песни надзвездные — да притом такие громкие и торжественные, каких романтики разных западных, французских и немецких, земель никогда не слыхали и не певали». «Без аннексий и контрибуций» — достаточно было русскому романтику услышать такие и подобные слова — и ему уже больше ничего не нужно было, а там хоть пропадай и Россия. Европа и весь старый мир, который жил «единым хлебом» и всеми теми эмпирическими предрассудками, которые с единым хлебом были связаны. Этот мир, бренный и к тому же одряхлевший, подлежит уничтожению — чего жалеть его? Пусть горит, и чем пышней разгорится пожар, тем больше радость русскому самосжигателю. Ибо, в осуществлении ватиканского постановления, мир пылает во славу Божию и все должно пылать во славу Божию.

Такова российская идеология, определившая собой российскую действительность. Наши западные соседи, которым, по Достоевскому, главным образом, и полагалось распевать надзвездные песни, потому что они дураки, песен не пели, а трезво и твердо делали свое жестокое, трудное, на нашу оценку — низменное дело. Результаты уже почти налицо — для России, по крайней мере. О будущем, конечно, гадать трудно. Но нужно думать, что российским романтикам не дано будет до скончания мира петь свои надзвездные песни. Наступят иные времена, будут, вероятно, и песни другие, птицы другие. Те, которые придут на смену нам, вероятно, научатся отдавать кесарю кесарево и посадят своих братьев — врагов, жар-птиц, в золотые, а может быть и в железные клетки, в которых они уже сидели в течение долгой российской истории. И может быть, жар-птицы будут довольны этой участью. Вдь в заключении и неволе до сих пор сочинялись лучшие песни. А может быть, и пожалеют о том, что не сумели оберечь свою свободу,— но уже будет поздно; сделанного не воротишь. Придется утешать себя по Достоевскому, что, дескать, мы все вперед видели и предвидели и хотели именно того, что произошло...

Предлагаемая статья выдающегося русского мыслителя Л. И. Шестова (1868—1938) принадлежит жанру общественно-политической публицистики, представленному у него всего двумя работами. Второй стала брошюра «Что такое большевизм?», вышед-

шая в 1920 году в Берлине. Статья «Жар-птицы...» написана после 30 мая 1918 г. (поскольку в ней упоминается о смерти Г. В. Плеханова) и опубликована 16 (3) июня 1918 г. в московской газете правых эсеров «Возрождение» (№ 12). Она не упоминается в известной библиографии работ философа, составленной его дочерью Н. Барановой-Шестовой.

Представляет интерес, что рядом с Шестовым на той же странице помещена статья Ф. А. Степуна «Мысли о России», которая, как и шестовская, направлена против идеологического утопизма и призывает «к трезвости и конкретности, к тому, чтобы широко раскрыть глаза на мир Божий, и отказаться от произвола своих собственных точек зрения».

Обличение утопизма русского интеллигентского сознания — тема, традиционная для нашей истории, а в начале XX века ярко выраженная в знаменитых «Вехах», линию которых продолжил Шестов. Критика утопизма получила дальнейшее развитие в упомянутой выше брошюре, работа над которой была закончена к 5 марта 1920 г. Идеологический утопизм приводит к победе большевиков — а они, «фанатично исповедующие материализм, на самом деле являются самыми наивными идеалистами». «Издадим сотню или тысячу декретов, и нищая, безграмотная, невежественная, беспомощная страна сразу станет богатой, образованной, сильной, и весь мир сбежится, чтобы дивиться ей, и с благоговением станет перенимать у нас новые формы государственного и социального управления. Россия спасет Европу — в этом глубоко убеждены все «идейные» защитники большевизма». Впрочем, почему же только левые и только большевики? Делясь своими впечатлениями об интеллигентских настроениях в Москве, Л. Шестов писал: «Все писатели больше всего боялись, как бы не случилось, что Россия вдруг устроилась бы в земном смысле благополучно. «Я не хочу, ни за что не хочу Царства Божия на земле»,— кричал вне себя от бешенства представитель русской христианской мысли».

По мнению Шестова, идеализм есть состояние незрелого ума, когда представляется, что истина есть и до нее нужно только добраться. Обычно это чужая истина, истина взрослого человека; этим взрослым человеком был для нас Запад. «Старший Запад был несомненно умнее, богаче, красивее нас». И мы полагали, что причиной тому его знания, его опыт. Мы верили что есть у него «слово», которым он разрешит все».

Сам Шестов твердо стоит на позиции: Богу — богово, кесарю — кесарево. Он мог ужасаться падению с карниза кирпича, изуродовавшего лицо и судьбу несчастного молодого человека, но при этом сожалеть лишь о том, что карниз не был закреплен достаточно хорошо и основательно. Есть множество других, более важных причин вспоминать о Боге и фатуме. Будем устраивать свою жизнь здесь, на земле.

Все это чрезвычайно поучительно для нас, живущих в смутное время...

[1] Цитируемое место из монолога героя «Записок из подполья» приводится Шестовым, во-первых, не совсем точно; во-вторых, без учета трагически-ернического подтекста рассуждений «парадоксалиста». В противоположность Шестову, полагающему, что Достоевский отрицает существование «надзвездных натур» в русских землях, «парадоксалист», похоже, утверждает обратное.

[2] Речь идет о статье Шестова «Пророческий дар. К 25-летию смерти Ф. М. Достоевского» опубликованной в кадетском журнале «Полярная звезда» от 28 января 1908 г. (№ 7).

[3] В том, что Шестов относит приводимые в начале статьи слова «парадоксалиста» к суждениям, высказанным в «Дневнике писателя», есть определенная неточность.

[4] Правительства Протопопова не было. К моменту Февральской революции председателем кабинета министров был Н. Д. Голицын. А. Д. Протопопов упомянут Шестовым ниже в связи с назначением его министром внутренних дел 16 сентября 1918 г. Летом того же года Протопопов, будучи председателем думской делегации в Англии, вел переговоры с агентом немецкого правительства о сепаратном мире. Назначение Протопопова министром внутренних дел при содействии Распутина вызвало возмущение общественности.

[5] Первый Ватиканский собор (1869—1870) 21 апреля 1870 г. принял «Догматическую конституцию о католической вере», которую и цитирует Шестов.

Публикация и примечания кандидата философских наук
А. Ермичева
(Ленинград)

Александр Агеев

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПАТРИОТА

Как всякий нормальный советский человек, я воспитывался на столь разных изъявлениях патриотического чувства, как лермонтовская «Родина» и «Стихи о советском паспорте» «лучшего и талантливейшего».

О «странной любви» рассуждали мы в восьмом классе, и это была как бы относительно невысокая степень патриотической зрелости, а «читайте, завидуйте» декламировали в десятом, и здесь подразумевался уже некий итог и результат воспитания, то есть преодоление всяких там дворянских капризов и узкоиндивидуальных «странностей» на сияющих государственных высотах «советского патриотизма».

Теперь все чаще приходится слышать, что был он фикцией, одним из пропагандистских мифов проклятой эпохи, как и сам пресловутый «советский народ — новая историческая общность». Но это публицисты горячатся. Уверяю вас. Вполне реальное и даже азартное было чувство.

Однако и странное тоже. Связанное с неприятным раздвоением сознания. С одной стороны, когда «наши» совершали на международной арене что-нибудь этакое, экстраординарное, заставлявшее впечатлительных западных людей рыть бомбоубежища, это наполняло душу советского человека «законной гордостью». С другой стороны, когда «наши» где-нибудь в очередной раз позорно проваливались, возникало чувство глубочайшего злорадного удовольствия. «Так им и надо, дуракам!» — с чистой совестью говорил в узком кругу советский человек, ни на секунду не отождествляя себя с теми «дураками», которые опростоволосились.

Что происходило? С одной стороны, любящий родину человек чутко и не всегда разборчиво отзывался на всякую возможность испытать за нее гордость. Этой потребностью — при отсутствии свободной информации — беззастенчиво манипулировали. С другой стороны, государство, присвоившее себе исключительное и безусловное право представлять родину, никогда не было для здравомыслящего и сколько-нибудь пожившего советского человека объектом восхищения. Рано или поздно на своем или на чужом опыте он научался ощущать его как силу внешнюю и очень часто враждебную. Поэтому, легко и радостно присоединяясь ко всему, что казалось ему в деятельности государства «хорошим», советский человек беззаботно отказывался от бремени моральной ответственности за все «плохое». Платить же ему приходилось и за то и за другое.

Опасная противоречивость такого избирательного, инфантильного «патриотизма» очевидна, но очевидна и неизбежность его распространения и утверждения в самых широких массах при длительном господстве всесущего, тотального государства.

Конечно, теперь можно спорить на увлекательную тему «кто первый начал»: народ ли проявил некогда «преступную халатность», отдав свою долю прав и власти государству, оно ли злонамеренно обмануло темный и доверчивый народ, посулив взамен обременительной ответственности золотые горы... Особый спор можно затеять о времени, когда это прискорбное событие свершилось: при христианнейшем царе Горохе или при безбожных большевиках...

Однако все эти интересные и важные споры, как бы они ни разрешились, не отменят очевидного факта: на протяжении веков на шестой части мировой суши складывался и к концу XX века отлился в законченные формы классический тип отношений человека и государства: п о д д а н с т в о.

У этого слова есть нейтральное значение, узкоюридическое, и я не о нем. В практике советской жизни отвлеченный правовой термин ярко продемонстрировал свою этимологическую основу: мы были во всех смыслах «под» государством и платили ему «дань» без запроса. Это формировало и особый тип человека со специфической психологией.

Наверное, немалая часть ответственности должна быть отнесена на счет русского самодержавия. Но будем справедливы: наведение окончательного блеска, тонкую ювелирную работу по выделке типа взяло на себя коммунистическое государство. Для него не было мелочей. Оно проникло туда, куда царским сатрапам проникать было незачем да и недосуг, оно поставило под свой контроль то, что александровские и николаевские чиновники опрометчиво оставляли на самодеятельность взрослого населения.

Так, кроме многого прочего, было огосударствлено, регламентировано и разнесено по параграфам ведомственных инструкций одно из интимнейших человеческих чувств: любовь к родине. После некоторых колебаний, метаний, перелицовок и перекрасок ей было найдено почетное место на идеологическом иконостасе — примерно между любовью к партии и любовью к рабочему классу. Но даже не это было самое скверное. В конце концов к иконостасу можно не ходить или, если приводят насильно, на него не молиться. Но не жить — нельзя.

Любовь к родине — чувство, требующее обязательного жизненного выхода, практического дела. Р а б о т а, реальный труд на благо родины — в сущности, единственная естественная форма проявления патриотического чувства. Всякая «платоническая» любовь к отечеству, не подкрепленная делом, не более чем подозрительная риторика.

Но при тоталитарном государстве нормальный выход мощной энергии патриотизма закрыт. Говорю «нормальный», потому что бывает еще война, в условиях которой никакому государству без помощи этой энергии не устоять, бывают особые надобности, вроде освоения целины или «интернационального долга», и тут власти тоже выкладывают на стол патриотический козырь.

А в обыденной жизни человеку разрешается испытывать — почти по Лермонтову — некую «странную любовь», понимаемую как безобидное хобби, вроде познавательного туризма по историческим местам, пения народных песен и плетения лаптей. При этом все важнейшие сферы отношений человека с родиной — и прежде всего сферу любой конкретной, практической деятельности внутри и вовне — государство решительно и грозно отчуждает в свою пользу.

На основе именно такого распределения прав и обязанностей формировался и креп наш «советский патриотизм» — патриотизм подданных. И когда бедняга-школьник добирался по патетической лестнице до громозвучного: «читайте, завидуйте, я — гражданин...», он невольно оказывался соучастником и жертвой большого государственного вранья, ибо граждан в этом государстве не требовалось. А требовались и воспроизводились — в том числе с помощью школы — подданные.

Если же в понятие «родина» вкладывать настоящий, высокий смысл, то со всей ответственностью можно сказать:

У ПОДДАННЫХ НЕТ РОДИНЫ

То есть у них, конечно, есть родина — место рождения. И они очень часто любят ее трепетной, страстной, внеразумной любовью. Она снится им по ночам, они проливают о ней чистые слезы, если судьба заносит их далеко. А возвращаясь к «родному пепелищу», они, никогда не слышавшие имени Сурикова, шепчут про себя его единственную бессмертную строчку: «Вот моя деревня; вот мой

дом родной...» То же случается и с горожанами: тянет их на улицу, где прошло детство...

Пусть будет плохо тому, кто подумает, что я иронизирую. Я такой же подданный, как и все мы, а потому знаю: увидев свою «деревню», свой «дом родной» в полном развале и запустении, подданный ничем не сможет им помочь. Поправит, в лучшем случае, плетень, вскопает старикам-родителям огородик, да и уедет назад. Не на большее, однако, способен и тот, кто из родной «деревни» никуда не отлучался. Место же, где стоял «дом родной» многих горожан, можно определить только с помощью теодолита...

Да, у подданных есть то, что одно время было модно называть «малой родиной». Но они ей не хозяева. Все, что ни делается на ней — их или чужими руками,— задумывается и планируется без их участия.

Драма эта — основа всей нашей «деревенской прозы». Еще в 60—70-е годы она рассказала обо всем об этом с величайшей выразительностью — и о любви, и о горестном ее бессилии.

А бессильная и бездеятельная любовь либо иссякает — и свидетельством тому — огромное, все растущее число отечественных «маргиналов», людей без определенного или значимого для них роду-племени,— либо сводит с ума. Бог знает, сколько в самых разных уголках необъятной России тихих сумасшедших в диапазоне от кладоискателей до уфологов, от реформаторов-графоманов до чудесно спасшихся детей последнего монарха. Встречаются, впрочем, и не столь безобидные...

Так обстоят дела даже с «малой родиной», а ведь связь человека с местом, где он родился,— одна из самых устойчивых и прочных, коренящихся не столько в сознании, сколько в подсознании. Только пропагандой ее не опоганишь и, если она оказалась надорвана, значит, сдвинулось что-то очень серьезное в самих основах жизни.

Родина «большая» — понятие и явление гораздо более сложное, требующее от человека для своего познания, кроме непосредственного чувства, некоторых усилий разума и воображения.

Разум и воображение подданного находятся — в той или иной степени — под контролем государства и его пропаганды. Вместо реальной и подлинной родины в сознании у подданного тот образ ее, который выгоден в настоящий момент государству. Предположим, весь мир боится замкнутой, вооруженной до зубов, непредсказуемой державы. Она ввязывается то в один, то в другой конфликт, широко и дешево торгует оружием, поддерживает кровожадных диктаторов. Между тем советский подданный, даже тот, до которого доходит кое-какая реальная информация, свято убежден, что Россия — самая миролюбивая страна на свете, а ее сверхвооружения — ответ на «военные приготовления» «агрессивного блока НАТО», «китайских гегемонистов» или еще кого-нибудь. Впрочем, прошлое и будущее родины находятся в руках государства точно так же, как и ее настоящее. Более того — в этом смысле у подданного нет не только родины, но и всего остального мира, ибо информация о нем просеивается сквозь государственные идеологические сита, а «живьем» подданного никуда не пускают.

Ложный образ родины и мира, заложенный в сознание подданного, ведет к ложному выбору целей, ложному образу действий, ложному самоопределению. Миллионы людей погибают за фикцию, миллионы уникальных жизней проживаются ради химеры. Несколько десятилетий советской истории и несколько поколений советских людей принесены в жертву сначала коммунистической идее, а потом — непомерным имперским амбициям вождей и военно-промышленного комплекса. Официально же принято считать, что эти несчастные трудились и умирали во славу родины. И мы в своей массе склонны смиренно принять это фальшивое и лицемерное утешение.

Однако подданный — все же не идеальная марионетка в руках государства. Как свидетельствует история, все опыты по селекции и выведению типа абсолютного солдата (абсолютный, то есть нерассуждающий солдат — предел подданства, сладкая мечта тоталитарного государства) кончаются неудачей. Человеческая природа — материя пластичная, но до определенного предела. Можно ос-

новательно оболванить одно, два, три поколения, но у четвертого все равно появятся вопросы и сомнения. Рано или поздно подданный перестает верить официальным мифам и начинает всячески уклоняться от жертвования на священный алтарь государства. Тот образ родины, который ему предписывается любить как единственный, не вызывает у него энтузиазма.

А поскольку ему все же оставлена область «странной любви», подданный начинает творить свой собственный миф о родине. Как это ни прискорбно, но именно — миф. Причем некоторые мифотворцы прекрасно ведают, что творят, и подводят под свое творчество некую философскую базу. Недавно на страницах «Литературной учебы» очень выразительно высказался на эту тему писатель Илья Бояшов. Он считает, что «на мифе держится духовно-историческая сущность любого народа; так как я целиком, сразу и безоговорочно выбираю миф, конкретность теряет для меня всю свою сухую привлекательность,— вот где и руки мои развязаны!» Конечно, это всего лишь ликование исторического беллетриста — «руки развязаны!», но и манифестация характерного для подданных способа мыслить. «Посмотрите на Ваську Буслая с точки зрения, предположим, сухого исторического источника — он будет первоклассным мерзавцем и душегубом — иное дело миф!» Продолжим этот ряд — и множество «мерзавцев и душегубов», от Грозного до Сталина, получат право просиять в мифе как национальные герои. Никак нельзя, по мнению Бояшова, «убирать» мифологию из истории, «в противном случае она предстанет мелкой и пошлой человеческой мелодрамой, обыденностью и постоянно нелепой и бессмысленной трагедией — то есть вся превратится в то, что мы постоянно с унынием наблюдаем вкруг себя». Давненько я не сталкивался с таким отвращением к «обыденности», с такой бодрой любовью к «возвышающему обману». Очень откровенно поставлены здесь рядом слова «пошлой» и «человеческой». Чтобы перестать быть «пошлой», жизни нужно стать, очевидно, «сверхчеловеческой»...

Новый миф рождается по закону контраста, на основе альтернативной информации, порой столь же легендарного и недостоверного происхождения, как и официальная. А иногда мифотворцу вообще никакой информации не требуется: он просто читает в небесах. Как Валентин Распутин: «...слова, говорящие о национальном призвании, начертаны в небе письменами на родном языке каждого народа, и умеющий читать выписывает их оттуда, а не с чужих страниц... Это видение, а видение не может быть заслугой ума» («Интеллигенция и патриотизм», «Москва», 1991, № 2).

Неисчерпаемой сокровищницей таких «видений» становится прежде всего история, и это закономерно. Человек, связанный в настоящем по рукам и ногам, приученный представлять будущее как несколько улучшенное (что в его сознании означает — ухудшенное) настоящее, в поисках образа иной, лучшей жизни неизбежно обращается к прошлому. Так возникли когда-то славянофильские мифы о допетровской Святой Руси, так они возродились уже на нашей нынешней почве — искаженные и огрубленные. Так возник современный миф о дореволюционной Великой России, где все было иначе и лучше, чем в России коммунистической. Создаваемый по закону контраста, альтернативный миф старается быть противоположным официальному во всем, но при внимательном рассмотрении нельзя не заметить, что противоположность выдерживается лишь в сферах второстепенных. Сознательно или бессознательно, подданный строит свой домашний миф на тех же краеугольных камнях, что и государство: могущество, особая мировая миссия, недоступное иным обществам качество духовности. «Мировая революция» и «первое в мире государство рабочих и крестьян» уже не идеал для такого подданного, зато он недавно узнал, что в России были замечательные святые. И это переполняет его новой гордостью. Он говорит, как сказал Владимир Крупин в своем эссе «Крест и пропасть»: «И если с нами такие люди, как Преподобный Сергий, киево-печерские и оптинские старцы, соловецкие угодники и мученики, то разве можно чего-то бояться. Споткнувшись, встанем, подпоясемся и вновь примем на себя крест по силам, и почувствуем с радостью, что легко бремя Христово, что радостен труд и собственного спасения, и спасения заблудших, и спасения многострадального Отечества. И тем

более, что все более и более крепнет уверенность, что неоткуда миру ждать спасения, кроме как от пределов Российских» («Согласие». 1990, № 1).

Структура и логика собственного сознания, организованного долголетними стараниями тоталитарной пропаганды, загоняют подданного в тупик.

И в этом тупике государство ставит свой капкан.

Государство ведь тоже не примитивный механизм. Оно в лице своих лучших чиновников вполне способно реагировать на перемены настроений и образа мыслей своих подданных. Рано или поздно для него перестает быть тайной непопулярность официального мифа и притягательность возникшего в противовес ему мифа альтернативного. Первое время государство нервничает и пытается решить проблему радикальным подавлением идеологического противника. На этом этапе параллельный миф обретает ряд мучеников и страдальцев, крайне необходимых ему для самоутверждения. Но потом, и довольно скоро, самые умные чиновники начинают понимать, что противоречия между двумя мифами, как говорится, «неантагонистические», а фундамент у них, без сомнения, общий, то есть, например, «единая и неделимая», «великая», «могучая» и т. п. держава. Появляется прекрасная возможность оживить официальный миф, привив к его дряхлеющему стволу дичок мнимого соперника. Государство начинает всерьез заниматься проблемами «патриотического воспитания», оно дает зеленый свет недавно еще полуподпольным изысканиям своих подданных, «взыскующих града». Привычная официальная риторика переслаивается фразами иного стилистического ряда, что тоже дает некоторый эффект и выигрыш. Так зарождается явление, получившее теперь, в пору своего пышного расцвета, название «национал-большевизма». Подданный остается подданным, а перемену мифа приказано считать переменой жизни.

Впрочем, «национал-большевизм» — лишь один из многих тупиков подданства, может быть, даже не самый темный. Когда живому и сильному чувству не дают естественного выхода в настоящей творческой, практической деятельности, оно перерождается. Любовь к своему превращается в ненависть к чужому, гордость за свое оборачивается высокомерным презрением к иноземному, и так далее. Начинаются поиски врагов и супостатов, прения о чистоте крови, построение с помощью нехитрой геометрии образа демографического апокалипсиса. Самые чуткие и рафинированные из подданных впадают в мистицизм, кладут свою недюжинную творческую энергию на создание «метафизической доктрины России» или познание ее «духовного существа». На этом пути случаются дивные открытия. Например, эмигрант «третьей волны» Юрий Мамлеев обнаружил, что «для человека место его рождения важнее всей вселенной, ибо это та точка, то место космоса, которое астрологически и духовно определяет внутреннюю суть родившегося человека». Не успев пожалеть бедняг, не знающих места своего рождения и оттого, наверное, живущих в мучительном несоответствии с «астрологическим» предопределением, вы из того же эссе Мамлеева («Философия русской патриотической лирики», «Советская литература», 1990, № 1) узнаете, наконец, что за смысл содержится в русском чувстве тоски. Оказывается, смысл самый практический: она дает «возможность русским предвидеть, предвосхитить всю необъятную загадочность своего бытия, биение своей идеи, скрытой за покрывалом бесконечного русского пространства и русской песни». И вообще, оказывается, что «Россию любят... не только потому, что она — Родина, но и по другой причине, именно в силу ее таинственного притяжения к себе, в силу ее метафизических качеств». Качества эти — сугубая тайна, но одно твердо знает писатель: в русской любви к родине есть «связь с чем-то, чего нет на этой планете и что придает, следовательно, космологический и метафизический смысл любви к России». Короче говоря, Россия одной ногой здесь, а другой — там, «в иных духовно-космических сферах».

Все это красиво и многозначительно, все это дает необходимую разрядку патриотическим эмоциям, но все-таки не приближает человека к подлинному обретению родины — она по-прежнему находится в безраздельном владении государства. «Странная любовь» подданных, то уводящая их в низины национализма, то возносящая на метафизические высоты, ему не страшна, ибо оно предпочитает действовать в реальном пространстве.

Миф о родине, творимый подданным в пределах заботливо выгороженного для него участка, не может не быть прекрасным, поражающим воображение. Прекрасна «Святая Русь», где благодать сильнее закона, где соборная совесть правит человеческой жизнью. Прекрасна «Великая Россия» без потрясений, стоящая на гармонической любви между народом и монархом, который окружен множеством мудрых государственных мужей уровня Столыпина. Однако эстетика мифа жестока к подробностям реальной жизни. Нет более беспощадного прокрустова ложа для жизни, чем прекрасный миф, предназначенный к непосредственному воплощению. Человек, ослепленный красотой мифа, постепенно перестает понимать реальность, обступающую его со всех сторон. И, чем меньше он ее понимает, тем острее у него искушение совсем сбежать от нее — туда, в прекрасный миф. В этом суть драмы многих искренних искателей современного «града Китежа». А поскольку не все ослеплены и не всем хочется покидать свою пусть неправедную и некрасивую, но привычную, теплую и реальную жизнь ради обольстительного миража, то «китежане» сердятся на соотечественников, и в их проповедях начинает звенеть знакомая имперская медь. Захлопывается еще один государственный капкан. Бывшие оппозиционеры понимают, что только с помощью всей силы государства можно сделать былью осенившее их прекрасное видение. Начинаются хитроумные игры со словом «держава», и вот уже Юрий Лощиц доказывает, что держава не империя. Ведь что такое «империя»? «...империя — это когда что-то маленькое, но жадное, покушается на что-то ужасно большое и в итоге заглатывает его, но вскорости лопается от перенапряжения. ...Не будучи империей, Россия всегда, от самых времен крещения была державой. Державность — вот ее истинное политическое лицо, ее нелегкая хлопотная судьба. Потому что тот, кто долго и твердо держит, обязан очень много сил для этого держания отдавать». Правда, с Лощицем не совсем согласен Валентин Распутин, который говорит: «Не надо понимать державу в смысле «держать и не пущать»... Держава — значит держаться вместе...», но, в общем, для них держава и родина — синонимы. Кстати, в той же статье Распутин роняет одну меланхолическую фразу, способную вызвать у впечатлительного читателя шок: «...последние государи проявили себя мягкотелыми интеллигентами». Так и хочется продолжить за писателя: «Проспали, проворонили державу...» Но не будем «читать в сердцах», напомним только, что при этих «мягкотелых интеллигентах» начали вешать женщин и ссылать студентов в солдаты, не говоря уже о массовых расстрелах.

Вот такой патриотизм родился когда-то, в глухие годы безвременья, из «странной любви» подданных.

КОГДА НАЧАЛЬСТВО УШЛО

...Так В. В. Розанов назвал сборник своих статей, написанных в пору первой русской революции — пору смутную, тревожную, кровавую, однако памятную не только поджогами помещичьих усадеб и «столыпинскими галстуками», но и рождением подобия конституции...

Так вот, когда начальство уходит, подданный испытывает двойственное чувство. С одной стороны, он рад расправить плечи и поднять голову, а то и побуйствовать, заметив отсутствие городового на привычном углу. С другой стороны, он решительно не знает, что ему теперь, без ясных и точных указаний начальства, делать.

В этой вот двойственности мы и живем последние шесть лет. Расправили плечи, вскинули головы, успели утомиться от буйства и требовательно вопрошаем себя и весь свет: что дальше?

Впрочем, надо сказать, что и начальство наше недавнее ушло недалеко, и далеко не из всех ключевых кабинетов оно ушло. Предоставив подданным

почти полную идеологическую «вольную», оно продолжает в той или иной степени контролировать саму материю национальной жизни и время от времени демонстрирует сугубую зависимость любой — и прогрессивной, и реакционной — идеологии от этой самой презренной материи.

А на покинутой государством идеологической площадке шумит пир победителей, переходящий время от времени в потасовку, делится шкура сдохшего от крайней дряхлости медведя, разворачивается соревнование мифов. Праздник пришел на улицу подданных: они теперь имеют право свободно выбирать себе миф по вкусу. Кому — «социализм с человеческим лицом», кому — «Святая Русь», кому — «Великая Россия». Что же касается реальной России, то о ней — после недолгого периода безосновательных надежд — было доподлннно выяснено, что она стоит на краю гибели. Тут же начались оживленные дискуссии о предполагаемых сроках конца света и целая рать прорицателей принялась охмурять растерявшегося обывателя леденящими душу прогнозами.

Ожидающаяся со дня на день гибель России моментально стала весомейшим аргументом в соревновании мифов, ибо адепты каждого предложили воплощение своего как единственный рецепт спасения. Со всех сторон послышалось: «Отечество в опасности!» — и была объявлена всеобщая патриотическая мобилизация. Ну, а мобилизация — понятие для подданного священное...

Ключевым у публицистов и политиков самых разных толков стало красивое, звучное, мобилизующее слово «возрождение». Как выяснилось, возрождать в России нужно буквально все: семью и нравственность, религию и духовность, науку и искусство, армию и экономику, город и деревню... Действительно, все прогнило, все рассыпается на глазах. Какие возражения могут быть против возрождения? Конечно, никаких. Есть только несколько вопросов, касающихся смысла самого понятия.

Слово «возрождение», помимо общей положительной окраски, имеет в современной публицистике значение «рождения заново», или «возвращения» того, что когда-то уже было и процветало, но вследствие прискорбных исторических событий исчезло или существенно повредилось. Например, считается, что нравственность в дореволюционной России стояла на несравненно более высоком уровне, чем сейчас. Свято блюлись заповеди, чтились законы, крепка была семья. Не было ни аэробики, ни рока, ни сексологии, зато нерушимо стояла Церковь и все поголовно знали «Отче наш...». Жили миром и ладом, постом и молитвою... Вот этот «лад» и предлагают «возродить» нынешние борцы за нравственную чистоту. Прекрасно. Но каким образом? Первая же попытка перевести задачу на почву практики обнаруживает некорректность самой ее постановки. Чтобы ее решить, надо вернуть из исторического небытия множество «институтов», не имеющих ни единого шанса реально укрепиться в современности, а кроме того, изъять из нашего нынешнего мира не меньшее количество явлений, без которых он уже немыслим. Попробуйте, напрнмер, воссоздать суровую субординацию крестьянской или купеческой семьи, заставить женщину рожать каждый год, отменив при этом электричество, радио и телевидение. И первое, и второе одинаково невозможно. Но когда сталкиваются мечта и действительность, логика мифологического сознания ведет к мысли о том, что желаемому мешает воплотиться реально существующее. И борьба за возрождение былого парадоксально, но закономерно превращается в борьбу за запрещение настоящего. Вот Дмитрий Балашов уверенно говорит: «Закрыть атомные станции и химические предпрнятия... Тогда, надеюсь, со временем произойдет восстановление национальной культуры и народной нравственности в ее традиционных формах». Будем, стало быть, сидеть при лучине — свечи ведь, и те без химических заводов не изготовишь,— и петь народные песни, поскольку растлевающий телевизор навеки погаснет. В самом деле — прямой путь к возрождению «народной нравственности»...

С другой стороны, и дореволюционный российский «лад» — такой же миф, как и все остальные «возрожденческие» мифы. Достаточно заглянуть в русскую публицистику 1900—1910-х годов, чтобы это обнаружить. Она рисует весьма выразительную картину упадка нравственности во всех слоях русского общества, виноватит в этом упадке капитализм (как нынешняя — коммунизм) и создает свой миф — о высокой нравственности дореформенной эпохи... Подозреваю, однако, что и дореформенная эпоха по поводу тогдашних нравов была не лучшего мнения. Словом, если уж браться за «возрождение нравственности», то радикально, и в качестве образца принимать жизнь Адама и Евы в Эдеме — до грехопадения, разумеется. Во всяком Эдеме, однако, свой змий, и обличение его происков — тоже дело борцов за нравственность.

Впрочем, что бы я тут ни говорил, как бы ни изощрялся в богопротивной иронии, процессы «возрождения» набирают силу. Правда, не знаешь иной раз, плакать или смеяться, наблюдая некоторые их плоды.

Собственно, миф — это особый тип художественного образа, и нет ничего удивительного, что все нынешние «возрождения» начинаются (а чаще всего и заканчиваются) воспроизведением внешней, эстетически выразительной оболочки мифа. Например, «возрождается» казачество, собирается «круг», выбирается атаман. Никого не интересует, какой реальной властью будет обладать этот атаман, как он впишется в уже существующую систему управления, зато все в восторге от зрелища: чубы, шашки, лампасы, казачьи песни. Возрождение!

Примерно так же «возрождаются» дворянское собрание, партия конституционалистов-демократов и многое, многое другое. Такой, знаете ли, всесоюзный фестиваль патриотической самодеятельности. Наша альтернатива их продажному шоу-бизнесу...

Масса разговоров об артели. Вадим Кожинов пишет, что это «совершенно своеобразная форма, в которую объединяются трудовые, деловые, а вместе с тем и этические устремления. Это нечто такое, что только и может привести в России действительно к высокой производительности труда...» Как-то забывает маститый литературовед и критик, что артель приспособлена была прежде всего для тяжелого физического труда. На пороге «информационного общества» ратовать за артель — значит, чего-то очень серьезного не понимать. Или Кожинов имеет в виду, что и в «информационное общество» Россия войдет своим путем, и будут у нас компьютеры отнюдь не «персональные», а «артельные»?

Впадая в пафос возрождения обычаев и порядков старой России, все как-то забывают, что она, несмотря на реальное, а не декоративное наличие дворянского собрания и Войска Донского, взорвалась-таки революцией. Не логично ли предположить, что ее подданным для счастья чего-то существенного не хватало— прав и свобод, например? Что, если нам даже и удастся — на потеху всему миру — реконструировать старую Россию во всех ее деталях, она точно так же рухнет?

Если бы современное состояние общественной мысли исчерпывалось всем вышеописанным, я бы первый стал звать отошедшее начальство вернуться. Не все ли мне равно, в самом деле, под сенью какого мифа прозябать. Мифы пожилые, как правило, терпимее молодых, свежих и потому жестоких.

Но, слава богу, рядом с вырвавшейся на свободу стихией мифотворения развивается противоположный по направленности процесс — преодоление самого мифологического мышления. Этот процесс имеет самое непосредственное отношение к проблеме патриотизма, потому что он должен привести в конце концов к очищению образа родины от наслоений прямой лжи, легендарной патетики и прочей гипсовой и бетонной лепнины. Шесть лет уже идет эта кропотливая, по внешности чисто разрушительная работа, и все же конца-края пока не видно. Дело в том, что миф никогда не стоит один, он всегда — элемент целой системы мифов. За шесть лет перестройки и гласности мы в этом наглядно убедились. Стоило тронуть миф о Сталине — зашатался и ленинский, на века, казалось, изваянный образ, а там и самим коммунистическим патриархам — Марксу и Энгельсу — пришлось несладко. И так во всех сферах жизни, а жизнь наша, как обнаружилось, скрыта под таким мощным мифологическим слоем, под такой толстой штукатуркой многолетней лжи, что иногда задаешься вопросом: а осталась ли она вообще, не умерла ли без воздуха?

Понятно, что разрушение мифа о родине — процесс чрезвычайно болезненный, и многими людьми разрушение мифа воспринимается как разрушение или, во всяком случае, как унижение самой родины. К сожалению, в сознании под-

данного миф всегда более реален, чем сама жизнь. Десятилетиями нас приучали к мысли о том, что видимая нами убогая действительность не более чем случайная частность, а настоящая, сияющая и красочная, вся устремленная к недалекому коммунизму жизнь протекает где-то там — там, где нас по чистой, конечно же, случайности нет. Но если мы будем прилежно трудиться, слушаться начальства, «повышать свою идейно-политическую и моральную зрелость», то у нас есть шанс преодолеть неудачливость личной судьбы и приобщиться обещанной когда-нибудь всем благодати. Моя жизнь ужасна, и жизнь моих соседей ужасна тоже, но родина прекрасна, и она помнит о нас. С этой иллюзией, как ни странно, особенно тяжело расставаться. И есть реальная драма людей, проиадеявшихся всю свою жизнь и теперь оказавшихся в мире, где золотой запас иллюзий стремительно тает. Однако они будут верить в чудо и готовить себя к нему, бездарно растрачивая остаток единственной своей жизни и устремляясь за всяким, кто пообещает им чудо, пока в их сознании останется непотревоженной хотя бы одна радужная иллюзия. Иллюзия равенства, например, или иллюзия справедливости.

Система навязанных нам мифов, так же, как и свод придуманных нами самими утешительных легенд, должны быть разоблачены безжалостно и бесповоротно, что бы ни говорили об этом «платонические» патриоты разных риторических школ. Чтобы строить новое, нужно освободить площадку от обломков старого.

Особенно же важно в эту противоречивую эпоху хотя бы чуть-чуть пошатнуть стереотип подданства. Говорю «хотя бы чуть-чуть», потому что прекрасно понимаю, что реально и в полном объеме эта задача решается только на путях свободного, самостоятельного, практического творчества жизни. Возможности для такого творчества уже появляются, но все-таки их еще слишком мало, чтобы говорить о серьезном сдвиге. К тому же очень часто человек, который уже может, еще не хочет. Или боится.

Характер подданного — нормальный человеческий характер. В нем есть все: любовь и ненависть, смирение и гордыня, воля и лень, свободолюбие и сервилизм. Но формирует этот характер, цементирует его разнородные элементы в единое целое страх. Еще недавно это был большой, Государственный Страх, страх перед тотальным произволом и насилием на идеологической подкладке. Есть надежда, что он, наконец, преодолен, и это реальное достижение переходного времени, великая заслуга «разрушителей и оплевывателей», которых советский человек так быстро утомился слушать. Однако большой страх всегда окружен целым сонмом страхов малых, и они обладают весьма основательной инерцией. Один из таких малых страхов — детский страх самостоятельности. Давно уже замечено, что подданный не любит оставаться один, без надзора старших и без примера себе подобных. Он коллективист не только вследствие данного ему по заветам Макаренко воспитания, но и от страха тоже. Собственно, один он никогда и не оставался — за этим заботливо следило государство, и оно же устами своих демагогов и своих поэтов внушало ему ужас перед социальным одиночеством. «Единица! кому она нужна?! Голос единицы тоньше писка...», «Единица — вздор, единица — ноль»,— прилежно заучивал подданный в школе, а потом опыт взрослой жизни в советском обществе подтверждал эти выразительные афоризмы на все сто процентов. Куда бы ни приходил подданный, его встречали вопросом: «А вы от какой организации?» Чрезвычайно распространилось словечко «представитель». Не крестьянин, а «представитель трудового крестьянства», не студент, а «представитель учащейся молодежи», не Пьер Безухов, а «представитель передового дворянства». Всякий Иван Иваныч был не просто Иван Иваныч, но и «представитель» некой корпорации, и только в этой функции общество согласно было его признавать. Поэтому, когда Иван Иваныч переставал вдруг быть «представителем», он переставал быть и Иван Иванычем. Он вообще переставал быть в качестве субъекта деятельности. Эта сторона «представительства» очень характерно проявлялась и в отношениях человека с родиной. В обществе утвердилось убеждение, в том, что человек сам по себе, вне или без родины — неполноценный инвалид, что стоит человеку навсегда

покинуть родину, как он теряет все свои способности и таланты, перестает по-настоящему жить. С уезжающими в эмиграцию прощались навсегда, как с мертвецами. Страх выпасть из корпорации, из коллектива, оказаться за пределами страны, представляя лишь себя,— родовой страх советского человека. Но я все-таки думаю, что «идеологическая надстройка» этого страха — миф о материнском лоне корпорации, о благодетельной власти коллектива и о горестном бессилии «единицы» — уже начала разрушаться, хотя начальство, передав «коллективам» некоторые распределительные функции, насущно важные в эпоху всех и всяческих дефицитов, пытается остановить это разрушение. Несмотря на то, что за спиной «начальства» спокойнее и привычнее, все больше и больше людей ищет себя в сфере свободного предпринимательства, а то и за пределами страны, где нет пока возможности по-настоящему развернуть свои человеческие таланты. Эту эмиграцию с презрением называют «колбасной», но презрение подданного к формирующейся личности, осознавшей свое человеческое достоинство, стоит недорого.

РОЖДЕНИЕ ГРАЖДАНИНА

Выход из тупиков подданства, путь к реальному обретению родины только один — формирование в России полноценной, автономной, ответственной личности, способной взять на себя миссию гражданина.

Разница между подданным и гражданином принципиальная. Подданный ответствен перед государством, ему повинен, ему служит, его приказы выполняет. Гражданин ответствен перед самим собой и страной, а не перед той или иной администрацией. Правда, бывают моменты, когда и подданный ощущает личную ответственность за свою страну, когда он не по приказу государства, а по воле сильнейшего патриотического чувства берет ее судьбу в свои руки. Так было в 1812 году, так было в 1941-м...

Для подданного государство — иррациональная, внешняя по отношению к нему сила, что-то вроде грозного в своей непредсказуемости стихийного бедствия. Гражданин воспринимает государство как элементарный, понятный ему во всех деталях механизм управления страной, созданный при его сознательном участии и работающий под его постоянным контролем. Подданный получает пропитание и свои крохи человеческих прав из рук государства и вечно должен быть благодарен ему за само право жить. Гражданин кормит себя сам и по особому соглашению передает государству необходимую долю своих естественных, неотчуждаемо принадлежащих ему прав. Подданный гордится наследством, гражданин — тем, что создает своими руками...

Этот ряд можно продолжать бесконечно, пересказывая своими словами давно уже написанные разными народами «декларации прав человека и гражданина». Трагедия России в том, что на ее почве так и не сложились условия, позволяющие человеку быть гражданином.

Нельзя сказать, что граждан в России не было. Чаадаев, Герцен — великие российские граждане. Но их путь — путь героического сопротивления традиции, и не каждый способен на такой подвиг. Речь же идет о том, чтобы гражданское чувство стало естественной нормой жизни, привычкой. Этой нормы в России никогда не было, поэтому ее и нельзя «возродить» на волне распространенного ныне пафоса. Были прецеденты, но не было традиции, а всякое «возрождение» ориентировано не на казус, а на закономерность.

Закономерность же состояла в том, что гражданин, родившийся и сформировавшийся, вопреки традиции, в царстве подданных, тут же выталкивался вон как инородное тело.

Переходное время проверяет всякую традицию на жизнеспособность, на соответствие новым реалиям и условиям существования. Переходное время означает перерыв закономерности и побуждает человека к свободному творчеству

новых, никогда прежде не существовавших форм социальной жизни. Это шанс, который можно использовать, а можно и упустить.

Я думаю, что переходное время, которое мы переживаем сегодня, как раз и дает нам шанс стать, наконец, гражданами своей страны, а не подданными своего государства. Еще вчера было невозможно, рано, завтра опять может быть поздно, потому что неоспоренная и ненарушенная закономерность возвращается, как случилось это в 1917 году, после короткого, эйфорического всплеска гражданских чувств. Возникшее тогда на развалинах монархии государство не нашло в себе сил преодолеть стереотип подданства и отложило реальное преобразование жизни на началах демократии до иллюзорной победы в никому не нужной войне. Формально-патриотические чувства оказались сильнее трезвой оценки реальных сил и возможностей страны, и первая же партия, догадавшаяся использовать эту ошибку, выиграла власть.

Что нужно человеку, чтобы стать личностью, гражданином и патриотом в настоящем, а не декоративном смысле этого слова? Вопреки укрепившемуся мнению, рожденному в недрах странной советской науки педагогики, не так уж много. Самое первое и самое главное — человеку для самоопределения и самостановления нужна свобода. Не «внутренняя свобода», не «духовная свобода», о которых так много высокоумных толков, а простейшая и практическая — наличие пространства, в котором человек может действовать, не натыкаясь то и дело на запрещающие знаки и мелочную регламентацию со стороны властей. Размеры этого свободного пространства, о которых тоже идут бесконечные провинциальные споры, давно определены мировым сообществом. В отличие от «духовной свободы», реальная свобода измеряема, и эталоном здесь служат права человека, основной свод которых тоже не секрет для жителей государства, подписавшего множество деклараций о правах.

Эти права мы сейчас медленно, мучительно, преодолевая тупое сопротивление «начальства», обретаем. Свобода слова, свобода совести, право на собственность — все это уже реальность, все это опора пробуждающимся в душе подданного гражданским чувствам. Пусть процесс в самом начале, пусть правами никто еще толком не научился пользоваться, — все это не страшно. Лишь бы он не остановился, лишь бы под предлогом «гибели России» и под видом ее спасения он не был свернут.

Рождающийся на наших глазах гражданин установит с родиной отношения, мало похожие на «странную любовь» подданного и двусмысленность казенного «советского патриотизма». Гражданин обретет, наконец, право сказать: «Родина — это я». Родина — это я в том простом и ясном смысле, что у нее нет никаких более высоких и важных интересов, чем мои, ее гражданина, интересы. Что у нее нет никакой иной «миссии», требующей на свой алтарь массовых жертв, кроме естественной «миссии» быть человеческим домом и полем созидательной, творческой деятельности человека. Родина — это я в том смысле, что я и миллионы подобных мне, собственно, и составляем ее живое «тело». Можно любоваться пространствами, можно гордиться богатствами недр, можно без устали перерабатывать эти пространства и эти богатства в чудовищную военную мощь, но величие той или иной страны все-таки определяется уровнем человеческого достоинства ее граждан.

Гражданин, который сам строит свою родину, не будет нуждаться в утешительных, щекочущих национальное самолюбие, заменяющих хлеб и жилье мифах о ней. Миф — слишком ненадежное руководство в практическом деле строительства. Да, собственно, свободный человек, имеющий доступ к любой информации, не очень-то и склонен к мифотворению.

Гражданина, прекрасно знающего, в чем именно состоят на сегодняшний день первостепенные интересы его родины (потому что это его интересы), трудно будет сбить с толку дешевой риторикой и демагогией. Никому не будет позволено присваивать себе исключительное право владеть истиной о родине и выступать от ее лица. Настоящий гражданин — человек «политизированный», то есть хорошо разбирающийся в политике, знающий «кто есть кто» и не позволяющий одурманивать себя красивыми фразами и посулами манны небесной. Кстати, нельзя не заметить, что в последнее время некоторые публицисты и политики горько вздыхают по поводу «излишней политизированности» нашего общества. Василий Белов, к примеру, трижды в одном выступлении произнес это слово в неодобрительном смысле: «политизированная экономика», «сверхполитизация в интеллигентской и рабочей среде», «разгул политизированных страстей». Странные претензии. На мой взгляд, наше общество политизировано в самой минимальной пока степени, и эта политизация очень поверхностная. Настоящая политизация — это не болтовня «пикейных жилетов» о том, кто «голова» — Ельцин или Бакатин, а осмысленный опыт участия в реальной политической жизни своей страны. Собственно, только при условии такой глубокой политизации и возможна настоящая, не декоративная демократия.

Картина отношений гражданина с его родиной, которую я рисую здесь, непременно покажется многим слишком сухой, рационально-бездушной и бескрасочной. Между тем даже в казенном «военном патриотизме» есть своя импозантность, не говоря уже о патриотизме мистическом, который эстетически очень выразителен и притягателен. И вообще возможна ли жизнь без мифов, без иллюзий, без мечты о чуде, без прекрасного образа родины в душе? Наверное, невозможна... Даже у прагматичных американцев есть своя Американская Мечта... Так зачем же воинствовать против мечтательности соотечественников, против их жажды чудесного преображения родины, зачем втискивать их в жесткую геометрию правового государства?

На этот вопрос можно было бы ответить, что миф мифу рознь и Американская Мечта ориентирует не столько на чудо, сколько на удачу, которой Бог награждает человека, много и тяжело работающего. Но дело не в содержании самого мифа, дело в характере отношения человека к нему, в том, каким образом то или иное общество встраивает национальный миф в систему своих ценностей.

Цивилизованное общество отводит национальному мифу почетное место — в культуре. Культура ведь не музей и не паноптикум, а обширная и важная сфера, в которой человек живет и осознает себя русским, литовцем, армянином и так далее. Сохраняясь в культуре, входя в нее как символ, миф становится источником нового творчества. Но при этом культура всегда помнит, что миф — это миф.

Общество, по тем или иным причинам сошедшее с путей цивилизации, превращает миф в программу переделки мира. Так было в фашистской Италии, гитлеровской Германии, сталинской России.

Строительство мира по законам красоты обходится — в прямом и переносном смысле — гораздо дороже, чем такое же строительство по законам разума. Жизнь человека — самого маленького и незаметного — стоит того, чтобы жертвовать во имя нее любой эстетикой.

Никто не собирается изгонять прекрасную самобытность из национальной жизни, ослепительный образ родины — из души человека. Разум и красота прекрасно уживаются рядом — при условии строгого разделения функций. Разум организовывает внешнюю жизнь человека, его отношения с обществом, с другими людьми, с государством. А красота и чувство царствуют во внутреннем, интимном мире человека. Этот мир так же бесконечен, как и мир внешний.

* * *

Конечно, все, что я здесь написал о гражданине, о его простых, ясных, на здравый смысл опирающихся отношениях с родиной, — пока мечта. Но она, в отличие от Града Китежа, Беловодья, Царства Божьего на земле, рождена насущными потребностями реальной жизни, опирается на таящиеся в ней возможности и потому воплотима. И будет, я верю, рано или поздно воплощена. Вот тогда и совершится подлинное обретение родины, которой у нас, пока мы подданные, а не граждане, нет.

Май 1991 г.
г. Иваново.

Алексей Шмелев

ПАРАДОКСЫ НАШЕГО НАЦИОНАЛИЗМА

В начале декабря 1990 г. в г. Экс-ан-Прованс (Франция) состоялся коллоквиум, посвященный проблемам советского общества, в котором приняли участие многие видные русисты Франции. Материалы коллоквиума, думается, заслуживают опубликования в нашей стране. Одна из обсуждавшихся тем — различные аспекты русского национализма, его роль в современной советской ситуации. Имело место интенсивное обсуждение связанных с этим проблем; возможно, кое-какие из высказанных там соображений покажутся небезынтересными и для наших читателей.

Говоря о современном русском национализме, мы неизбежно сталкиваемся с целым рядом парадоксов.

Прежде всего парадоксальным является само употребление термина «русский национализм». Его используют для обозначения определенных направлений мысли, когда говорят о них «со стороны», но практически никогда — в качестве самообозначения. Те, кого критики или политические противники называют «националистами», сами предпочитают другие наименования (чаще всего они именуют себя «патриотами»). Дело в том, что термин «национализм», и особенно «русский (или великорусский) национализм», в современном общественно-политическом обиходе носит ярко выраженную отрицательную окраску. Поэтому, сосредоточиваясь на проблемах русского национализма, надо заранее примириться с условностью этого обозначения, с тем, что подвергаемые анализу общественные течения сами себя «националистическими» не считают. Приходится пойти за общепринятым и посмотреть, кого же называют «националистами» публицисты, придерживающиеся иных взглядов.

Среди русских «националистических» течений следует четко разграничивать два направления.

Первое, наиболее значительным представителем которого, несомненно, является Солженицын, исходит из признания абсолютной ценности духовной свободы и «естественных» (дарованных Богом) прав личности. Иными словами, это направление может рассматриваться как разновидность классического либерализма. Национальное возрождение, к которому призывают представители этого направления, мыслится ими как обретение свободы и духовных ценностей, которыми обладала старая, докоммунистическая Россия. Коммунистический период рассматривается представителями этого направления как насильственное подавление духовной свободы, и не случайно все представители этого направления занимают последовательно антикоммунистическую позицию.

Критические оценки этого направления и сама оценка его как «националистического» исходят от некоторых представителей другого крыла либерально-демократического течения, видящих в коммунистическом периоде русской истории развитие традиции российской несвободы, а не насильственное разрушение свободной русской жизни со стороны коммунистов. Необходимо, однако, подчеркнуть, что, несмотря на остроту полемики, доходящую подчас до некорректных выпадов, как сторонники национального возрождения России, так и их оппоненты в либерально-демократическом течении исходят, в общем, из одинаковой или сходной

шкалы ценностей, основанной на безусловном признании права личности на духовную свободу. Расхождения связаны скорее с культурно-историческими воззрениями, с взглядом на историческое прошлое России, на соотношение отечественных традиций и заимствованных социалистических учений в бесчеловечной практике коммунистического режима. И здесь, надо признать, «националисты» обычно демонстрируют больше эрудиции и большую широту взглядов, нежели их оппоненты.

Характеризуя рассматриваемую разновидность «русского национализма», можно добавить, что большинство его представителей исходит из христианского взгляда на мир. Именно христианская основа обусловливает другие аспекты их общественного мировоззрения: стремление к духовной свободе, ориентацию на традиционные ценности русской культуры.

Разумеется, неверно было бы рассматривать данное течение как некоторый монолит, а его представителей — как полных единомышленников. Однако сколь бы ни были значительны расхождения в частностях, можно констатировать единство взглядов его сторонников по большинству основных вопросов.

От данного течения не всегда достаточно четко отграничивают другое направление, также часто называемое «националистическим»,— литераторов и общественных деятелей, группирующихся вокруг таких журналов, как «Наш современник», и входящих в блок «патриотических сил» или близких к нему. Взгляды, представленные в этом последнем течении, достаточно разнородны: среди его сторонников есть убежденные коммунисты, рассматривающие большевизм как «проявление русского национального духа», есть сторонники монархии; оно объединяет православных, трактующих христианство как «веру отцов», как специфически «русскую» веру, и атеистов или неоязычников, видящих в крещении Руси насильственное обращение русского народа в иудейскую по происхождению веру. Тем не менее постороннему взгляду это течение представляется до известной степени единым; да и его представители осознают себя естественными союзниками. Все они исходят из того, что защищают одни и те же ценности, которыми пренебрегают «либералы»; поэтому все они едины в своем отвращении к либерализму.

Встает естественный вопрос: какие же идеалы объединяют сторонников данного направления? Что заставляет их, пренебрегая расхождениями во взглядах, выступать единым фронтом? Каковы те общие ценности, которые представители рассматриваемого течения готовы вместе защищать от либералов?

На этот вопрос давались самые разнообразные ответы. Неудовлетворительность всех предлагавшихся — как сторонниками данного течения, так и его противниками — объяснений была показана С. Чуприниным в статье «Ситуация» (журнал «Знамя», 1990, № 1). С точки зрения самого С. Чупринина, все сторонники рассматриваемого течения увлечены идеей «самобытности» России, исходят из того, что русский народ должен идти по особому пути, непохожему на путь народов свободного мира, что устройство жизни в России должно быть особенным, а попытка подогнать его под «общечеловеческий» стандарт является безусловным насилием над русским народом — насилием, никак не менее опасным, чем коммунистическое насилие. Этим и вызвано их отталкивание от либералов, стремящихся навязать русскому народу общечеловеческие ценности и, так сказать, измерить Россию «общим аршином».

Но ведь сколь бы ни были космополитически настроены «либералы», они не станут отрицать права каждого народа и каждой культуры (а значит, и русского народа и русской культуры) на определенное национальное своеобразие. Из этого исходит и С. Чупринин: «Я отнюдь не призываю к национально-культурной обезличке... Жизнь... богата многообразием, щедра на оттенки, вариации, особенности, и не горе, а счастье человечества в том, что экономика Японии отлична от экономики Бельгии...» С другой стороны, самые заядлые «почвенники» и «самобытники» не будут утверждать, что России вовсе чужды общечеловеческие ценности. Любопытно, что в обоснование необходимости особого, «самобытного» пути России они используют тот же самый пример Японии, который «либералы-космополиты» (в частности, С. Чупринин) приводят с целью показать, что ориентация на общечеловеческие ценности не вредит национальному своеобразию.

Весьма существенно такое обстоятельство (отмеченное, в частности, молодым критиком Юлией Латыниной): чрезвычайно важную роль для данного течения играет представление о благе государства. Именно с благом государства связывают сторонники этого направления необходимость укрепления семьи, заботу об армии. Любые духовные ценности для них не самоцель, а средство укрепления государства. Именно государство является, с их точки зрения, носителем русского национального начала.

Обратимся, например, к общественным выступлениям Василия Белова — талантливого русского писателя и одного из самых видных представителей рассматриваемого течения. Белов неоднократно выступал в защиту традиционного уклада жизни русского крестьянства («лада»), разрушающегося на наших глазах. Но его аргументы в защиту «лада» показывают, что «лад» ценен для Белова не сам по себе, а постольку, поскольку способствует процветанию государства. И подобного рода высказывания встречаются в текстах публицистов данного направления на каждом шагу.

Если для либералов права и свободы отдельной личности имеют безусловную ценность и не находятся во власти государства, то для сторонников рассматриваемого националистического течения они могут в случае необходимости быть **принесены в жертву благу государства, которому принадлежит приоритет в системе ценностей**. Не то чтобы все «националисты» данного типа вообще отрицали ценность прав человека и духовной свободы; но они резко возражают против либерального подхода, в соответствии с которым естественное право (к которому относятся права отдельной личности) стоит выше законов и интересов государства. Поэтому данное течение правильнее охарактеризовать как «националистический этатизм».

Совмещение этатистского подхода и ориентации на ценности русской национальной культуры само по себе является парадоксальным. Ведь в данный момент не существует русского национального государства, и русский народ живет в коммунистическом государстве — СССР. Поэтому этатизм предполагает всестороннюю поддержку именно коммунистического государства. А с другой стороны кто же безжалостно уничтожал русскую культуру и русский народ на протяжении 70 лет, как не это государство? «Националисты» даже любят специально подчеркивать, сколь велики страдания русского народа от коммунистического гнета, утверждают, что они превосходят страдания других народов,— и в то же время более всего опасаются ослабления государства.

Соединение национальной и этатистской ориентации в идеологии рассматриваемого течения является, таким образом, источником внутреннего напряжения и нестабильности. Сторонники этого направления вынуждены выборочно подходить к наследию русской духовной культуры, игнорируя или даже отрицая то, что противоречит этатистскому подходу. С другой стороны, они должны все время совершать подмену, интерпретировать современный СССР как русское государство, коммунистический режим — как русскую национальную власть. (Здесь они парадоксальным образом оказываются солидарны «с крайне западническим» крылом леволиберального течения, которое «патриоты» обычно клеймят как «русофобское»!) Это сближает рассматриваемое течение с идеологией сменовеховства, или национал-большевизма. Многие представители «национал-этатизма», будучи идеологическими противниками коммунизма, выступают в поддержку коммунистической партии (особенно новообразованной Российской коммунистической партии во главе с Иваном Полозковым) как силы, тесно спаянной с государственной структурой и противостоящей распаду государства. Любопытно сопоставить этот подход со взглядами левого крыла либерально-демократического течения, ряд представителей которого, наоборот, не ставят под сомнение идеалы социализма (правда, таких представителей левого либерализма становится все меньше), но выступают против власти партийного аппарата, т. е. против существующих партийно-государственных структур.

По-видимому, именно внутренняя напряженность и некоторая противоречивость воззрений «национал-этатистов» приводят к тому, что многие положения, едва ли не ключевые для их позиции, не выговариваются, а возможно, и не додумываются до конца.

Это объясняет парадоксальность ведущейся в Советском Союзе общественной и литературной полемики. Выясняется, что те взгляды и идеи, за которые либерально-демократические критики наиболее энергично упрекают «патриотов», реально в статьях авторов «патриотического» (т. е. «национал-этатистского») направления вовсе не высказываются. Это дает возможность указанным авторам становиться в позу оскорбленной невинности. Впрочем, их реакция заставляет вспомнить персонажа одного из романов Лурье. Этот персонаж в ответ на просьбу никому не рассказывать о неблаговидном поступке, свидетелем которого он был, заверил: «A gentleman never tells» [1],— а когда выяснилось, что он разболтал тайну, заявил: «I never said I was a gentleman» [2].

Так, например, критики неоднократно указывали на антисемитские мотивы в статьях авторов рассматриваемого направления. Последние возражают, что собственно антисемитских высказываний в этих статьях практически не содержится. Действительно, в большинстве случаев к антисемитским выводам может подвести читателя искусный выбор цитируемых произведений, подбор упоминаемых исторических деятелей, раскрытие псевдонимов. Идут в ход такие сюжеты, как борьба с пьянством (здесь используется восходящее к давним временам представление о том, как евреи-корчмари спаивают русский народ), охрана архитектурных памятников (намекается, что ответственность за их разрушение лежит на евреях, враждебно настроенных по отношению к русскому историческому наследию) или проблемы экологии (вина за загрязнение природы возлагается на специалистов еврейского происхождения, которым чужды заботы о сохранении русской природы). И хотя, как правило, прямо ничего такого не говорится, надо признать, что контекст, в котором выдвигаются подобные обвинения, дает основания для такого толкования.

Использование непрямых способов воздействия на читателя в текстах авторов рассматриваемого направления «русского национализма» затрудняет полемику с ними. Оппоненты зачастую не могут ничего возразить по существу того, что сказано, и вынуждены атаковать прямо не высказанные идеи, подвергаясь опасности быть обвиненными в нечестных методах ведения полемики — приписывании противнику того, чего он отнюдь не говорил.

Итак, мы видим, что «национал-этатистское» направление имеет мало общего с национализмом первого типа — «либеральным» национализмом. Тем не менее их нередко смешивают — иногда по недоразумению, иногда злонамеренно. Недоразумения могут быть связаны с тем, что представители обоих направлений могут быть привержены сходным идеям,— хотя место этих идей в общей системе взглядов оказывается совершенно различным. Так, либеральный националист может быть сторонником сильного государства, однако для него это не самоцель, а залог решительных действий правительства в борьбе с революционным насилием, т. е. в конечном счете служит, по его представлению, охране личной свободы и безопасности граждан (ср. оценку Солженицыным деятельности П. А. Столыпина). С другой стороны, как уже говорилось, национал-этатисты нередко ратуют за возрождение духовных ценностей, однако для них необходимость такого возрождения обусловлена в первую очередь интересами государства. Таким образом, совпадение здесь лишь кажущееся. Не случайно по всем практическим вопросам современности — отношение к свободному предпринимательству, к частной собственности на землю, к свободному выходу народов из состава СССР и т. д.— либеральные «националисты» и «национал-этатисты» занимают противоположные позиции.

Публичное размежевание этих позиций было вплоть до самого последнего времени затруднено тем, что трибуна для выражения христианских и в то же время антикоммунистических взглядов предоставлялась в наших органах массовой информации весьма неохотно. Но сейчас такое разграничение становится насущно необходимым.

---

[1] «Джентльмен никогда не болтает» (англ.).
[2] «Я никогда не говорил, что я джентльмен» (англ.).

Впрочем, иногда смешение этих двух «националистических» направлений происходит намеренно. В частности, национал-этатисты нередко, чтобы опереться на авторитет Солженицына, ссылаются на его мнение, приводят цитаты из его произведений, в которых обнаруживается перекличка с их взглядами (хотя, как мы видели, перекличка лишь кажущаяся). С другой стороны, некоторые левые либерально-демократические авторы, полемизируя с Солженицыным и авторами его круга, приписывают им взгляды, совершенно им чуждые, но зато неоднократно высказывавшиеся национал-этатистами.

Наконец, необходимо отметить, что некоторые общественные деятели занимают позиции, промежуточные между «либеральным национализмом» и «национал-этатизмом», а то и просто переходят от первого ко второму. Здесь в первую очередь следует назвать Игоря Шафаревича — выдающегося математика и в прошлом видного правозащитника.

Деятельность Шафаревича в 1970-е гг. в целом укладывалась в рамки классического либерализма (или «либерального национализма»), хотя элементы этатизма встречались уже в его работах этого периода. В настоящее время этатистские мотивы появляются в его публицистических выступлениях на каждом шагу и сопровождаются полемикой с теми же «либеральными националистами». Показательна статья Шафаревича «Можно ли еще спасти Россию?», появившаяся в газете «Комсомольская правда» 18 октября 1990 г. Внимательный читатель легко обнаружит в этой статье скрытую полемику с работой Солженицына «Как нам обустроить Россию» — начиная от названия и даты публикации (ровно через месяц в той же самой газете) и кончая конкретными предложениями по многим пунктам.

Характерный пример. «Самый страшный признак — распад страны», пишет Шафаревич, как бы отвечая Солженицыну, считающему: «нет у нас сил на Империю! — и не надо...» Не случайно Д. Муратов, комментирующий статью Шафаревича в том же номере газеты, озаглавил свой ответ «Посильные возражения» (очевидный намек на подзаголовок работы Солженицына «Посильные соображения»). Д. Муратов верно ощутил этатистские элементы в рассуждениях Шафаревича: «Мне кажется,— пишет он,— есть в статье некоторая подмена понятий — отождествление слов «русский» и «государство». Именно такое отождествление лежит в основе национал-этатизма.

В заключение можно отметить, что «националистические» настроения нередко возникают как реакция на унижение национальных чувств, допущенных намеренно или неумышленно в современной публицистике. Поэтому чересчур пристальное внимание к «русскому национализму», резкая и подчас некомпетентная полемика с ним, ведущаяся на страницах демократической печати, порой приводят, на мой взгляд, лишь к усилению «националистических» настроений.

В этом смысле проблема «русского национализма» оказывается как бы псевдопроблемой. Она существует постольку, поскольку ей уделяют внимание. Но не следует забывать: парадоксальная особенность псевдопроблем состоит в том, что со временем они перерастают в проблемы реальные.

Наталья Иванова

НЕОПАЛИМЫЙ ГОЛУБОК

«ПОШЛОСТЬ» КАК ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

Маленькая героиня рассказа Татьяны Толстой «Любишь — не любишь» идет с отцом на барахолку. По контрасту с бедностью послевоенной жизни детское воображение поражает то, что было и будет многократно осмеяно как в официальной, так и в неофициальной советской культуре — очевидная пошлость. «Мелькали изумительные клеенчатые картины: Лермонтов на сером волке умыкает обалдевшую красавицу; он же в кафтане целится из-за кустов в лебедей с золотыми коронами; он же что-то выделывает с конем...» Девочке хочется «всего-всего: и вазочек, и блюдечек, и цветастых платков, и совиных чучел, и фарфоровых свиней, и ленточных ковриков!» Но неумолимый отец покупает только то, что необходимо — абажур. «Теперь он наш, он свой, мы его полюбим».

Абажур, и коврик с лебедями, и фарфоровая зверюшка, и кошка-копилка, и бумажные цветы — на все это было поставлено клеймо пошлости, идеологического неприятия как со стороны тех, кто пропагандировал «социалистический» образ жизни, так и со стороны либеральствующей интеллигенции. Этот ряд вещей и обустроенный ими стиль жизни воплощал мещанство, мелкобуржуазный быт, плохой вкус.

В разряд вещей, идеологически клишированных как «мещанская пошлость», входили отнюдь не только коврики и копилки (или герань на окошках). Сюда начали втискивать все то, что определяло «до катастрофы» и нормальный обиход: крахмальные салфетки и скатерки, столовое серебро и фарфор, разделение комнат в квартире по их функциям. Советский человек должен был демонстрировать свой вынужденный аскетизм как принцип, спать там же, где есть, а есть — там, где работать.

Борьба с «дурным вкусом», с «пошлостью» и «мещанством» продолжалась в советской литературе практически беспрестанно и велась, подчеркиваю, как бы с разных («пролетарски-советской» и «оппозиционно-интеллигентской»), но с единой по сути — не только нравственной, но и классовой (антибуржуазной) позиции.

В статье «Литература и революция»[1] Луначарский обрушил пафос своего выступления против буржуазии и ее культуры («загадила, насколько могла» все то, что дала ей французская революция). Буржуазная культура объявляется «безвкусной» и «ярмарочной» (вот с чем аукается барахолка Татьяны Толстой). Луначарский воюет более всего против «безвкусия» буржуазной жизни, приравнивая к нему «терпкое... разложение анархо-богемской культуры западных кабачков с ее своеобразными гениями декаданса» и заключается: «пышность эстетизирующей интеллигенции есть только зелено-золотые разводы на застоявшемся пруду».

Этим «разводам» противопоставляются «бедность пролетариата», «обнаженность весенней почвы», на которой начнут звучать вскоре «все инструменты человеческого духа».

Отрицание «безвкусия» и «пошлости» носило характер идейно-эстетической установки. «Законы быта да сменятся Уравнениями рока»,— заявлял Велимир Хлебников в «Воззвании Председателей земного шара» (апрель 1917 г.).

И они сменялись.

Эту смену запечатлел Александр Блок в статье «Русские дэнди» (май 1918 года). Быт — в традиционном его понимании — просто-напросто прекратил свое существование. Таксомотор, «совершенно уже развалившийся под ударами петербургской революционной зимы и доброго десятка реквизиций, нырял, как утка, по холмистым сугробам». За время выступления таксомотор уже «реквизировали» — поэту пришлось возвращаться по зимнему Питеру пешком. Молодой человек «на быстром шагу против ветра» читает Блоку свои стихи. Блок поражен — неужели его не интересует ничего, кроме стихов? И вдруг слышит в ответ: «Мне сегодня негде ночевать...» Вину за свое опустошенное состояние молодые возлагают на символистов; и, размышляя об этом, Блок приходит к мысли о «великом соблазне — соблазне «антимещанства», насаждавшемся, среди прочих, и им самим.

[1] Впервые напечатана в журнале «Художественное слово», 1920, кн. 1.

В ответе на анкету «Что сейчас делать?» (датированном тем же голодным маем 1918-го) Блок предугадывает розановское апокалиптическое видение России — тоже, заметим, бытовое.

Сначала — Розанов: над Россией с лязгом опускается железный занавес; представление окончено. Зрители встали, чтобы идти домой — «но ни шапок, ни шуб не оказалось».

А теперь — Блок: «Художнику надлежит знать, что той России, которая была,— нет и никогда уже не будет... Та цивилизация, та государственность, та религия — умерли. ...Они утратили бытие...» Они утратили и быт.

В мае 1918-го Блок говорит о гибели старой цивилизации и европейской культуры с пафосом обреченного восторга в статье «Катилина», приветствующей революционный «ветер», сметающий старый быт, ветер, который «подинмается не по воле отдельных людей». Но в заметке от 21 марта 1920 года «О Мережковском» Блок трагически переосмысливает свою подхваченность этим ветром: «Заразительно и обаятельно — вновь и вновь — действовала на меня эта насыщенная атмосфера строгой литературности, большого вкуса; Европой пахнет». И продолжает ностальгически: «Культура есть культура — ее, как «обветшалое» или «вовсе не нужное сегодня», не выкинешь. Культуру убить нельзя...»

Хлебников с железной и неуклонной последовательностью соединяет «modus vivendi» и «modus scribendi». Преодолевая миросозерцание символистов и их поэтику, Хлебников «преодолел» и их образ жизни — долгие вечерние встречи, чтение стихов, манеру одеваться. Изысканной речи и знаковости манер символистов футуристы противопоставляли лубок, рекламу, плакат, городской фольклор; разрушали границу между «искусством» и «жизнью» до тех пор, пока и сама жизнь не была разрушена. Безбытный Хлебников, не имевший (и не желавший иметь) места, где преклонить голову, носил стихи в наволочке. В воззвании «Всем! Всем! Всем!», датируемом 1920 годом, Хлебников воскликнет: «Какие порочные обычаи прошлого!», а в заметках «О современной поэзии» (май — июнь 1919) напишет о стихах Алексея Гастева как о «заводском гудке, протягивающем руку из пламени, чтобы снять венок с головы усталого Пушкина — чугунные листья, расплавленные в огненной реке». Широко известны ниспровергающие будетлянские призывы «сбросить Пушкина с корабля современности» — слова об «усталом Пушкине» известны гораздо меньше.

Борьба с традицией стала и для Хлебникова и Маяковского и борьбой с бытом, закрепляющим традицию в обыденной жизни как ритуал; борьбой с клише, с тривиализацией традиции. То есть с традицией, ставшей тривиальностью, выродившейся в вульгарность и пошлятину. Борьбой с высокопарностью обожествления «высокой культуры» — в отсутствии иронии и тем паче самоиронии.

Отсюда — борьба с памятником. Усталый Пушкин, с головы которого надо снять расплавленный лавровый венок,— это опекушинский памятник Пушкину. Юрий Тынянов в заметке «О Маяковском. Памяти поэта» скажет: «Он вел борьбу с элегией...». Вот в чем было дело: в вековой органичности развития культуры, объявляемой «буржуазной». Именно поэтому преодолевать и «ломать» надо было все — от стиха до дизайна, от одежды до чувства.

«Ямб картавый», конечно же, придется бросить, отказаться от «онегинской любви» — то есть отказаться от поэтики и традиционной проблематики русской культуры.

Сбросившему груз вековой усталости Пушкину доверяется почетная работа в новой иерархии жанров: агитки и реклама. Пушкин адаптируется, приспосабливается Маяковским к советской жизни, волевым усилием отрезанной от вековой культуры («барахолки», «буржуйских обносков»)

Эстетика конструктивизма 20-х отталкивалась от двух разновидностей «пошлости»: пошлости мелкобуржуазной, «выродившейся» дворянской культуры (здесь смешивалось все: и тривиализированный Пушкин, и романы Чарской; и быт дворянских гнезд, и декадентская поэзия) — и пошлятины «совбуров», или «совмещанства». Идеалом представлялась без-бытность, вне-бытность; разрушение традиционного уклада жизни — и даже языка.

Герои замятинского «Мы» существуют без имен, под номерами. Быт заменен антибытом. Индивидуальное вытесняется коллективным, религиозное — технологическим.

«Радио решило задачу, которую не решил храм, как таковой» (В. Хлебников. «Радио будущего»).

И даже Пастернак, который в будущем еще напишет «Рождественскую звезду» и «Магдалину», в другие годы скажет о расписании поездов: «Оно грандиозней Святого Писанья».

С полотен Казимира Малевича исчезнут округлые, налитые жизнью, здоровьем многоцветные, драгоценные по фактуре фигуры. Постепенно сливаются отличия — кто это, мужчина или женщина, неизвестно, да и не важно. «Черный квадрат» уже в 1913 году ознаменует наступление безбытности. В интерьере выставки «Черный квадрат» будет специально повешен в «красном углу», как икона.

* * *

«Безбытность» человека, лишенного всех человеческих прав, даже права на достойное человека погребение, была определена Мандельштамом еще в начале 20-х как ближайшая историческая перспектива «распыления биографии». В «Стихах о неизвестном солдате» эта «безбытность» будет уже сведена к бирке на пальце безымянной жертвы.

Об этой же «безбытности» и о яростном сопротивлении ей человека свидетельствуют «Колымские рассказы» Шаламова. Заключенный стремится оставить при себе хоть какой-нибудь скарб — иголка в зоне считается невероятным богатством. Первое, что делают при аресте,— отбирают ремень и шнурки, то есть разрушают нормальный облик, а затем старательно избавляют от «быта» дальше, стремясь превратить человека в полуживотное.

Об этом же пишет Солженицын. Иван Денисович проявляет поистине фантастическую находчивость, чтобы обрасти маленьким, спасительным бытом, идет ради его сохранения и приумножения на действия, которые могут показаться унизительными. Но высокомерные презиратели унижений, увы, быстрее всего становятся доходягами; а опрятный и запасливый герой Солженицына, которого в тяжелейших условиях не покидает практическая сметка (вспомним хотя бы его рассуждения по поводу крашения ковров), спасает не только свое тело, но и свою душу.

Однако мы забежали вперед — вернемся в 20-е годы.

В новом космосе советского мифа новому советскому человеку должен был соответствовать и новый быт. В сборнике «Быт и молодежь» (1923 год) к числу буржуазных предрассудков относились любовь («Между тем, любви нет, а есть физиологическое явление природы»), танцы («это недопустимое явление... ведет к мещанской психологии)», женственная одежда («Вы не мещаньтесь... Тоже, нарядились, а вот загните подолы и вымойте пол в клубе»). Крушились старые обычаи, изобретались новые («октябрины», или «красные крестины», на которых «кумом» был пролетариат, а «кумой» — партия). В перечне имен, присваивавшихся советским детям,— Вагранка, Декрета, Догнат-Перегнат, Кувалда, Ревдит и даже Трактор.

«Борьбой с мещанством» были заняты и профессиональные литературные критики, и идеологи. Н. Крупская в статье «О «Крокодиле» К. Чуковского» писала: «Вторая часть «Крокодила» изображает мещанскую домашнюю обстановку крокодильего семейства, причем смех по поводу того, что крокодил от страха проглотил салфетку и пр., заслоняет собой изображаемую пошлость, приучает эту пошлость не замечать». («Правда», 1928, 1 февраля). Н. Крупскую — после публикации защитившего Чуковского письма М. Горького — горячо поддержала К. Свердлова: «Хождение в ребенка», культ тем личного детства, ...мещански-интеллигентской детской, ...желание какой угодно ценой во что бы то ни стало сохранить, удержать на поверхности жизни отмирающие и отживающие формы быта... Мы должны взять под обстрел Чуковского и его группу потому, что они проводят идеологию мещанства» («О «Чуковщине»)[1].

В массовом сознании утверждался, в том числе и Маяковским, приоритет «нового быта». Эта «совцивилизация» вводилась, например, при помощи плакатов, авторство которых принадлежит Маяковскому:

Товарищи люди,
Будьте культурны!
на пол не плюйте,
а плюйте
в урны.

В сравнении с толпой, не нашедшей ничего лучшего, как нагадить в драгоценные фарфоровые вазы Зимнего дворца, эти плакаты можно рассматривать как своего рода «прогресс». Но характерно само смещение понятия «культура». Культура теперь сводится к правилам бытового поведения.

Плакаты Маяковского грозно предупреждают о наступлении «совбуров», «совмещанства» вместе с его «бытом». Среди них есть и те, кто при помощи советского маскарада прикидывается истинным пролетарием: «Не предаваясь большевистским бредням, жил себе Шариков буржуйчиком средним. Но дернули мелкобуржуазную репку, и Шариков шляпу сменил на кепку. В кепке у Шарикова — умная головка, Шариков к партии примазался ловко». Далее повествуется о том, как Шариков ворочал в тресте делами; как ловко пристроил к кормушкам своих родных; как «связал» весь район; а потом «РКК смела в два счета Шарикова-паука».

Известно, что Маяковский более чем не «принимал» творчества Булгакова. Булгаков, отвечавший ему тем же, работавший фельетонистом в «Гудке», читал (или хотя бы просматривал) конкурирующие сатирические издания, где печатались «маяковские» плакаты, в том числе и плакат о Шарикове.

Но до «Собачьего сердца» была еще «Дьяволиада», законченная в 1923 году. Образ жизни, Атлантидой погружавшейся под воды истории, выстраивается из характернейших для Булгакова культурных знаков. К ним принадлежат: классическая музыка, матовое либо хрустальное освещение, а также зеленая настольная лампа, освещающая бок рояля; комфортная обстановка квартиры. Главный герой «Дьяволиады», Коротков, которого по привычке бывший швейцар, проговариваясь, именует не «товарищем», а «господином», насвистывает увертюру из «Кармен» (профессор Преображенский будет насвистывать «Аиду» и посещать оперу в Большом). Действие повести происходит в бывшем пансионате «Альпийская роза», где ныне располагается Главцентрбазспимат.

[1] См. «Горизонт», 1991, № 3. Публикация Е. Ц. Чуковской.

Булгаков относит к культуре и то, что будет названо «мещанством», или «дурным вкусом», или «пошлостью». Вся эта «пошлость» для него ценна именно своей глубокой человечностью. Любимая пошлость, которую беспощадно уничтожает советский стиль, притягательна и разнообразна: мелодичный бой часов «Альпийской розы», «пыльный хрустальный зал», надпись золотом по зеленому «Дортуаръ пепиньерокъ»; «светлые, мелкозубые женщины»; женщина, «пробегавшая с зеркальцем», «маленькая белая ручка с блестящими красивыми ногтями», «томная красавица с блестящими камнями в волосах», «золотистая женщина», которая «тихо мурлычет песенку, подперев щеку кулаком».

Всей этой «пошлости» противостоит в повести советский стиль: спички, которые не горят, но которыми в отсутствие денег выдают жалованье; черным по белому — «Начканцуправделснаб»; обращение «товарищ», лозунг «Рукопожатия отменяются!» и т. д.

В глубине душ еще гнездятся старые культурно-бытовые рефлексы. Если старинный орган случайно заиграет «Шумел, гремел пожар московский», то вахтер Пантелеймон, строго приказавший Короткову — «Нельзя, товарищ!», сомнамбулически преобразится: «В ч е р н о м к в а д р а т е двери внезапно появилось бледное лицо Пантелеймона. Миг — и с ним произошла метаморфоза. Глазки его засверкали победным блеском, он вытянулся, хлестнул правой рукой через левую, как будто перекинул неведомую салфетку, сорвался с места и боком, косо, как пристяжная, покатил по лестнице, округлив руки так, словно в них был поднос с чашками». (Разрядка моя. — Н. И.).

Безнадежная попытка Короткова приспособиться к новому советскому стилю заканчивается самоубийством.

В «Собачьем сердце» мы найдем в еще более детализированной форме все те же знаки нормального быта (культуры плюс цивилизации, плюс то, что пренебрежительно названо Маяковским «мещанством», а Луначарским — «пошлостью»). Профессор Преображенский появляется в «чернобурых лисах», ковры в квартире «персидские», да и сама квартира состоит из семи комнат: в столовой — обедают, в спальне — спят, в кабинете — работают, в операционной — оперируют. Апофеозом «бытности» является описание обеда, подаваемого на разрисованных райскими цветами тарелках. Рефреном звучат слова профессора — «Пропал Калабуховский дом!», и именно дом становится местом борьбы культуры с антикультурой, быта — с антибытом. Пока горит «зеленая лампа на столе», пока калоши можно оставить в подъезде, а лестница будет устлана дорожкой, — до тех пор будут лежать на столе «какие-то тяжелые книги с пестрыми картинками» и золотиться «внутренность Большого театра». Высокая культура у Булгакова не только неотъемлема от культуры бытовой, но связана с нею прочнейшими нитями: погибнет одна — исчезнет и другая.

Знаком уходящей культуры является и настоящая женственность (недаром столь подчеркнутая писателем и в фантастических повестях, и в «Мастере и Маргарите»). Бесполость диктуется идеологизированностью:

«— Во-первых, мы не господа, — молвил наконец самый юный из четверых — персикового вида.

— Во-первых, — перебил и его Филипп Филиппович, — вы мужчина или женщина?

— ...Какая разница, товарищ?»

Для булгаковской женственности не существует границ пошлости — и шелковые платья, и фильдеперсовые чулки, и знаменитый крем, и духи, и цветы, и романсы образуют живую, переливающуюся ауру булгаковских красавиц, героически противостоящих пролетарскому антибыту.

«Маяковский» Шариков свое преображение начал с переодевания — «шляпу сменил на кепку». Булгаковский Шариков появляется на свет в результате фантастической операции — и «кепка с утиным носом» свидетельствует о классовом превосходстве Полиграфа Полиграфовича, особую неприязнь которого вызывали крахмальные салфетки.

* * *

Пришла пора объясниться.

Ведь именно Полиграф Полиграфович и пошл по-настоящему, возразит читатель. И будет, конечно, совершенно прав.

Есть пошлость — и пошлость.

Пошлость номер один — это пошлятина советского образа жизни, уродливого «нового» и «здорового» быта, пошлятина антидуховности и антикультуры. По словарю Даля — вульгарность, избитость, общеизвестность. Пошлый — «неприличный, почитаемый грубым, простым, низким, подлым, площадным». А пошлость номер два — это, по Далю же, «давний, стародавний, что исстари ведется; старинный, древний, испоконный».

Отказываясь, отрекаясь от буржуазной «пошлости», культура отказывалась от себя самой — от той повторяемости, рутинности и ритуальности, которая ее постоянно, как почва, подпитывала.

Пушкин в конце жизни не случайно сформулировал свой идеал жизни как апофеоз пошлости: «Мой идеал теперь — хозяйка, Мои желания — покой, Да щей горшок, Да сам большой». Гоголь, изобразивший пошлость пошлого человека в «Мертвых душах», создал поэзию пошлости в «Старосветских помещиках». Пошлого стихотворца Лебядкина недаром числили в своих предшественниках обэриуты. «Я ввел в литературу самое мелочное, мимолетное, невидимые движения души, паутинки быта», — гордился В. Розанов. Романтическая установка

революционных демократов, постоянно воевавших с пошлостью в прозе и поэзии, видевших в ней своего второго — после «угнетения народа» — врага, была им посрамлена. И посрамлена при помощи наипошлейшего, можно сказать, примера — из низкого быта. «— Что делать?» — спросил нетерпеливый петербургский юноша.— Как что делать: если это лето — чистить ягоды и варить варенье, если зима — пить с этим вареньем чай». Получалось, что именно в борьбе с пошлостью, во «всемирных» вопросах, в романтических призывах (к свержениям и свершениям) главная-то пошлость и гнездится. А то, что от Белинского до Чернышевского называлось «пошлостью» (и, замечу, продолжает по дурной традиции называться и сегодня), является нормой жизни. Истинно же пошлым предстает черт в «Братьях Карамазовых», его наследник Коровьев в «Мастере и Маргарите». Пошлым предстает и Понтий Пилат, которому в эпилоге романа опять кривит рот снобистская надменность: «Боги, боги... какая пошлая казнь!», — а вовсе не Иешуа, который говорит ему гениальные банальности.

Слова «мещанство», «вульгарность», «образцы ложного вкуса» (последнее изречение принадлежит Белинскому) действуют на нашу науку, как удав на кролика: сознание ученого оцепеневает и продуцирует уже заранее отрицательную реакцию. Именно этим можно объяснить ту «неожиданность» (на самом деле — закономерность), которой для Л. Я. Гинзбург явился «интерес Заболоцкого к некоторым стихотворениям Бенедиктова». «Так, в 1933 году Заболоцкий отвергал Пастернака, Мандельштама» — откуда же возникла симпатия к «пошлому» Бенедиктову? В этих же заметках Л. Я. Гинзбург пишет: «Антимещанская тема особенно сближала Олейникова с ранним Заболоцким». Между тем в контексте безоценочного отношения к пошлости, мещанству и дурновкусию Бенедиктова (или капитана Лебядкина) этот интерес закономерен.

Отношение Олейникова, раннего Заболоцкого, Хармса к тому, что обозначается как пошлость и банальность, было творческим, впитывающим, изобразительным. Обэриуты «снимали» пошлятину с пошлости, не только остраняя ее, но даже — любуясь ей. То, что Л. Я. Гинзбург называет у них «обличением и сатирой», стихией «галантерейного языка», «языка подложной эротики, бутафорского эстетизма», было гротескным возрождением презираемого идеологически «низа» жизни и культуры, принципиальным отказом от котурнов советской «высокой» культуры.

Реакция Заболоцкого и других обэриутов против сведения художественного — к высокому была попыткой отстоять автономию искусства от идеологии. «Низовая» культура выставлялась за двери «хорошего» общества, но она возвращалась в культуру через обэриутов, высмеивающих лицемерие новой «высокой» культуры — укреплявшегося соцреализма, создавшего свои собственные клише, свой канон.

* * *

Советская пошлость имела установку на грандиозность и монументальность, героику и монолитность.

Эмпирическая жизнь «единицы» уходила за грань соцреалистической концепции коллектива. Оппозиция «маленькое» — «большое» равнялась оппозиции «ничтожное — грандиозное».

Всему маленькому, подробному, детальному (как идеологически подозрительному, если не порочному) противопоставлялось крупное, массивное. В 1954 году, на втором съезде Союза писателей СССР, в выступлении В. Ермилова «великая мировая дорога», «единственная в жизни», противопоставлялась «маленькому счастью легких дорог».

Эта оппозиция, возникшая еще в 20-е годы, надолго оставалась главенствующей эстетической доктриной — вплоть до дискуссий «Литгазеты» конца 70-х годов о «быте и бытии» в современной прозе; и через идеологическую муштру проходил Юрий Трифонов, который на шестом съезде услышал в докладе В. Озерова: «И вдруг появился ряд повестей, которые критика окрестила «мещанскими» (точнее было бы сказать: «антимещанские»)... Из повести в повесть мечутся среди чужих семей и квартир люди, действующие в каком-то духовном вакууме, герметически запертые в рамках своего окружения. Автор намеренно стоит в стороне, даже вуалирует свою позицию». Этот тезис-клише вызвал энергичную реакцию разъяренного Трифонова: «В русском языке нет, пожалуй, более загадочного, многомерного и непонятного слова. Ну что такое быт? То ли это какие-то будни, какая-то домашняя повседневность, какая-то колготня у плиты, по магазинам, по прачечным. ...Но и семейная жизнь — тоже быт... И рождение человека, и смерть стариков, и болезни, и свадьбы — тоже быт. И взаимоотношения друзей, товарищей по работе, любовь, ссоры, ревность, зависть — все это тоже быт. Но ведь из этого и состоит жизнь!

«Тут непонятно, все в кучу: мещанские, антимещанские... Как в анекдоте: или он украл, или у него украли... Словом, что-то вокруг мещанства... Мещанство, как и быт, признается предметом, пригодным для литературы, но как бы второго сорта».

В поэтике Трифонова «мелочи жизни» вплетались в общий психологический рисунок героя и портрет времени. В прозе так называемой «московской школы», давно уж разошедшейся по противоположным углам, а в начале 80-х предпринимавшей попытки «манифестироваться» в сознании критики и читателей, поэтика быта порой низводилась до бытописа-

тельства, вызвавшего в 1981 году реакцию отторжения — полемическую статью И. Дедкова «Когда рассеялся лирический туман». При всех справедливых, точных, язвительных наблюдениях статья страдала явным упущением: автор не принимал в расчет тяжкой истории «быта» (идеологического отрицания, сведения к «мещанству», пошлости, «дурному вкусу») в официальной литературе советского периода, литературе, устремленной к «счастью больших дорог».

За последние годы читатель, по-моему, слегка «переел» на празднике возвращенной литературы. Возвращенной — а ранее запрещенной. Мотивы запрета были политическими. Но среди полузапретных имен было и имя Людмилы Петрушевской.

Проза и драматургия Петрушевской прошли свой круг запретов не по политическим причинам: в них не обнаружишь ни «лагерной жизни», ни борьбы со сталинизмом и ленинизмом, ни переосмысления уроков революции или эмиграции.

Почти одновременно с прозой Людмилы Петрушевской в журналах стали появляться рассказы Татьяны Толстой. Ей повезло больше — она принадлежит к поколению, «следующему» за Петрушевской: то, на что у Петрушевской уходили десятилетия, у Толстой заняло всего несколько лет.

Материалом, который обе писательницы упорно месят своими руками, является быт (пошлость, «мещанство» и т. д.). Поставленный, правда, каждой из них под свою определенную оптику. Однако именно эта оптика не принималась во внимание читателями, яростно протестовавшими против «нагнетания ужасов» и «чернухи» у Петрушевской.

«Да, такие матери-уродки бывают, но зачем обобщать?» — таков был один из основных риторических читательских вопросов.

«Пошлость» жизни, изображаемая Петрушевской, расценивалась как пошлость прозы. Мысль о «дурновкусии» Толстой распространялась критикой «Нашего современника» после выхода ее книжки,— публикации в «Новом мире» этот журнал трогать остерегался, боясь, по-видимому, нарушить негласно витающий в облацех договор о ненападении.

Оптикой, поставленной перед «пошлостью» быта и у Петрушевской, и у Толстой был — и остается — гротеск. Только отнюдь не гротеск саркастический, оценивающий и уничтожающий смех-насмешка. Нет, этот гротеск совсем иного происхождения. Или, вернее, так: отношение к «пошлости» жизни стало амбивалентным — отрицание соединялось с любованием, насмешка с восхищением, уничтожение с возрождением.

Гротеск постсоцреалистической литературы можно проиллюстрировать — образно, конечно,— двумя фразами из рассказа Петрушевской «Поэзия в жизни». «Девушка, помогите мне, моей маме сегодня сделали операцию рак груди, погуляйте со мной». И вот уже в одной комнате ночует прооперированная мама и бывшая девушка: «Кровать к кровати, можно сказать, проходила эта упорная свалка двух сердец». Смерть и совокупление, конец одной жизни и зачатие другой, страх и смех в гротеске сосуществуют, стоят «кровать к кровати». Одним из главных параметров гротеска является беспредельная свобода, основанная на «карнавальной правде», особая вольность мысли и воображения; разрушение официальной серьезности и официальных запретов. Смерть входит в целое жизни как ее необходимый момент, как условие ее постоянного обновления и омоложения. На высотах гротескного реализма, как замечал М. М. Бахтин, «никогда не остается трупа» — из него произрастает новая жизнь.

Самая серьезная в мире официальная советская литература (эта серьезность, увы, передалась по наследству и значительной части неофициальной литературы, неприязненно относящейся к любой попытке выхода за пределы строго регламентированного, почти ритуализированного отношения к сакрализированным фигурам — будь то Пушкин, Гоголь — или сакрализированным понятиям) боится, избегает и сторонится смеха.

Гротеск в творчестве Петрушевской и Толстой, «куртуазных маньеристов», поэтов и художников-концептуалистов, в кинематографе Киры Муратовой разрушает эту серьезно-напыщенную, помпезную картину мира. А начинается это разрушение с возвращения в культуру того, что пренебрежительно именовалось официозной критикой «пошлостью» и «мещанством».

На самом же деле агрессивная пошлость обрушилась на страну совсем с другого края — ее «пророками» были Глазунов и Шилов в живописи, Пикуль, Ан. Иванов, П. Проскурин в литературе; с утилизации фольклора в так называемой «патриотической» поэзии, то есть с продолжения в новых исторических условиях тоталитарного искусства.

В субъективном гротеске сопряглось безысходное отчаяние и экзистенциальная надежда. И в то же время этот гротеск был органически связан с ощущением праздника жизни, ее неисчерпаемого богатства, ее феерической сказочности. Недаром Петрушевская назвала один из своих лучших сценариев «Сказкой сказок», а первую книгу прозы — «Бессмертная любовь». Недаром в рассказе Толстой «Сомнамбула в тумане» героя запирают на ночь в ресторане «Сказка», где ему снятся, само собой разумеется, фантастические сны. Чисто сказочного происхождения — симбиоз человеческого и животного начал. Отсюда желание героини иметь «толстый пу-

шистый хвост, можно полосатый». Герой жаждет превратиться в медведя: «медведем забиться в нору, зарыться в снега, зажмуриться, оглохнуть, уйти в сон, пройти мертвым городом вдоль крепостной стены». Ноги дам превращаются в «серебряные хвосты и лакированные копытца». В этом сказочно-гротескном мире Лермонтов на сером волке умыкает обалдевшую красотку; таинственная соседка — заколдованная красавица («и гибель Атлантиды видела...»), ее и «на костре хотели сжечь, за колдовство». Все вышло из сказки или причастно ей.

В рассказе «Факир» Татьяна Толстая дает гротескную модель, зримо воплощающую саму идею тоталитарного искусства. Прообразом послужил высотный дом на площади Восстания. «Посреди столицы угнездился дворец... розовая гора, украшенная семо и овамо разнообразнейше — со всякими зодческими эдакостями, штукенциями и финтибрясами: на цоколях — башни, на башнях — зубцы, промеж зубцов — ленты да веники, а из лавровых гирлянд лезет книга — источник знаний, или высовывает педагогическую ножку циркуль, а то, глядишь, посередке вспучился обелиск, а на нем плотно стоит, обнявши сноп, плотная гипсовая жена, с пресветлым взглядом, отрицающим метели и ночь, с непорочными косами, с невинным подбородком... Так и чудится, что сейчас протрубят какие-то трубы, где-то ударят в тарелки, и барабаны сыграют что-нибудь государственное, героическое». Застывшая иерархическая структура еще держится — но недаром Толстая здесь пишет о «черном провале первых этажей, а также о том, как по кольцу Москву окружает «бездна тьмы», на краю которой живут ее бедные герои, приманенные яркими огнями фальшивого фасада, фальшивого уюта и фальшивого «хозяина» квартиры в этом доме.

Город с высоты окон дома «сияет вязанками золотых огней, радужными морозными кольцами, разноцветным скрипучим снегом», а в квартире царит псевдохозяин в малиновом халате и домашних туфлях с загнутыми носами,— хозяин-карлик, явно карнавальная фигура. Мы видим его же — но в совершенно другом облике — в подземелье московского метро, когда он, столь привлекавший героиню своей необычностью, «идет как обычный человек, маленькие ноги его, привыкшие к вощеным паркетам, избалованные бархатными тапками, ступают по зашарканному банному кафелю перехода». Толстая переворачивает ситуацию, оценка героя резко снижается: из недоступного романтического разрушителя женских сердец он превращается в зауряднейшего человечка. Теперь — вместо окладистой серебряной с чернью бороды — акцентируется ничтожество его физического облика: «маленькие кулачки шарят в карманах, нашли носовой платок, пнули — буф, буф! — по носу — и снова в карман; вот он встряхнулся, как собака, поправил шарф...»

Характерное для гротеска резкое снижение происходит и непосредственно с героем, и с интерьером (таинственная арка в квартире пародируется «аркой с чахлой золотой мозаикой», под которой он исчезает из поля зрения героини в метро).

Описание приема гостей в рассказе пародирует «тайную вечерю»: здесь и преломление хлеба, и необыкновенные напитки, чистая скатерть, зажженные свечи, избранные и «званые», особо приближенные люди, которым «шут-король» читает свою проповедь (рассказывает анекдоты и гротескно-фантастические байки). Герой носит птичью фамилию — Филин, и в его вставных новеллах фигурирует балерина — «Собакина» в девичестве, «Кошкина» по первому мужу, «Мышкина» — по второму; в качестве одного из персонажей появляется некто Валтасаров, умеющий звукоподражать животным, а волк на окраине города вполне по-человечески выходит на бугор «в жестком шерстяном пальтишке», его «зубы стиснуты в печали, и мерзлая слеза вонючей бусинкой висит на шерстяной щеке».

Героев рассказа в определенной мере можно назвать, пользуясь словами Бахтина, «карнавальными чучелами», для которых характерна смешная претенциозность и тяготение к снижающему барахлу, загромождающему их карнавальный рай. Этот псевдорай высотной башни Филина на самом деле оказывается утопическим царством материально-телесного избытка (невероятные слоеные пирожки, последние на земле, рецепт изготовления которых исчезает навеки; веджвудский фарфор, в прямом смысле слова спустившийся с небес и т. д.), исчезающим как дым и туман при свете жестокой реальности. Этот гротеск — горькая насмешка автора над иерархической моделью советской жизни, якобы ведущей «по делам твоим» с бедной земли на утопически-богатое «небо».

Эта жизнь иллюзорна — «лишь фейерверк в ночи, минутный бег цветного ветра, истерика огненных роз во тьме над нашими волосами». В итоге, как пишет Толстая, «и бог наш мертв, и храм его пуст».

Гротеск Петрушевской космичен. В коротком рассказе «Через поля», могущем послужить своего рода эпиграфом ко всему ее творчеству, Петрушевская прямо обращается к стихиям, проводя их через «тела» и души своих героев. Бытовой сюжет рассказа прост: два молодых человека идут от железнодорожной станции к дому, где их ждут друзья: «идти надо было километра четыре по лесу, а потом по голому полю».

Открытое природно-историческое пространство уподобляется жизненному пути человека и человечества: через «голую, абсолютно голую разбитую землю, ливень и молнии». В эту землю что-то

когда-то было посажено, но «не выросло пока что ничего».

Встреча с природой и историей, с жизнесмертью испытывает все силы человека. В этом испытании обнажается естество, которого он, человек цивилизации XX века, стесняется («я стеснялась тогда всяких проявлений естества и больше всего своих босых ног»).

В конце рассказа героев ждет «теплый дом», где сидят за столом друзья («пиршественный» образ, характерный для всего творчества Петрушевской). Тепло еды и питья, тепло дома и друзей «греет душу после долгого и трудного пути». Автор-героиня сознает, что «завтра и даже сегодня меня оторвут от тепла и света и швырнут опять одну идти по глинистому полю под дождем».

Герои и героини Петрушевской постоянно стремятся войти в дом, в квартиру, закрепиться в ней, выжить, «получить прописку». Дом, квартира, комната для них — синоним спасения, выживания. Их жизнь протекает на пороге. Квартира становится своего рода священным местом. В пьесе «Сырая нога, или Встреча друзей» в «своем кругу» (постоянный «хронотоп» Петрушевской) вдруг, в разгар пирушки друзей, появляется некто со стороны — человек, которому негде ночевать («из Воркуты, проездом в Дрезну»), мечтающий остановиться в этой квартире. Конфликт проистекает именно из этого желания — героя сначала агрессивно выкидывают на лестницу, потом, так же неожиданно, оставляют и даже приглашают выпить, обнаруживая общих знакомых (принимая в «свой круг»).

В пьесе «Три девушки в голубом» подспудный конфликт разворачивается из-за старой полуразрушенной дачи, на проживание в которой претендуют три сестры, первоначально не признающие своего далекого родства. Особой сюжетной значительностью в пьесе наделяется дачная уборная — «скворечник», построенный жаждущим близости кавалером.

Пространство пустой комнаты («два стула, подобранных на свалке, садовая скамейка, ящик из-под конфет») организует «духовную» жизнь трех героев пьесы «Чинзано».

«День рождения Смирновой» происходит в комнате «за столом».

Пьеса «Квартира Коломбины» открывается репликами (тоже — «за столом»):

«Коломбина. Вы извините, что у нас не убрано.

Пьеро. Что вы, что вы. Мы люди искусства...

Коломбина. Кровать как шарикова нора...»

Дом защищает от агрессивности открытого пространства, чреватого болезнью, заразой и смертью, пространства, покушающегося на человеческую жизнь и свободу. Персонажи, населяющие дом (квартиры) и сталкивающиеся на лестнице, проходят свой путь жизнесмерти.

В рассказе «Свой круг» слепнущая от болезни почек героиня (только она сама знает, что скоро умрет) жестоко избивает после пирушки-застолья (где перемешались все пары, и ее бывший муж женат на бывшей жене одного из сотрапезников) своего маленького сына, как бы выталкивая его, спасая для жизни, ибо, потрясенный ее жестокостью, отец заберет сына к себе. Пирушка (тайная вечеря) происходит во время Пасхи. Героиня готовит пиршественный стол с особой тщательностью, а также навещает в этот день — вместе с сыном — могилу своей матери. Через весь рассказ проходит образ смерти, чреватой жизнью: «Алеша, я думаю, приедет ко мне (уже после смерти. — **Н. И.**) в первый день пасхи, я с ним так мысленно договорилась, показала ему дорожку и день, я думаю, он догадается, он очень сообразительный мальчик, и там, среди крашеных яиц, среди пластмассовых венков и помятой, пьяной и доброй толпы, он меня простит, что я не дала ему попрощаться, а ударила его по лицу вместо благословения». Пощечина вместо благословения — карнавальный жест в гротескном мире рассказа, где за пасхальным столом усаживаются и верный друг, и предатель, и блудница.

Слова-оценки «совесть мира» и «проститутка она профессиональная» в рассказе «Такая девочка» относятся к одной и той же героине, сказаны в одной и той же фразе. «Идейное» за счет гротескного соседства с материально-телесным низом осмеивается, а естественно-человеческое — освящается.

В рассказе «Темная судьба» тридцатилетняя «старая дева» приводит к себе на ночь знакомого мужчину, дабы расстаться с опостылевшей невинностью. Петрушевская подчеркивает в мужском персонаже невероятное обжорство («непреходящая жажда еды»), огромный живот («живот не пускал»), «звериность» поведения («съел, облизал щепоть языком, как собака»), инфантилизм («толстый ребенок»). Героиня испытывает к «нему» двуединое отношение, «слезы счастья» и «позор» сосуществуют: «суженый был прозрачен — глуп, не тонок, а ее впереди ждала судьба, а в глазах стояли слезы счастья».

Пожилая Паня («Бедное сердце Пани») больна сама, инвалид — ее муж, трое детей на руках; действие рассказа происходит в женской больнице, в отделении патологии. Все сословные — и интеллектуально-культурные — перегородки в этом мире «брюхатых, стонущих баб» порушены, не существует никакой иерархии, все — равны. Паня, которая может при своем больном сердце умереть родами и оставить своих троих детей сиротами, хочет одного — сделать аборт, однако врач, по всей видимости, все-таки вынимает из ее старого, больного чрева плод: недоношенного ребенка, девочку с прелестным лицом величиной с яблоко. Таков у Петрушевской «мир

наизнанку» — болезнь и смерть («убийцей» называют Паню), порождающие жизнь.

Нужно особо сказать о языковом гротеске у Петрушевской. Она сочиняет и в жанре нарочитой словесной бессмыслицы, соединяющей звуки в слова, а слова — во фразы тоже по принципу гротеска.

Размышляя о родстве идей Бахтина (о гротеске и смеховой культуре) и творчества Петрушевской и Толстой, я далека от вывода, что на них «повлиял» Бахтин. Эпоха освобождения человека может политически завершиться неудачей, новыми идеологическими, экономическими заморозками или даже крахом. Освобождаться от страха стала и литература, трагическим реквиемом сопровождая тени погибших в самой зловещей и страшной катастрофе XX века — советской. Однако настоящее освобождение приходит тогда, когда оживают, казалось, навсегда замерзшие почки культуры, приговоренной к заключению не только по политическим, но и по эстетическим мотивам. Михаил Бахтин знал это лучше всех — и поэтому он своей теорией гротеска как бы предсказал появление прозы, названной А. Синявским «утрированной», и таких талантов, как Петрушевская и Толстая.

Пьесы Петрушевской собраны в книгу драматургии «Песни XX века», а цикл ее рассказов недавно появился в журнале «Новый мир» под названием «Песни восточных славян». Предваряя цикл подзаголовком «Московские случаи», Петрушевская пишет: «Случай — это особенный жанр городского фольклора, начинающийся обычно словами: «Вот был такой случай». Случаи рассказываются в пионерских лагерях, в больницах, в транспорте — там, где у человека есть пока время».

Петрушевская сознательно выбирает самый что ни на есть низкий, вульгарный, наипошлейший жанр, — да и кому он, этот городской устный рассказ-случай, казался вообще жанром! Этот жанр чрезвычайно близок к широко распространенному ранее жестокому романсу. (Я думаю, что «песня», скрещенная со «случаем», и есть на самом деле современная эманация жанра жестокого романса.) Жестокий романс возник в низовой городской культуре на грани XIX—XX веков, а затем с новой энергией появился в послевоенное время (песни, распеваемые инвалидами в электричках). Видимо, не случайно действие большинства из «московских случаев» Петрушевская отнесла к послевоенному времени.

Для жанра жестокого романса всегда характерны контрастное сочетание низкого и высокого социального статуса героев (вор, проститутка, женщина-убийца, мужик — и летчик, инженер, генерал), авантюрный сюжет (преступление), высокая моральность (наказание), присутствие фантастических сил (тайна), изложенные вульгарно-городским просторечием («мещанский», «галантерейный» язык). Новый расцвет жестокого романса в послевоенное время был обусловлен, во-первых, нормальной народной реакцией на ложь и пошлость официального искусства, опять принявшегося насаждать мифологию «высокого», «светлого» и «широкого». Во-вторых, в этом жанре запечатлелась мечта людей о «неидеологизированной» жизни, в которой обязательно восторжествует справедливость, добро победит зло, которое само себя обнаружит. В-третьих, «галантерейный» язык, по-своему, конечно, но противостоял советскому канцеляриту, «новоязу», а также псевдонародному языку, на котором были написаны так называемые «народные» песни и поддельные частушки. В-четвертых, — и, может быть, это было самое главное — в жестоких романсах пелось о концентрированных человеческих чувствах, намертво игнорируемых советской литературой: ревности, мести, бессмертной любви. Здесь не было никакого «производства», никакой «битвы за урожай», никаких жизнерадостных «гимнастерок». Была реальная жизнь — с преступлениями, грязью, смертью, любовью, исступленными чувствами. Жестокий романс заменял людям «современного» Достоевского.

Как и зачем «оживляет» этот жанр Петрушевская?

Сначала — «как».

«Один молодой человек Олег остался без отца и без матери, когда умерла мать» («Материнский привет»).

«Один человек похоронил жену и остался один с дочкой и старухой матерью» («Жена»).

«Одна женщина ненавидела свою соседку, одинокую мать с ребенком» («Месть»).

Петрушевская, как и принято в жестоком романсе, акцентирует в своих героях сущностно человеческое: одна женщина, один мужчина; муж, жена, ребенок; мать и сын, сестра и брат (а не профессиональное, что преобладало как в официальной, так и в той литературе, которая, несмотря на то, что противостояла «официозу», оставалась подчеркнуто социологической).

Язык «случаев» намеренно, специфически обеднен, оголен, лексический состав сведен до минимума. «Жила одна женщина» непосредственно соседствует с «жили они неплохо», «ездила» — с «приехала», «завтра будут похороны» — и «Лида была на похоронах». В эту нарочитую бедность вкраплены монструозные синтаксические конструкции, пародирующие письменный канцелярский советский стиль: «найден документ, а именно письмо», «была изображена на разных стадиях раздевания, в том числе и голой», «С Олегом поступили хорошо, его признали временно невменяемым», «буквально, что называется, с голым задом», «она буквально вернула мне жизнь», «его заставили жениться, вплоть до исключения из института»... Гротеск,

о котором речь шла выше, существует у Петрушевской на всех уровнях: композиционном, сюжетном, построении образа героя; а «ген» гротеска таится в самом языке, которым говорят ее персонажи.

«Ира: Но корнуольский язык почти мертвый. Николай Иванович: Ничего, примем меры!» («Три девушки...»).

Николай Иванович называет тещины посиделки с соседкой «вечерней летучкой», говорит «таким образом мы с тещей поехали вчера за клубникой. И таким образом в электричке вы на меня наткнулись!», «Ну как, читали прессу?», «Нет, ты тоже в вопросе замка займи принципиальную, я считаю, позицию», «Апробировала уже?» (об уборной).

Петрушевская внимательна к еще одному уровню языка: фонетическому. Герой говорит — «типа плед», а Петрушевская в скобках поясняет: «произносит плэд», «консервы» поясняется — «консэрвы», «консерванты» он произносит как «консэрванты». Другой персонаж вместо «вообще» постоянно произносит «ваще».

Специфическая речь звучит и в «московских случаях», как бы не сочиненных, а записанных, звучащих от лица некоего рассказчика, по всей видимости, рассказчицы. Установка на устное, произнесенное (спетое — «Песни» веды!) слово — одна из важнейших, основополагающих черт этой прозы. Что же это за рассказчица? Это жительница московской окраины — Черкизова, Сокольников, Бабушкина, — не коренная москвичка; судя по языку, приехавшая в Москву, видимо, в 30-е годы, поднаторевшая в столичной жизни, но навсегда оставшаяся провинциалкой; внерелигиозная, но заместившая веру истинную — верой в чудеса и тайны; отчаянно жадная до слухов, заменяющих ей лживую газетную продукцию; упорно отстаивающая идею справедливого возмездия.

По всем канонам «большого» советского стиля рассказчица (и соответственно случаи, о которых она повествует) представляют пресловутое «мещанство», «пошлость», воплощение «плохого вкуса», с которыми этот стиль так настойчиво боролся, являя собой апофеоз вульгарности.

На самом же деле Петрушевская в условиях господства эклектики в современной культуре ведет поиск новой цельности, возникающей на эстетическом развале имперского стиля, или, как еще его называли, «стиля вампир». Вместо «производственного» сюжета (благополучно приноровившегося к новым условиям в так называемой «чернухе»), вместо благородных героев и героинь (как «советской», так и «антисоветской» литератур) Петрушевская концентрирует «сырую», «пошлую», «вульгарную» действительность, рассматривая ее как эстетический феномен, производя коллекционную и культурологическую работу. Можно ли сказать, что Петрушевская «реабилитирует мещанство»?

Дело не в выставляемых нами по традиции оценках, не в «хорошо» или «плохо», а в том, что Петрушевская возвращает в литературу пласты жизни, ею, литературой, ханжески презираемые. Вспомним еще раз Трифонова: и жизнь, и смерть, и рождение человека — пресловутый «быт»... И недаром в столь «пошлые» по материалу «случаи» и пьесы совершенно неожиданно, но для Петрушевской абсолютно закономерно вплетается чистый голосок ребенка — ангела, сидящего на горшке. И недаром почти каждый из «случаев» завершается образом примиряющей смерти, раскаяния: «у края могилы заброшенной и заросшей, и сорная трава, сильно поднявшаяся за лето, касалась их колен, пока они не ушли».

На наше сознание, которому было привито высокомерное чувство причастности к «высокой культуре», единственными наследниками и продолжателями которой мы себя ощущали, феномен реабилитации вульгарного в литературе действует как эстетический шок. «Чистенькое» сознание способно горячо откликнуться на крестьянскую культуру (всегда характеризуемую «хорошим вкусом» — народная культура безвкусной не бывает), но неспособно заинтересоваться поэтикой этого феномена, эволюцией моральных и художественных клише в универсуме обыденного сознания. «Чистенькое» идеологизированное сознание вообще не в силах признать эстетическую ценность этого феномена.

В рассказе Т. Толстой «Любишь — не любишь» сопровождающая детей на прогулки ленинградская послевоенная «бонна» Марьиванна ими, детьми, ненавидима и презираема за все, что кажется им вульгарным — в ее облике, речи, поведении. Если бы дети могли формулировать, то они, пожалуй, сказали бы, что ненавидят ее «мещанство», то, что Белинский определил как «образцы ложного вкуса»: «шляпку с вуалькой», «дырчатые перчатки», пирожное «кольцо», старинные фотографии — «она и дядя прислонились к роялю, а сзади — водопад», язык — «Вот эти жемчуга — здесь плохо видно — это его подарок. Он безумно, безумно меня любил», а пуще всего — ее любовную историю и стихи ее покойного жениха («такой романтичный, немного мистик»):

Принцесса-роза жить устала
И на закате опочила.
Вином из смертного фиала
Печально губы омочила.

Весь канон дурновкусия: здесь и прекрасные «туземки», и «меланхолические улыбки», и «нарциссы», венчанье с мертвецом. Эстетике Марьиванны противостоит народная эстетика любимой няни Груши, хранящей тысячу рассказов «о говорящих медведях, о синих змеях, которые по ночам лечат чахоточных людей, заползая через печную трубу, о Пушкине и Лермонтове», давно ставших героями фольклора. Но на самом деле это противостояние — ложное; Марьиванна реликт исчезнувшей городской культуры, а няня Груша — исчезнувшей деревенской, и они не враждуют, а дополняют друг друга: недаром после ухода Марьиванны в рассказе возникает щемящая пустота. Осмеянная злыми детьми, Марьиванна олицетворяет непонятую, нерасслышанную человечность городской «романсовой» культуры, неистребимой до тех пор, пока не будут окончательно и бесповоротно истреблены человеческие чувства.

Героиня рассказа «Река Оккервиль» — в прошлом «томная наяда», исполнительница романсов Вера Васильевна. В воображении Симеонова, ненавидящего свой быт — плавленые сырки, дешевые носки, жареную картошку, некую Тамару, все подступавшую с постирушками и пестренькими занавесочками на окнах, — певица идет, как в начале века, «натягивая длинную перчатку, по брусчатой мостовой, узко ставя ноги, узко переступая черными тупоносыми туфлями с круглыми, как яблоко, каблуками, в маленькой круглой шляпке с вуалькой». То, что в глазах «злых детей» представало мерзкой пародией и «мещанством», для Симеонова полно ностальгирующего очарования. В действительности же Вера Васильевна оказывается огромной, нарумяненной, густобровой старухой с раскатистым смехом. И все же, несмотря на все эти разоблачения (даже в прямом смысле этого слова — ибо Вера Васильевна приезжает к Симеонову — но не для «любовного свидания с наядой», а чтобы принять ванну),— в конце концов надо всей этой «пошлостью» («безнадежное, окраинное, пошлое») возникает и царит «дивный, нарастающий, грозовой голос, восстающий из глубин, расправляющий крылья, взмывающий над миром». Этот чудный, дивный — но и пошлый — голос исполнительницы романсов, трогающий до слез и всех «чистеньких», увлекает за собой ввысь (и я бы сказала — искупает, если эта жизнь нуждается в искуплении) так же, как прощающе трогает ноги живых могильная трава в рассказе Петрушевской.

Если у Петрушевской надо было процитировать «начала», чтобы показать особенности поэтики ее «случаев», то в поэтике Толстой чрезвычайно характерны «концы».

«Чумные кладбища засыпаны известью, степные маки навевают сладкие сны, верблюды заперты в зоопарках, теплые листья шелестят над твоей головой — о чем?» («Спи спокойно, сынок»).

«И Александра Эрнестовна, милая Шура, реальная, как мираж, увенчанная деревянными фруктами и картонными цветами, плывет, улыбаясь, по дрожащему переулку на угол, на юг, на немыслимо далекий сияющий юг, на затерянный перрон, плывет, тает и растворяется в горячем полдне» («Милая Шура»).

Голос Веры Васильевны в финале рассказа «Река Оккервиль» несется «над всем, чему нельзя помочь, над подступающим закатом, над собирающимся дождем, над ветром, над безымянными реками, текущими вспять, выходящими из берегов, бушующими и затопляющими город, как умеют делать только реки».

Романсовая мелодия почти обязательно возникнет в финале. Если Петрушевская транспонирует поэтику жестокого романса, то Толстая — традиционного русского романса. Цитаты «прославляют» ее текст, в котором романсная пошлость прошлого (засохшие, выцветшие цветы, письма, шляпки с вуальками, фотографии, полуразбитые пластинки, граммофоны), хотя растаптывается ублюдочной пошлятиной настоящего, но, словно заново родившись, «взмывает» в финале. Если в поэтике Петрушевской бытовая лексика минимализируется — то у Толстой, напротив, она избыточна: так, к определению звучания голоса Веры Васильевны перебираются, наслаиваясь друг на друга, семь — один другого роскошнее — эпитетов. Как на «блошином» рынке, Толстая не может оторвать-ся от любования вещью, в которой отпечатан ушедший, забытый, истоптанный, отброшенный взрывной волной настоящего быт.

Самыми слабыми рассказами у Толстой являются те, где она, словно спохватываясь, выстраивает морализирующую схему («Охота на мамонта»), а самыми сильными — те, где, не заботясь о «поучении» и «нравственном итоге», она пытается задержать, остановить, вытащить, отмыть, встряхнуть, возродить вещь, непонятными, но крепчайшими узами связанную с отлетающей жизнью.

В рассказе «Соня» некрасивая героиня, одевающаяся подчеркнуто безобразно, не расстается с брошкой — эмалевым голубком, наипошлейшей, можно сказать, пошлостью. «В конце концов, эти ее банты, и эмалевый голубок, и чужие, всегда сентиментальные стихи, не вовремя срывавшиеся с губ, как бы выплюнутые длинной верхней губой, прикрывавшей длинные костяного цвета зубы, и любовь к детям,— причем к любым, — все это характеризует ее вполне однозначно». Красавица Ада (заметим еще один «след» поэтики романса в прозе Толстой: обязательные экзотические, «красивые» имена — Ада, Изольда, Тамила) придумывает для бедняжки Сони загадочного воздыхателя, «безумно влюбленного», и переписку, в которой тот предлагал «в назначенный час поднять взоры к одной и той же звезде»

И Соня посылает несуществующему «ему» в ответ свою единственную и главную ценность — белый эмалевый голубок. Соня умирает в блокаду, и ничего не остается от ее жизни, — как и от

жизни других, щедро тративших себя, даривших свою фантазию другим героинь. «Так, одни угольки», горстка праха, или, по названию одного из рассказов, «огонь и пыль». Все сожжено. «Пусть так. Вот только белого голубка, я думаю, она (Ада. — Н. И.) должна была оттуда вынуть. Ведь голубков огонь не берет».

Прямая, открытая параллель с булгаковским — «Рукописи не горят» — отмеченная культурологом Светланой Бойм (Гарвард) на советско-американской конференции в Нью-Йорке (март 1991-го). Да полноте, — можно ли сравнивать какую-то старую романтическую дуру с голубком — и Мастера с его бессмертным романом?

Оказывается, можно.

Потому что наипошлейший Сонин голубок концентрирует в себе энергию любви и сострадания, на высших весах перевешивая гремящую фанфарами «поэзию труда и подвига», на которую обрекала человека и власть, и прислуживавшая ей литература.

* * *

«Рукописи не горят»...

Вот и вернулись мы туда, откуда начали, — в надлом человечности, выразившийся в неприятии «пошлости» и «банальности» в революционное и постреволюционное время.

А теперь о том, с чего началась эта статья.

Во-первых, с того обстоятельства, что нормальный быт из нашей жизни окончательно утекает, убегает, исчезает — чему свидетельство не только пустые полки магазинов, но невероятное общее оголение, обеднение беспредельно политизированной действительности. Во-вторых, появление искусства, «мстящего лицемерам», — неожиданное возникновение внутри «высокой» культуры «низовой», пробивающей себе дорогу отнюдь не только в разгуле «масскульта», но и в поэтике, построенной на игре с китчем (кинематограф Киры Муратовой, живопись Л. Звездочетовой, В. Комара и Л. Меламида, поэзия Д. Пригова, Т. Кибирова; возникновение группы «куртуазных маньеристов»...). Советская культура всегда пыталась выставить «низовую» за дверь — но она упрямо влетала в окно, занимая души и сердца миллионов наших сограждан, украшающих свои бедные жилища не плакатами с усатыми рабочими и партийными функционерами, а картинками с котятами, фарфоровыми собачками, ковриками с бровастыми оленями и свинюшками-копилками. И сегодня эту «низовую» культуру — жестоких и цыганских романсов, картинок из-под конфет с бумажными кружевами, зайчиков и плюшевых мишек — новая поэтика внимательно рассматривает, ища в ней не столько новую эстетику, сколько изуродованную, но выжившую человечность. В фильме К. Муратовой «Астенический синдром» толстая мамаша в цветастом байковом халате, съев тарелку щей, вынимает золотой саксофон и играет на нем прекрасную мелодию (звучащую поистине странно — в комнате, завешенной кричащими ковриками, тесно заставленной пошлой мебелишкой). И мелодия взмывает к небу — так же, как мелодии романсов в прозе Татьяны Толстой.

Прозу Л. Петрушевской и Т. Толстой наша литературная критика, упорно тяготеющая к поискам «культурных гнезд», зачислила по ведомству «другой литературы» — вкупе с прозой Вен. Ерофеева, Е. Попова, В. Пьецуха или С. Каледина (у каждого из критиков список варьируется.) Я полагаю, что от «другой» прозы эта проза качественно отличается своим пессимистическим артистизмом (или — артистическим пессимизмом, можно и так.)

Это не «чернуха» С. Каледина, Л. Габышева или А. Терехова — центральный жанр авторов «перестроечной» прозы, простодушно полагающих, что выразительность самой нашей действительности не нуждается в добавочных эстетических приемах.

Это не «жанр маразма» — рассказов и повестей Е. Попова и В. Пьецуха, с их «героями-мудаками», по верному определению М. Эпштейна; писателей, тяготеющих скорее к сюрреализму, иронически использующих «цитаты» хрущевско-брежневского периода как некий общий китчевый «совковый» текст.

Это не соединение нашей повседневности с космическими процессами, не поиски глобальной, мистической зависимости, — идущие еще от А. Платонова («Над Россией стояла глубокая революционная ночь» — «Чевенгур»).

Главной темой прозы Л. Петрушевской и Т. Толстой становится смерть: не случайно один из последних циклов, опубликованных в «Литературной газете», Петрушевская назовет «Реквиемы», и не случайно погибают, умирают, вымирают в финале почти все герои (героини) Толстой. Вымирают — или спят, дремлют наяву, впадают в летаргию (мотив снов и сновидений — один из центральных у Толстой).

Кинокритик Д. Попов в разборе фильма К. Муратовой («Искусство кино», 1990, № 3) определил состояние социальной агонии общества, изображенного в «Астеническом синдроме», как «клиническую смерть». «Эсхатология Муратовой... карнавальна, абсурдистски вывернута, — замечает критик. — ...Выморочный быт становится страшнее смерти».

И у Петрушевской — особенно в пьесе-рассказе «Изолированный бокс», где по очереди выговаривают себя две раковые больные,— быт тоже страшнее смерти: «Тридцать пять лет только дают лежать на кладбище, потом ликвидируют. Только Марусю к нам вложат, опять перетасовка. Бульдозером сровняют с лицом земли. Новостройку построют, храм Спаса на костях».

На каком языке это может быть выражено, кроме языка китча?

* * *

И, наконец, последнее, и, может быть, самое главное.

В дневнике К. Чуковского (за 1921 год) описано посещение крематория. Посещение не в связи с кончиной близкого человека, — оно предложено для общего интереса и даже... «развлечения» (вспоминается «Бобок» Достоевского — «хотел развлечься, попал на похороны»). «— А покойники есть? — спросил кто-то. ...Созвонились с крематорием, и оказалось, что, на наше счастье, есть девять покойников».

Неотделанное здание с «колоссальными претензиями», мрамор вперемежку с кирпичом, арки из... дерева (тоже — гротеск, хотя и архитектурный). Печь. Газ. «Мы смеемся, никакого пиетета. Торжественности ни малейшей. Все голо и откровенно. Ни религия, ни поэзия, ни даже простая учтивость не скрашивает места сожжения. Революция отняла прежние обряды в декорумы и не дала своих. Все в шапках, курят, говорят о трупах, как о псах».

На ноге голого трупа белеет записка — «Попов, умер тогда-то». — «Странно, что записка! — говорил впоследствии Каплун. — Обыкновенно делают проще: плюнут на пятку и пишут чернильным карандашом фамилию».

Гробов и урн не хватает — в углу свалка человеческих костей. «Летом мы устроим удобрение!» — потирал инженер руки».

Чуковский записывает: «У меня все время было чувство, что церемоний вообще никаких не осталось, все начисто, откровенно».

Уничтожение церемониальности, ритуальности, банальности, «пошлости» обернулось посягательством на самую суть жизни.

В. Розанов: «Ни пальто, ни шуб не оказалось».

Пусть так.
Но ведь голубков огонь не берет...

Руслан Киреев представляет нетрадиционную прозу

Молекула синтеза

Произведения, о которых пойдет речь, можно, конечно, объединить и по формальному признаку: все это не беллетристика, то есть не романы, не рассказы, не повести (одна из вещей, впрочем, определена автором как повесть — «повесть о парке»), но в то же время это проза, причем проза высокого класса. Однако есть тут единство и сущностного порядка, хотя на первый взгляд что может быть общего между почти трехсотлетней историей Аннибалова парка, дневниковыми записями драматурга-сказочника, воспоминаниями писательской вдовы и «литературным преступлением» поэта-эмигранта?

Общее есть. Это тема распада, столь актуальная ныне. Распад империи, распад хозяйственных связей, распад политических движений распад семьи.. Наконец, распад личности, то есть того самого атома, на котором, собствеино, держатся все общественные структуры. Именно так — **«Распад атома»** — назвал свое произведение **Георгий Иванов («Литературиое обозрение», 1991, № 2)**, и именно оно было квалифицировано в свое время как литературное преступление. Более полувека минуло с тех пор, но поставленный Г. Ивановым диагноз не только не утратил своей точности, но получает все новые и новые подтверждения. То, что воспринималось у поэта как мрачная и страшная метафора («Совокупление с мертвой девочкой. Тело было совсем мягко, только холодновато, как после купанья»), дается современным прозаиком как бытовая сценка (рассказ В Маканина «Нешумные»), а автором уголовной хроники — как имевший место на соседней улице реальный факт.

Распад микромира всегда сопровождается распадом макромира, и коль скоро на одном конце — атом, то на другом — галактики, которые, знаем мы, разлетаются. «История моей души и история мира. Они сплелись и проросли друг в друга. Современность за ними, как трагический фон... История моей души Я хочу ее воплотить, но умею только развоплощать». Я выписал эти слова не потому, что они иллюстрируют мысль о распаде, о «развоплощении», а потому, что в них нечаянно, как бы помимо автора, прорвалась другая тема, также общая для всех произведений, о которых речь. Феномен распада неотделим от феномена синтеза, феномена соединения, созидания, все это звенья одной диалектической цепи. У Г. Иванова момент созидания не наступает, но разве желание воплотиться, тоска по воплощению не свидетельствуют о наличии в мире — и микромире, и макро — созидательных тенденций?

Этому пушкинскому началу противостоит, естественно, начало гоголевское. Оба писателя, косясь друг на дружку проходят через всю вещь, но еще явственней присутствие в ней третьего литератора. Присутствие холодное, мертвящее, разрушающее — следы этого разрушения видны в разорванном, скачущем тексте невооруженным глазом. Розанов! Ну, конечно Розаиов, этот адепт распада — распада в эстетического, и нравственного,— не зря ов сегодня так популярен. Ладно, пусть не прихорашивается, выходя на публику, вс ведь он еще умышленно лохматит волосы, распахивает рубаху на груди и, пардон, расстегивает пуговицы на ширинке...

Розановскому принципу не переписывать текста, не править, а по возможности не перечитывать следовал — независимо от Розанова — **Евгений Шварц**, тот самый драматург-сказочник, о котором я упомянул вначале. **«Живу беспокойно...»** — так назвал составитель увесистый — сорок листов! — том шварцевских дневников **(М., «Советский писатель», 1990)**. Естественная фрагментарность жанра преодолевается здесь не просто последовательностью записей, а и преемственностью их: на следующий день подхватывается — иногда на полуфразе — и развивается то, что недосказано накануне Но это все же преодоление сугубо формальное стихия распада главенствует в книге, по-своемv организуя ее. Мир рассечен на множество эпизодов, идей, лиц, выписанных великолепно (чего стоит один только Борнс Житков! Не удержавшись, я взялся перечитывать — после сорокалетнего перерыва! — «Что я видел»), причем линия рассечения проходит подчас самым неожиданным и прихотливым образом. «Евгений Шварц во всех своих изменениях знаком мне с самых ранних лет... На поверхности следующая его слабость: желание ладить со всеми. Под этим кроется вторая, основная: страх болн, жажда спокойствия, равновесия, неподвижности». Что это? Воспоминание современника? Комментарий биографа? Ничего подобного, я цитирую самого Шварца. Двоиничество? Несомненно, хотя, благодаря шварцевской иронии, говорить следует скорей о разделении личности, нежели о распаде ее. Автор, как того требуют законы иронии, отстраняется от самого себя, переводит себя из внутреннего мира в мир внешний, с которым пребывает в постоянном контакте. Именно бесконечное разнообразие этих контактов, живых и напряженных, часто драматических — при всей жажде спокойствия,— и составляет плоть шварцевской книги. Но контакт, даже самый тесный,— это все-таки форма взаимодействия, форма сосуществования изначально суверенных систем, в то время как гармония, подлинная гармония, предпочитает изначальное единство.

Георгий Иванов запечатлел... нет, это слово слишком спокойно тут—прокричал, простонал о том как эта самая гармония «болезненно отмирает в душе», высказав надежду, что, «когда она совсем отомрет, отвалится, как присохшая болячка, душе станет снова первобытно легко» Подобная легкость сравнима, конечно, с легкостью небытия, но в этих словах поэта — не только отчаяние, в них намек быть может, неосознаиный, на приоритет красоты относительно человека, на ее извечное в отличие от человека суверенное существование.

Об этом — вернее, и об этом тоже — **«повесть о парке» Анатолия Королева**, имя до сих пор, каюсь, мне неизвестиое, но теперь одно из самых для меня авторитетных и самых завораживающих имен русской прозы

Называется повесть **«Гений местности» («Нева», 1990, № 7)**. В первом же абзаце сообщается, что термин этот позаимствован из частного письма английского поэта восемнадцатого века Александра Поупа, и сделано признание, несколько обескураживающее что для автора — и, стало быть, для читателя — «гений местности — сама тайна» Что ж, так, по-видимому, и есть, но это если делать ударение, смысловое ударение, на первом слове — гений и впрямь тайна! — а если сместить его на второе, в некотором роде служебное? Тут сразу открывается пространство для весьма конкретных и прозаических размышлений.

Ну, во-первых, какого рода местность имеется в виду? Кусок обустроенной земли, именуемый парком? Но тогда почему на фоне дивных пейзажей мелькают не просто люди — целые поколения, а вместе с ними и эпохи? Это уже ландшафт не географический, не просто географический, это уже ландшафт временной, и обозревается он, надо сказать, с высокой точки Тем не менее мы успеваем рассмотреть, запомнить и даже полюбить отдельные лица — например, «зеленого кузнечика» Антонио Кампорези, садовника-«неитальянца» которому «было поручено разбить регулярный парк».

Стремительное уменьшение полноформатной человеческой фигуры до размеров насекомого не случайно и не эпизодично, другие столь же малы что не мешает им с упорством—так и хочется сказать, муравьиным — вычленять из дикой природы некую цивилизованную красоту, в которую сами они, увы, вписаны не будут. «Рука художника, сколь ни была она деятельной, осталась незаметной». Подобное самоустранение автора (авторов) характерно и для религиозных текстов, но там все вертится вокруг этических проблем, здесь же — царство эстетики, ключевое понятие повести о парке. «...парк — это всегда вид на идеал»,— роняет автор, не уточняя, что подразумевается идеал эстетический а не моральный. Повесть, такая внешне тихая, мирная, ровная, внутренне полемична по отношению не только к православию, не только к христианству но и ко всякой вере вообще. Ибо красота у Королева включает веру как составную часть, ей, красоте, подчиненную. Красота первична, дух вторичен «Помните,— говорит художник Константин Сомов, тот самый, из «Мира нскусства»,— он тоже мелькает кузнечиком в ландшафте времени,— помните, как мужи Владимира выбирали веру? По душевной простоте — верили только впечатлению. Красиво ли сие?»

Красиво ли сие? **Надежда Мандельштам** — вот мы и подобрались к четвертому герою моего маленького обзора.— Надежда Мандельштам рассказывает во **«Второй книге» (М., «Московский рабочий», 1990)**, как ее муж «упорио подбирал какие-то особые камни, совсем не драгоценный сердолик и прочие сокровища коктебельского берега». На удивленный вопрос супруги — зачем? — ответа не последовало и лишь, диктуя «Разговор о Данте», мастер позволил себе «маленькое автобиографическое признание»: «Черноморские камушки, выбрасываемые приливом оказали мне немалую помощь, когда созревала концепция этого разговора. Я откровенно советовался с хальцедонами, сердоликами, кристаллическими гипсами шпатами, кварцами и т. д.» Не этот ли минералогический подход спровоцировал Мандельштама обронить в черновых набросках к «Разговору...», что-де «русская поэзия выросла так, будто Данте не существовало»?

Что имеется в виду? Только ли сугубо формальная сторона или еще и отношение Данте к грешникам с коими, настаивает сошедший в ад флорентиец, «было доблестью быть подлым»? Это почти самый конец «Ада», тридцать третья песнь, в которой, помните, поведана история Уголино, заточенного с детьми в замок, где младенцы умирают с голоду на руках отца. Мандельштам называет это «кошмариком», «приятным ужасом» Приятным! Согласитесь, что реакция Пушкина, Гоголя, не говоря уже о Достоевском или Некрасове, была б иной — воистину «русская поэзия выросла так будто Данте не существовало».

Причем здесь, однако, Осип Мандельштам? А притом, что, будучи главным героем «Второй книги», он не только не является предметом апологетики, но выступает объектом страстной, хотя и не всегда, может быть, сознательной полемики. Вновь подтвердился знаменитый тезис Спинозы: слова Павла о Петре говорят иам больше о Павле, чем о Петре... В отличие

от «Воспоминаний», то есть в отличие от «первой», от главной, как считала сама Надежда Яковлевна, книги, «Вторая...» написана не столько благодаря Мандельштаму, сколько вопреки ему. Она ведь тоже про ад, эта книга, но не про тот, по которому ведет нас эстет и моралист Данте (эстеты ведь сплошь да рядом моралисты — вспомните «Портрет Дориана Грея») — ведет, потирая руки при виде мучеников: «Плачь, сетуй в топи невылазной, проклятый дух, пей вечную волну!» Она — про ад, увиденный глазами христианина. «Никто еще не рассказал, что с нами сделали люди, наши соотечественники, которых я не хочу уничтожать, чтобы не уподобиться им». Мыслимо ли представить, что эту фразу произносит спутник и духовный сын древнеримского поэта с его языческим многобожием? Не очень как-то... Ее произносит наша современница, и это — конец книги, это — конец (итог) жизни и это же — конец распада Того самого распада, о котором поведала и сама Надежда Мандельштам (одна из самых страшных глав так и называется: «Распад»), и обезумевший от ужаса Георгий Иванов, и — походя! — «застенчивый» (собственное его словцо) летописец Евгений Шварц, которому — по собственному опять-таки признанию — «привычка говорить через пьесу, через детскую книжку мешала писать прямо».

Разрушительная энергия распада ворвалась и в исполненное покоя и грации повествование Анатолия Королева. Грохот социальных катаклизмов потряс парк, его жизнь — на волоске, он разрушен, он почти мертв, но, едва люди оставляют в покое Аннибалово детище, как природа, пусть даже и заточенная в рамки сада, начинает работу самовосстановления.

Увы, воскрешения — полного воскрешения — нет. Повесть доведена до сегодняшнего дня, часы автора показывают то же время, что часы читателя и даже, кажется, слегка опережают их. Последняя глава, информирует рассказчик, «еще только пишется, хоть название у нее уже есть: «Тяжкая манна» Имеется в виду цементная пыль, оседающая на листьях и стволах.

Трагическим аккордом должны вроде бы звучать эти заключительные строки, но — странное дело! — напряжение спало, поувяли фразы, а артистизм, так завораживающий вначале, выродился в стилизацию. Молох — тот самый молох утилитаризма, что разрушал и разрушает парк,— бабахнул по ажурному созданию Анатолия Королева, сплющив и обезобразив его верхнюю часть, но не потревожив, слава Богу, несущих конструкций. Повесть о парке разделила судьбу парка. Форма совпала с содержанием. Лукавый и улыбчивый гений местности, от имени которого велось повествование, упорхнул, и его место заняли поочередно публицист, фельетонист («Авангард Молокоедов» называется предпоследняя главка), беллетрист... Этот последний, имитируя исчезнувшего перворассказчика, тоже плетет историю и тоже любви — «видно, в раю других историй и не бывает». Но как разительно отличается этот маленький, вернее, уменьшенный роман (уменьшенный в том же масштабе, что и человек, преображенный в кузнечика — три-четыре журнальных страницы) — как разительно отличается роман о медсестре Лизе Радовой и летчике Косте Дубровине от «драматичной истории любви Петра Васильевича Охлюстина к Катеньке Ивиной»! И там, и здесь — мелодрама, но в одном случае это красивая (не надо бояться этого слова!) и трогательная история, воссоздающая аромат эпохи, ее узор, ее цвет, ее звуки, в другом — банальнейший, в духе соцреализма, треугольник: самоотверженная советская девушка, благородный «пилот-сокол» и потерявший зрение лейтенант. А впрочем, эпоха и здесь отражена, просто эстетика другая

Красота, как видим, не спасла мира, атом распался. Да что мира, крохотной его частицы не спасла, заповедного уголка, чудного Аннибалова парка... Не спасла и не могла спасти, тут классик ошибся. Или, может быть, классика неправильно поняли.

Линия красоты, столь виртуозно прочерченная в «Гении местности», и линия милосердия, пробитая сквозь обвалы и землетрясения во «Второй книге»,— суть параллельные линии, но разве не утверждают математики, что параллельные в конце концов пересекаются? В эту-то незримую точку, в эту будущую молекулу синтеза я и всматриваюсь из нашего распадающегося времени с трепетом и надеждой.

Журнал «Страна и мир»

Журнал «Страна и мир», обозначенный в редакционной характеристике как «общественно-политический, экономический и культурно-философский», выходит с 1984 г.— «года Орвелла». Это единственный чисто публицистический «толстый» журнал русского зарубежья, не печатающий ни беллетристики, ни поэзии.

Центр тяжести интересов журнала — жизнь современного общества как в нашей стране, так и за ее пределами. Отсюда название: «Страна и мир». Журнал стремится рассматривать проблемы нашей страны не изолированно, а в контексте общемировых проблем, стремится восстанавливать разрушенные за истекшие 70 лет мосты, связи между нами и окружающим миром.

Журнал издается в Мюнхене, но это не эмигрантский журнал в том смысле, который вкладывается обычно в это слово. К проблемам эмиграции журнал обращается крайне редко, и если обращается, то лишь под тем углом зрения, который позволяет лучше уяснить проблемы нашей страны.

Выбор названия: «Страна и мир» — имеет еще один смысл — как выражение «исповедания веры», ибо в названии содержится отсылка к известной книге А. Сахарова «О стране и мире». Вынеся эти слова в название, редакция хотела заявить о политических и общественных идеалах, к которым она стремится, об убеждениях, которые она исповедует.

Одна из целей, которую ставит перед собою «Страна и мир»,— это просветительство, заполнение «белых пятен», все еще существующих для читателя, только сейчас начинающего осваивать мировую, общественную и политическую культуру. Обзоры, аналитические материалы, мемуары, архивные публикации, дискуссии — в числе постоянных разделов журнала.

В «Стране и мире» даже в самые тяжелые, еще до «гласности», времена принимали участие многие видные публицисты из многих регионов нашей страны — иногда под псевдонимами, иногда и открыто. Сейчас авторы из «метрополии» занимают на страницах журнала ведущее место. В их числе Юрий Власов и Юрий Афанасьев, Василий Селюнин и Анатолий Стреляный, Анатолий Жигулин и Григорий Померанц, Юрий Карабчиевский и Леонид Баткин, Станислав Рассадин и Бенедикт Сарнов, Олег Румянцев и Сергей Лезов и многие другие.

Зарубежные авторы представлены еще более широко. Впервые на русском языке в «Стране и мире» появились произведения Карла Поппера и Октавио Паса, Ханны Арендт и Фан Лижи, Салмана Рушди и Элиаса Канетти и ряда других знаменитых авторов. Печатались в «Стране и мире» неизвестные советскому читателю (а иногда и написанные специально для журнала) произведения Генриха Белля и Витторио Страды, Милована Джиласа и Ричарда Пайпса, Олдоса Хаксли и Жана-Франсуа Ревеля, Рихарда фон Вайцзекера и Айрис Мердок, Артура Кестлера и Франсуа Мориака...

Печатаются, естественно, и авторы-эмигранты: Борис Хазанов, Фридрих Горенштейн, Владимир Войнович, Томас Венцлова, Лев Копелев, Ефим Эткинд, Лев Друскин и целый ряд других.

Регулярная рубрика журнала — интервью. С представителями журнала беседовали Симон Визенталь и Грант Матевосян, Джимми Картер и Иосиф Бродский, Юрий Любимов и руководители всех французских политических партий, Олег Калугин и Юлий Ким, Борис Ельцин и Натан Эйдельман и ряд других выдающихся политических и общественных деятелей.

С 1989 г. основная часть тиража печатается в Советском Союзе. Представители журнала:

В Москве — Сергей Лёзов (125167, Ленинградский просп., 45, корп. 4, кв. 367).

Редактируют журнал Кронид Любарский, Борис Хазанов и Эйтан Финкельштейн.

Адрес редакции:
Das Land und die Welt e. V. Schwandthaber Str, 73, D-8000 München BRD.
Телефон (089) 530514; Телекс: 5218017; Телефакс (089) 534603.

По поводу «Воспоминаний» А. Д. Сахарова

В нашем журнале были опубликованы «Воспоминания» А. Д. Сахарова (№№ 10—12 за 1990 г. и №№ 1—5 за 1991 г.). В ближайших номерах будет печататься вторая книга—«Горький, Москва, далее везде». История создания мемуаров А. Д. Сахарова очень драматична, об этом пишет Андрей Дмитриевич: сотрудники КГБ не раз выкрадывали написанное, однажды во время обыска изъяли почти треть книги. В основном «Воспоминания» писались в горьковской ссылке, в условиях полной изоляции, поэтому никакой возможности пользоваться какими-либо справочными материалами не было, невозможно было также иметь несколько экземпляров написанного. Андрей Дмитриевич с горечью говорит о том, как ему после пропаж рукописи снова и снова приходилось восстанавливать все по памяти. Неудивительно, что в тексте есть некоторые неточности. Поэтому редакция дала сноску о «естественных мелких погрешностях авторской памяти», которые «частично исправлены». При публикации был выявлен ряд таких неточностей (например, в № 12 на стр. 87 ошибочно сказано, что Тула на какое-то время была оккупирована фашистами). Мы благодарны нашим читателям, приславшим письма с поправками, они, несомненно, окажут большую помощь при подготовке полного и комментированного издания «Воспоминаний» отдельной книгой.

Наряду с ними мы получили письмо от Я. П. Терлецкого, которое он настоятельно просил опубликовать. Оно вызвано следующим абзацем «Воспоминаний»:

«В первые послевоенные годы я редко видел Михаило Александровича (академика М. А. Леонтовича.—РЕД.), но до меня доходили слухи о нем. Один из них—как он спустил с лестницы Я. П. Терлецкого — физика-теоретика, претендовавшего на роль борца за идейную чистоту физики, который предложил ему сотрудничество в борьбе с «идеалистическими силами инерции». Речь шла о том, «реальны» ли силы инерции — например, центробежная сила, сила Кориолиса (проявляющиеся во вращающейся системе координат). Терлецкий объявил идеалистическими те формулировки, которые содержались в учебнике механики проф. С. Э. Хайкина. Ясно, что речь идет только о словах, за которыми реально нет ни философского, ни тем более операционалистского разногласия. Но подобные выдуманные, искусственные проблемы особенно удобны для демагогии. Лавры Лысенко не давали тогда спать многим Я. П. Терлецкий был, по-видимому, одним из них. По рассказу самого Михаила Александровича, он не только спустил его с лестницы, но и назвал при этом представителем древней и непочетной женской профессии» («Знамя», 1991, № 2, стр. 136).

Поскольку в письме Я. П. Терлецкого высказываются как бы сомнения в подлинности приведенного выше отрывка, сообщаем, что редакция располагает фотокопией рукописного текста А. Д. Сахарова

Публикуем полностью, без каких-либо изменений, письмо Я. П. Терлецкого.

* * *

В № 2 за 1991 г. журнала «Знамя» на стр. 136 в публикации Елены Боннэр — «Воспоминания» А. Сахарова — содержатся клеветнические измышления, порочащие мое человеческое достоинство и меня как ученого, о «слухах», согласно которым академиком М. А. Леонтовичем было якобы нанесено мне физическое и моральное оскорбление за якобы предложенное мною М. А. Леонтовичу «сотрудничество в борьбе с идеалистическими силами инерции»... о том, реальны ли силы инерции». Категорически заявляю, что ничего подобного никогда и нигде не было. Я также опровергаю как надуманные все сопровождающие эти «слухи» комментарии.

Прежде всего, мои отношения с Михаилом Александровичем, как с моим научным руководителем в аспирантуре и как его сотрудником по разработке проблем радиолокации, были весьма плодотворными и ничем не омрачались до

1945 года. Но приблизительно в это время в одной из полемик он воинственно заявил мне, что единственной философией, лежащей в основе методологии физики, является философия Эрнста Маха, на что я ему возразил, что считаю наиболее продуктивной для физики философию диалектического материализма, основы которой изложены в трудах Энгельса и Ленина. После этой полемики наши отношения обострились и фактически всякое научное сотрудничество и общение навсегда прекратилось. Таким образом, никакого моего предложения о сотрудничестве в борьбе с какими-либо проявлениями «идеализма» не могло иметь места. Кроме того, я никогда не считал (как и все физики-теоретики) силы инерции «идеалистическими», что подтверждается в моей весьма положительной рецензии, опубликованной на книгу С. Хайкина 1939 г., и в моей книге «Теоретическая механика» 1987 г., а также в лекциях, читаемых студентам.

Таким образом, «слух» о якобы нанесении мне морального и физического оскорбления М. А. Леонтовичем скорее порочит его как неинтеллигентного человека. И, кроме того, оно не могло иметь места уже потому, что я в то время имел спортивный разряд по альпинизму и не допустил бы такого действия, как «спускание с лестницы» со стороны более старшего и физически слабого противника. Кто-то из сочинителей «слухов», видимо, с кем-то что-то перепутал.

У меня вызывает сомнение также достоверность изложения А. Д. Сахаровым в своих «Воспоминаниях» вышеуказанных «слухов». Ведь, зная раньше об эффективности подготовки мною молодых ученых (академики Г. И. Будкер и Г. М. Гарибян были моими дипломниками, а также А. А. Логунов был моим дипломником и аспирантом), А. Д. Сахаров в 1945 г. просил меня принять его в аспирантуру. Я дал ему предварительное задание — рассчитать время релаксации намагниченного сжимаемого взрывом внутрь проводящего шара (т. е. идею магнитной кумуляции). А. Д. Сахаров успешно выполнил это задание. Однако в аспирантуру ко мне не зачислился, а поступил в ФИАН в аспирантуру проф. И. Е. Тамма. Много позже, в 1953 году, А. Д. Сахаров со своими сотрудниками в специальной лаборатории практически осуществил магнитную кумуляцию. Но первая публикация о магнитной кумуляции в 1957 г., излагающая первый тогда мой закрытый отчет 1952 года, принадлежит Я. П. Терлецкому. Это признается во всей советской и иностранной литературе, в том числе и в статьях А. Д. Сахарова. За работы по магнитной кумуляции мне, а не А. Д. Сахарову впоследствии была присуждена Ленинская премия.

Таким образом, А. Д. Сахаров прекрасно знал меня как ученого, физика-теоретика, и не верится, что он мог опуститься до распространения в своих «Воспоминаниях» порочащих своего коллегу «слухов».

Яков Петрович Терлецкий,
лауреат Ленинской и Государственной премий,
заслуженный деятель науки РСФСР,
доктор физико-математических наук,
профессор

* * *

Получив письмо Я. П. Терлецкого, мы, не будучи компетентными в проблемах истории физической науки, естественно, должны были проконсультироваться со специалистами из Института истории естествознания и техники АН СССР, с учеными-физиками, работавшими в те годы над теми же проблемами, а также с членами семьи покойного академика Леонтовича. Публикуем их комментарии.

* * *

Письмо проф. Терлецкого и соответствующее место из «Воспоминаний» А. Д. Сахарова можно комментировать с различных точек зрения: с юридической, нравственной, исторической. Если бы речь шла только о том, действительно ли акад. Леонтович спустил с лестницы проф. Терлецкого, назвав его при этом «представителем древней и непочетной женской профессии», то, возможно, един-

ственно адекватной точкой зрения была бы юридическая. Однако Я. П. Терлецкий не ограничивается отрицанием факта, но пытается доказать, что его и быть не могло. Если оставить в стороне довод относительно «физической слабости противника» и сосредоточиться на основном смысле слова «физический», то мы попадем в область истории науки.

Сейчас в распоряжении историков имеются разнообразные документальные свидетельства о жизни советской физики в 30—50-е годы. И если говорить об общей картине, то эта жизнь во многом определялась противостоянием физиков из МГУ и физиков Академии наук.

Противостояние началось с так называемого «разгрома троцкистов» на физическом факультете МГУ в 1937 году, за которым последовало удаление из университета целого созвездия ученых школы Л. И. Мандельштама, включая И. Е. Тамма и М. А. Леонтовича. А пик противостояния пришелся на 1949 год, когда усиленно готовилось, по образцу сессии ВАСХНИЛ, всесоюзное совещание физиков. Атаковали университетские физики. В их среде возникла даже некая теория об университетской науке, противостоящей нездоровой академической. Одним из характерных представителей «университетской физики» был Я. П. Терлецкий, а «академической» — М. А. Леонтович.

В университетскую группировку наряду с людьми, имена которых мало что говорят даже и историкам, входили физики с несомненным научным потенциалом. Что их объединяло и что отъединяло от «академической физики»? Из письма Я. П. Терлецкого следует вывод, что философские идеи. Историку, однако, с этим трудно согласиться. Далеко не каждый предрасположен к философскому взгляду. Кроме того, один из виднейших «академических» физиков, В. А. Фок, видел опору в диалектическом материализме.

Для настоящего физика на первом месте все-таки физика и свое место в этой науке. И вот тут не обойтись без второй точки зрения — нравственной.

Честолюбие в научной жизни — вещь естественная и даже необходимая. Однако средства, ведущие к реализации своих дарований и к общественному признанию, каждый выбирает сам, опираясь на свое внутреннее нравственное чувство. Не у всех это чувство одинаково развито. Особенно в обществе, где нравственным провозглашается то, что способствует победе (мировой революции или моей теории — не так и важно). А когда стремятся к победе любыми средствами, в ход идет весь арсенал: троцкизм, космополитизм, идеализм...

А. Д. Сахаров пишет о претензиях Терлецкого «на роль борца за идейную чистоту физики». О серьезности этих претензий нагляднее всего говорит участие Я. П. Терлецкого — единственного физика — в редколлегии печально знаменитого «зеленого сборника» 1952 года, в котором со ссылками на Берию и «Краткий курс» заявлялось: «Разоблачение реакционного эйнштейнианства в области физической науки — одна из наиболее актуальных задач советских физиков и философов. ...Материалистическое же истолкование закономерностей быстрых движений есть в действительности отказ от теории относительности Эйнштейна как от физической теории и развитие принципиально иной по своей сути теории» («Философские вопросы современной физики», М., Изд-во АН СССР, 1952, с. 47, 72).

Тогда же весьма наглядно проявилась и позиция М. А. Леонтовича. Именно в 1952 году развернулась кампания по разоблачению философских ошибок академика Л. И. Мандельштама, умершего за 8 лет до того, но пользовавшегося огромным научным и моральным авторитетом. В осуждении Мандельштама в МГУ принял участие и Терлецкий. А в Физическом институте Академии наук СССР, где специально созданная комиссия 9 февраля 1953 г. выдавила из себя осуждающее решение, выступил Леонтович и «заявил о своем несогласии с выводами комиссии», о чем тут же было сообщено в «Вопросах философии».

А. Д. Сахаров предположил, что Терлецкому не давали спать лавры Лысенко. Высказывая столь сильное предположение, Сахаров, разумеется, знал о Терлецком гораздо больше, чем счел нужным написать.

А что касается точности, то историк ведь к любому сообщению относится с профессиональным сомнением: слух ли это, прямое ли свидетельство? Вот, например, проф. Терлецкий прямо свидетельствует о своем «весьма положительном отношении» к книге С. Э. Хайкина. Но как в этом не усомниться историку, который познакомился с докладом Терлецкого, представленным на упомянутое совещание 1949 г., и прочитал там, что «учебник Хайкина по существу является модернизированным изданием книги Маха»? Или, скажем, проф. Терлецкий пишет, что А. Д. Сахаров просился к нему в аспирантуру. А историк вправе усомниться: не хватает почему-то места этому факту в жизнеописании А. Д. Сахарова! Человек, вооруженный лишь общим аршином, может предположить, что, зная о дальнейшей стезе Я. П. Терлецкого, Сахаров просто обошел молчанием этот эпизод. Однако историк, внимательно прочитавший «Воспоминания», такого предположения не примет. И не только потому, что Сахаров пишет о себе с беспощадной честностью и многократно употребляет «к моему стыду...». Важнее то, что он пишет с уважением и благодарностью о проф. А. А. Власове, который до студенческих лет Сахарова был учеником Тамма, а впоследствии, по воле партийных органов, занял его место на кафедре теоретической физики и оказался в центре «университетской» группировки. Так что, судя по всему, Сахаров писал свои «Воспоминания» по памяти и по совести.

Г. Е. Горелик,
кандидат физ.-мат. наук,
ст. научный сотрудник сектора
истории физики ИИЕТ АН СССР

* * *

Мы признательны редакции журнала «Знамя» за предоставленную возможность познакомиться с письмом Я. П. Терлецкого, поскольку в нем затрагивается важный для нас вопрос приоритета А. Д. Сахарова в работах по магнитной кумуляции. Мы не считаем возможным входить в обсуждение первой части письма (о «слухах»), а также того, просился ли А. Д. Сахаров в аспирантуру к Я. П. Терлецкому, поскольку эти факты нам неизвестны. Единственное, что вызывает вопрос: если «А. Д. Сахаров успешно выполнил это задание», т. е. рассчитал «время релаксации намагниченного сжимаемого взрывом внутрь проводящего шара», то почему он не стал автором публикации Я. П. Терлецкого? Что касается второй части письма, то мы, как непосредственные участники работ по магнитной кумуляции, выражаем свое возмущение очередной не очень честной попыткой Я. П. Терлецкого утвердить свой приоритет. Действительно, первая публикация по магнитной кумуляции принадлежит Я. П. Терлецкому; в советской и иностранной литературе есть ссылки на его краткую заметку, опубликованную в 1957 г. Но в данном случае эти ссылки являются не столько признанием приоритета Я. П. Терлецкого, сколько свидетельством высоких моральных принципов А. Д. Сахарова, ибо именно он настоял на том, чтобы в отечественной литературе появились ссылки на заметку Я. П. Терлецкого. Работы по магнитной кумуляции начались независимо и примерно в одно и то же время в СССР и в США, но авторы этих работ в силу существовавших в то время ограничений не смогли своевременно опубликовать результаты исследований и позже вынуждены были ссылаться на краткую заметку Я. П. Терлецкого.

Обратимся к фактам. Первый закрытый отчет Я. П. Терлецкого, на основе которого сделана публикация в 1957 г., был оформлен в ноябре 1952 г. Идея магнитной кумуляции была выдвинута А. Д. Сахаровым в 1951 г., а уже в апреле 1952 г.— проведена серия первых экспериментов, подтвердивших возможность осуществления магнитной кумуляции энергии взрыва. Результаты этих опытов были оформлены в закрытом отчете в июне 1952 г. Соответствующие документы были предоставлены Я. П. Терлецкому, и он ознакомился с ними во время первого конфликта по вопросу о приоритетах. Несмотря на это, в 1973 г. он подал заявку на открытие — «Магнитная кумуляция». Заявка была отклонена. Из заключения Всесоюзного научно-исследовательского института экс-

периментальной физики следует, что Я. П. Терлецкий не является автором магнитной кумуляции, хотя его участие, как и ряда других исследователей, отмечено Ленинской премией. Следует заметить, что краткая заметка 1957 г.— единственный его вклад в работы по магнитной кумуляции.

И, наконец, последняя не очень достойная уважаемого профессора фраза: «За работы по магнитной кумуляции мне, а не А. Д. Сахарову впоследствии была присуждена Ленинская премия».

Возможно, что Я. П. Терлецкий запамятовал, что в 1967 г. он предпринимал попытку получить Ленинскую премию за работы по магнитной кумуляции, но безуспешно. Ученый совет Всесоюзного научно-исследовательского института в 1971 г. выдвинул на соискание Ленинской премии Р. З. Людаева, Е. Н. Смирнова, Ю. И. Плющева и Е. И. Жариилова, «внесших большой вклад в реализацию идеи магнитной кумуляции». Можно также допустить, что Я. П. Терлецкий забыл и то, что его фамилия была включена в список кандидатов, с согласия остальных авторов работы, уже в процессе ее оформления. Но он должен помнить, что в аннотации работы, за которую ему в числе других была присуждена Ленинская премия, написано: «Работа проводится с 1952 г. под руководством лауреатов Ленинской премии А. Д. Сахарова, А. И. Павловского, В. К. Чернышева». А как известно, Ленинская премия присуждается один раз. Должен Я. П. Терлецкий помнить и то, что в описании той работы, за которую ему присуждена Ленинская премия, сказано:

«Динамические методы получения электромагнитной энергии, основанные на использовании взрыва, были предложены академиком А. Д. Сахаровым (1951 г.) и позднее Я. П. Терлецким, которому принадлежит первая публикация в открытой литературе, закрепившая приоритет в этой области науки и техники за нашей страной».

А. И. Павловский,
член-корреспондент АН СССР

В. К. Чернышев,
доктор физ.-мат. наук, профессор

Р. З. Людаев,
кандидат физ.-мат. наук

Е. И. Жариков,
кандидат физ.-мат. наук

* * *

Разрыв отношений между учителем и учеником произошел совсем не так, как это описывает Я. П. Терлецкий. Всю свою жизнь М. А. Леонтович обходился унаследованным от отца стихийным материализмом и испытывал полнейшее безразличие к философии, а из философов уважал только Спинозу за умение шлифовать оптические стекла. Даже когда в конце 50-х годов нашлась рукопись его учителя — академика Л. И. Мандельштама, посвященная теории познания, Михаил Александрович не проявил к ней никакого интереса. Со спокойным недоумением относился он к вынужденным или добровольным философским упражнениям своих коллег, а их публикации в соответствующих изданиях никак не отражались на отношениях с Леонтовичем. Это в XIX веке в кружке Станкевича и молодого Герцена становились смертельными врагами из-за нескольких строк Фихте или Гегеля. В наше время было иначе. Спустя год после войны началась кампания устрашения по всем фронтам. В физике орудовали двумя кистенями: «космополитизмом» (первая фаза — «преклонение перед иностранщиной») и «физическим идеализмом». В Москве основными объектами нападок и травли стали Л. И. Мандельштам (посмертно) и его школа. Я. П. Терлецкий быстро примкнул к заводилам этой травли и вполне отличился на всех ее этапах: истребление «механики» С. Э. Хайкина, репетиция физического варианта «сессии ВАСХНИЛ», знаменитый «зеленый сборник», одним из четырех редакторов которого был Я. П. Терлецкий (единственный физик-профессионал, остальные трое — философы), и, наконец, разгромные обсуждения 5-го тома Мандельштама накануне смерти Сталина. Будучи настоящим физиком, Я. П. Терлецкий ведал, что творил, и поэтому М. А. Леонтович испытывал к нему особое презрение, сконцентрированное в неоднократно повторяемой фразе: «В школе Мандельштама есть свой Иуда».

О М. А. Леонтовиче ходило немало легенд. Вот две, основанные на реальных событиях. Однажды где-то в чистом поле он высадил из служебного автомобиля коллегу, позволившего себе антисемитские высказывания, кстати, вполне умеренные по тем временам. Другой раз, уже у себя дома, доведенный до белого каления бесцеремонной наглостью посетителя, он вышвырнул нахала на лестничную площадку. Так что Леонтович вполне мог, говоря словами Я. П. Терлецкого, вести себя как «неинтеллигентный человек», и приведенный в воспоминаниях А. Д. Сахарова слух абсолютно правдоподобен.

Во всяком случае, рассказанная А. Д. Сахаровым легенда очень точно передает и взрывчатый характер М. А. Леонтовича, хорошо известный его близким, и его отношение к своему бывшему ученику. Этого нельзя сказать о двух легендах, содержащихся в письме Я. П. Терлецкого. О первой (Леонтович — ревностный адепт философии Маха) я уже написал. Вторая—желание Сахарова стать аспирантом Терлецкого. Такое в принципе могло бы и быть, живи Сахаров тогда в Москве. Но он приехал в Москву из Ульяновска по вызову в аспирантуру к И. Е. Тамму. И вряд ли в январе 1945 г. он сделал бы попытку с ходу переметнуться к Я. П. Терлецкому.

М. Л. Левин,
доктор физ.-мат. наук,
профессор

Когда материал уже был готов к печати, редакция получила копию документов из «Личного дела А. Д. Сахарова», хранящегося в Физическом институте АН СССР, согласно которым А. Д. Сахаров был зачислен в аспирантуру к И. Е. Тамму: с 1 декабря 1944 г.— «без отрыва», а с 1 февраля 1945 г.— «с отрывом от основной работы». Тем самым вопрос о том, просился ли А. Д. Сахаров в аспирантуру к Я. П. Терлецкому, снимается.

Генс уна сумус?..*

Американский книжный рынок испытывает сегодня немалые трудности, общее состояние экономики страны повлияло и на него: книги залеживаются, и даже регулярные распродажи не улучшают дела. Среди редких исключений оказалась советская книга — **«Шахматы. Энциклопедический словарь»**, выпущенная московским издательством «Советская энциклопедия» в прошлом году. Спрос на нее превышает предложение, несмотря на то что цена довольно высока — некоторые магазины продают за 54 доллара. Вообще надо заметить, советская шахматная литература пользуется в США большим спросом, и это несмотря на то, что шахматная жизнь страны развивается не слишком бурными темпами.

Добротно изданный том «Словаря» приглянулся американскому читателю: и качество бумаги довольно высокое, красочные иллюстрации хорошего качества, и множество статей, ну, и, конечно, когорта имен: редакционная коллегия почти как футбольная команда, включая запасных. Тут и шахматный эстет и эрудит Юрий Авербах, и блистательный Михаил Таль, и летчик-космонавт Виталий Севастьянов в соседстве с... прокурором сталинских времен Виктором Батуринским. Руководит шахматной «командой» шахматист-литератор Анатолий Карпов, автор вышедшей в Америке довольно непопулярной книги «Сестра моя Каисса». В редколлегии тома мы найдем фамилии четырех экс-чемпионов мира. Но места для чемпиона планеты Гарри Каспарова почему-то в ней не сыскалось.

Американский читатель, взяв в руки «Словарь», сразу же, естественно, начнет искать известные ему имена. Например, Владимира Набокова. Американцы вряд ли помнят слова А. Солженицына в «Архипелаге»: «Русское Зарубежье — это большой духовный мир... там развивается русская философия... русское искусство полонит мир, там Рахманинов, Шаляпин, Бенуа, Дягилев, Павлова, Казачий хор Жарова.. существует небывалый писатель Набоков-Сирин...» Но ведь «небывалый писатель Набоков-Сирин» известен в Америке не только своими романами, рассказами, переводами, драматургией и поэзией, а еще и как оригинальный шахматный композитор, создатель интересной «набоковской» темы в композиции. В 1970 году нью-йоркское издательство «Mc Graw-Hill Book» выпустило в свет уникальную книгу писателя «Poems and Problems» — «Стихи и шахматные задачи». Набоков отобрал для этого издания восемнадцать своих лучших шахматных произведений, некоторые из них завоевали призы на международных соревнованиях проблемистов. Для русского же любителя королевской игры бесспорно самой интересной будет задача-шутка, которую В. Набоков посвятил мастеру Евгению Зноско-Боровскому, опубликовал ее в своей шахматной рубрике в парижской газете «Последние новости» 17 ноября 1932 года. Задача была подписана В. Сириным. Условие задачи чисто «набоковское»: белые получают назад свой ход, после чего следующим ходом дают мат. Муза Набокова почти адекватна его шахматному дару, аполлонический характер поэзии дополняется классицизмом шахматных построений. В задачах и стихах поэта присутствует иконологический смысл, они практически исключают элемент случайности. В берлинской русской газете «Руль» В. Набоков вел постоянный шахматный отдел, один из интереснейших в русской периодике русского изгнания. Именно «Руль» опубликовал тончайшие шахматные сонеты, от которых он в будущем как бы отказался, не включив в свое поэтическое избранное. Вот один из них:

* Все мы одна семья **(лат.)**.

Я не писал законного сонета,
хоть в тополях не спали соловьи,—
но, трогая то пешки, то ладьи,
придумывал задачу до рассвета.
И заключил в узор ее ответа
всю нашу ночь, все возгласы твои,
и тень ветвей, и яркие струи
текучих звезд, и мастерство поэта.
Я думаю, испанец мой и гном,
И Филидор — в порядке кружевном
скупых фигур, играющих согласно,—
увидят все, что льется луный свет,
что я люблю восторженно и ясно,
что на доске составил я сонет.

Владимиру Набокову сегодня посвящаются десятки книг, диссертаций, в ряде американских университетов аспиранты изучают «взаимодействие» творческих принципов писателя с его шахматно-композиторскими «мелодиями». Редколлегия же «Словаря» почему-то не нашла в нем В. Набокову места... Однако обойти стопроцентным молчанием это имя издание не рискнуло. Творец «Лолиты» все же упоминается, но в каком контексте!.. Есть в «Словаре» статья И. М. Линдера «Шахматы в литературе». Одна из многочисленных ее сентенций завершается так: «...русско-амер. писатель В. Набоков («Защита Лужина», 1929—1930)». И никто, увы, в редколлегии «Словаря» не восстал против этого утверждения: а ведь не было «русско-амер.» писателя В. Набокова, был В. Сирин — Набоков, роман «Защита Лужина» подписан В. Сириным, а не В. Набоковым, и книга эта издана берлинским книгоиздательством «Слово» не в 1929 году, а годом позднее.

Возвратившись из первого космического полета, Виталий Севастьянов заявил, что в следующее путешествие к звездам обязательно захватит с собой рассказы Василия Аксенова — настолько был покорен тончайшим его рассказом «Победа», опубликованным в 1965 году «Юностью». Однако имени Аксенова в «Словаре» нет. Не велика, правда, беда: рассказ «Победа» включен Б. Хохбергом в американскую антологию «Шахматы и мировая литература».

Забвение творчества В. Набокова, естественно, привело к тому, что «Словарь» замолчал и еще одно произведение русской литературы — стихотворение «Защита Лужина» известного поэта Валерия Перелешина, включенное, кстати, в первую антологию русских стихов на шахматную тему — «Мнемозина и Каисса». И, хотя книга эта есть во многих шахматных библиотеках СССР, однако в поле зрения авторов и составителей «Словаря» она не попала. В статье о профессоре Александре Александровиче Смирнове лишь упомянуто, что он является автором книги «Красота в шахматной партии», но не сказано, что книга была одной из первых, выпущенных славным издательством «Academia», и что этот раритет переиздан в 1987 году американским издательством «Антиквариат». В «Словаре» перечислены пять изданий поэмы «Гакраб», переведенной с древнееврейского Я. Эйхенбаумом. Однако самое интересное, иллюстрированное диаграммой и вышедшее в 1926 году в Харбине в издательстве «Заря», почему-то обходится молчанием.

«Энциклопедический словарь» — книга, конечно, шахматная, и хотя о ее «литературной» части можно писать немало (а на мой взгляд, лучше бы ее переписать целиком), необходимо посмотреть на нее и с точки зрения изложения фактов историко-биографических. И тут не раз сталкиваешься с искажением и сокрытием от читателей отдельных моментов истории отечественной шахматной школы. Вот статья М. Юдовича «Алехин Александр Александрович». Здесь, в частности, сообщается: «В 1917—1918 несколько месяцев жил (Алехин. — **Э. Ш.**) в Одессе, затем возвратился в Москву». Увы, текст столь лаконичен, что читатель ненароком подумает, будто гениальный шахматист всего лишь прогулялся по пушкинским местам города, сыграл несколько партий с любителями, повеселился и отбыл в столицу. Реальная же ситуация была иной. Не шахматы забросили

А. Алехина в южный город, а служба в ЧК. В чем-то, однако, серьезном он проштрафился и был приговорен... к расстрелу. (Сейчас в журнале «Шахматы в СССР» пишут о том, что спас тогда Алехина от смерти Л. Троцкий. Еще одна небылица...) В то же самое время в Одессе пребывал мастер Яков Вильнер. Кроме шахматной композиции, он занимался еще и... приведением в исполнение приговоров ЧК. Именно он за два часа до казни Алехина связался по вертушке с Раковским, тогдашним «хозяином» Украины (а тот почитал Алехина), и будущему чемпиону мира была дарована жизнь. Откуда у меня эта информация? — вправе спросить читатель. Именно о таком, а не ином ходе событий в жизни А. Алехина впервые поведал замечательный русский шахматист Ф. П. Богатырчук в своих воспоминаниях «Мой жизненный путь...». А каким образом об этом узнал Ф. П. Богатырчук? Оказывается, был знаком с архивом шахматного мецената Людвига Коллийна, который фактически усыновил сына Алехина. Коллийн не раз помогал чемпиону мира, ему-то Алехин и рассказал правду о своей жизни.

Заканчивает автор свою статью об Алехине сентиментальной фразой: «Последние месяцы жизни Алехин провел в бедности и одиночестве в Португалии». Чем же объяснить столь трагический финал жизни великого Маэстро? «Энциклопедический словарь» на этот вопрос ответа не дает. Замалчиваются факты публикации Алехиным расистских статей в оккупационной газете «Паризер Цайтунг», требования шахматистов Запада после войны открытого суда над Алехиным, поддержанные тогда шахматной федерацией Франции. Предвидя надвигающуюся грозу, Алехин предпочел уехать в Португалию...

Дважды, причем мельком, упоминается в «Словаре» Петр Петрович Потемкин. Отдельной статьи о бывшем директоре петербургских театров «Летучая мышь», «Кривое зеркало», к сожалению, нет, как нет хотя бы упоминания и имени его друга — мастера Виктора Кана. Эти шахматисты-эмигранты, думаю, заслуживают быть включенными в любую шахматную энциклопедию, тем паче в русскую. Во-первых, и П. Потемкин, и В. Кан были одними из инициаторов создания ФИДЕ — Международной шахматной федерации; во-вторых, именно П. Потемкин предложил ФИДЕ ее лозунг «Генс уна сумус». В-третьих, оба шахматиста защищали спортивную честь России на первой шахматной Олимпиаде...

Вот тут-то, полагаю, советский читатель и призовет меня, зарубежного критика, к ответу. Известно, что впервые советские шахматисты приняли участие в розыгрыше Кубка Гамильтона-Рассела в 10-й Олимпиаде 1952 года. «Словарь» называет иной год проведения первой шахматной Олимпиады — 1927-й. Однако участие это началось гораздо раньше. Дело в том, что с 4 мая по 27 июля 1924 года во время Восьмых олимпийских игр была проведена и первая шахматная Олимпиада. Правда, она официально не входила в программу Игр, и в ней могли принять участие только шахматисты-любители. Эту первую в истории шахмат Олимпиаду удалось провести благодаря энергии трех энтузиастов: француза Пьера Винцента и русских эмигрантов Петра Потемкина и Виктора Кана. Руководил Олимпиадой Александр Алехин. Советские шахматные источники изредка ссылаются на это соревнование, но преподносят его как турнир на звание чемпиона мира среди любителей. Однако в этом чемпионате была и вторая система подсчета очков, о которой в СССР предпочитают умалчивать. Все отборочные состязания и финал суммировались, и по результатам участников определялось место страны, которую представляли шахматисты-любители. Победительницей первой неофициальной шахматной Олимпиады стала Чехословакия, команда России набрала в соревнованиях 4,5 очка: это три очка П. Потемкина, набранные им в главном турнире, и полтора В. Кана — в отборочных соревнованиях.

Не ошибусь, если на гипотетический вопрос: «Кто был первым русским чемпионом мира по шахматам?», услышу — «Александр Алехин». Если же следовать фактам, то не А. Алехин, а... легендарная Вера Менчик. Шахматистка родилась в Москве в 1906 году. Ее отец был чех, мать англичанка. С 1921 года Вера жила в Англии, но многие годы продолжала говорить только по-русски. 30 июля 1927 года в Лондоне она выиграла первый чемпионат мира по шахматам среди женщин с почти фишеровским результатом — 10,5 очка из 11 возможных. На столике, где чемпионка разыгрывала свои партии, во время соревнований красовался трехцветный российский флаг, а в турнирной таблице значилось — «Вера Менчик. Россия...» И об этом событии из истории русских шахмат почему-то умалчивается в «Словаре».

Не найти в книге и следов Виктора Султанбеева, одаренного русско-бельгийского мастера, четырехкратного чемпиона Бельгии, автора самой интересной книги о матче Алехин — Капабланка, как не найти, увы, и многого-многого другого.

Новейшая история советских шахмат также подвергается редакцией «Словаря» соответствующему переосмыслению. Вот статья о Федоре Парфеньевиче Богатырчуке, которую, по словам главного редактора А. Карпова, он «пробил» невероятным трудом. Оставим на совести редколлегии «мелочь» — искажение отчества шахматиста (в «Словаре» он назван почему-то Парфеновичем). Но вот положение, которое требует разъяснения: «В период 2-й мировой войны 1939—1945 сотрудничал с оккупантами на Украине»... Ни в 1939-м, ни в 1940-м году, ни даже до осени 1941 года Богатырчук, житель Киева, «сотрудничать с оккупантами» не мог физически: во время оккупации Киева он прошел через подвалы гестапо и чудом избежал смерти. А позднее стал одним из авторов Пражского Манифеста Народов России, принимал участие (совместно с Боголюбовым) в одном турнире устроенном немцами в Польше. Именно там он требовал включения в турнир польских мастеров, что и тогда угрожало ему смертью. В таких же «немецких» турнирах в годы войны, кстати, принимали участие и респектабельные Пауль Керес и Макс Эйве... Почти ничего не сказано в статье о спортивных достижениях Ф. П. Богатырчука. Напомню лишь, что в пяти сыгранных с Михаилом Ботвинником турнирных партиях он трижды побеждал и дважды сводил партии вничью. Так никто никогда не громил М. Ботвинника в расцвете его творческих сил.

Отсутствуют в «Словаре» статьи о мастере Я. Юхтмане (напомним лишь, что в финале 26-го первенства СССР он почти в миниатюре разбил Таля и сыграл вничью со Спасским, Петросяном, Кересом, Корчным и другими титулованными шахматистами); нет и упоминания о международном мастере Игоре Иванове, победителе Анатолия Карпова.

Однако что можно было позволить с Я. Юхтманом и И. Ивановым, нельзя с Виктором Корчным. Этого имени из шахматной песни не выкинешь... Статья о В. Корчном содержит тридцать одну строчку текста, без диаграмм партий и библиографии. А вот пресс-атташе А. Карпова, А. Рошалю, например, посвящается 38 строчек текста, сталинскому прокурору В. Батуринскому, как и В. Корчному, тоже 31 строчка... Но и в них не удалось избежать некоторого передергивания. Неправильно сообщена дата рождения Корчного: перепутан июль с мартом — это, наверное, небольшая беда. Но вот фраза: «Победитель ряда международных турниров...» За емкое русское словечко «ряд», оказывается, можно многое спрятать. А ведь из ныне здравствующих шахматистов В. Корчному принадлежит первенство по числу побед в крупных международных турнирах и в соревнованиях союзного значения. Количество таких побед у В. Корчного приближается к фантастической цифре — 100!

Принцип отбора материалов в «Словаре» вообще непонятен. Например, в нем мы найдем имя и еще одного бывшего сталинского прокурора, Владислава Литмановича, приложившего в свое время немало сил к расправе в Варшаве над уцелевшими польскими патриотами из Армии Крайовой. В 1952 году этот мастер представлял Польшу на 10-й Олимпиаде в Хельсинки. Может быть, за результат, показанный там, и включен В. Литманович в советский «Словарь»? Будучи запасным (не исключено, что и «нянькой» команды), он сыграл четыре партии, из которых успешно проиграл три, а одну, с представителем Кубы, свел вничью. А вот имени его жены, Мирьы Литманович, победительницы международного турнира в Петркув-Трыбунальском и одной из ведущих шахматисток Польши в течение почти четверти века, мы в «Энциклопедическом словаре» не найдем. Как не найдем и имени американского мастера Ханнона Рассела, а ему-то принадлежит уникальнейшее собрание шахматных документов, начиная с вре-

мен Филидора. Сегодня, например, нельзя серьезно говорить об отношениях между А. Алехиным и Х. Капабланкой, не ознакомившись с их обширной переписной, хранящейся в собрании этого коллекционера. Ни слова в «Словаре» и о вкладе в развитие шахматной культуры США, который внесли шахматисты-эмигранты...

Есть, конечно, и кое-что ценное в «Словаре». Так, скажем, он воскресил неологизм хрущевской эпохи: «Незаконно репрессирован. Реабилитирован посмертно», правда, «незаконно» заменено на более расплывчатое — «необоснованно». Знакомишься с биографиями погибших в годы сталинского террора шахматистов, и, поверьте, радуешься: лагерная коса коснулась единиц. Уважал королевскую игру генералиссимус, почитал Ботвинника, даровал жизнь Кересу. И, право же, если присутствует на страницах «Словаря», скажем, Батуринский, почему бы не вспомнить и о друге советских шахматистов Сталине и об истинном шахматном болельщике (без йоты иронии!) Леониде Ильиче Брежневе?..

«Энциклопедический словарь» — удовольствие не из дешевых. И я сомневаюсь, стоит ли он стольких рублей и долларов. Вряд ли, ведь энциклопедического «духа» в нем и не сыщешь, а замалчивание в нашу эпоху гласности, разве оно не хуже лжи?

Э. Штейн
Оранж, США

«Знамя» во второй половине 1991 и в 1992 гг.

«Знамя» — журнал прежде всего современной литературы и современной общественной мысли, и потому центральное место на журнальных страницах займут:

повесть Василя БЫКОВА **«Блиндаж»**; роман Георгия ВЛАДИМОВА **«Генерал и его армия»**; повесть Геннадия ГОЛОВИНА **«Покой и воля»**; повесть Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА **«Последнее лето на Волге»**; роман Владимира ДУДИНЦЕВА **«Дитя»**; роман Олега ЕРМАКОВА **«Заклинание против вепря»**; повесть Фазиля ИСКАНДЕРА **«Ловчий ястреб»**; цикл **«Поздняя проза»** Руслана КИРЕЕВА; повесть Виктора КОЗЬКО **«Спаси и помилуй нас, черный аист»**; повесть Вячеслава КОНДРАТЬЕВА **«Искупить кровью»**; повесть Анатолия КУРЧАТКИНА **«Реквием»**; повесть и рассказы Владимира МАКАНИНА; роман Булата ОКУДЖАВЫ **«Упраздненный театр»**; повесть Вячеслава ПЬЕЦУХА **«Заколдованная страна»**; роман Александра ТЕРЕХОВА **«Женщины в моей жизни»**.

Над новыми произведениями для журнала работают Чингиз АЙТМАТОВ, Василий АКСЕНОВ, Геннадий ГОЛОВИН, Даниил ГРАНИН, Борис ЕКИМОВ, Олег ЖДАН, Аркадий ЛЬВОВ, Илья МИТРОФАНОВ, Михаил РОЩИН, Марина ПАЛЕЙ, Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ, Евгений ПОПОВ, Анатолий ПРИСТАВКИН, Георгий СЕМЕНОВ.

Поэтический диапазон «Знамени», как и прежде, достаточно широк: от лирики поэтов старшего и среднего поколений до произведений молодых стихотворцев.

Новое писательское имя в каждой журнальной книжке — один из ведущих принципов «Знамени».

Зарубежную литературу на страницах журнала представляют:

Эжен ИОНЕСКО — эссе; Франц КАФКА — новеллы и притчи; Жан КОКТО — размышления об искусстве и о жизни; Эрих-Мария РЕМАРК — роман **«Искра жизни»**, впервые в полном объеме и без искажений издающийся на русском языке; Артур ХЕЙЛИ — остросюжетный роман **«Вечерние новости»**.

Сюрпризом для читателей явится впервые переведенный на русский язык фундаментальный очерк истории американской мафии: от Аль Капоне до наших дней.

Журнал по традиции внимателен к литературному наследию. Среди других произведений будут напечатаны:

неизвестная статья Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО; автобиографические записки К. Н. ЛЕОНТЬЕВА **«Моя литературная судьба»**; публикуемый по рукописи очерк Н. С. ЛЕСКОВА **«Неоцененные услуги»**; **«Проза. Статьи. Письма»** В. Ф. ХОДАСЕВИЧА; **«Переписка»** В. Т. ШАЛАМОВА и Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ.

Рубрика «Мемуары. Архивы. Свидетельства» будет также представлена публикациями Н. БЕРДЯЕВА, Л. КАРСАВИНА, Д. МЕРЕЖКОВСКОГО, В. РОЗАНОВА, Ф. СТЕПУНА, П. СТРУВЕ, С. ТРУБЕЦКОГО, Г. ФЛОРОВСКОГО, находками из архивов Л. МАРТЫНОВА, Д. САМОЙЛОВА, В. ТЕНДРЯКОВА, Ю. ТРИФОНОВА, Б. ЯМПОЛЬСКОГО.

Запомнив имя Натальи ДУМОВОЙ по циклу «Московские меценаты» (1990, № 8; 1991, № 3), читатель не пропустит ее новую работу **«Женщины серебряного века»**.

Опыт жизни русского человека в современной Прибалтике — основа **«Записок оккупанта»** Александра НИКИШИНА.

О родословной фашизма и его смертоносных метастазах размышляет Елена РЖЕВСКАЯ в исследовании **«Доктор Геббельс и его «Дневник»**.

Книгой **«Горький, Москва, далее везде»** завершится публикация монументальных **«Воспоминаний»** А. Д. САХАРОВА.

Предполагается также напечатать воспоминания, автобиографические свидетельства, размышления С. ШАТАЛИНА, О. ФРЕЙДЕНБЕРГ, Д. ШЕПИЛОВА, М. ШРЕЙДЕРА, А. Н. ЯКОВЛЕВА, других наших современников.

«Злоба дня», осмысленная в свете уроков отечественной истории,— в центре внимания А. НЕЖНОГО, Г. ПОМЕРАНЦА, Б. РАУШЕНБАХА, Л. САРАСКИНОЙ, В. СЕЛЮНИНА, Е. СТАРИКОВА, А. СТРЕЛЯНОГО и других публицистов — постоянных авторов журнала. Литературный процесс наших дней в широком общекультурном и социальном контексте исследуют критики: А. АГЕЕВ, И. ДЕДКОВ, Л. ЛАЗАРЕВ, А. МАРЧЕНКО, Вл. НОВИКОВ, С. РАССАДИН, А. ТУРКОВ, И. ШАЙТАНОВ.

Наряду с традиционными разделами «Публицистика», «Критика» в журнале вводятся или обновляются «фирменные» рубрики:

«Urbi et orbi» — монологи писателей, ученых, общественных деятелей о наиболее острых и, как правило, спорных проблемах современной действительности и современной культуры.

«С того берега» — взгляд зарубежных авторов (в том числе выходцев из России) на то, что происходит сейчас в нашей стране; оценка исторических перспектив, сопоставление с общемировым опытом, попытка закрепить диалог по линиям «Восток — Запад», «Север — Юг», «Родина — русская диаспора».

«Гипотезы. Споры. Открытия» — новое, часто парадоксальное прочтение классических литературных произведений, неожиданные подходы к «роковым тайнам» отечественной истории и культуры, прогнозы, предположения, интеллектуальные дуэли.

«Советуем прочитать» — под этой рубрикой, как и в нынешнем году, будут помещаться лаконичные обзоры наиболее примечательных книжных и журнальных новинок.

Обо всех изменениях и дополнениях в журнальной программе читатели будут извещены. Следите за нашими анонсами!

Адрес редакции: 103863 ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 8/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-76, отдел прозы — 923-72-82, отдел публицистики — 921-14-84, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-59-87, для справок — 924-13-48.

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 10.08.91. Подписано к печати 05.07.91. Формат 70×108 1/16. Печать высокая. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,70. Уч.-изд. л. 23,77. Тираж 421 000 экз. Заказ № 815 Цена 1 р. 90 к.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Кто читает наш журнал

Предлагаем для размышления информацию о круге наших подписчиков, каким он предстает из опроса, проведенного Всесоюзным центром общественного мнения.

Начнем с молодежи, которую люди более почтенного возраста, возможно, справедливо, а может быть, и не очень справедливо частенько упрекают в бездуховности, равнодушии к общественным проблемам, невнимании к серьезной литературе. Так вот, читатели нашего журнала моложе 20 лет составляют, пожалуй, самую многочисленную из возрастных групп: 18,8%. Правда, сразу же следует добавить: читателей в возрасте от 20 до 30 лет у нас гораздо меньше. Это легко понять. Люди учатся, начинают самостоятельную жизнь, обзаводятся семьями — не до чтения. Однако, твердо встав на ноги, многие вновь возвращаются к «Знамени» — так, читателей в возрасте от 30 до 39 лет почти столько же, сколько молодежи.

Около половины наших читателей обладают высшим и незаконченным высшим образованием и почти 36% имеют среднее образование. В большинстве это горожане, живущие, как иногда теперь говорят, на зарплату,— более 52% наших читателей работают на госпредприятиях. Но и тут есть интересные подробности. Например, сельских читателей у нас столько же, сколько в Москве и Ленинграде (чуть больше 15%), а основную массу составляют читатели провинции (в областных центрах — 30,3, в районных — 23,4, в столицах республик — 8,5, в других городах — 7,2%).

Читатель «Знамени» в заметном (до 70%) большинстве — беспартийный. Около 20% читателей считают себя православными, однако гораздо больше (63%) к религии безразличны. Русские, естественно, составляют большинство читателей (67,5%).

Таким образом, о нашем читателе можно сказать, что он олицетворяет тот слой, который служит основой любого нормального общества— средний класс.

Небезынтересно посмотреть, каким изданиям, кроме «Знамени», отдают предпочтение наши подписчики. Только и исключительно «Знамя» читает лишь один процент опрошенных, а наибольшее совпадение в интересах читателей у нас с «Аргументами и фактами» (75%), «Комсомольской правдой» (58%), а также с «Дружбой народов», «Октябрем» и «Юностью» (от 37 до 48%). Общих читателей с «Новым миром» и «Литературной газетой» гораздо меньше — около 20%. Ну, а что касается таких изданий, как «Молодая гвардия», «Наш современник», «Слово»,— тут предпочтения выражены вполне определенно: общих читателей у нас всего 11%.

В нынешнем году подписка на газеты и журналы, видимо, будет проходить нелегко: дорожают бумага, связь, и читателю придется выбирать. Поэтому мы считаем полезным сообщить Вам, в какой компании Вы окажетесь, если решите вновь подписаться на журнал «Знамя».

Доброго Вам чтения!